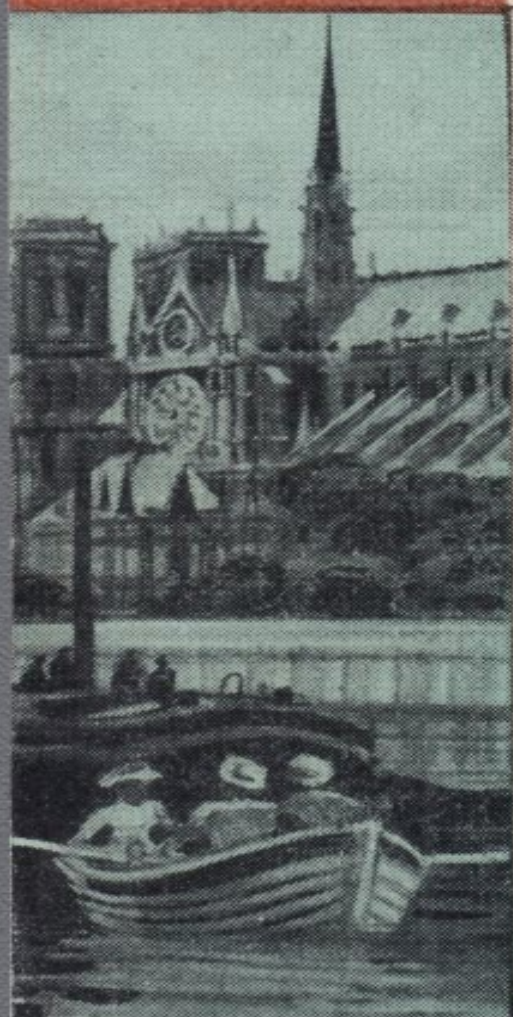


# МОПАССАН



Арман Лану



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



## Annotation

В своей книге Арман Лану ведет читателя тропинками литературоведа-исследователя, знакомит его с разноречивыми свидетельскими показаниями, делится своими сомнениями, приглашает вместе с собой подумать над разными толкованиями какого-нибудь факта. Лану много знает о Мопассане, очевидно, почти все, что о нем можно было узнать в 60-годах XX столетия. Фактов, событий, документов значительных и мелких много в книге, их, может быть, слишком много, и не всегда случайное отделено от главного.

[Адаптировано для AlReader]



*FB2 книгу сделал mefysto*

- 
- [Арман Лану](#)
    - 
    - 
    - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
      - 
      - [1](#)
      - [2](#)
      - [3](#)
      - [4](#)
      - [5](#)
    - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
      - 
      - [1](#)
      - [2](#)
      - [3](#)
      - [4](#)
      - [5](#)
      - [6](#)

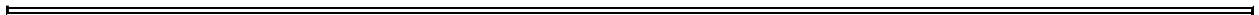
- 7
- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  - 
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
- ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
  - 
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
- ЧАСТЬ ПЯТАЯ
  - 
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
- ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
  - 
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- ПОСЛЕСЛОВИЕ
- О МОПАССАНЕ И О КНИГЕ ЛАНУ
- ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
  - 
  - 
  - 
  -



- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)

- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)

- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)



# ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

*Серия биографий*

ОСНОВАНА  
В 1933 ГОДУ  
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 2

(491)

МОСКВА

1971



Арман Лану

МОПАССАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЦК ВЛКСМ

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

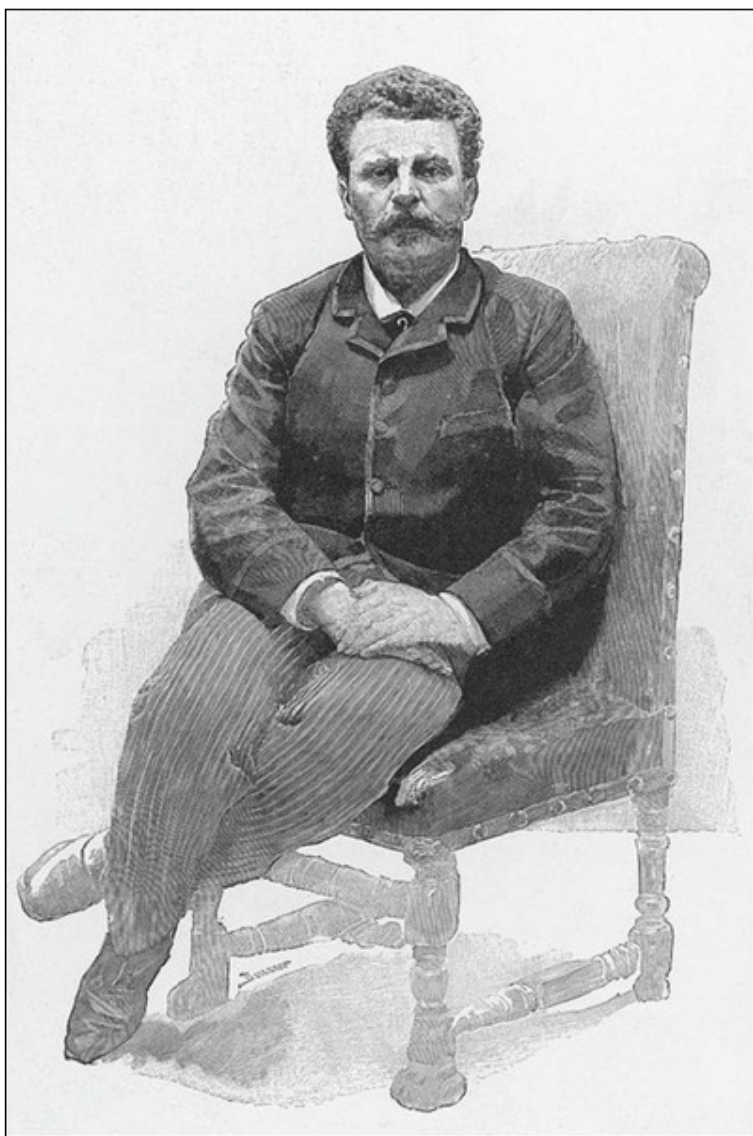
---

\*

Сокращенный перевод с французского  
*Э. Лазебниковой*  
Научный редактор *И. Лилеева*

ARMAND LANOUX  
MAUPASSANT le Bel-Ami  
Fayard, 1967.

М., «Молодая гвардия», 1971



Very much yours and ant

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## КАМЕНИСТЫЙ БЕРЕГ ЭТРЕТА



*Человек, которого неодолимо влечет к себе вода,  
обычно склонен к головокружению.*

*Гастон Башелар*

*Миромениль или Фекан? — 5 августа 1860: романтическое рождение. — Дедушка Жюль, или полуночное бракосочетание. — Байронический герой — Альфред Ле Пуатвен. — Австрийская знать. — Лора де Мопассан. — «Гарсон, кружку пива!»*

Ги де Мопассан родился 5 августа 1850 года близ Дьеппа, может быть, в замке Миромениль (община Турвиль-сюр-Арк), а может быть, и в Фекане. Так, с неясности, начинается эта жизнь...

Каменистая дорога, по обе стороны которой тянется изгородь, взбегает на холм перед Мироменилем. Гигантские буки толпятся вокруг сероватопрозового здания. Соблазненные множеством колонн, балюстрад и газонов, Мопассаны арендовали этот дом у некоего господина Озена. Согласно официальной версии в восточной башне этого замка раздался первый крик новорожденного Ги. Однако достоверен лишь тот факт, что 23 августа 1850 года ребенок был записан в мэрии под именем Ги, крещение же состоялось год спустя в церкви Турвиль-сюр-Арк.

В книге гражданских записей акт о рождении зарегистрирован под № 30. Свидетелями были Пьер Бимон, шестидесяти восьми лет, торговец табаком, и Изидор Летук, сорока трех лет, учитель. Акт подписан Мартином Лекуантром, мэром Турвиль-сюр-Арк. Однако содержание документа вызывает сомнение, ибо в акте о смерти Мопассана, составленном в мэрии 16-го округа города Парижа, значится: «родился в Соттевилле 5 августа 1850»<sup>[1]</sup>. А в «Ревю Энциклопедик» за 1906 год было напечатано: «Родился в Ивето». Словарь Ларусс называет местом рождения Мопассана Фекан.

Можно исключить Ивето и Соттевилль, так как нет никаких серьезных доводов в пользу этих двух городов. Остается Миромениль... И Фекан — хотя версия Фекана тоже не имеет никаких документальных доказательств.

— Да, никаких, — ответил мне Люсьен Дюфис, один из самых горячих сторонников Фекана, — однако Ги все же родился именно в Фекане, в доме своей бабки, по улице Су-ле-Буа, 98, называющейся ныне набережной Ги де Мопассана. Жорж Норманди первый заговорил о том, что гражданский акт о рождении писателя недостоверен.

Но если бы он сумел это доказать! В 1927 году Жорж Норманди опубликовал книгу «Личная жизнь Мопассана», на которую обычно и

ссылаются сторонники версии о рождении писателя в Фекане. По их мнению, единственным аргументом в пользу Миромениля является акт о рождении, составленный мэром Мартином Лекуантром. Но известно, что многие гражданские акты иногда случайно, иногда преднамеренно составлялись неточно. Согласно Жоржу Норманди единственной свидетельницей, присутствовавшей при рождении писателя, была «вдова Фетри, урожденная Дюне». Допустим, что это все так... но в августе 1850 года госпоже Фетри было всего пять лет!

Досадно, что мы никогда не можем предугадать, кто появился на свет. Иначе мы проявляли бы куда больше благоговейного внимания! Кто принимал Ги? Врач по имени Гитон? Или несколько врачей? Кормилица Катрин Сонье, о которой упоминает вдова Фетри? Все это теперь уже невозможно распутать.

С другой стороны, Морис Глен, нотариус из Офранвилля, официально подтвердил Жоржу Норманди, что он «не обнаружил никакого арендного договора, никаких сведений, касающихся аренды или продажи семье Мопассанов замка в Миромениле».

В 1878 году Мопассан придет в Миромениль в сопровождении своего старинного друга Робера Пеншона. Им не удастся попасть в замок: «Так как в замке живут какие-то люди...» Мопассан пишет, что вместе с другом он все же обошел вокруг замка «по широкой дороге с видом на море, идущей над Сен-Обен-сюр-Си. Вид этого здания ничего мне не напомнил...».

Письмо, откуда взяты эти строчки, датировано 2 октября 1878 года и адресовано матери Ги. Часть его оторвана, что дало основание Артину Артипиану, лучшему американскому знатоку Мопассана, задать следующий вопрос:

«Хотела ли мать Ги уничтожить доказательства, ставящие под сомнение официальную версию? Во всяком случае, письмо Ги повреждено как раз на том месте, где он собирался описывать прекрасный замок своего детства».

Мопассан обладал замечательной памятью. В одном из писем, адресованных Каролине Комманвиль, племяннице Флобера, он вспоминает скамейку в Фекане, служившую ему в детстве кораблем, и тополь, на который он часто взбирался. «Мне кажется, я смог бы еще и сейчас нарисовать это дерево...» В памяти его сохранился почему-то Фекан, а не Миромениль.

Эти детали дают некоторые основания сомневаться в старательно поддерживаемой Лорой де Мопассан версии о месте рождения ее первенца.

Художник А.-П. Леру, хранитель музея в Фекане, утверждает, что Лора де Мопассан за несколько дней до 5 августа приехала в Фекан к своей матери, Виктории-Марии Ле Пуатвен. Для него дело представлялось совершенно ясным: Лора, неожиданно почувствовавшая схватки, родила чуть раньше, чем предполагала.

— Да, все это вполне правдоподобно, — продолжают феканцы. — Лора не захотела, чтобы ее сын был записан в Фекане, городе солильщиков и торговцев, которых она презирала. Как только она смогла подняться после родов, она тайком уехала в Миромениль с еще не зарегистрированным ребенком.

Пора познакомить читателя с родственниками Мопас сана с материнской стороны. Отец Лоры, Поль Ле Пуатвен, владел двумя прядильными фабриками: одной в Руане, другой в Сен-Леже-дю-Бург-Дени. В 1815 году он женился на Виктории-Марии Тюрэн, дочери судовладельца из Фекана. Его жена любила Фекан, этот многолюдный портовый город. Там, в Фекане, и родилась их дочь, Лора.

— Наконец, — продолжает Люсьен Дюфис, — фе канскую версию поддерживает также и мадам Дюваль..

— Погодите, какая мадам Дюваль?

— Мать Жана Лорена.

— Ах вот как!

— Почему «вот как»? Именно мадам Дюваль открыла Жоржу Норманди, что оба писателя, ее сын и Ги, родились на одной улице!

— Любопытно! Скажите, а не руководила ли матерью Жана Лорена зависть? «Что за хвастуны эти Мопассаны! И маркизат!.. И рождение в замке!.. Подумаешь! Ги, как и мой сын, родился в Фекане!»

— В ту пору, когда мадам Дюваль делилась воспоминаниями с Жоржем Норманди, ее уже постиг страшный удар: смерть сына. Она слишком свято относилась к памяти Жана, чтобы солгать.

— Но я предпочел бы ее откровениям проверенные факты.

— А много ли судебных дел основано на фактах? Но, впрочем, послушайте. На склоне лет сторож Руанского парка бахвалился тем, что был молочным братом Ги. Это дошло до Лоры благодаря нескромности газеты. Лора не замедлила ответить: «Я сама кормила своего сына Ги и не позволю никому присвоить эту честь. Не думаю, чтобы какая-нибудь женщина посмела бы приписать себе право называться его кормилицей только потому, что в течение пяти или шести дней давала грудь моему ребенку. Я гостила у матери и вдруг занемогла. Тогда мне в помощь

пригласили дочь одного фермера. Вот как обстояло дело!»

Эти слова, полные возмущения, однако, свидетельствуют о многом.

А все же место рождения? Мы уже говорили о величественном, в стиле барокко замке Миромениль. Другим «родным домом», следовательно, является домик в феканском порту.

Фекан уступами спускается к зеркальным водам, искрящимся под перламутровым небом. Портовые лебедки гремят и скрежещут, зажатые меловыми скалами побережья, кругом резкий запах селедки и гудрона. Местные кафе носят заманчивые названия: «Мятное», «Гренландское кафе», «Большая Мель»...

Вот и старый дом 98, стоящий в глубине сада. Он стал ниже на один этаж... И напоминает домик рабочей окраины. О, как высокомерная Лора стыдилась дома своих предков! Живая Бовари, она внесла в жизнь семьи пеструю смесь выдумки и действительности.

Мещанка из разорившейся семьи, Лора Ле Пуатвен получила знатное имя благодаря союзу с обольстительным Гюставом де Мопассаном, который тогда еще звался просто Мопассаном.

В свидетельстве о рождении отца Ги, кроме даты — среда, 28 ноября 1821, значится: «Гюстав-Альбер Мопассан», рожденный от Луи-Пьера-Жюля Мопассана, налогового инспектора в Бернзе, из Эр, и Аглаи-Франсуазы-Жозеф Плюшар, его супруги. Только и всего.

Жюль Мопассан, дед писателя, родившийся 9 ноября 1795 года в Париже, влюбился в дочь сборщика податей из Бернэ, Аглаю, не тратя времени, похитил ее и обвенчался в полночь в Пон-Одемаре. Семейная легенда приукрашивалась рассказом о влюбленных, переходивших вброд вздувшуюся реку. Позже Флобер, смакуя эти подробности, наделил Эмму Бовари желанием венчаться только в полночь.

В жилах Аглаи текла креольская кровь. По словам Лоры, свои красивые карие глаза краснощекий Ги унаследовал от бабки. Будущий писатель больше походил на бабушку, чем на деда Жюля. Предприимчивый и желчный, противник империи, Жюль Мопассан после брака оставил службу и занялся хозяйством на принадлежавшей ему земле в Невиль-Шан-Д'Уазель. Провинциальный любитель искусств, он принимал у себя писателей, политических деятелей, художников.

Овдовев, Жюль переехал в Руан, оставив поместье своей дочери Луизе, которая вскоре вышла замуж за Альфреда Ле Пуатвена, брата Лоры. Когда же сын Жюля Мопассана Гюстав женился на Лоре Ле Пуатвен, обе семьи оказались связанными двойными брачными узами, словно орешник с



жимолостью, как поется в средневековых лэ<sup>[2]</sup>.

Альфред Ле Пуатвен умер 4 апреля 1848 года в Невиле, за два года до рождения Ги. Легендарному дядюшке было тогда тридцать два года. Он остался романтической фигурой в памяти своих близких. Пережив в юности жестокое разочарование, он возненавидел любовь и, как Ролла<sup>[3]</sup>, попытался утопить свое горе в разврате, последствием которого явилось весьма странное заболевание, повторяющаяся галлюцинация — больной видел себя как бы со стороны — видел своего **двойника**.

Умер он от болезни сердца за чтением Спинозы.

Болезнь Альфреда отозвалась в загадочной наследственности Мопассана: притаившись до времени, она дремала в коренастом теле маленького грустного бычка.

Туманная родословная Ги де Мопассана заставляет сомневаться в его старинном дворянском происхождении. Дед Жюль был сыном некоего Мопассана де Вальмона, чиновника по выплате ренты, проживавшего в Париже в 1785 году. Дворянская приставка «де» была отброшена, по-видимому, во время революции. «Де» стояло, следовательно, перед Вальмон, а не перед Мопассан. Вальмон (имя, которое Ги охотно возьмет в качестве псевдонима) — главный городок округа Сен-экс-Инферьер на реке Вальмон. Но если в Вальмоне и жили дворяне, то они никогда не носили этого имени. Жорж Норманди утверждает: «Предки Ги имели титул маркизов. На фамильных документах стояла печать австрийского императорского дома».

Жан-Батист Мопассан, советник-секретарь короля, погребенный 12 декабря 1774 года, первым в семье получил дворянский титул. Диплом австрийского королевского двора удостоверял сию милость. Диплом хранился у Мопассана, который немало им гордился. Драгоценный документ исчез в суматохе, последовавшей за смертью Ги, но в достоверности его не может быть никаких сомнений.

Благодаря настойчивости, уму, хитрости и решительности семья Мопассанов выползла из разночинной среды.

Исследование семейного архива не оставляет никаких сомнений: у Мопассанов дворянство случайное, пожалованное, а следовательно, нет и речи ни о каком маркиза-те. Но Лоре Ле Пуатвен не было до этого дела. Встретив соблазнительного Гюстава, она цепко ухватилась за беспечного

гуляку, волочившегося за ней. Если он хочет ей нравиться, то должен отвоевать титул. Просто необходимо, чтобы ее жених обрел право подписываться «де Мопассан». И она, разумеется, также! Возможно, что она поставила это одним из условий брака: Совсем незадолго до свадебной церемонии (9 ноября 1846 года) Гюстав добился от гражданского трибунала города Руана права добавить к своей фамилии приставку «де».

Составители актов гражданского состояния за определенное вознаграждение закрывали глаза на проявление этого безобидного тщеславия. Как бы там ни было, а за дворянской приставкой «де» подразумевается и замок. По существу, лучше всех достоверность версии о рождении Ги в Фекане подтверждает сама Лора. Она помешана на хорошем обществе, ненавидит ханжество, но только тогда, когда оно ей мешает, и подчиняется ему, когда оно ей льстит. И конечно, рождение юного «маркиза» — старшего! — в таком вульгарном месте, как Фекан, в котором она сама увидела свет, могло только унижить Лору Ле Пуатвен.

В записках Эрмины Леконт дю Нуи (мы еще не раз будем встречаться с ней в этой книге), которую Ги посвящал в свои тайны, находим следующее:

«Ги родился в...  
Эрве родился в замке д'Имовилль».

Неосведомленность женщины, которая была так дружна с Ги и, напротив, так мало знакома с его братом, является самым веским аргументом. Младший брат Ги, Эрве, родится шестью годами позже в арендованном замке.

Один из самых увлеченных исследователей Мопассана, Рене Дюмениль, писал: «По рассказам всех, кто знал Лору, она была женщиной необычайной красоты... К тому же отличалась большим умом: в ее светящемся и глубоком взгляде угадывалась воля, почти властность...»

Именно такой рисует Альфред Ле Пуатвен сестру в своем «Сонете к Мадемуазель Ле Пуатвен»:

*Мне ваша красота, увы,  
Не открывалась, нет.  
Но не расстраивались вы,  
И в том — тщеславья след.  
Но взгляд ваш, полный страсти взгляд!*

*Под ним, не знающим преград,  
Чье ж сердце не забьется?!<sup>[4]</sup>*

Мы располагаем несколькими ее фотографиями: высокая женщина с темными волосами, разделенными пробором на манер Жорж Санд. Большой чувственный рот, трепещущие ноздри. Глаза ее, бесспорно, излучают ум. Мрачная красота буржуазной Макбет. Но в ней есть еще и нечто иное, кроме оттенка властности, который подметил Рене Дюмениль: тревожная пристальность взгляда. Это портрет незаурядной личности, но фотографическое изображение Лоры дает нам право говорить и о скрытом неврозе.

Лора была достаточно сведуща в латыни и греческом, знала итальянский и английский. Обладала тонким вкусом, была независима в суждениях. Она до конца жизни не переставала спорить с Ги. И начиная с самого детства воспитывала его по-своему. Он всегда будет испытывать ее влияние как писатель, она всегда будет руководить им как человеком.

В книге «Конец Мопассана» Жорж Норманди пишет: «Госпожа де Мопассан всю жизнь страдала базедовой болезнью... Начиная с 1878 года она не могла глядеть на яркий свет, не кривясь от боли. И для избавления от мук она прибегала к наркотическим средствам». Флобер подтверждает в письме к госпоже Женет, что Лора вынуждена жить в темноте, «свет заставляет ее кричать от боли».

Гюстав де Мопассан скажет о своей бывшей жене в 1892 году: «Госпожа де Мопассан подвержена таким припадкам гнева, что по малейшему поводу у нее случаются страшные истерики, от которых она очень страдает. Она заговаривается, к ней не подступиться... Она выпила два пузырька опийной настойки. Я побежал за врачом, который принял меры, чтобы вызвать у нее рвоту и удалить яд, что и спасло ее. Когда она пришла в себя, гневу ее не было границ... Ее оставили на некоторое время в одиночестве. Она пыталась задушиться своими же волосами. Пришлось их отрезать».

Разумеется, надо помнить, что это свидетельство исходит от изгнанного мужа через несколько лет после драматической смерти младшего сына Эрве и через несколько месяцев после попытки Ги покончить с собой. Тем не менее Гюстав де Мопассан всегда считал Лору не совсем нормальной..

Наследственность, доставшаяся новорожденному Ги как от матери, очаровательной невропатки, так и от ее неуравновешенного брата

Альфреда Ле Пуатвена, была далеко не легкой.

Биографы Ги де Мопассана обычно суровы к его отцу. Быть может, даже слишком суровы. Гюстав (ему столько же лет, и у него то же модное имя, что у Флобера) был очень красив. Когда он встретился с Лорой, это был настоящий денди. Одетый с иголки, он щеголял в панталонах шотландского сукна на штрипках. У него вздернутый чувственный нос, хорошо очерченные брови, маленький изогнутый рот, вьющиеся па висках волосы, маленький, совсем не мужской подбородок. Гюстав волочит за красотками и пропадает в игорных домах. В молодой семье всеми делами заправляет, как это ни парадоксально, нервная, почти всегда недомогающая жена. Биржевой агент конторы Штольца в Париже, Гюстав — по призванию художник — несостоявшийся Гоген, бесталанный живописец, он всю жизнь будет стараться примирить желания с возможностями, мечты с действительностью и никогда не сумеет этого осуществить.

Бесспорно, многие черты характера Мопассан унаследовал от матери, однако и отцовского в нем достаточно: двойственного, подспудного, напоминающего неуравновешенность того, кому он обязан своим появлением на свет.

Ссоры между родителями Ги начали вспыхивать почти сразу после свадьбы. Они отравляют сознание сына. Девятилетний Ги пишет матери, вероятно из лица Наполеона в Париже: «Я был первым по сочинению. В награду госпожа де Х... повела меня в цирк вместе с папой. Как видно, она вознаграждает и папу, но я не знаю за что».

Как-то Ги и Эрве были приглашены на детский утренник дамой, за которой не без успеха ухаживал Гюстав. Так как Эрве был болен, то Лора осталась с ним. Ги очень долго одевался. Раздраженный отец пригрозил сыну оставить его дома.

— Да мне все равно! Это тебе, папа, больше, чем мне, хочется туда пойти!

— Завязывай же наконец шнурки на ботинках!

— Иди сам завяжи! Ты же знаешь, что все равно поступишь, как я хочу.

И отец подчиняется. Эти своеобразные отношения между отцом и сыном установились очень рано.

Трудность ли общения с болезненной женщиной, с которой у него уже не было физической близости, побудила Гюстава обманывать ее? Он оказался весьма одаренным в этой области. Бесспорно лишь то, что непостоянство одного подстегивало раздражительность другой. Брак

оказался неудачей, с которой такая женщина, как Лора, не могла примириться.

Двенадцати лет от роду Ги присутствует при такой сцене, разыгравшейся между родителями.

— Твоя мать просто дура! — орет Гюстав. — Впрочем, дело не в ней, а в тебе! Мне нужны эти деньги, я требую, чтобы она подписала!

Ги весь похолодел. Он еще никогда не слышал, чтобы отец так кричал. Мальчик не узнает также и пронзительного голоса матери:

— Нет, я не подпишу. Это деньги Ги. Я берегу их для него и не хочу, чтобы ты промотал их с девками и горничными, как ты это уже сделал со своим наследством!

«Тогда отец, дрожа от бешенства, повернулся и, схватив мать одной рукой за горло, другой начал бить ее изо всех сил по лицу... Мне казалось, что наступил конец света и пошатнулись все незыблемые основы бытия... Мой детский ум помутился, и я, не помня себя, начал пронзительно кричать от страха, боли, невыразимого отчаяния...»

Вдруг Гюстав видит своего сына и идет к нему. Обезумев от ужаса, мальчик удирает и проводит ночь в саду, под деревом, не отвечая на крики искавших его людей. На завтра отец не произнес ни слова. Мать с заплаканными глазами только сказала: «Как ты меня напугал, гадкий мальчик, я не спала всю ночь».

«И вот, мой друг, все было кончено для меня. Я увидел обратную сторону жизни, ее изнанку; и с того самого дня лучшая ее сторона перестала для меня существовать».

Большинство исследователей Мопассана считают это откровение героя новеллы «Гарсон, кружку пива!» автобиографическим.

Нечто подобное привело наконец к полному разрыву между супругами. Они разъехались в 1862 году. Пессимизм писателя имел самые глубокие корни.

*Ги с семи до тринадцати лет. — Детство в Верги. — Оффенбах, морские купания и развлечения. — Первая лодка. — Духовное заведение в Ивето. — Весенние стихи. — От Лоры до Гюстава Флобера. — Бес в ребро*

В семь лет Ги позирует перед объективом провинциального фотографа: капризный рот, застывшее выражение лица. Крепыш держится прямо, типичный маленький крестьянин, которого стесняет прическа и топорщащиеся складки непривычной новой одежды. Мать завила ему волосы волнами, повязала бант и нагладила юбку, обшитую шнуром. Никакого сомнения! «Она мечтала о дочке». О повторении себя самой.

Есть и другая фотография — Ги в тринадцать лет. Она сделана в Фекане во время каникул. Ги держит руку на молитвеннике. Мальчик стал еще крепче. Глаза прячутся под густыми бровями. Пухлые губы. На нем того гляди лопнет жилет. На шее по-прежнему бант. Он больше не похож на девочку, зато появилась кокетливость молодого мясника — качество, которое Мопассан сохранит, став взрослым мужчиной. Через несколько минут он сбросит лакированные туфли, чтобы ввязаться в драку с сорванцами, которых прислуга его бабки тетушка Жозеф называет с презрением «портовые крысы».

Даже если бы развод по закону был возможен (а закон этот появился только в 1884 году), то Лора де Мопассан все равно бы не решилась на бракоразводный процесс. Она никогда не согласилась бы вновь стать Ле Пуатвен. Лора не испытывала презрения к неверному мужу и продолжала оставаться с ним во имя интересов детей. В глазах света она, несомненно, одержала верх над мужем.

До того, как Гюстав и Лора расстались, они часто приезжали отдыхать в Этрета.

В книге прибывших за 1859 год указано, что Мопассаны 1 июня поселились у некой госпожи Ледантю. Позже они купили виллу Ле Верги, большое здание XVIII века, расположенное между феканским шоссе и улицей Нотр-Дам, рядом со старинной церковью, построенной в романском стиле.

Дом стоит и сейчас. Весь сад зарос травой. Сохранился большой

парник, из которого мальчишки не раз высаживали стекла, на что Лора реагировала лишь спокойным замечанием:

— Сходи к Бреару и скажи ему, чтобы пришел вставить новые стекла.

И сегодня еще эта счастливая обитель заслуживает своего названия: Ле Верги — фруктовый сад. Окна выходят в тенистый парк, где шумят клены, липы и березы. Здесь же растет и поныне тисовое дерево, посаженное Ги.

В Этрета и в феканском доме бабушки прошло детство Ги. До тринадцати лет, пока он не закончит коллеж, Ги будет жить «в милом доме» Ле Верги и там проводить каникулы.

Когда Лора разрешает мальчику погулять, он убегает к морю, к рыбакам, к смоле, которую они греют на берегу, к чайкам и лодкам. Нередко мать сопровождает его. Однажды они очутились там во время прилива, рискуя сломать себе шею, карабкались на скалы. Лора дышала полной грудью и прижимала к себе сына. Она была счастлива. А он смотрел на нее с восторгом, вслушиваясь в крики парящих над ними чаек.

Беседы, в которых эта оставленная мужем женщина раскрывала перед мальчиком свое понимание мира, чтение Шекспира составляли основную часть воспитания, пробелы в котором заполнял аббат Обург, викарий Этрета.

«Мы — я и мой брат — были воспитаны нашим дядюшкой, аббатом Луазелем, высоким костлявым священником, чьи идеи были столь же угловаты, как и тело. Даже сама душа его и та казалась жесткой и сухой, как ответ из катехизиса. Он заставлял нас заучивать наизусть имена мертвых, начертанные на крестах из черного дерева».

Кладбище — в ста метрах от Верги. Ги записывал имена, выведенные на памятниках, — впоследствии он использует их в своих рассказах — и весьма мало интересовался библейским богом своего наставника.

Очерк, опубликованный в газете «Голуа» в 1880 году за подписью «Дьявольский чан» (так прозвали укромное местечко за скалами), дает представление об Этрета времен детства Мопассана. «В Этрета смешанное население, здесь обитают извечные враги, художники и буржуа. Они объединяются против низкопробных хлыщей и аристократов... Оффенбах, Фор<sup>[5]</sup>, Ле Пуатвены владеют там прелестными виллами, где их семьи, а иногда и они сами поселяются с появлением первых распустившихся листьев и уезжают с наступлением первых холодов.

Неизменно в десять часов утра (если погода позволяет) хозяева вилл спускаются к морю... Мужчины идут в казино, читают газеты, играют на бильярде или курят на террасе. Женщины предпочитают пляж, жесткий и



каменистый, но зато всегда сухой и чистый... Оффенбах — один из наиболее богатых людей города: у него роскошная вилла, самый большой и красивый салон в Этрета...»

Над прибрежной деревушкой возвышалась средневековая башня. Эта «развалина» принадлежала основоположнику рекламы Долленжену — владельцу бульварных газет «Ла Фоли» и «Ла газет де Пари». Милейший оригинал установил на площадке перед замком пушку, из которой сторож стрелял всякий раз, когда приезжал хозяин. Потом появились знамя и виселица. Когда же дело дошло до скелета, вмешательство муниципалитета полон, чло конец прихотям Долленжена. Он продал замок, получил пожизненную ренту и вскоре скончался от тоски.

В Этрета было немало таких чудаков, находивших гостеприимный приют в пансионах Бланке, Овиль и в отеле де Бэн. Альфонс Карр<sup>[6]</sup>, который приблизительно в 1850 году ввел Этрета в моду, очень уважал папашу Бланке, умершего уже при жизни Ги. На вывеске пансиона были изображены заброшенные лодки, опрокинутые вверх дном, — такие лодки и поныне лежат на пляже, тускло поблескивая своими черными боками.

Вдова Бланке властно хозяйничала за табльдотом. Одна история, имевшая к ней отношение, привела когда-то в восторг хроникера из «Голуа». Одинокая, молодая и красивая путешественница, по-видимому иностранка, спрашивает комнату с видом на море. Госпожа Бланке готова уже отказать ей, но та сообщает, что вскоре приедет муж. Все улажено. Но муж задерживается. Госпожа Бланке не любит шутить с приличиями и выселяет иностранку. В ту же ночь, когда дама покинула отель, приезжает какой-то мужчина и спрашивает комнату № 4. Увидев у дверей пару сапог, он врывается к спящему жильцу и избивает его. Это был муж иностранки, который ничего не знал ни о строгих нравах госпожи Бланке, ни о выселении своей жены. Постояльцу не оставалось ничего другого, как снова погрузиться в сон. Он так толком и не понял причины полученной взбучки!

Селедочный рассол, танцы, светские развлечения, кадрили Оффенбаха — вот обстановка курортного городка, в котором рос и мужал Ги де Мопассан.

Лора утомлена непоседливостью сорванцов («Ах, эти мальчишки!»). Она не может далее откладывать свое решение. Надо отправить старшего сына в пансион. Она выбрала религиозное заведение в Ивето, нечто вроде маленькой семинарии. Оно помещалось на окраине города в мрачном здании, окруженном высокой стеной.

Недолгие школьные годы Ги до поступления в семинарию Ивето малоизвестны. Мы располагаем лишь одной характеристикой Ги из Императорского лицея Наполеона в Париже, относящейся к 1859/60 учебному году. Она хранилась в той кипе бумаг, которую Лора передала Эрмине Леконт дю Нуи после смерти Ги:

«Здоровье, хорошее.

Характер: очень мягкий.

Воспитание: очень тщательное.

Религиозные обязанности: хорошо выполняются».

Оценки весьма разнообразны. Он заслуживает «хорошо» и «посредственно» по религиозным предметам и истории, «посредственно» и «очень хорошо» — по французскому языку и географии; «посредственно», «очень хорошо», «посредственно» — по арифметике. Милый способный ребенок: «Прекрасный ученик, чья воля и усидчивость заслуживают всяческой похвалы и поощрения. Постепенно он привыкнет к труду, и мы рассчитываем на определенный успех».

В большой книге в кожаном переплете, гордости библиотеки Этрета, имеются отметки Ги за 1863/64 и за 1867/68 годы.

Вот табель за 31 декабря 1863 года:

«Поведение: исправное.

Занятия: прилежные.

Характер: хороший и покорный. Хорошо начал и, надеюсь, будет продолжать в том же духе».

Ги так и делает. Поведение «исправное», занимается «прилежно», характер «открытый и покорный». Это последнее слово повторяется постоянно в его характеристиках.

Между тем письмо Ги к матери от 2 мая 1864 года рисует нам юного воспитанника семинарии, думающего больше о лодках, чем о спряжениях глаголов: «Вместо бала, который ты обещала мне в начале летних каникул, я прошу тебя — устрой скромный обед и, если тебе это безразлично, дай мне половину денег, которых стоил бы бал, тогда я смогу купить себе лодку... Мне не нужна лодка, которую обычно стараются всучить парижанам, такие лодки никуда не годятся. Я пойду к знакомому таможеннику, и он продаст мне рыбачий ялик с круглым дном...»

Он знает, чего хочет. Ему хватает и юмора, и хитрости, и нежности.

Вскоре Ги будет катать в лодке свою собаку Мато, названную в честь героя флоберовского романа «Саламбо». Пес такой же отличный пловец, как и его юный хозяин. Частенько Ги, вытянувшись на дне, читает, охраняемый собакой, которая словно управляет лодкой.

Если мы ограничимся изучением табелей семинарии Ивето, перед нами возникнет образ «послушного» ребенка. В 1865/66 годах все было нормально. В таблице за вторую четверть следующего учебного года появилась оговорка: «Представил сведения о занятиях за время, проведенное дома». Пропуск в занятиях был вызван болезнью. В третьей и четвертой четвертях повторяются те же оценки: поведение «исправное», занятия «прилежные» и характер «всегда хороший, приятный». Действительно, ни к чему не придерешься, кроме как к табелю, датированному 15 декабря 1867 года, где имеется замечание по поводу недостаточного интереса Ги к математике. Это же найдет свое отражение и в оценках от 15 мая 1868 года:

«Поведение: исправное.

Занятия: в общем удовлетворительные. Недостаточно прилежен к отдельным предметам.

Характер: вежливый и покорный».

Бесспорно, мальчик одаренный, и отцы-воспитатели заинтересованы в таком ученике. Но он восстает и против заточения, и против религии. Ги жертва материнских противоречивых стремлений. Снобизм Лоры — ведь она не более верующая, чем отец, — толкнул ее отдать мальчика в религиозное заведение. Ги с первых же дней возненавидел «печальное здание, населенное священниками и учениками, которых — почти всех без исключения — готовят в монахи... Там пахло молитвой, как пахнет рыбой на базаре в день прилива». Влюбленный в воду, в чистый воздух, он ненавидит грязь. А детям разрешали мыть ноги только три раза в год. Никогда не водили в баню! Он возмущен. Выход быстро найден. Он болеет. И часто. И щеки его розовеют только тогда, когда воздух, врывающийся в окно экипажа, увозящего его домой, начинает пахнуть морскими водорослями.

Вскоре никто уже не принимает всерьез его мигрени. Мать и воспитатели из Ивето, очевидно, правы, не веря этим выдумкам. И впоследствии, будучи солдатом, затем служащим министерства, Мопассан прибегнет к подобным же уверткам, на которые легко «клевало» начальство. Между тем позднее он так будет страдать от мучительных невралгических болей, что невольно спрашиваешь себя, не был ли уже в

детстве крепкий с виду мальчик поражен страшным недугом. Одно совершенно ясно: этот «покорный» ребенок был очень несчастлив. «Я никогда не играл, у меня не было товарищей, и я проводил время в тоске по родному дому. Лежа в постели, я плакал... И кто виноват в столь ужасных переживаниях из-за пустяка, которые в короткий срок калечат молодые души...»

В менее затхлой среде он мог бы стать блистательным учеником. Ги, нервничая из-за того, что отец не прислал ему обещанного словаря, напоминает ему об этом: «Ты, наверное, забыл послать мне — его перед Новым годом, или, быть может, ты решил, что он мне не нужен для занятия греческим и латынью... Словарь мне необходим...»

Этот тон нас уже не удивляет. Школьник разделяет снисходительность Лоры к Гюставу. Никогда **отец не будет в глазах Ги по-настоящему взрослым, никогда не будет отцом.**

Одновременно со словарем Ги требует гербовую почтовую бумагу с инициалами отца: «Они те же, что мои; ты мне доставишь этим большое удовольствие. У меня совсем нет такой бумаги, мне нужно две или три пачки для писем...»

Материнское воспитание достигает цели. Растет решительный человек со своим определенным мнением, которое он и выражает без колебаний. Ги пишет со всей резкостью: «Это животное Наполеон — неужто он всегда будет оставаться на троне? Я хотел бы, чтобы он отправился ко всем чертям!»<sup>[7]</sup>

Наконец в нем пробуждается поэт, родители это поощряют, поскольку и его неудавшийся художник-отец, и его просвещенная мать также тяготеют к поэзии. «Не знаю, не надоед ли я тебе, но посылаю еще одну свою поэму, которая написана хотя (!) и более небрежно, чем предшествующая, но в ней больше удачных строк. Это мечты, и я не обуздывал свою фантазию. Я сочинил ее в часовне во время мессы».

*Вот этот подпольный диалог с музой:  
В свидетели любви леса я призывал,  
Долины, волны, глыбы влажных скал.  
Рыча, бросался на берег прибой,  
Но оголтелый ветер штормовой  
Не слышен был: другой, сердечный шквал —  
Крик сердца моего — грозу перекрывал...  
Мне узок горизонт, мне не хватает дня,*

*И вся вселенная ничтожна для меня!*<sup>[8]</sup>

Взрыв честолюбивых желаний! Школьник рифмует без усталости. В 1866 году он пишет:

*Мальчишкой я любил боев кровавый шквал,  
И рыцарей блистательных и смелых, —  
Тех, кто в песках за Гроб Господний пал —  
В далеких и чужих пределах.  
Я Ричарда<sup>[9]</sup> тогда боготворил.  
Владел моей душой король отважный.  
Я сам — король — в ту пору счастлив был..  
Но девочку я повстречал однажды.  
«Вот сердце, вот мой лес, вот замок мой.  
Пойдем играть! Нас солнце ждет повсюду!»  
Зачем мне отправляться в край чужой.  
Когда я здесь нашел такое чудо?  
И почему Колумб несчастен был,  
Увидев новый мир на горизонте...<sup>[10]</sup>*

Ги великолепный пример лирической лихорадки юности, от которой излечиваются с приходом зрелости. Он начал рифмовать в тринадцать лет. Даже во времена, когда сочинение стихов по-французски и по-латыни являлось обычным школьным упражнением, редкий подросток так хорошо владел родным языком, чтобы написать:

*На колеснице Феб на небеса въезжал,  
И месяц прогнанный, загораясь, бежал;  
Тут захотелось мне с Природой поразвлечься,  
Сквозь рощи, зеленью манящие, повлечься...*

В этих строчках звучат тоска по свободе, любовь к природе и отчаянная потребность к бегству. Занятный мальчуган этот Ги, переходящий от угрюмого молчания к шумным проделкам, способный драться как дикарь и бесконечно рифмовать в угоду любой юбке!

Лора с гордостью цитировала строки из поэмы, которую Ги послал ей

2 мая 1864 года:

*Жизнь — это пенный след за темною кормою  
Иль хрупкий анемон, что выращен скалою,  
Тень птицы беглая на солнечном песке,  
Зов тщетный моряка, что тонет вдалеке  
Жизнь есть туман, лучом нездешним осиянный,  
Единственный момент, нам для молитвы данный.*

Лора в своей гордыне восхищалась всем. Но стихотворение «Жизнь — это пенный след» действительно было даром божьим, как и сам его автор.

В Ивето тем временем назревал конфликт. Лора обо всем рассказала Флоберу в письме от 16 марта 1866 года. В эти годы между ними возобновились дружеские отношения. Флобер написал ей, с нежностью вспоминая детство: «Вижу вас всех в доме на Гранд Рю, вспоминаю, как вы гуляли на солнышке по террасе, рядом с голубятней!.. Помнишь, как мы читали в Фекане «Осенние листья»<sup>[11]</sup> в маленькой комнатке на третьем этаже?»

Нежная дружба, притупившаяся с годами, вновь оживает. Лора изливается перед ним, посвящает в свои тревоги: «...Бедный мальчик видел и понял многое, и он слишком зрел для своих пятнадцати лет. Он очень напомнит тебе Альфреда!»

Это письмо подтверждает, что Ги не раз был свидетелем семейных стычек. Но Флобера особенно взволновало замечание о сходстве Ги с дядей Ле Пуатвеном. «...Я вынуждена была забрать его из семинарии Ивето, — объясняет Лора, — где мне отказали освободить его от поста, несмотря на требование врачей. Поистине странная манера понимать религию Христа». Но есть в письме еще и другое! «Ему там совсем не нравилось: суровость монастырской жизни никак не подходила к его впечатлительной и тонкой натуре, и бедный ребенок задыхался за высокими стенами... Я думаю поместить его на полтора года в гаврский лицей...»

В Ивето покорный мальчик превратился в настоящего чертенка. В нем развился вкус к нормандской шутке, смачной, грубоватой, которую Флобер называл «гр-р-ран-диозной», шутке такой же соленой, как марсельские анекдоты или брюссельские присказки.

С благодушием, свойственным взрослым людям, Ги позднее будет рассказывать о своей школьной жизни Франсуа Тассару, слуге и

наперснику: «Мне было четырнадцать лет, я учился в семинарии в Ивето. Нам давали пить отвратительный напиток, который назывался «Изобилие». Чтобы отомстить, один из нас украл у кладовщика ключи. Когда надзиратели уснули, мы бросились опорожнять погреб... Закатали такую пирушку, что всем чертям аж тошно стало! Так как я был одним из зачинщиков и не собирался слагать с себя ответственность за свои поступки, то и был исключен из заведения...<sup>[12]</sup> Меня это несколько не огорчило, в Руанском коллеже все же было лучше!»

Все, однако, было куда сложнее, куда более **по-нормандски**. Монахи не решались открыто признаться в том, что вынуждены были избавиться от этого блестящего, но недисциплинированного ученика.

Очевидно, Ги пришлось проявить немало изобретательности, чтобы добиться своего. Одна из его двоюродных сестер, некая Е. Д., вышла замуж. Он был с ней дружен и написал по этому случаю послание в стихах:

*Давно от мира отрешенный...  
От воздуха, лесов, полей,  
Услышу ль я в тоске бездонной  
Твой голос — всех других нежней?*

*Ты мне сказала: «Праздник счастья,  
Где адаманты и цветы  
Венчают опьяненных страстью,  
Воспеть стихами должен ты».*

*Но я живу как погребенный  
Средь скучных стен монастыря;  
Что знаю в жизни монотонной,  
За исключением стихаря?*

Уже в это время мальчик, в котором начал пробуждаться мужчина, писал стихи куда похлестче! Тем не менее этого стихотворения оказалось достаточно, чтобы насторожить целомудренных отцов. Ги оставил эти стихи на виду. Упущение? Забывчивость? Сознательная провокация? Быть может, и этот проступок не сыграл бы решающей роли, но Ги сочинил еще пародию на проповедь о проклятии<sup>[13]</sup>, да в таких выражениях, которые воспитатели в сутанах уж никак не могли допустить.

— Что же это такое? Как это! — возмутился настоятель. — В этого



сорванца сам бес вселился.

Ги был отправлен в Этрета в сопровождении швейцара. Лора сумела весьма искусно изобразить возмущение и гнев, но на самом деле она еле сдерживала смех. Ги достиг своей цели. Вскоре, в мае или июне 1868 года, он поступит в руанский лицей имени Корнеля в класс риторики<sup>[14]</sup> и опять интерном.

Это была победа дерзкого школьника. Строгий Корнель, суровый попечитель заведения, глядел на него с портрета с заговорщицкой улыбкой сорванца (каким был и он сам в годы юности в Руане), словно радуясь тому, что на смену ему, «старожилу», в «ковчег» пришел «новенький» из его же клана!

*Курбе рисует «Волну». — Девичий грот. — Фанни-обманищица... — «Кораблекрушение» Суинберна*

Самые ранние детские воспоминания Ги неразрывно связаны с морем, волнами, прибрежной галькой. «Не кажется ли вам, что коротенькое название Этрета, неровное и скачущее, звонкое и веселое, как будто родилось из звука перекачиваемой волнами гальки?»

В любую погоду прибежал мальчик к морю. Необъяснимый инстинкт толкает Ги сюда с такой же силой, с какой влечет угрей к Саргассову морю. «Я пришел на пляж, чтобы поглядеть на шторм. Разъяренный ветер гнал бушующее море на берег, тяжело катились одна за другой огромные, медлительные, увенчанные пеной волны. Потом, натолкнувшись вдруг на твердый скат берега, усыпанный валунами, они выпрямлялись, выгибались дугой и обрушивались с оглушительным грохотом. А между скалами залива, кружась, вздымалась ввысь пена — сорванная ветром с гребней волн и уносимая бурей, она летела над крышами городка в долину».

Блестяще **нарисованная** страница!

«Вдруг кто-то сказал рядом: «Пойдемте же посмотрим на Курбе — он пишет великолепную вещь». Слева эти были обращены не ко мне, но я все-таки отправился следом, так как был немного знаком с художником. Он жил в домике у подножия крутой скалы, на самом берегу моря. Дом этот некогда принадлежал художнику-маринисту Эжену Ле Пуатвену. В большой комнате с голыми стенами жирный и грязный мужчина накладывал кухонным ножом пласты белой краски на большое чистое полотно. Время от времени он прикидал лицом к стеклу окна и смотрел на бурю...»

На камине, рядом с недопитым стаканом, стояла бутылка сидра. Иногда Курбе отпивал несколько глотков, блаженно причмокивал и снова возвращался к мольберту... Он писал тогда свою «Волну»<sup>[15]</sup>. В этих воспоминаниях, написанных Ги для газеты «Жиль Блас» двадцать лет спустя, «Волна» вспенится вновь, так же как она пенилась и грохотала на полотне этого художника из художников той щедрой эпохи. Могучий выходец с гор Юры обычно плавал, не выпуская короткой трубки изо рта, и получил у моряков Этрета прозвище «Морж».

Ги никогда не забудет детства, проведенного у моря: «Я вырос на берегу серого и холодного моря Севера, в маленьком рыбацком городке, вечно бичуемом ветрами, дождями и мелкими брызгами волн, всегда полном запахами сушеной рыбы, в потемневшем от времени доме с кирпичными трубами, и дым, валивший из них, разносил далеко вокруг крепкий запах копченой селедки».

Это, конечно, не Этрета. Это Фекан. Здесь ребенок вдыхал полной грудью острый запах селедочных бочек, столь ненавистный его матери. В одной только фразе, приведенной выше, слова «берег», «море», «рыбацкий», «дождь», «брызги», «рыбы» — концентрат жизни рыбацкого городка.

«Ребенком я испытывал истинное наслаждение, когда в полном одиночестве допоздна засиживался на берегу Океана, спокойного или искаженного бурей».

Подросток сочинял не только шаловливые стихи. Он писал по любому поводу, о чем угодно — лишь бы писать! Любопытны строки, которые он посвящает скале и гроту. «Легенда о Девичьем гроте в Этрета», вероятно, написана в 1867 году. Формой своей она напоминает народную песню, жалостливую и наивную:

*С тихим плеском лизжут волны,  
Ласки полны,  
Лизжут берег, весь в камнях;  
В этой песне полусонной,  
Монотонной  
Слышен плач о светлых днях.  
Там есть грот уединенный,  
Вознесенный  
Высоко над лоном вод,  
В это царство, где жилицы —  
Только птицы,  
Тропка узкая ведет.  
Да тайник то настоящий  
И висящий  
Между небом и водой,  
Угол, всеми позабытый  
И укрытый  
От вселенной остальной*

*Не одна туда девица  
Милолица  
На свиданье с другом шла...*

Все и теперь здесь сохранилось, как прежде. У Девичьего грота кипят волны, разбиваясь о скалу. Отсюда, на берегу залива, виден Этрета и бухта Амон... Красные черепичные крыши богатых вилл утопают в зелени. Шум моря по-прежнему сливается со звоном перекачиваемой гальки, который слышен в «Волне». Скрипят ржавые уключины лодок. Алый клевер, люцерна, кремнистые осколки, оправленные в известь, черная смола и перламутр пены, темные лодки и белые гребни напоминают о юноше Ги. В извечном дыхании моря и в порывах западного ветра слышится: «Мопассан, Мопассан, Мопассан...»

Вода вдохновляет поэта. Вода — это женщина. Женщина — это вода. Всю свою жизнь Ги (имя это само собой срывается с пера, как оно срывалось с уст его друзей) будет сопоставлять воду с женщиной.

Летом 1868 года отели переполнены. Танцуют в казино, танцуют у Оффенбаха. Двор гостиницы Ото забит колясками. Долленжен, по-видимому, тоже здесь, в своем замке, — флаг его бьется над старой башней.

Бегом спустившись к берегу, Ги вскакивает в лодку и, отвязав трос, вскоре причаливает к старому деревянному казино доброго Жозефа, не слишком взыскательного к долгам молодых людей. Рыбаки бросают на гальку к ногам прелестных парижанок трепещущую макрель, чудовищных скатов и вызывающих странные ассоциации омаров. Дамы визжат...

На этих красотках оттачивает свой вкус молодой повеса. Ги нагло разглядывает купальщиц, которых веселые, здоровенные моряки несут на руках до самой волны, — волны Курбе, конечно, но также и волны Метра<sup>[16]</sup>. Ги безошибочно отмечает: «Лишь немногие женщины способны выдержать испытание пляжа. Именно здесь можно полностью их оценить от щиколотки до груди!» О! Ведь это он же, став мужчиной, скажет: «Те, кому не довелось испытать поэтическую любовь (как раз его случай — он сам подтверждает это. — А. Л.), выбирают женщину, как выбирают котлету в мясной лавке, не заботясь ни о чем, кроме качества мяса».

Этрета его молодости — это мясной прилавок.

По запискам Жизель д'Эсток, в один из таких вечеров подросток повстречал некую Фанни де Кл., парижанку, наслаждавшуюся прелестями Этрета. Она была хороша, смешлива, благоухала отличными духами.

Мальчик желал ее, и глаза его говорили об этом. Оригинальный поклонник, этот маленький коренастый самец сочинял попеременно то циничные, то сентиментальные стихи! Он их преподнес Фанни... Вечером с бьющимся сердцем Ги отправляется к ней. Едва очутившись в саду, он слышит взрывы хохота... О ужас! Фанни декламирует, давясь от смеха, стихи своего юного воздыхателя... Жизель д'Эсток так описывает происшедшее: «Этого оскорбления Ги никогда не позабыл. Этого страдания он никогда не простил другим женщинам... При одном только воспоминании об этой жестокой сцене ему становилось не по себе, и он не в силах был сдержать отвращения».

Если все то, что исходит от Жизель д'Эсток, следует хорошенько проверять, то сведения, полученные от того, кто ныне признан лучшим врачом Мопассана, не требуют проверки. Доктор Шарль Ладам также объясняет отношение Мопассана к женщинам «ранней травмой», серьезным разочарованием, которое потрясло душу юноши: «Отказ от любви обострил пессимизм писателя».

Унизительная сцена, которую наблюдал дерзкий мальчишка в саду легкомысленной парижанки, имела то же последствие, что и ранее сделанные им наблюдения над неудавшейся любовью родителей.

В 1868 году какой-то англичанин поселился с другом и обезьянкой на небольшой даче в Этрета. Обезьяна привлекла всеобщее внимание — к англичанам здесь уже привыкли.

Англичанина звали Поуэл. Как-то раз его друг, отличный пловец, чуть было не утонул<sup>[17]</sup>.

«Однажды утром, часов в десять, прибежали рыбаки, крича, что какой-то купальщик тонет в бухте Амон. Они взяли лодку, я их сопровождал. Пловец, не знавший, что в узком проходе сильное морское течение, был увлечен им, а потом подобран рыбацкой лодкой...»

Так как Ги участвовал в спасении этого англичанина, то господин Поуэл пригласил его позавтракать.

«Они ждали меня в тенистом, дышавшем свежестью, красивом саду, позади низенького нормандского домика из известняка с соломенной крышей Оба друга были небольшого роста, но Поуэл — дороден, а Суинберн — донельзя худ и с первого взгляда производил впечатление настоящего призрака».

Яростному романтику, поклоннику Уильяма Блейка и другу прерафаэлитов — Россетти и Берн-Джонса<sup>[18]</sup> — Олджернону-Чарльзу

Суинберну исполнился тридцать один год «Я некогда встречался с этим поэтом, у него необычное лицо — одно из самых интересных лиц, что я видел, способное внушать тревогу Он показался мне каким-то чувственным и идеалистичным Эдгаром По, наделенным писательской душой, но еще более восторженной, извращенной, влюбленной во все странное и чудовищное, еще более любопытной, еще сильнее охваченной желанием отыскивать и пробуждать неуловимые и противоестественные явления жизни...» Большой лоб, длинные волосы, лицо суживается к небольшому подбородку, поросшему жидкой бородкой. «Чуть заметные усики над необычайно тонкими, плотно сжатыми губами; неестественно длинная шея соединяла эту освещенную пристальными и светлыми ищущими глазами голову с телом почти без плеч — узкая грудь казалась лишь немногим шире лба. Нервное содрогание пронизывало это почти сверхъестественное существо».

Почти до самой смерти Мопассан не забывал об этом знакомстве, о первой встрече с поэзией, воплощенной в образе конкретного человека «За завтраком разговор шел об искусстве, литературе и людях; и все, о чем бы ни говорили эти друзья, было как будто озарено каким-то зловещим, потусторонним светом; судя по их манере видеть и понимать, это были болезненные мечтатели, опьяненные поэзией, магической и извращенной».

Молодой нормандец с любопытством смотрит по сторонам. Все, что он видит, пробуждает в нем противоречивые чувства, скрытое тяготение к необычному. Ничто покамест, кроме легенды об обаятельном дядюшке Альфреде и шекспировских чтений матери, не пробудило дремавший в этом подростке романтизм.

Повсюду картины, одни превосходные, другие причудливо-странные, воплощавшие такие замыслы, которые могли зародиться лишь в мозгу умалишенного. «На одной из них, написанной акварелью, был, насколько я помню, изображен череп, плывущий в розовой раковине по безграничному океану, озаренному светом луны, напоминавшей человеческое лицо... Мне запомнилась ужасная рука с содранной кожей, иссохшая, с обнаженными почерневшими мышцами. На кости, белой как снег, виднелись следы давно запекшейся крови...»

— Акварель, без всякого сомнения, принадлежала кисти шизофреника. Что же касается «руки», то она войдет в жизнь Ги и будет преследовать его, ставя под сомнение могучий, но «приземленный» реализм, который он будет утверждать в литературе. Эта «рука» послужит темой его первого рассказа «Рука трупа», который он опубликует в двадцать пять лет. Суинберн подарит ему «руку» как символ всего темного в сознании этого

нормандского бычка.

Англичане постарались поразить мальчишку. В меню вошло «жаркое из обезьяны». И действительно, была подана жаренная на вертеле обезьяна, «купленная специально в Гавре у торговца экзотическими животными. Когда я вошел в дом, меня затошнило от одного запаха этого жаркого, а отвратительный вкус этой твари навсегда отбил у меня охоту к подобному угощению...».

Море, холодный Ла-Манш, бурный или перламутровый — Ла-Манш Курбе и Ла-Манш Будена, — определяют некоторые стороны творчества писателя: поэтическое откровение, чувственность, любовную горечь, приглушенное и дразнящее ощущение ужаса, безумия и смерти.



*Луи Буйле и праздник святого Карла Великого, — «Искушение святого Антония». — «Ваши стихи написаны по меньшей мере пятьдесят лет назад!» — Ателье Круассе. — Степень бакалавра и Париж. — Столица перед разгромом*

Ги тотчас же страстно полюбил Руан, холмистый и пламенеющий, заводской и готический, сухопутный и морской. Собор Руана он опишет в духе восхитительного Моне: «Чуть омытый утренним туманом, с солнечными бликами на крышах, с шестью тысячами легких колоколен, остроконечных или приземистых, хрупких и граненых, как гигантские брильянты, с его квадратными или круглыми башнями, украшенными геральдическими коронами, дозорными выступами, колоколенками, — все это готическое нагромождение крыш, куполов и возвышающийся над ними остроконечный шпиль собора, удивительная бронзовая игла, уродливая, причудливая, огромная, самая высокая в мире...»

Акклиматизация молодого философа прошла относительно безболезненно, отчасти благодаря тому, что мать его также временно поселилась в Руане. Эта сильная духом женщина окончательно покинула слабовольного мужа. Но, сам того не ведая, Ги страдает от образовавшейся пустоты: ему очень недостает отца.

«Однажды, когда мы после прогулки направлялись к лицу, один зубрила, которого, как ни странно, все уважали, сделал вдруг жест, словно предлагал всем нам остановиться; затем он с почтением и смирением поклонился... толстому господину в орденах, с длинными опущенными книзу усами, который шел, выпятив живот, закинув голову назад, спрятав глаза за стеклами пенсне». Несмотря на явное сходство с Гюставом Флобером, то был не он, а хранитель городской библиотеки, поэт Луи Буйле.

Ги тотчас же раздобыл его поэму «Фестон и Астрагал» и погрузился в музыкальные стихи, смешливые, нежные, иронические, которым потом подражало немало символистов и других поэтов вплоть до Франсиса Карко:

*Ну что ж, что у тебя худая грудь!  
Так к сердцу моему ты ближе,*

*И я могу в ту клетку заглянуть,  
Где между ребрами любви мечтает чижик.*

Когда стихи удаются — а так случается довольно часто, — они звучат как песня у Жюля Лафорга:

*Да, под моим смычком певучим ты  
Казалась инструментом мне не даром:  
В глуши твоей души звучат мои мечты,  
Как в мертвой пустоте гитары<sup>[19]</sup>.*

— Решено! — бросает Ги. — В четверг отправлюсь к нему.

Холостяк, шутник, фанатически влюбленный в искусство, Луи Буйле привлекал симпатии молодежи. Он пленил воображение лицеиста. Его визиты участились. Возвращаясь в лицей, подросток буквально расцветал под восхищенными взглядами своих товарищей.

В день праздника святого Карла Великого, 28 января 1869 года, Ги должен был читать свои стихи. Буйле, послушав его, скорчил гримасу:

— Твой александрийский стих неточен, но я встречал и похуже... Впрочем, чепуха! Сойдет вместе с шампанским!

Стихи начинались так:

*Бесспорно, это грех, о добрые друзья,  
Писать стихи — о чем не ведая, не зная...  
Божественной волны прождал весь месяц я —  
Но нет ее, и вот я снова ожидаю.*

Дальше было не лучше, претенциозно и плоско:

*Свободное чело надменно поднимая,  
Она таит в груди ростки грядущих дней  
И знает мощь свою, с насмешкою взирая  
На твердь небесную.*

Но вот настроение меняется — набегают тучка. Отрочество — всегда

пора вымышленных несчастий, и подросток становится неуклюже откровенным:

*Но есть иные дни — дни мрака и сомненья,  
Дни слез, тоски, когда и тот, кто всех сильнее,  
Увидев, что ушла надежда, как виденье,  
Могилы чует холод в живой душе своей.*

Буйле, «прославленный и строгий друг», слушая стихи Ги, часто недовольно морщился. Но среди товарищей — Робера Пеншона, Анри Брена, Леона Фонтена, — с которыми Ги познакомился в Этрета, «как сводят знакомство на пляже молодые люди-одногодки», он слыл поэтом. И даже строгие педагоги, довольные его стилем и не столь требовательные к сути написанного, воздали должное способному ученику, занеся в книгу почета его длинное и помпезное «творение» под названием «Бог Создатель».

*Бог — это высшая святость в своем постоянстве,  
Царь над царями, царящий в бескрайнем пространстве.  
Он — и застылость времен, и сама быстротечность,  
Он заполняет межзвездных пространств бесконечность..*

Как-то в один из четвергов Ги отправился на улицу Биорель, рассеянно вошел в комнату и увидел «сквозь облако дыма двух высоких и полных мужчин. Глубоко усевшись в кресла, они курили и оживленно о чем-то беседовали». То были Буйле и Гюстав Флобер. «Старики» отличались удивительным сходством — одинаковые лбы-с глубокими залысинами под нимбом длинных волос, одинаковые пожелтевшие усы, а у Буйле еще и борода в придачу.

— Ну-ка проводи меня до конца улицы, — сказал Флобер Буйле, — я пойду до пристани пешком...

Флобер часто возвращался в Круассе<sup>[20]</sup> речным дилижансом. Они прошли через Сен-Роменскую ярмарку, где даже шарманки пропитаны запахом селедки, поджаренной на растительном масле. Двое мужчин и мальчишка упивались видом раскрасневшихся физиономий торговцев и покупателей, воображение рисовало им их характеры, они подражали их говору. Буйле изображал мужчину, Флобер — женщину. Изумленный

Мопассан глядел на двух друзей, забавляющихся как дети.

— Зайдем, поглядим на скрипача, — сказал Буйле.

Луи Буйле посвятил ярмарочному театру прочувствованные строки:

*О, как он грустен, тот скрипач,  
Задумчивый и странный!  
То ль ветра плач, то ль скрипки плач  
Под тентом балагана  
Надвинул капюшон на лоб,  
Молясь, святой Антоний...  
Бежала свинка — топ-топ-топ —  
Как будто от погони.*

Когда марионетки закончили свои прыжки над ширмой, добряк Флобер, преисполненный жалости к Старому кукольнику, прошептал:

— Бедняга!

— Старость печальна для всех! — вздохнул Буйле.

И оба они, как руанское небо — то солнечное, то затянутое тучами, переходили от веселья к грусти. И Ги был похож на них. Взмолнованный, полный преклонения, Ги проводил Флобера до пристани, совершенно не подозревая, что он присутствовал на спектакле, некогда послужившем Флоберу источником его «Искушения святого Антония»<sup>[21]</sup>.

Мальчишка из Этрета сумел быстро распознать истинную причину тихой грусти Луи Буйле. «Никто никогда не догадывался о его душевных муках, ибо Буйле принадлежал к той сильной породе всегда улыбающихся людей, у которых все выглядит весело, даже страдание». Одиноким, нуждающийся, отдающий себе отчет в своих неудачах, Луи Буйле выглядел в собственных глазах всего лишь жалкой провинциальной знаменитостью.

Минуты счастья доставляли ему лишь цветы и друзья.

С этим своеобразным наставником Ги однажды отправился в Круассе, что находится на левом берегу реки в нескольких километрах от Руана в сторону Гавра. «Я поздно познакомился с Флобером, несмотря на то, что его мать и моя бабушка были друзьями детства. Обстоятельства отдаляют не только души, но разлучают и семьи. В ранней юности я видел его не более двух-трех раз», — расскажет позже сам Мопассан.

Итак, выехав из Руана, они мчатся в карете по дороге, ведущей в

Жюмьеж. Потом лошадь перешла на медленный шаг, поднимаясь к Кантелэ.

Сорокалетний поэт и веселый подросток затем идут пешком по липовой аллее, в конце которой возвышается домик, прилепившийся к склону Кантелэ. Оттуда открывается вид на порт. Буксиры, жалобно ревя, надсаживаясь, плывут вверх по течению реки, мимо идущих навстречу английских грузовых судов с углем, голландских и бразильских пароходов, мимо трехмачтовых норвежских барж, мимо рыбачьих ботов.

Круглые белые облака плыли по блеклому небу, словно омытому прижавшимся к нему морем. Гигант поджидал гостей, волосы его разметались от ветра, сорочка распахнулась на груди.

— А вот и молодой человек!

В этом добродушном восклицании скрыта еще и нежность к прошлому — Ги так похож на старого друга Альфреда, что расчувствовавшийся Викинг-Флобер кусает губы, чтобы сдержаться.

Ги сразу же пришлось по сердцу строгое убранство жилища. Дом священника или учителя. Только книги! Да несколько сувениров из дальних стран — высушенные кайманы, нога мумии, которую однажды слуга начистил ваксой, как сапог, позолоченный Будда...

Для того чтобы составить окончательное мнение о стихах юноши, прочтем те, которые Ги привез на суд метра, сорокавосемилетнего учителя — небольшую поэму, написанную в Руане в 1869 году, в той же манере, что и «Девичий грот».

*Ласточка неутомимо  
В дальний край несется мимо,  
Но гнезда приют родимый  
Вновь найдет,  
Лишь на смену холодам грянет гул весенних вод.*

*Волей вечною желанья  
Предан человек скитанью;  
Вслед летят воспоминанья  
Милых мест,  
Где молодые годы шли, где над прахом дедов — крест.*

*А когда годов течение  
Охладит его влеченья,  
Умудренный, возвращенья*

*Жаждет он  
К прежней сени в тишине слушать старой церкви звон.*

Дрожа от волнения, Ги, подталкиваемый Буйле, протянул стихи метру. Флобер медленно читает. Потом, встряхнув своей гривой, роняет;

— Работать надо, молодой человек! Можно подумать, что ваши стихи написаны по меньшей мере пятьдесят лет назад!

Мопассан-писатель вышел из «мастерской Круассе» так же, как Рубенс из мастерской Иорданса<sup>[22]</sup>. «Два человека своими простыми и вдохновляющими поучениями дали мне силу вечно дерзать: Луи Буйле и Гюстав Флобер... Буйле, с которым я познакомился раньше и сошелся довольно близко примерно года за два до того, как снискал дружбу Флобера. Позднее Флобер, с которым я иногда встречался, почувствовал ко мне расположение. Я осмелился показать ему несколько моих опытов. Он доброжелательно прочел их».

— В том, что вы принесли мне, обнаруживаются некоторые способности, но никогда не забывайте, молодой человек, что талант, по выражению Бюффона, — только долгое терпение.

«Я работал и часто приходил к нему снова, чувствуя, что нравлюсь ему, потому что он в шутку стал называть меня своим учеником. В течение семи лет я писал стихи, писал рассказы, написал даже отвратительную драму<sup>[23]</sup>. Ничего из этого не сохранилось». Учитель прочитывал все, а в следующее воскресенье за завтраком приступал к критике, разъясняя юному другу секреты мастерства:

— Необходимо долго и пристально вглядываться в то, что желаешь описать, чтобы обнаружить в каждом факте, явлении жизни новую их сторону, которую до сих пор еще никто не подмечал и не показывал. Чтобы описать пылающий огонь или дерево, растущее на равнине, остановись перед этим огнем, этим деревом и рассматривай их до тех пор, пока они не перестанут походить ни на какое другое дерево, ни на какой другой огонь. Именно так и возникает творческое своеобразие.

Флобер мог без усталости твердить об одном и том же: «Когда вы проходите мимо бакалейщика, сидящего у своей двери, мимо консьержа, который курит трубку, или мимо стоянки фиакров, обрисуйте мне этого бакалейщика и этого консьержа, их позы, их внешний облик, а в нем передайте всю их духовную природу, чтобы я не смешал их ни с каким

другим бакалейщиком, ни с каким другим консьержем, и покажите мне одним-единственным словом, чем эта извозчичья лошадь отличается от пятидесяти других...»

Это был урок профессора. Лора с тонкостью подметит: «Если бы Буйле прожил дольше, он сделал бы из Ги поэта; это Флобер захотел сделать из него романиста». Она была и права и ошибалась в одно и то же время. Ошибалась в том смысле, что у Мопассана не было настоящего поэтического дара; права была в том, что больше доверяла Буйле, так как последний превосходил Флобера как педагог.

18 июля 1869 года Буйле скоропостижно скончался. Никогда не забудет Ги дом и разоренный сад на улице Биорель: «Я вспоминаю беспорядочную толпу, топчущую цветы, шагающую по газонам, ломающую розы... пробирающуюся к тяжелому сосновому гробу, который уносили четверо факельщиков, безжалостно наступая на посаженные вдоль аллеи узкие бордюры из синих цветов».

Юношу, опечаленного смертью друга, ждали новые испытания. Он отупел от горя, но у него оставалось всего **девять дней** до экзаменов на степень бакалавра: они начинались в Каене 27 июля 1869 года. Еще не оправившись от горя, ученик руанского лицея совершает долгое путешествие в дилижансе. Выдержав экзамены, он отпраздновал это событие традиционным посещением местного весьма сомнительного заведения.

В октябре Ги зачислен на факультет права в Париже. Он поселяется на улице Монсей, 2, где живет его отец. Студент, вовлеченный в вихрь событий, открывающий для себя жизнь большого города, беспечно наблюдает за тем, как проносится полная тревог зима.

В Париже только и было разговоров, что о чудовищном преступлении в Пантене. 20 сентября какой-то фермер из Ля Вилетт обнаружил пять изуродованных детских трупов и труп их матери. Неделю спустя нашли тело мужа. Некий Троппман, двадцати лет, механик, 13 ноября признается в том, что убил еще и восьмого — старика эльзасца Кинка. Уличные певцы горланят на мотив песенки о старике Фюальдесе<sup>[24]</sup> покаянную убийцы:

*Как я в семнадцать лет читал!  
Книги — мое увлечение.  
Плохие романы я читал —  
Мое любимое чтение  
Ах, если б знал я наперед,*

*К чему оно приведет!*<sup>[25]</sup>

В тюрьме Консьержери неунывающий убийца поет целыми днями. Отличное начало для занятий правом! Процесс состоялся 28, 29 и 30 декабря. Приговоренный к смерти Троппман раскланивается как на сцене и громко смеется.

Его казнили 19 января 1870 года. Мопассан читает в «Друа» описание казни.

Другая новость: на улице Рише, в пристройке большого магазина спальных принадлежностей, открыли кафешантан «Ле Фоли-Бержер», прозванный вскоре «Кафе Пружинный Матрац»! В 1871 году газета «Ви де Пари» отметит, что в кафе бывают «наиболее известные дамочки из квартала Бреда, что привлекает сюда заезжих иностранцев». Вскоре Ги близко узнает некоторых из этих дамочек.

Политические симпатии молодого человека определились. Он читает еженедельный сатирический журнал Рошфора<sup>[26]</sup> «Лантерн», который вовсю злословит по адресу империи, если только ему удастся выйти в свет. 27 декабря император поручил Эмилю Оливье сформировать правительство. Мопассан равнодушно просматривает список министров и только посмеивается, видя, что генерал Лебеф назначен военным министром, а Бюфе — министром финансов.

Между тем Франция бурлит. Империя трещит по всем швам, прежде чем окончательно развалиться. Едва успели Погаснуть праздничные новогодние свечи, как 10 января в Отейе принц Пьер Бонапарт выстрелом из револьвера убивает редактора газеты «Марсельеза» Ивана Салмона, прозванного Виктором Нуаром. Принц заявляет, что журналист угрожал ему. Император узнает об этом, едва успев сойти с поезда, который привез его из Рамбуйе. Он бледнеет и отдает приказ арестовать принца, которого препровождают в Консьержери, где он еще в течение нескольких дней имеет возможность слышать пение Троппмана.

Мопассан с восхищением читает номер «Марсельезы», где напечатана знаменитая статья Рошфора: «Я имел слабость думать, что Бонапарт может быть кем угодно, но только не убийцей». Похороны Виктора Нуара состоялись 12 января. Повсюду воздвигаются баррикады. Мопассан не принимает в этом участия. Он ненавидит толпу и не хочет понять, что это народ строит баррикады, последние баррикады перед Коммуной.

После внешне спокойной весны в воскресенье 8 мая 1870 года



французы участвуют в плебисците, который должен одобрить «либеральные реформы, проведенные за последние годы». Вопрос был поставлен так ловко, что трудно сказать «нет». Империя обретает спокойствие: 7 336 434 «да» укрепляют ее позицию против ничтожных 1 560 709 «нет». Но эта победа обманчива. Париж, великий город, не поддержал империю: 184 345 «нет» против 138 406 «да»! Этот раскол с провинцией был началом Парижской коммуны.

Между тем взоры наиболее трезвых людей обращены на восток. В субботу 2 июля 1870 года принц Леопольд де Гогенцоллерн, двоюродный брат короля Пруссии Вильгельма, занимает после долгих колебаний испанский престол, свободный с сентября 1868 года. Франция не может согласиться на «восстановление империи Карла Пятого». Франция сильна, или, во всяком случае, думает, что сильна. Императрица Евгения<sup>[27]</sup>, испанка, хочет войны, ибо советники нашептывают ей, что это единственный способ сохранить для Франции испанский престол. И они правы. Если только удастся выиграть войну... Полноте! Разве Франция может проиграть войну!

По бульварам прогуливаются простак и кричат: «На Берлин! На Берлин!» Ни Наполеон III, ни Вильгельм I не в силах трезво разобраться в происходящем. Правительства Англии, Австрии и России, оказывая давление на короля Пруссии, требуют отречения принца Леопольда. События разыгрались во вторник 12 июля. Принц Леопольд отказывается от престола. Войны не будет! Это никак не устраивает ни императрицу, ни общественное мнение. Чтобы удовлетворить всех, министр иностранных дел Франции Антуан-Аженор форсирует события и, набивая себе цену, просит Пруссию не выдвигать кандидатов на испанский престол. Король Вильгельм, пребывающий на водах в Эмсе, совершенно разумно считает просьбу нелепой. В Берлине Бисмарк обедает с генералом фон Мольтке и военным министром Роном, Бисмарк получает телеграмму от Вильгельма. Гости потрясены: провозглашен мир! Бисмарк и штаб хотят войны, чтобы окончательно утвердить авторитет Пруссии. Бисмарк превращает сдержанный ответ Вильгельма в кровавый отказ: «Это подействует на галльского быка как красный плащ!»

15 июля Эмиль Оливье заявляет: «С сего дня на меня и моих коллег-министров возлагается большая ответственность. Мы принимаем ее с легким сердцем». Тьер протестует. Тщетно просит он проверить точность сообщения и под возгласы общего неодобрения подчеркивает, что главное уже обещано Германией. Он не устает твердить: «Момент выбран неудачно. Я рассматриваю войну как неблагоприятный шаг».

В понедельник 18 июля 1870 года Франция объявляет Пруссии войну. 25 июля Наполеон III принимает командование над вооруженными силами. 2 августа начинаются военные действия. После сообщения о грандиозных победах 7 августа «регентствующая императрица Евгения» вынуждена подписать воззвание, которое восстанавливает истину: Эльзас потерян, Лотарингия открыта врагу из-за поражения Форбаха. Основные силы французской армии вскоре будут блокированы под Мецем.

«**Французы**, начало войны для нас неблагоприятно, наши войска потерпели поражение. Перенесем же стойко эту неудачу и поспешим ее исправить... Я призываю всех преданных граждан поддерживать порядок. Нарушать его — значит сотрудничать с врагом».

Франция в отчаянии — и от того, что попала под башмак женщины, и от непостижимости поражения. Слишком поздно. Мопассан, вчерашний студент, стал неожиданно для себя солдатом.

Ему двадцать лет, но он уже прожил половину своей жизни.

***Седан. — Бивуак, Анделинский лес. — «Ну и вдов же теперь будет!» — Оккупация и сопротивление. — Встреча с друзьями. — Военные рассказы и новеллы. — Мопассан перед лицом Коммуны***

Ги ушел в армию в июле 1870 года. Мобилизованный в Венсенне, он получил назначение во 2-й Интендантский отдел Гавра, но поначалу его отправили в Руан военным писарем.

В смешавшихся истинных и ложных новостях мелькают имена Виссембурга, Фрешвиллера, Форбаха, Резонвилля, Гравелотта, Сен-Прива. Война еще только началась, а уже 2 сентября императорская армия разбита! Седан!<sup>[28]</sup> Отречение императора, осунувшегося и несчастного, страдающего от дизентерии, поразило Мопассана. 4 сентября провозглашена республика.

Министр Паликао заявляет во всеуслышание: «Великое несчастье постигло нашу родину.

После трехдневной героической борьбы сорок тысяч наших солдат из армии маршала Мак-Магона сдались в плен трехсоттысячной армии противника.

Генерал Вимпфен, принявший командование армией вместо маршала Мак-Магона, получил тяжелое ранение и подписал капитуляцию...»

Лишь позднее по обрывочным сведениям узнает Ги обо всем, что произошло далее: низложение Луи-Наполеона Бонапарта, толпы манифестантов у Тюильрийского сада и Палаты Депутатов, бегство императрицы с итальянским послом, господином Нигра... Империя развалилась как карточный домик.

Из случайно дошедших до нас писем, документов, обрывков рассказов возникает перед нами интендант Ги. Пруссаки движутся на Париж. Четверть Франции уже оккупирована. Это полный разгром.

Солдат второго призыва Мопассан еще топчется в заснеженном Анделинском лесу.

— У них была сильнейшая артиллерия, которой они могли уничтожать нас на расстоянии, — расскажет он двадцать лет спустя в минуту откровения. — У нас же ничего или почти ничего не было!.. Наши новые ружья еще блестели на складах. Если же ружье и стреляло, то пуля падала всего в ста метрах от нас. Как мы старались! Губы дрожали... но не от

холода, то была нервная лихорадка, сжимавшая горло, — мы проклинали предателей, ввергнувших нас в этот позор. Никто не боялся смерти... но что может быть мучительнее, чем говорить себе: я отдаю свою жизнь, не защищая ее, такая жертва никому не нужна... Ибо варвары по ту сторону Рейна все равно не изменят своей психологии!

Молодому человеку был свойствен патриотизм, которому он остался верен и в зрелые годы.

И напряженные, словно скованные, мускулы, горящие ступни, стертые пятки, ноющие коленные суставы, грудь, сдавленная спазмами, впалые щеки, одеревеневший затылок, глаза, залитые слезами, — все напоминало о поражении. «Я бежал вместе с нашей беспорядочно отступавшей армией, чуть было не попал в плен. Из авангарда перешел в арьергард, чтобы передать генералу письмо от интенданта. Отшагал пятнадцать лье пешком. Пробежав всю предшествующую ночь, выполняя различные приказы, я улегся на камнях в ледяном погребе...» Это письмо без даты было доставлено Лоре кондуктором дилижанса из Гавра, где застрелял Ги.

Он добавляет в том же письме: «Не будь у меня крепких ног, я был бы уже в плену. Чувствую себя хорошо». Это правда, что у него крепкие ноги!

«Со вчерашнего дня мы ничего не ели. Весь день прятались в погребу, прижавшись друг к другу, чтобы согреться от усталости...» Дата этой записки также неизвестна.

Семидесятый год, потом тысяча девятьсот четырнадцатый... Сороковой. «Людские волны катились одна за другой, оставляя после себя налип мародерства». Люди шли словно лунатики, гремели котелки, ружья, слышались приглушенные приказы и проклятья... «Руки прилипали к стали прикладов... Не раз замечал я, что какой-нибудь солдатик стаскивал башмаки — так он страдал в своей обуви — и шел босиком, а каждый шаг его оставлял кровавый след».

А между тем юный солдат отнюдь не утратил надежды: «Исход войны не представляет более сомнений. Пруссаки потерпят крах, они прекрасно это чувствуют, и вся их надежда на то, что они одним ударом возьмут Париж. Но мы готовы встретить их».

Октябрь. Франция, исполин, стоящий на коленях, дышит хрипло и учащенно. Мец по-прежнему держится. Дымятся в изморози раннего утра соломенные подстилки в хлевах. Неожиданно разносится страшная весть: Мец капитулировал.

В столице околевают от голода. Парижане едят крыс. Остервенело сопротивляются. 10 декабря 1870 года Ги получает отпуск. В Этрета! Вот как он рассказывает в письме к своему дяде о приходе пруссаков в городок,

где прошло его детство: «Прусский офицер в форме отправился прогуляться по Этрета. Возмущенные жители взбунтовались. Тогда несколько домовладельцев, в том числе и я, отправились к мэру (sic)... Мэр дерзко нам ответил... что французы, мол, все горлопаны и трусы, и раз уж пруссаки нас побили, то теперь и говорить не о чем...»

Мэр Этрета, Мартен Ватинель, рыбак-любитель в красном бумажном колпаке и в сабо, не видел ничего дурного в том, как он ответил вчерашнему сорванцу: если, дескать, он не желает разговаривать с немцами, то нечего было открывать перед ними городские ворота! Увы, мэр был вполне логичен. Но Ги никогда не простит ему этих слов. Вопреки мэру и его здравым рассуждениям он сведет счеты со всеми, кто выступал за порядок, контролируемый врагами, с паникерами, дезертирами, крикунами, вылезшими на поверхность, как только миновала опасность, пузатыми и хвастливыми солдатами национальной гвардии, коллаборационистами. Флобер скажет вместе с ним, что слова «ах, слава богу, пруссаки здесь!» были единодушным лозунгом буржуазии».

Но пока Ги, стиснув зубы, увиливает от службы так же, как он увиливал от занятий в семинарии Ивето, и добивается продления отпуска.

Как смерть, обрушилась на Францию зима. Париж изнемогает, слабея с каждым днем. Коммуна уже рокошет в его чреве. В субботу 28 января 1871 года Париж капитулирует. Все бело от снега, и солдаты плачут, как мальчишки.

Воины превратились в бродяг. По дорогам катилась пешая масса побежденных: скрюченные непроходящей судорогой тела, присохшие к позвоночникам животы, одеревеневшие языки, головы как пустые бочки. Ги это все пережил. (Он видел искалеченных франтиреров и в спешке расстрелянных шпионов. Снег порозовел — отвратительный кровавый шербет. «Солдаты дрались между собой из-за очереди, проходили перед трупом и снова стреляли в него, как проходят перед гробом, чтобы окропить его святой водой»).

Ги первый понял тогда, что расстреляли женщину.

«А я, который видел на своем веку немало страшных зрелищ, я зарыдал. В ту морозную ночь посреди мрачной равнины, перед лицом этой смерти, перед этой тайной, перед этой убитой незнакомкой, я почувствовал, что значит слово «ужас». Он видел лежащих вперемешку мертвых солдат обоих лагерей, которых наспех забрасывали землей, он узнавал французов по их усам и эспаньолкам... Он видел солдат своей страны, своего округа, нормандцев из Ивето или Лилебонна, которые убивали собак, привязанных

на цепи у дверей хозяев, затем только, чтобы пристрелять новые револьверы. Он видел, как чистосердечные убийцы в такой же форме, какую носил и он сам, уничтожали ружейными залпами коров на поле. «Без всякой надобности, просто чтобы пострелять, смеха ради!»

Он слышал веселое восклицание животного в военной форме, новобранца, переворачивавшего ногой трупы уланов, попавших в засаду:

— Ну и вдов же теперь будет!

Он никогда этого не забудет. Он болен неизлечимой болезнью, **войной**.

И он боялся. Мопассан знал, что страх и отвага — понятия вовсе не противоречивые. Он знал, что отвага есть лишь умение поступать и действовать так, словно ты не боишься.

Но вот как будто кончилась война. Ги облегченно вздыхает. Он ничего не забыл. Он никогда ничего не забудет. Может быть, только даты, места, имена. Но не людей.

На смену семинарским шуточкам приходят более опасные проделки. Ги вез в пригородном поезде, следовавшем из Курбева в Париж, какой-то подозрительный чемодан, с которым обращался с подчеркнутой предосторожностью. Говорил же Мопассан нарочно с резким иностранным акцентом. Он был задержан на Сен-Лазарском вокзале по доносу пассажиров. Непокорный ребенок, бунтарь, угадывается под маской горько и солоно шутящего солдата в то время, которое в наши дни мы бы назвали «оккупацией и сопротивлением».

Теперь Ги несет службу в Венсеннском замке. Он делает вид, что не замечает пруссаков и тех лиц, которых они волокут в комендатур!! — почти такие же, какие создадут фашисты в 1940 году.

Ги встречает в Венсенне своего товарища по руанскому лицу Леона Фонтена. А Робер Пеншон, оказывается, тоже жив, он в Сен-Море! Солдатский бог не пожелал прибрать к себе друзей, видимо, потому, что, они были однокашниками. Школьная дружба — это навечно. Все трое одного возраста. Все трое они ушли на войну. Все трое прошли огонь, и воду, и медные трубы. Такое надо спрыснуть! Ги и Леон находят гостеприимство в одном из кабачков в Шампиньи. Они пьют как сапожники и, сидя за столом, ногами размазывают черное пятно по полу, следы крови заложника, расстрелянного в день их веселой пирушки, — это стало известно мне теперь, почти сто лет спустя.

Охваченный отвращением к пруссакам, так ярко проявившимся в «Пышке», «Мадемуазель Фифи», в «Старухе Соваж» и во многих других

рассказах, этот бывший солдат ненавидит войну и не может смириться с поражением.

Слово **сопротивление** может удивить читателя. Между тем понять Мопассана невозможно, если не говорить о **сопротивлении**. Восхваление франтирера, ненависть к пруссаку, обличение врага, призыв к уничтожению захватчиков, убеждение, что это должно стать нормой поведения каждого француза потому, что оккупант рядом, за стеной твоего дома, — все это характерно для Ги.

Антуан, хвастливый нормандец из Ко, прозванный «Святым Антуаном», раскармливает, как свинью, пруссака, которого у него поселил мэр. В конце концов он убивает постояльца и закапывает его под навозной кучей. Антуан не герой. Хвастунишка и враль, он подышает от страха точно так же, как и его жертва. Два жалких ничтожества!.. Но Антуан все же убивает врага, убивает **стихийно**. Проблема индивидуального террора и массовых репрессий в отношении заложников выражена Мопассаном в нескольких словах: «старый жандарм, вышедший на пенсию, был арестован и расстрелян...» Прибыли и убытки...

Шестидесятилетний дядюшка Милон методически убивает прусских улан. «Он был мал ростом, худощав, сгорблен; большие руки напоминали клешни краба». Он тоже не герой. Однако он живет одной лишь мыслью — уничтожать пруссаков. «Он ненавидел их упорной и затаенной ненавистью крестьянина-скопидома и вместе с тем патриота». Дядюшка Милон убивает потому, что немцы убили его отца, «который был солдатом еще при первом Наполеоне, и потому что его младший сын был тоже убит ими. «Теперь мы квиты... и ничуть об этом не жалею!»

Старуха Соваж, старая крестьянка, тоже мстит за своего убитого сына; она поджигает ферму со всеми живущими на ней бошами. И Мопассан заключает: «Я же думал о матерях четырех добрых малых, сгоревших в хижине, и о жестоком геройстве другой матери, расстрелянной подле этой стены». И Ги, искренне сожалея о пролитой крови, не осуждает ни дядюшку Милона, ни старуху Соваж.

«Два приятеля» — так называется история о рыбаках, одержимых страстью к рыбной ловле. Они отправились в самый разгар осады на остров Марант. Немцы расстреливают их за то, что они не открывают им пароль, нужный для возвращения в Париж. Сдержанность описания достигает здесь античного величия: «В эту минуту взгляд Мориссо случайно упал на сетку с пескарями, оставшуюся на траве, в нескольких шагах от него.

Луч солнца играл на куче рыбы, еще продолжавшей биться. И Мориссо охватила слабость. Как ни старался он владеть собою, глаза его наполнились слезами.

— Прощайте, господин Соваж, — пролепетал он.

Господин Соваж ответил:

— Прощайте, господин Мориссо.

Они пожали друг другу руки, трясаясь с головы до ног в непреодолимой дрожи.

Офицер крикнул:

— Огонь!

Двенадцать выстрелов слились в один».

Только одной маленькой деталью автор выражает свои чувства. Пруссак говорит ординарцу:

— Изжарь мне сейчас же этих рыбешек, пока они живы. Это будет восхитительное блюдо!

Эта корзина с кишасей рыбой, искрящейся под солнечными лучами, само ее навязчивое присутствие, напоминающее о воде, придает рассказу современное звучание, косвенно подчеркивая скромный героизм, в котором не отдают себе отчета сами герои. По воле автора, а также благодаря нашему жизненному опыту эта корзина с рыбой разоблачает утонченный садизм оккупантов, столь схожий с тем, с которым мы сталкивались с 1940 по 1944 год.

К этому больше нечего добавить. Впрочем, вот что еще. Уже в 70-м году пушечные выстрелы пруссаков с острова Марант слышны были в Мон-Валерьене<sup>[29]</sup>.

«Война закончилась: вся Франция была занята немцами; страна содрогалась, как побежденный борец, прижатый коленом победителя». Эта картина начала 1871 года так и стояла перед Ги. «Из обезумевшего, изголодавшегося, отчаявшегося Парижа отходили первые поезда... Первые пассажиры смотрели из окон на изрытые равнины и сожженные селения».

Господин Дюбюи, бывший солдат национальной гвардии, едет в Швейцарию через Страсбург. «Со злобой и ужасом смотрел он на этих вооруженных бородатых людей, расположившихся на французской земле, как у себя дома; в его душе загррлся какой-то бессильный патриотический пыл...» Прусский офицер входит в купе, уже занятое двумя англичанами и господином Дюбюи. Автор подробно описывает омерзительного пруссака с рыжей щетиной бороды. «Шерес тфатцать лет, — говорит наглый мужлан-завоеватель, — фея Европ пудет наш. Пруссия самый сильный».



Офицер желает, чтобы господин Дюбюп на следующей остановке сбегал ему за табаком. Мопассан дает волю словам, описывая безотчетную ярость, ослепившую господина Дюбюи. Он бросился на офицера: «со взбухшими на висках жилами, с налитыми кровью глазами, он одной рукой вцепился ему в горло, а другой стал исступленно бить его кулаком по лицу... Потекла кровь: немец хрипел, задыхался, выплевывая зубы, и тщетно старался отбросить разъяренного толстяка, который яростно колотил его...»

«Весело и с любопытством», не вмешиваясь в происходящее, взирают на все это англичане. В Страсбурге немец и господин Дюбюи дерутся на дуэли. Господин Дюбюи, никогда еще не державший пистолета в руках, убивает немца. Англичане, выступившие в роли секундантов, бегом возвращаются в поезд вместе с господином Дюбюи, крича: «Гип, гип, гип, ура!»

Так материализуется, почти в духе фарса, механизм: сопротивления.

Эти отношения еще более тонко прослежены в «Пышке». Но оставим пока эту заурядную нормандскую проститутку, жертвующую собой и презираемую потом коллаборационистами, и перейдем к «Мадемуазель Фифи». Немецкие офицеры майора де Фарльсберга вот уже три месяца занимают замок Ювиль около Руана. Скучая в этом «ночном горшке Франции», они пьют, бесчинствуют и, наконец, решают устроить пирушку. Один из них отправляется за «дамами» и возвращается с пятью прелестными созданиями: Памелой, Блондиной, толстухой Амандой, Евой по прозвищу Томат и Рашелью, молоденькой «еврейкой со вздернутым носиком, не подтверждавшим правило, согласно которому все представители ее национальности горбоносы...». Пруссак, и, в частности, тот, кого товарищи прозвали «Мадемуазель Фифи» за «тонкий, словно перетянутый корсетом, стан», опьянены победой. Рашель искренне возмущена их рассуждениями. Она не может слышать разговоров о том, что все женщины Франции будут принадлежать немцам. «Нет, врешь, это уж нет, женщины Франции никогда не будут вашими!» — «Ну, а ты?» — «Я! Я! Да я не женщина, я шлюха! А это то самое, что пруссакам и требуется». Она плюет в лицо «Мадемуазель Фифи». Он бьет Рашель по физиономии. Рашель всаживает ему в горло нож и удирает через окно. Пруссак бросается вдогонку за беглянкой, а залитый вином стол превращается в смертное ложе. Они не найдут Рашель, спрятавшуюся на колокольне... до дня освобождения. Время от времени колокола остервенело звонили. «Какой-то патриот, чуждый предрассудков, полюбил ее... женился на ней и сделал из нее даму... не хуже многих других...»

Мораль этой новеллы неслыханно дерзка. Мопассан предпочитает шлюху-патриотку, которую он сознательно делает еврейкой, добродетельной жене коллаборациониста.

Прусский солдат Вальтер Шнаффс, самый несчастный из людей, не любит войны и хочет сдаться в плен.

Но кому? Только не франтирерам, которые его расстреляют. Шнаффс сдается в плен крикливым, куда менее решительным солдатам национальной гвардии Рош-Уазель. Единственный немец, к которому Мопассан испытывал сострадание, оказался дезертиром. Это типично мопассановский поворот.

Солдат Мопассан изливает свою злобу, свое возмущение почти до самого 1884 года. Он исчерпает эту тему рассказом «Короли», написанным в 1887 году.

Перед лицом войны Мопассан — пацифист и патриот одновременно. В «Помешанной» (декабрь 1882) оккупанты выгоняют душевнобольную из ее дома и бросают в лесу, потому что она отказала им в гостеприимстве. Волки пожирают ее. Ги проклинает и немцев и войну: «Я от души желаю, чтобы наши сыновья никогда больше не видели войны». Однако он настроен антипрусски и в этом вопросе непримирим. Пруссия — это милитаризм. Милитаризм — это война. Ненависть к захватчикам и ненависть к войне кипит в нем.

Мопассан был зачислен в парижское интендантство. Наполовину штатский, он может спокойно дожидаться демобилизации. Воинственный огонь затухает под серым пеплом казарменной жизни.

11 марта 1871 года, одиннадцать дней спустя после прихода пруссаков, Париж гудит у пушек, перекочевавших накануне с Гобеленов на Монмартр. Кровавая патриотическая трагедия, последняя из революций XIX века, уже назрела. Мопассан в это время гостит в Этрета, у знаменитой певицы мадам Делакерьер. Он ни о чем не догадывается. Оставшийся в живых «уснувший в долине»<sup>[30]</sup> сочинил восемь галантных куплетов и переписал их в альбом певицы. Они заканчиваются таким четверостишием:

*Куда я ни пойду, ваш голос — он со мной;  
Любовь сидит прочней занозы.  
Ах! Спойте же «Лужок». До просьбы столь простой  
Снисходят ведь и виртуозы!*

Мопассан вынужден, ворча, сесть в поезд и вернуться в казарму. Против него затевается скверное дело. В мае месяце военный интендант 2-й Гаврской дивизии обратился к мэру Этрета с просьбой «предупредить второго солдата де Мопассана (следует читать «второго года призыва». — А. Л.) из писарского отделения военного интендантства, что ему следует представлять копию с каждой увольнительной и продления таковых, полученных им от коменданта Гавра». Копии должны были быть заверены мэром. Это может плохо кончиться для Ги!

18 марта Тьер, уверенный в непогрешимости своей пацифистской предвоенной тактики, уверенный в поддержке консервативной провинции, интересы которой он представлял, ответил провокацией на гнев поруганного народа. Отдав приказ убрать пушки с Монмартра, он толкнул Париж на восстание. Возмущение приказом обернулось неожиданным убийством генералов Леконта и Клемана Томаса, что послужило кровавым предлогом для проведения в жизнь плана, разработанного Тьером еще в 1848 году и тогда отвергнутого Луи-Филиппом: оставить город в руках восставших. Коммуна была вызвана к жизни яростью обманутого народа и коварным расчетом правителей. Они содействовали ее возникновению, чтобы потом ее обезглавить. Как только Тьер со своими войсками покинул город, восстание уже было неминуемо. Оставалось только подавить его.

Период с 18 марта по 28 мая в жизни писателя почти непроницаем для нас: мы не знаем непосредственной реакции писателя на революционные события. Однако кое-какие намеки, позволяющие понять то, о чем Ги не хотел тогда говорить, все же просочились.

В произведениях Мопассана рабочие встречаются не чаще, чем в романах Бальзака. Один из них, герой рассказа «Отцеубийца», — столяр. Он убил буржуазную супружескую чету. «Его считали человеком необузданным, сторонником коммунистических и даже нигилистических учений... искусным оратором на рабочих и крестьянских собраниях, имеющим влияние на избирателей». Он был незаконнорожденным. Адвокат настаивает на помешательстве и всю ответственность за поступки своего подзащитного возлагает на тех, кто подавал ему дурные примеры. «Он слышал, как республиканцы, даже женщины, — да, да, женщины! — требовали крови Гамбетты, крови Греви; его больной рассудок совсем помрачился, и он тоже захотел крови, крови буржуа!» Игра адвоката ясна, он хочет обелить своего клиента за счет коллективной вины красных. «Этого человека погубили те самые плачевные доктрины, которые проповедуются теперь на публичных собраниях. Не его надо судить,

господа, а Коммуну!» Дело наверняка будет выиграно. Вдруг обвиняемый подымается и заявляет, что эти буржуа — его родители и именно поэтому он их убил. Вся его жизнь была сплошным кошмаром, оттого что он был незаконнорожденным. Найденная им мать отказалась от него. Отец угрожал ему револьвером. Вот тогда он и убил их.

В рассказе не говорится о том, каким был приговор, но Мопассан становится на сторону отвергнутого обществом и поэтому взбунтовавшегося сына.

Той же позиции придерживается Мопассан и в статье «Черта с два», опубликованной 5 июля 1881 года в «Голуа». Он рассказывает: «Пройдя шагов двадцать, я столкнулся лицом к лицу с бывшим коммунаром, острый ум которого, признаюсь, мне был очень по душе...» Это был Жюль Валлес<sup>[31]</sup>. «К тому же он одарен незаурядным писательским талантом: это настоящий мастер. Он дрался за дело Коммуны как одержимый. Независимость его взглядов, презрение к готовым формулам и рецептам сделали его подозрительным даже в глазах единомышленников». На вопрос Мопассана, каково отношение Валлеса к антиитальянским демонстрациям, тот ответил весьма резко:

— Я берегу силы для гражданской войны!

Мопассан, отнюдь не шокированный этими словами, спокойно замечает, что ответ автора «Инсургента» заслуживает уважения хотя бы своей логичностью, ибо в гражданской войне знают, во имя чего сражаются. Позднее он повторит это свое высказывание. Подобные заявления не могут исходить от врага коммунаров!

Несколько позже, в 1889 году, Франсуа Коппе<sup>[32]</sup>, член Французской академии, написал одноактную пьесу, в которой речь идет о священнике, расстрелянном во время Коммуны, и о коммунаре, убитом сестрой священника. Эта назидательная история (можно вполне доверять Франсуа Коппе!), единодушно одобренная театром Комеди франсез, была запрещена министром народного образования. Мопассан рассердился: «Вот это уж и глупо и трусливо. Неужели какой-то человек, какой-то гражданин, депутат какого-то города, ставший теперь министром народного образования, хочет заставить нас поверить, что в дни Коммуны не расстреливали священников и других людей? Это все равно как если бы нас хотели убедить, что и версальцы не расстреливали коммунаров и даже непричастных к Коммуне людей». Первое предположение не могло никого смутить. Второе же, напечатанное черным по белому в консервативной газете, произвело впечатление пощечины.

Время от времени он высказывался крайне неосторожно: «Париж только что узнал о капитуляции Седана. Была провозглашена республика. Вся Франция задыхалась в этом безумии, продолжавшемся вплоть до падения Коммуны». Он именно подчеркивает — «**до падения**», отказываясь в этом «безумии» отличать палачей от восставших. В эпоху, когда слово **коммунар** являлось синонимом слова «убийца», Мопассан наперекор всем стремился к более объективной оценке событий.

Вспоминая своих однополчан, Мопассан рисует их «раздавленных горем, поражением, отчаянием, в особенности подавленных ощущением безысходной покинутости, конца, смерти, небытия». Изобличающие слова. Если воспользоваться терминологией психиатров, эта война «травмировала» сознание молодого человека, равно как и отвратительные ссоры родителей. Пойдя на самопожертвование во имя победы, он столкнулся с мерзостью, предательством, низостью.

За год юный бакалавр превратился в болезненного, озлобленного человека, испытывающего отвращение ко всем и ко всему, вынужденного думать о хлебе насущном в то время, как Франция залечивала свои раны.

В человека, пораженного скрытым недугом.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ЗАВТРАК ГРЕБЦОВ



*Вы, жители улиц, и понятия не имеете, что такое река.*

*Ги де Мопассан. На воде*

*Трудная демобилизация. — 20 марта 1872 года: поступление в морское министерство. — Служебные будни. — Тема наследства. — «Рука трупа». — Доппельгенгер<sup>[33]</sup> и зеркала. — Осенняя прогулка в Валлэ де Шаврез*

80 июля 1871 года Ги все еще томится на военной службе. Дело о его отлучках еще не закончено. Он пишет из Руана: «Только несколько слов, дорогой отец. Прошу тебя, не посылай мне почтой разрешение командира полка. Отвези его в Венсенн, как ты хотел, и это ускорит дело... Главное, не забудь, что одновременно надо получить в Венсенне выписку моих взысканий, копию послужного списка и справку о моем денежном довольствии».

Положение серьезное. Если он не подыщет себе замену, ему грозят семь лет службы.

В ноябре Ги наконец демобилизуется. Что теперь делать? Возобновить занятия на втором курсе факультета права? Но ему надо зарабатывать на жизнь. Отец согласен помогать на первых порах — какая-нибудь сотня франков в месяц. Денежные вопросы отравляют жизнь семьи. Отец, равно как и мать, расточителен. По этому поводу между ним и Ги возникают постоянные столкновения.

В ноябре 1872 года Ги обвиняет отца в том, что тот содержит женщин, из-за чего и дает ему мало денег. Ги забывает при этом, что он уже в таком возрасте, когда сам обязан заботиться о себе.

Нам известны все подробности этого семейного конфликта, в котором Гюстав де Мопассан поначалу выглядит более привлекательно, чем требовательный и неуважительный Ги, хороший сын только по отношению к матери. Вот один из самых бурных скандалов, разыгравшихся между отцом и сыном, рассказанный Лоре по свежим следам самим Ги: «Дорогая мама у меня произошла отчаянная ссора с отцом и я хочу чтобы ты была в курсе дела<sup>[34]</sup> — Я представил ему счет за месяц заметив при этом что у меня был случайный перерасход за освещение и отопление и мне не хватит приблизительно 5 франков до конца месяца. Услышав это он отказался просмотреть счет и заявил что большего сделать для меня он не может что это бесполезно, что если я не могу укладываться то мне остается лишь жить как я хочу идти куда мне угодно, что он умывает руки. Я очень

спокойно возразил ему что это обычная история с отоплением что я согласился без возражений с его приблизительным подсчетом моих расходов в котором он опустил по своему обыкновению половину необходимого, что за завтраком я обхожусь одним мясным блюдом и чашкой шоколада тогда как охотно съел бы два мясных особенно при тех микроскопических порциях которые дают в скромном ресторане... Он окончательно разозлился и сказал что если дед лишил его 50 000 ф., то в этом он не виноват. Я ответил отцу что это его вина и что все деловые люди в один голос твердят что если бы он раньше правильно взялся за дело то мог бы по меньшей мере спасти 40 000 ф. Да сказал он мне но это был мой отец и я знал как надо относиться к отцу тогда как ты об этом понятия не имеешь. — Ах ты значит переходишь на такой тон — сказал я тогда да будет тебе известно что главная заповедь божественная и человеческая есть любовь к своим детям».

Гнев вскрыл всю глубину затаенной обиды Мопассана на своего бесхарактерного родителя — обиды подчас несправедливой.

«Называться отцом — это еще далеко не все — прежде всего дети и если ваша совесть по отношению к ним глуха, то в случае необходимости существует закон, чтобы напомнить о ваших обязанностях. Вы не найдете ни одного человека из народа который зарабатывая в день 30 су не продал бы все что у него есть чтобы помочь своим детям и какое будущее ждет меня я хочу жениться и тоже иметь детей — но смогу ли я это сделать. Теперь надо всему положить конец — я знаю что мне делать — Прощайте — и я вылетел как бомба...»

Это доказывает то, что Мопассан в двадцать два года жил еще полностью на средства отца. Коллекция документов Мари Леконт дю Нуи содержит знаменитую запись расходов, ценнейший документ — бюджет небогатого молодого человека после войны 1870 года. Он составлен — что очень занятно — на великолепной бумаге с водяными знаками, графской короной и инициалами Г. М.

«Получил на месяц жизни 110 франков.

Уплатил

За месяц консьержу — 10

Починка обуви — 3,50

Уголь — 4

Щепки — 1,90

Спички — 0,50

Стрижка — 0,60



2 серных ванны — 2  
Сахар — 0,40  
Кофе молотый — 0,60  
Керосин для лампы — 5,50  
Стирка — 7  
Письма — 0,40  
30 завтраков — 36  
Булочки за день — 3

---

75,40

Обед по 1,60 — 48  
Трубочист — 5  
Мыло — 0,50

---

128,90

Отец оплатил 8 обедов — вычесть 12,80  
Остается — 116,10  
Оплатил также трубочиста — 5

Итого.... 111,10

Сверх того он насчитал 5 ф. за разные мелкие удовольствия.  
Единственное удовольствие, которое я себе позволяю это трубка.  
Я истратил, следовательно, еще 4 франка на табак.  
Грустно».

Это приблизительно 400–500 современных франков — средний бюджет неимущего студента наших дней.

По словам Гюстава, дела идут из рук вон плохо, особенно с тех пор, как грозный дедушка Жюль разорился и живет с дочерью, вдовой Альфреда Ле Пуатвена. Дела Мопассанов так запутались, что Гюстав откажется поехать в Руан в 1874 году повидаться с умирающим отцом, дабы не пришлось платить его долги. На сей раз уже Гюстав выглядит менее привлекательно, чем Ги. Отец «написал в воскресенье Шарлю Дувру, получив от последнего депешу с известием о том, что отец его очень плох, и я опасаюсь, как бы письмо, которое он отправил по этому поводу, не произвело бы самого плачевного впечатления. У него идефикс — не ехать в

Руан, поэтому любой предлог казался ему подходящим, и он отправил Шарлю Дувру 4 страницы цифр и претензий, чтобы доказать, что отец его обокрал.

Но дедушка не умер, и все как будто уладилось до смерти старикашки».

И Ги, который, кажется, не слишком любит «старикашку», приправляет свой рассказ мрачным юмором: «Отец тем не менее продолжает твердить, что самым разумным было бы всем прикидываться мертвыми до тех пор, пока не умрет дед».

Такова атмосфера этого печального дела, напоминающего жестокие рассказы Мопассана.

Значительно позднее Гюстав де Мопассан скажет, и не без оснований: «Увы! У бедняжки Ги не было **склонности** к семейной жизни! Кроме матери, которая имела на него огромное влияние, **семья для него ничего не значила**». Все в этом грустном замечании абсолютно справедливо. Хотелось бы только добавить, что Гюстав в этом смысле ничуть не отличался от сына.

На похороны дедушки Жюля вместо Гюстава поедет Ги.

По-прежнему «в отчаянном положении, ободраный как липка», Ги не имеет даже возможности поехать в Этрета. Он пересчитывает свои гроши. В Этрета Лора тоже обеспокоена. У нее нет никаких источников дохода, кроме тех 1600 франков, которые ей ежегодно выдает Гюстав, да еще 4800 франков, выручаемых от сдачи части дома внаем, — итого 6400 франков, — но эта сумма не постоянна, так как не всегда есть жильцы. А она к тому же еще и расточительна. А Ги нужно «положение».

Лора еще раз обращается за советом к Флоберу. «...Ги так счастлив, что бывает у тебя каждое воскресенье, что проводит с тобой долгие часы, что с ним обращаются со столь лестной фамильярностью, столь ласково...» Короче, следует ли ему «идти в литературу» или нет? «Если ты скажешь «да», мы всячески будем поддерживать мальчика на том поприще, к которому он так стремится, но если ты скажешь «нет», мы отправим его делать парики...»

Обеспокоенная за Ги, она разочаровывается в младшем сыне. Столь же непоседливый, как и старший брат, Эрве, к сожалению, не наделен ни умом, ни способностями. Его интересуют лишь цветы и оружие. Характер у него мрачный. Лора старается быть оптимистичной. Из него не получится интеллигентный человек? Не страшно! «Молодого дикаря» куда легче пристроить.

Ответ Флобера, по-видимому, отрицательный, так как 20 марта 1872 года Мопассан поступает без содержания на службу по снабжению флота<sup>[35]</sup>. Только с 1 февраля 1873 года он начинает получать жалованье. Положение его несколько улучшается: 125 франков ежемесячно и денежная награда в 150 франков ежегодно.

Несмотря на все старания, Мопассан с самого начала жалкой служебной карьеры не испытывал ничего, кроме унижительной, отчаянной нужды.

Мопассан очень скоро понял, что морское министерство — та же кабала, что и военная служба. За торжественным фасадом здания министерства, охраняемого часовыми в мундирах с синими воротниками, целый день снуют по коридорам чиновники с кипами перевязанных тесемками папок и дел. Испытывая отвращение ко всему, Ги тем не менее присматривается к жизни сослуживцев, к их подленьким поступкам, к их мелкой трусости и злобному низкопоклонству. Чиновники настороженно относятся к этому сильному и самоуверенному нормандцу, всегда держащемуся от них в стороне.

Рассказы, посвященные министерской фауне, начиная с «Воскресных прогулок парижского буржуа» (август 1880 года) и до «Убийцы» (ноябрь 1887 года), к которым можно отнести и «Поездку за город», а также некоторые другие, составляют девятую часть всех новелл. Не следует забывать и о второстепенных персонажах — чиновниках, встречающихся в других его рассказах и в романах. Так что шестая часть всего написанного Мопассаном посвящена ничтожной повседневности государственной службы.

Гротесковая фигура господина Патиссо, парижского буржуа, после выхода на пенсию впервые знакомящегося с окрестностями Парижа, сродни Бувару и Пекюше<sup>[36]</sup>, Преемственность флоберовских традиций безусловна, но у Мопассана к тому же еще и богатый личный опыт. Ги знал господина Орейля, старшего чиновника, жена которого была столь экономна, что он не мог позволить себе купить новый зонт! Мопассан присутствовал при вручении сотрудниками креста из фальшивых бриллиантов начальнику отдела господину Пердри (Антуану) по случаю награждения его орденом Почетного легиона. Ги ежедневно пожимал потную руку господина Каравана, «который входил в министерство с видом преступника, готового сдаться в руки властей». Он встречал такого начальника отдела министерства, «которого не следовало бы посылать на

курорт Пуан-дю-Жур по воде, так как он неминуемо почувствовал бы приступ морской болезни на прогулочном пароходике». В коридорах этого министерства-амфибии будущий писатель сталкивался со всеми своими персонажами — с Пердри, Пистоном, со старым экспедитором Траппом, который все забывал, и с папашей Монжиле, выезжавшим из Парижа один раз в жизни. Ги изводил Панара, который «при виде ступеньки тотчас же думал о вывихе», и с почтением раскланивался с журналистом господином Радом, «скептиком, насмешником и вольнодумцем со скрипучим голосом». Он-то своего не упустит! Ги обедал у Лантена, только после смерти жены узнавшего, что ее якобы фальшивые драгоценности на самом деле настоящие и подарены ей любовником.

И с трезвой горечью, навеянной живой действительностью, Мопассан заканчивает: «Полгода спустя он женился. Его вторая жена была вполне порядочная женщина, но характер у нее был тяжелый. Она основательно помучила его».

Ги и сам словно смешивается с этой пестрой и жалкой стаей пернатых в люстриновых нарукавниках. Под кипой деловых бумаг он заботливо прячет тридцать девять строф «Любви с птичьего полета», написанных в служебное время.

*Однажды юноша проворными шагами  
По шумным улицам бродил в вечерний час,  
Рассеянн скользя бездумными глазами  
По юрким девушкам, что смехом кличут нас...*

Очень трудно чиновнику выбраться из тяжелой нищеты. Его возможности крайне ограничены: наследство или выгодная женитьба, при этом снисходительность к похождениям привлекательной супруги, угодливость к сальным мира сего.

Борьба за наследство движет героями Мольера и Бальзака, в романах-фельетонах и в рассказах Мопассана. Караван, считая свою тещу мертвой, завладевает желанным комодом старухи. Обезумев от радости, он уходит со службы. Старуха воскресает. Караван утирает холодный пот со лба: «Что я скажу моему начальнику?» Леопольд Боннен женился на дочери бедного сослуживца. Богатая тетка жены умирает, завещая миллион... первенцу молодых супругов. Если же они в течение трех лет не будут иметь наследника, состояние должно перейти в пользу бедных. Подстегиваемый этой страшной перспективой, Леопольд изо всех сил стремится стать

отцом. Его жена вздыхает: «Какое несчастье лишиться богатства из-за того, что вышла замуж за дурака!» К счастью, есть товарищ по службе, красавчик Фредерик. И вот однажды утром госпожа Боннен, с сияющим лицом и блестящими глазами, положив обе руки на плечи мужа, тихо сказала, глядя на него пристально и радостно: «Я, кажется, беременна!»

Ребенка называли Дъедонне<sup>[37]</sup>. Деньги были сохранены, а госпожа Боннен с чувством собственного достоинства отказала Фредерику от дома.

Тема эта так завладеет Мопассаном, что он продолжит ее в «Наследстве», а позднее захочет переделать это произведение в пьесу.

Жюль Ренар<sup>[38]</sup>, обращаясь к тем же темам, вызывал у читателя легкий смех. У Мопассана смех горький. Между тем Мопассану, бытописателю чиновничьих нравов, благодаря его темпераменту, веселому нраву, его любви к шутке было легче, чем кому-либо другому, заставить людей весело смеяться над действительностью.

Так же как угасли воспоминания о войне, исчерпается и чиновничья тема. Два последних рассказа, написанных под влиянием службы, — «Вечер» и «Убийца» — относятся к 1887 году. Мопассан следует за событиями своей жизни с относительно небольшим опозданием. Это временное опоздание почти стабильно. Чиновники уйдут из его произведений, как только войдут в них «маленькие графини».

24 сентября 1873 года, через год после поступления на службу, хотя теперь уже и получающий жалованье Мопассан не может преодолеть горького разочарования. Осенью это всегда так... Тоска, вызываемая набившей ему оскомину работой, усиливается осенними короткими днями. Ги болезненно воспринимает мир. Ему кажется, что он пропитан «прелой влагой, предвещающей смерть листьев».

И «растерянный, одинокий и подавленный» Мопассан обращается к матери: «Я боюсь наступающей зимы, остро чувствую свое одиночество, мои долгие одинокие вечера иногда ужасны... Я написал сейчас, чтобы несколько рассеяться, одну вещь в духе «Рассказов по понедельникам»<sup>[39]</sup>.

Ги с трудом продвигается вперед. Да! Он отдает себе в этом отчет. Но у него ограниченные стремления: короткий рассказ имеет свои преимущества, его охотнее печатают газеты.

30 октября 1874 года он пишет все той же Лоре: «Постарайся найти сюжеты для новелл. Днем; в министерстве, я мог бы немного работать. По вечерам я книгу стихи, которые пытаюсь напечатать в каком-нибудь

журнале...»

У Мопассана есть два настоящих друга — Робер Пеншон по прозвищу «Шапочка» и Леон Фонтен — «Синячок». Пути их снова скрестились после поражения. Ги трогательно расскажет в «Мушке» о Робере Пеншоне, «прирожденном знатоке театра, остроумном и ленивом, никогда не прикасавшемся к веслам», и Леоне Фонтене, «наименее щепетильном пройдохе». Ги доверил Леону Фонтену рукопись своего первого рассказа «Рука трупа». В 1875 году он был опубликован под псевдонимом Жозеф Прюнье в альманахе, который издавал двоюродный брат Леона Фонтена. Что скажет о рассказе Флобер? За два года до этого Флобер еще сомневался: «Быть может, он талантлив: как знать?» Ничто из того, что показывал Ги, не вызывало в нем энтузиазма. Флобер перечитывает «Руку трупа». В рассказе весьма заметное влияние Жерара де Нерваля, Эдгара По, Гофмана. Малыш еще не отшелушился после романтической ветрянки. Что и говорить, пишет он неплохо. Подчас даже очень выразительно. Флобер читает вслух: «...Рука была ужасна, черная, высохшая, очень длинная, как бы скрюченная. На необычайно развитых мускулах оставались сверху и снизу полоски кожи, похожей на пергамент, на концах пальцев торчали желтоватые острые ногти...» Полоски, пергамент. Хорошо! Но «оставались»! А сюжет! Рука, когда-то отрубленная от трупа убийцы, хочет задушить своего случайного владельца, студента, который решил приспособить ее вместо дверной ручки. Подобно Дон-Жуану, студент провозглашает: «Пью за посещение твоего хозяина!» Автор «Воспитания чувств» бурчит: «Романтик! Англичанин! Немец!» Однако, когда после таинственной попытки удушить студента рука исчезает, Флобер чувствует, что рассказ увлек его. Он вновь перечитывает рассказ. Герой сходит с ума, руку кладут в гроб убийцы, и все становится на свои места. Можно легко себе представить реакцию Флобера. Нет, Ги, конечно, далеко до Эдгара По. Не ощущаешь той атмосферы страха, которая так характерна для рассказов знаменитого американца. Эго и не Гофман. Нет у Ги саркастического шутовства прославленного немца. И Нерваля он тоже не стоит. Мопассану не хватает его чудесной музыки слов. Просто честная работа, да и только!

В том же 1875 году Ги написал «Доктора Ираклия Глосса», тяжеловесный фарс о переселении душ. Однако если внимательно прочесть это произведение, то можно обнаружить в нем некоторое своеобразие, отличающее его от первого рассказа. В этих рассказах говорилось о сумасшедших. Конечно, это дань моде. В двадцать пять лет Мопассан скорее рассказчик-фантаст, чем наблюдатель-реалист. Но главное состоит в

том, что его фантастика слишком «книжная», так же как и поэмы. И наконец, зачем Ги рассказывать подобные истории? Он хочет эпатировать буржуа, но это ему плохо удастся. Вещи, написанные в подобной манере, не нравятся его ментору. Так почему же Флобер не высказывает решительного осуждения? Потому что во многих фразах, во многих абзацах еще более явственно, чем в «Руке трупа», чувствуется какая-то тревога, возникают таинственные ночные видения.

Тема этой философской истории сугубо флюберовская — о тщеславии познания. Доктор возвращается к себе. «Рабочая лампа горела на столе, а перед камином, спиной к двери, в которую вошел доктор, он увидел... доктора Ираклия Глосса, внимательно читающего рукопись. Нельзя было усомниться — это был он сам».

Так почему же Флобер возмущенно не пожимает плечами? Откуда это смущение? Флобер, эпилептик, испытывает неясную тревогу. Бесспорно, ощущение раздвоенности героя носит еще чисто ученический характер. Но именно в этой части рассказа Ги пишет лучше всего. Полубанальность перестает быть таковой, потому что она получает свое художественное **воплощение**. Но тема двойника характерна для романтизма, в частности немецкого. Тотчас же на ум Флюберу приходит Гофман. Метр снова берется за чтение. Он придирается к каждой погрешности. В своем первом фантастическом опусе «ученик» слишком поспешно приходит к логическому объяснению. Это уже не настоящая фантастика! Существование руки вне зависимости от ее владельца — типичное картезианство. Во втором рассказе Малыш объясняет слишком примитивно появление двойника, которого доктор видит на своем месте: обезьяна доктора копирует хозяина, усвоив его привычки! В этом нет ничего иррационального, **необъяснимого**. Заурядно. Тогда чем же смущают Флюбера эти два рассказа? Почему он на какой-то миг верит в двойника доктора Глосса, **в двойника, который окажется не обезьяной?**

Несколько позднее Леон Фонтен припомнит один интересный эпизод: «Как сейчас вижу перед зеркалом Ги, вглядывающегося в блестящую поверхность, которая словно завораживает его: изучать свое лицо в зеркале — его трагическая страсть. Через минуту, побледнев, он прекратил странную игру и воскликнул: «Занятно, я вижу своего двойника!» Это свидетельство, в достоверности которого мы еще не раз сумеем убедиться, является весьма существенным, потому что оно объединяет два понятия: «двойник» и «зеркало». Мопассан как-то доверительно скажет Полю Бурже<sup>[40]</sup>: «Всякий раз, возвращаясь к себе, я вижу своего двойника. Я открываю дверь и нахожу себя сидящим в кресле».

Внезапно Флобер вновь вспоминает загадочную улыбку своего друга Альфреда Ле Пуатвена, несчастного дяди Малыша. Викинг подымается и размашисто шагает по своему кабинету, потом подходит к окну и глядит на сверкающую Сену. Проплывает облако, превращая реку в оловянный слиток.

Доппельгенгер появился на сцене только в фарсовом обличье, но сверхнервный обитатель Круассе уже почувствовал смертельный холод. Он первый если еще и не совсем понял, то уже догадался, что его ученик не сможет избежать свиданий с зеркалами, в которых скрывается двойник.

А пока что надо ответить Лоре. Она вновь ставит вопрос практически: «Считаешь ли ты, что Ги следует оставить министерство и посвятить себя литературе?» Еще раз Гюстав предпочитает осторожность и, ворча, чтобы скрыть неловкость, которая явно не проходит, выводит на бумаге: «Ты же не хочешь сделать из него неудачника! Рано, слишком рано».

Но это уже и не совсем «нет».

Ги, которому сообщили приговор, продолжает **писать**. Пусть он не гений. Пусть у него даже нет таланта.

Мастерство не приходит, жизнь истощает, скука Поднимается в душе как вода. Унылая арифметика неотвязно преследует его. Вот уже два года он служит в министерстве. Снова осень! И снова нужно ждать одиннадцать месяцев поездки в Этрета. Ах, Этрета! Эльдорадо! Обетованная земля, острова Борроме! Время, которое течет подобно реке, невозможно остановить.

Оно повергает Мопассана в приступы раздражительности, в мучительное раздумье, в меланхолию, усугубляющую его природную склонность к депрессии: «Уж не сон ли это, что я поехал в Этрета и пробыл там полмесяца? Мне кажется, что я не покидал министерства, что я все еще жду отпуска...»

Мать болеет в Верги. Он страдает от этого. Она страдает за него. И холод, «страшный холод». В Тюильрийском саду уже опали листья. И Ги представилось, что его «обдало ледяным ветром. Как хорошо было бы очутиться в стране, где всегда греет солнце!».

В субботу 18 сентября, погожим осенним днем, Ги вместе с приятелем, художником Мазом, отправляется пешком в Сен-Реми и останавливается в Шаврезе. Там они ночуют, встают в пять утра, осматривают развалины замка. И затем бодро отправляются в Сернэ, ослепленные «бесподобной красотой пейзажа». Оба молодца, плотно позавтракав колбасой, ветчиной, двумя фунтами хлеба и сыром, пройдут три лье вдоль прудов. «Мне было



жарко, горячая кровь струилась в моем теле. Я чувствовал, как она, слегка обжигая, бежит по жилам — быстро, легко, ритмично и приятно, словно песня, великая, бессмысленная и веселая песня во славу солнца».

Минуя Оффаржи и Трапп, они выходят к Сен-Кантенскому пруду, затем к Версалью, Пор-Марли и Шату. Приятели возвращаются в половине десятого вечера, «пройдя около шестидесяти километров». Во время этой прогулки покрытого пылью, похожего на бродягу Ги — он носит в ту пору бороду — «преследовала навязчивая мысль: как хорошо было бы выкупаться в море!».

Рассказ этот заканчивается словами, полными горечи: «Мама, много ли еще народу в Этрета?!»

В отчаянном хвастунишке, слонявшемся по берегам Сартрувилля, все еще жил огорченный ребенок.

**Флобер, улица Мурильо. — Трудно писать. — Август 1877 года: пребывание в Луэш. — Сара Бернар и «Измена графини де Рюн». — «Каторжники и те менее несчастны». — Бюджет служащего Мопассана. — Министр и прачка.**

Флобер решил провести зиму 1875/76 года в Париже. Он уведомляет об этом Ги. «Решено, Малыш, этой зимой вы каждое воскресенье завтракаете у меня. Итак, до воскресенья, ваш Флобер».

Каждое воскресенье после полудня он принимает своих друзей на улице Мурильо, что рядом с парком Монсо. По аллеям парка не раз по воскресеньям неторопливо проходил Мопассан, не подозревая о том, что со временем здесь будет стоять его бюст. У Флобера Ги встретился с суровым «Господином Тэном»<sup>[41]</sup>, хрупким Альфонсом Доде, отравленным южной насмешливостью, всегда озабоченным Золя и с русским гигантом Тургеневым. Москвитянин, как называл его Флобер, входил в салон с непринужденностью, вызывавшей зависть у гребца из Аржантея. «Великан с серебряной шевелюрой, как из волшебной сказки...»

Ги слывет на улице Мурильо славным малым, в мускулатуру которого верят больше, нежели в ум. Если Москвитянин не очень ценит талант Мопассана, то и остальные не слишком высоко его ставят. И Золя в своей речи на похоронах Мопассана откровенно скажет о «Пышке»: «Это была одна из самых больших радостей, ибо он стал нашим коллегой, выросшим на наших глазах, а мы и не подозревали о его таланте». А Доде — тот признался: «Если бы этот нормандский крепыш, с лицом, раздумянным сидром, попросил бы меня, как многих других, честно высказаться о его призвании, я ответил бы ему без колебаний: «Не пишите». Вот вам и искусство диагностики».

В 1874 году всеобщий любимец встречает у Флобера Эдмона де Гонкура. «Наконец, почти всегда последним, появляется высокий стройный человек с задумчиво-строгим, хотя нередко улыбающимся, лицом, носящим отпечаток возвышенного благородства. У него длинные седеющие, словно выцветшие, волосы, седые усы и странные глаза с необычно расширенными зрачками».

Имя Мопассана появится впервые в знаменитом «Дневнике»<sup>[42]</sup> Гонкура только в воскресенье 28 февраля 1875 года. Так как в этот день

предметом разговора была поэзия Суинберна, Доде воскликнул: «...Ходят необычайные слухи о его прошлогоднем пребывании в Этрета...

— Нет, это было раньше, несколько лет назад, — возражает Мопассанчик (sic), — я тогда тоже жил в Этрета...

— А верно, — воскликнул Флобер, — ведь вы, кажется, спасли ему жизнь?»

Мопассан рассказал памятную историю, расставив все точки над «и». Несколько крепких непристойностей завершили его повествование, которое Гонкур постарался хорошо запомнить. Он вновь заговорит о «Мопассанчике» лишь 16 апреля 1877 года, по случаю знаменитого обеда у Траппа, и упомянет последним.

В воскресенье 21 марта 1875 года Флобер не смог принять Ги. И второпях написал ему: «Похотливый сочинитель, юный развратник, не приходите ко мне в воскресенье завтракать (я объясню вам причину), но зайдите часам к двум, если вы не будете грести. Это мое последнее воскресенье, и Тургенев обещал нам наконец перевести Сатира папаши Гёте».

Да, записка эта о многом свидетельствует! О простоте отношений между Ги и его учителем, о регулярности и обыденности их встреч (Флобер пишет ему не для того, чтобы пригласить, а чтобы отложить встречу), о ревности старшего друга к спорту, о привычке Ги заниматься греблей даже зимой.

Ги пишет с пятнадцати лет. Десять лет борьбы. Даже в свою повседневную корреспонденцию он вносит бесконечные поправки. Бесспорно, Флобер и Буйле научили его критически относиться к самому себе, но требовательность его чрезмерна. Нелегко письменно выражать свои мысли. И Ги де Мопассан являет собою великолепный пример забытой аксиомы: писателю лучше иметь слабый талант и сильный характер, чем сильный талант и слабый характер. По словам Анри Сеара, часто встречавшего Мопассана во времена, когда он уже был прославленным автором «Пышки», — в тридцать лет, — тот все еще трудно писал: «Статьи, в которых он пробовал себя, отнимали у него уйму времени, и он тратил на них много сил».

В письме к Флоберу, датированном 21 августа 1878 года, Мопассан честно признается: «Все эти три недели пытаюсь работать каждый вечер, но не могу написать ни одной путной страницы. Ни одной, ни одной. И я постепенно погружаюсь во тьму печали и уныния, откуда очень трудно

выбраться... Я даже попытался писать хронику для «Голуа», чтобы раздобыть несколько су. Но и это оказалось мне не по силам; я не могу написать ни одной строки, и мне только хочется плакать над бумагой».

Однако настойчивость молодого человека такова, что он кое-чего добился. Он упомянул «Голуа». Так вот, 3 апреля 1878 года он может уже написать Лоре: «Я опять видел Тарбе, и он просил меня составлять для него хронику, но не литературную. Ему хотелось бы, чтобы, взяв какой-нибудь факт, я делал на основе его философские или иные заключения. Золя настаивает, чтобы я согласился, говоря, что это единственный выход из положения. Несколько самых различных причин смущают меня: 1) Я не хочу брать на себя ежедневную хронику, ибо буду вынужден писать глупости; я согласился бы только время от времени писать о каком-нибудь интересном событии... Я хотел бы написать о самоубийствах (тема, которая всегда будет интересовать его. — А. Л.) из-за любви, столь частых в наше время, и сделать кое-какие, может быть, неожиданные выводы. Наконец, я буду печатать только статьи, под которыми осмелюсь подписаться, а я никогда не поставлю своего имени под страницей, написанной за час или два. (Он изменит свою точку зрения. — А. Л.) 2) Я не хочу постоянно зависеть от дирекции «Голуа» даже в том случае, если они и не будут от меня требовать политических статей».

«Голуа» публикует его стихи. «Последняя шалость». Ги в полном восторге от возражений «педантов, блюстителей идеалов, шарманщиков возвышенного». Он хо-рохорится: «Я встретил Эжена Белланже<sup>[43]</sup> который меня не жалует. Я забавлялся целый час, защищая свою поэтику... Он кричал: «Это декаданс, декаданс!» Я отвечал: «Кто не следует за литературным течением своей эпохи... остается за бортом и т. д. и т. п.».

Он сказал мне, что имя Сарду<sup>[44]</sup> не умрет, тогда как от Флобера и Золя не сохранится ни строчки... Наконец, увидев, что он собирается перегрызть мне горло, я спасся бегством...»

С 1872 года, продолжая увлекаться пустячками, Мопассан ощущает прилив чувственного вдохновения. Манера его письма меняется. Голубые цветы опадают. В «Виденном вчера вечером на улице» исчезает бесцветный лиризм Сюлли Прюдома.

*Липка еще щека от пота и белил,  
Ее незрячий взор и туп и мутен был.  
Болталась грудь ее, до живота свисая,  
Беззубый рот ее — черней, чем тьма ночная, —  
Уродливо зиял, очаг заразы той,*

*Что была вам в лицо, с заразой трупа схожа.  
И ясно слышалось под дряблой этой кожей,  
Как в жилах у нее сочится вязкий гной.*

Мопассан скажет о Тургеневе, что русский «считал себя поэтом, как все романисты», не подозревая, что это утверждение как нельзя лучше применимо к нему самому.

Мопассан делает ставку на Золя: «С осени начнет выходить большой журнал, и Золя будет его редактором. Он напечатает мой роман, который даст мне тотчас же 4 или 5000 франков. Субсидирует журнал фабрикант шоколада Менье. Для начала он ассигновал 600000 франков».

Заканчивая письмо, Ги подтрунивает над госпожой Денизан, светской дамой из Этрета, которая в письме к отцу Мопассана, между прочим, замечает: «Мне хочется, чтобы какая-нибудь прекрасная дама в шелковых чулках, на кокетливых каблучках, с волосами, надушенными амброй, внушила бы Ги то чувство вкуса, которым не обладает ни Флобер, ни Золя, но которое делает великими поэтов, написавших всего какую-нибудь полусотню стихов... Я нахожу эту фразу чудесной; в ней заключена извечная глупость прекрасных дам Франции. Я знаю эту литературу на изящных каблучках, но не стану ею заниматься. Единственное мое желание — не иметь вкуса. Великие люди не обладают вкусом, а создают новый».

Это презрение к общепринятому вкусу — слово, которое он произносит, сложив губы бантиком подобно глупеньким красоткам, — Мопассан сохранит довольно долго и перестанет быть Мопассаном, как только откажется от него.

В августе 1877 года Ги получил в министерстве отпуск для лечения в Швейцарии, на водах Луэш. Впервые Ги покидает Францию. Он использует историю этого путешествия в милом рассказе «На водах. Дневник маркиза де Розевейра». Приехав лечиться, маркиз выбирает себе жену на месяц, как «вещь, купленную по случаю и могущую сойти за новую». В конце концов маркиз убедился в том, что случайная маркиза вполне стоит настоящей. Швейцарская природа словно списана с почтовых открыток. Зато «сюрреализм» курортного мирка произвел на Ги очень сильное впечатление: «Прямо из спальни спускаешься в бассейн, где мокнет человек двадцать купальщиков, уже закутанных в длинные шерстяные халаты, мужчины и женщины вместе. Кто ест, кто читает, кто разговаривает. У каждого — маленький плавучий столик, который можно

толкать перед собой по воде».

Он возвращается на службу загорелый, пышущий здоровьем и невылечившийся. «С тех пор как я вернулся из Швейцарии, начальник обращается со мной как с собакой. Он не допускает того, что человек может болеть, когда служит».

Чтобы как-то свести концы с концами — журнал Золя задерживается с выпуском, — Ги ищет «приятную и хорошо оплачиваемую работу в одном из отделов Управления по вопросам изящных искусств, но пока нет ничего на примете». Он хочет вновь обратиться к Флоберу, объяснить ему, какие ужасные условия в морском министерстве, этой пожизненной каторге...

И он просит простодушно свою мать в письме от 21 января 1878 года «изобразить (перед Стариком. — А. Л.) его положение в самых мрачных красках».

Флобер ходатайствует об устройстве Ги перед своим другом Ажероном Барду, министром народного образования в кабинете Дюфора. Большой друг Луи Буйле, Барду даже публиковал стихи под псевдонимом А. Бради. Он очень любит Флобера, но боится, что Ги подведет его. Барду увиливает, выжидает, тянет.

Ги между тем закончил свою пресловутую пьесу, над которой работал с остервенением, «Измена графини де Рюн». Он прочел ее Флоберу. Старик незамедлительно начинает искать издателя для его стихов, газету для его хроник и театр для его трагедии!

По рекомендации Флобера Ги отправляется на свидание с Сарой Бернар, ставшей в 1869 году знаменитостью после пьесы Франсуа Коппе «Прохожий». В феврале 1877 года ей немногим более тридцати. Мы располагаем весьма незначительными сведениями об этой беседе. А жаль!

Встреча произошла в первой половине февраля: «Я нашел ее очень любезной, даже слишком любезной; представь себе, она пообещала лично вручить мою драму Перрену (администратору театра. — А. Л.) и добиться того, чтобы ее прочли». Но Ги насторожен: она сказала ему, что прочла лишь первый акт, да и прочла ли она его?

С театром Мопассану так же не повезло, как и Золя. Лишь значительно позже Ги добьется весьма сомнительных успехов на этом поприще. Что же касается «Измены графини де Рюн», исторической драмы, действие которой происходит в 1347 году, то это, по существу, «Рюи Блас» на нижнебретонском диалекте.

*«Графиня. ...Ревнуешь ты?*

*Жак де Вальдероз. К кому ревную?*

Графиня. К прошлому моему.

Жак де Вальдероз. Нет, ведь вы меня любите...

(Граф выбрасывает свою жену в окно. Потом, высунувшись, свирепо кричит.)

Граф. Она твоя, вероломный, я отдаю ее тебе!

Занавес».

Сдержанность Флобера вполне объяснима, да и Сара не стремилась быть выброшенной в окошко.

Подавленный неудачами, издерганный слухами об отставке морского министра, Ги неотлучно томится на службе: дни кажутся «долгими, долгими и очень грустными, — в обществе дурака-сослуживца и начальника, который осыпает меня бранью. Я ни о чем не говорю с первым и не возражаю второму. Оба меня презирают и считают глупым, что меня утешает».

— Чем вы заняты, господин Мопассан? — часто раздается насмешливый голос. — Мне редко приходится видеть вас таким деятельным! Господин Мопассан, государство платит вам за службу на пользу государства.

— Но, мосье, я закончил уже свою работу.

— Я официально запрещаю вам заниматься... другим делом... — Свое презрение к Ги начальник подчеркивает особым, резким тоном: —... другим делом, кроме служебного. Я запрещаю вам читать во время тех жалких семи часов, которые вам положено посвящать службе в министерстве.

— Но, мосье, мне больше нечего делать!

— Тогда просмотрите заново нашу переписку за десять лет. Это многому вас научит.

«Каторжники и те менее несчастны», — вздыхает Ги.

Как-то в середине октября в Круассе Ги и Флобер нрговорили почти всю ночь. «Строки Виктора Гюго срывались с губ Викинга, как взнузданные кони», метр был в отличном настроении.

— Ги, послушай-ка! «Луарские наводнения вызываются недопустимым тоном газет и непосещением воскресного богослужения. Послание епископа Мецкого округа, декабрь 1846 года». Обожди, обожди! «Собаки бывают обычно двух противоположных окрасок: светлой и более темной. Это устроено для того, чтобы мы смогли разглядеть собаку на фоне мебели, в каком бы месте дома она ни находилась, иначе ее окраска слилась

бы с окраской мебели. Соответствия в природе, Бернарден де Сен-Пьер». Гр-р-рандиозно! «Мне представляется поразительным, что рыбы могут рождаться и жить в соленой морской воде и что они не вымерли уже давным-давно! Гом, Катехизис постоянства, 1857 год». И они постоянны! Молодой человек, это мой архив человеческих глупостей!

Ги счастлив: с 1876 года Старик с ним на «ты». Он носит шелковую ермолку, из-под которой выбиваются пряди вьющихся волос. Он кажется еще величественнее в халате из коричневого грубошерстного сукна. Ги навсегда сохранил его таким в памяти: «Его красное лицо, пересеченное густыми, свисающими седыми усами, вздувалось от бурного прилива крови. Глаза его, оттененные длинными темными ресницами, бегали по строчкам, нащупывая слова...»

Флобер повторяет:

— Глупость, глупость, колосс-с-сальная, колоссальная! Единственная владычица мира! Грр-р-рандиозно! Грр-р-рандиозно!

На следующий день они посетили Пти-Курон — жилище великого старца Корнеля, — «кирпичный домик на левом берегу Сены, в жалкой деревне. Комнаты очень низкие, местность кругом унылая, но все же здесь отдыхаешь душой. Заросший илистый пруд с большим камнем на берегу вместо скамьи, очевидно, нравился старому поэту, погруженному в свои думы...»

4 ноября Ги, возвратившись на каторгу в министерство, вновь все взвешивает. Этот крепко сбитый человек, упорный и настойчивый, ничего не делает сгоряча. Флобера он, безусловно, убедил. Ну, а что дальше? Поменять министерство? Хорошо бы, конечно. Но при условии, что жалованье будет не меньше, чем здесь. Он получает 2 тысячи франков в год. К этому надо добавить небольшую сумму, которую продолжает выдавать ему снисходительный отец. Всех этих денег с грехом пополам хватает на жизнь, «а после того, как я уплачу за квартиру, портному, сапожнику, прислуге, прачке и за стол, у меня от моих 216 франков в месяц остается не более 12–15 франков на холостяцкие расходы».

«Если бы сейчас был январь, самое страшное осталось бы уже позади: когда дни удлиняются, легче жить. Декабрь же, черный месяц, зловещий месяц, полночь года, меня устрашает. Нам в министерстве уже выдали лампы. Через месяц начнут топить...» (6 октября, 1875), Положение становится нестерпимым. Начальник, выведенный из себя нерадивым чиновником, постоянно недомогающим, часто манкирующим служебными обязанностями, в конце концов сообщает директору, что Мопассан просит



освободить его от должности в министерстве. С этого дня его каждое утро спрашивают:

— Когда же вы наконец уйдете?

Ги меж двух стульев. Барду по-прежнему колеблется. Ги два-три раза в неделю докучает Флоберу: «Я погряз в дерьме по горло и истерзался от неприятностей и невыразимой печали... Тяжелая штука — жизнь». В декабре Мопассан был принят Барду. Он не произвел на Мопассана хорошее впечатление, несмотря на то, что похвалил некоторые его стихи, особенно стихотворение «На берегу», которое ему показал Флобер.

*...в упор взглянула на меня  
И растянулась вдруг... Заманчиво округлы,  
Задорно глядя врозь, блистая и дразня,  
Две груди выплыли, она же с новым жаром  
Схватила свой валец; и нежны, как цветки,  
Под мерный стук валька, танцуя в такт ударам,  
Чуть розоватые запрыгали соски.*

Но Барду не хватает твердости. К тому же он так рассеян! Все забывает. Но вот решение принято. Мопассана отзывают в министерство народного образования. На улице Руаяль разражается скандал.

— Вы уходите со службы, не пройдя через все положенные инстанции? — говорит возмущенный начальник. — Я не разрешаю...

Ги обрывает его с заранее рассчитанным высокомерием:

— О мосье! Вам нечего разрешать! Дело решается наверху: между министрами.

В морском министерстве личное дело служащего Ги де Мопассана дополняется последней характеристикой, шедевром административного вероломства: «Так как на основании собственного заявления г-н де Мопассан увольняется из Морского министерства и переходит в Министерство народного образования, то я полагаю излишним высказывать мнение по поводу его служебных качеств».

Несколько дней спустя Ги вынужден был занять у Леона Фонтена 60 франков. Письмо по этому поводу Мопассан закончил торжественным перечислением своих титулов, от которых просто дух захватывало: «Находящийся в распоряжении министра народного образования, вероисповеданий и искусств, особоуполномоченный по переписке министра по делам управления отделами вероисповедания, высшей школы

и учета». Все последующие письма он будет подписывать теми же титулами.

***Сена. — Курбе, Коро и Моне. — Парадоксы живописи и поэзии. — Поклонение солнцу. — Колония Аспергополиса. — Рабле, крепитусиане и Общество сутенеров. — Оживший Мане. — От Ренуара до Лотрека. — Мушка***

Чувствуя отвращение к затхлому воздуху служебных кабинетов, к слабым мускулам, к жалким умам, Мопассан, как только у него заводится несколько франков, бежит от всех и всего в Этрета, когда же карманы его пусты — к Сене. Чиновник преображался в дитя природы.

Два раза в неделю он ночует в Безоне, встает с рассветом, от пяти до семи фехтует или приводит в порядок свой ялик. Ранним туманным утром спускает его на воду, чутко вслушивается, как вода обтекает днище, как шумит тростник, — милые, родные сердцу звуки! Дыша полной грудью, налегает на весла — на реке нет никого, кроме него да браконьеров. Чуть позже он вскакивает почти на ходу в первый поезд, в купе третьего класса, пропахшее псиной, чтобы потом опять проторчать семь часов в канцелярской клетке, куда он ежедневно приходит с опозданием, запыхавшийся, красный и злой.

Топография Иль-де-Франс воссоздана Мопассаном в его рассказах с точностью, которой так добивался от него Флобер. Торговец скобяными товарами Дюфур из «Поездки за город», заняв у молочника повозку, проезжает по Елисейским полям вместе с женой Петрониллой, дочерью Анриеттой и желтоволосым малым. Он минует линию укреплений у ворот Майо. За мостом Нейи Дюфур въезжает в деревню. На круглой площадке Курбевуа путешественники любуются открывшимся пейзажем: «Направо был Аржантей с подымавшейся ввысь колокольной, вдали виднелись холмы Саннуа и Оржемонская мельница. Налево в ясном утреннем небе вырисовывался акведук Марли, еще дальше можно было разглядеть Сен-Жерменскую террасу». Они вторично переезжают Сене: «Река искрилась и сверкала, над нею подымалась легкая дымка испарений, поглощаемых солнцем. Ощущался сладостный покой, благотворная свежесть».

Когда Ги едет в Безон поездом, то он сходит на станции Курбевуа, и оттуда его увозит переполненный дачниками дилижанс. Рыбаки пристраиваются на крыше, и «так как они держат свои удочки в руках, то колымага вдруг начинает походить на большущего дикобраза».

В те годы в грязном и неприглядном пригороде Парижа все же кое-где сохранились зеленые луга. В этом воскресном Эльдорадо, центром которого была «Лягушатня»<sup>[45]</sup>, собирались первые импрессионисты, здесь царило безалаберное веселье, а на реке весла гребцов взвизгивали воду.

Во второй половине XIX века тема воды, пришедшей на смену теме романтического огня, овладевает живописью, музыкой и в меньшей степени литературой. Мопассан весь во власти живой воды. Он, подобно Моне и Дебюсси, превозносит ее в своем творчестве.

Ги следует всеобщему увлечению, но на свой лад. У него нет сознательного отношения к художественному явлению, которое получит название импрессионизма. Это молодые художники — что ж, он их знает, ценит, но и только. Всегда несколько разочаровывает основоположник течения, который сам его до конца не постигает. Художники рисовали мир, внося в картины мерцание водяных бликов, в сонатах звучал ритм водяных капель, писатели искали новый стиль, не ведая, что идут путем своих братьев по искусству. Мопассан понимал Курбе, рисующего «Волну», и Моне, и Ренуара, и многих других, но как романист он больше восхищался самими художниками, а не их полотнами. В Курбе он видел прежде всего своеобразную личность: «У него неповоротливый, но очень точный ум, отличающийся чисто крестьянским здравым смыслом, скрытым за грубоватой шуткой. Стоя перед картиной «Святое семейство», которую ему показывал один из его братьев, он сказал: «Очень красиво. Должно быть, вы лично знали этих людей, раз написали их портреты». Сам человек занимал Мопассана не меньше, чем художник.

Одно из самых тонких и вдохновенных воспоминаний Мопассана связано с Коро. Эпизод этот относится к тому времени, когда Ги было четырнадцать лет... «Я шел Борпэрской долиной, как вдруг увидел во дворе небольшой фермы старика в синей блузе, который, сидя под яблоней, писал картину. Сгорбленный на своем складном стуле, он казался совсем маленьким. Вид его крестьянской блузы придавал мне смелости — я подошел поближе, чтобы поглядеть... Желтый свет струился по листьям, пробивался сквозь них и падал на траву светлым мелким дождем. Старик не заметил меня. Он писал на небольшом квадратном куске холста — тихо, спокойно, почти не двигаясь. У него были седые, довольно длинные волосы и кроткое лицо, озаренное улыбкой.

Я встретил его на следующий день в Этрета; старого художника звали Коро...»

Мопассан в 1884 году повстречает там же и Моне и прекрасно

разберется в том, что тот делает. Далеко не все писатели того времени были способны на это. «В этой же самой местности я часто сопровождал Моне, когда он отправлялся на поиски впечатлений. Это был уже не живописец, а охотник. За ним шли дети; они несли его полотна, пять-шесть полотен, изображающих один и тот же пейзаж в разные часы дня и при различном освещении... Я видел, как он однажды «схватил» сверкающий водопад света, брызнувший на белую скалу, и закрепил его с помощью потока желтоватых бликов, — они странным образом передавали, во всей разительности и мимолетности, впечатление от неуловимой, ослепительной вспышки света. В другой раз он набрал полные пригоршни ливня, пронесшегося над морем, и бросил его на полотно...»

Свечение воды во время дождя, желтые тона, ослепительные вспышки — это же импрессионизм!

Но Мопассан ценил и Бастьена-Лепажа, чьи фотографические пасторали были ему по вкусу. Нравились ему картины Жервекса и Жана Бера, кузена Ле Пуатвена, и бесцветного Гийеме, которого Золя предпочитал Сезанну, а Бугеро Мопассан ставил в один ряд с Мане.

Эта неразборчивость вызывает недоумение: ведь Мопассан-писатель — их собрат не только, когда говорит о них, но и тогда, когда живописует крупными мазками или же невесомым прикосновением кисти лучшие свои страницы — по-импрессионистски, точно так, как писал Курбе своих «Барышень с Сены» и «Волну», Мане — «Бар Фоли-Бержер» и Моне — пейзажи Аржантея и Этрета!

Ги скажет 30 апреля 1886 года: «Я ровно ничего не смыслю в живописи, которой никогда не занимался». Ложное признание. Доказательством тому служит следующее утверждение Мопассана, весьма редкое до 1900 года: «Мы наконец поняли, что сюжет в живописи не имеет большого значения... Художник должен взволновать нас самим своим произведением, но отнюдь не темой, которую раскрывает его картина».

Это замечание, столь необычное для той эпохи, не может принадлежать человеку, не чувствующему живописи. Как, впрочем, и другое, в котором он, наоборот, высмеивает «репродукции, печатаемые в газетах, столь же опасные, как и романы-фельетоны, излюбленные консьержами», беря тем самым на прицел салонный академизм, его художников, его критиков и его публику. У Мопассана был куда более меткий и требовательный глаз, чем он в том признавался: «Глаза мои, раскрытые наподобие голодного рта, пожирают землю и небо. Да, я ощущаю отчетливо и глубоко, что пожираю мир своим взглядом...» И если он и не «занимался» живописью, он все же рисовал — рисовал живо,

насмешливо, в манере газетных художников, довольно часто непристойно, всегда занимательно, куда более занимательно, чем его письменные фривольности. Ум, глаз и даже рука — у него есть все, чтобы попытаться счастья в живописи.

Так в чем же дело? Чем объяснить столь противоречивые взгляды Ги на живопись? Двумя не исключаящими одна другую причинами. Если припомнить, что Гюстав де Мопассан был художником, а Ги за ним этого не признавал, можно прийти к выводу, что презрение к отцу перешло на живопись вообще. Объяснением этим не следует пренебрегать. Вторая причина более общая. Ги хотел сохранить за собой право любить все, вплоть до плохой живописи, если ему так нравилось. Он не собирался урезывать себя в чем бы то ни было ради достижения гармонии между своими взглядами и своим образом жизни. Он не привык приносить жертвы и считал, что вполне достаточно быть взыскательным к себе в своем творчестве, чего, впрочем, он никогда полностью не осуществлял. Уже в те годы норманец, зачерстневший от нелегкой жизни, наделенный наследственной подозрительностью, пессимист благодаря воспитанию матери, урокам Флобера, испытаниям войны, **не желает занимать в жизни и в искусстве определенной позиции.**

Эта черта, столь новая для простодушного подростка, которого мы знаем по Этрета, Ивето и Руану, наложит отпечаток на все его мироощущение. Проявится она и в поэзии. Грубоватый Мопассан будет глубоко понимать самых сложных поэтов своего времени. Ги высоко ценил Верлена и Хосе-Мария де Эредиа, с которым он познакомился в начале 1878 года, разумеется, уважал Гюго, но защищал также и Бодлера, своего любимого поэта.

Можно ли верить в чистосердечность восхищения «чудесной падалью»<sup>[46]</sup>, как образно изволит называть Мопассан творчество Бодлера? Весьма вероятно, что вызывающая сторона его творчества — цветы зла, проклятые женщины, антиханжество пленили Ги не менее, чем волшебство его стиха. Пусть так. Но Мопассан пойдет еще дальше, вспоминая прославленный сонет о гласных, умно и с симпатией толкуя о «красочном слуховом восприятии» Артюра Рембо. Такое случалось весьма редко. Еще более похвально, быть может, то, что Ги восхищался Малларме. Дружба между этими двумя художниками, столь разными, открывает нам еще одного Мопассана: пронизательного, тонкого, непохожего на того, каким его запечатлела история литературы.

Но, как и в живописи, он проявлял терпимость и к банальной поэзии Франсуа Коппе и Сюли Прюдома. Такая же позиция и в музыке, правда

слабее выраженная.

Итак, мы столкнулись со снисходительной уступчивостью, с желанием не высказывать определенную точку зрения — с одной из наиболее характерных черт того, кто вскоре станет несравненным автором «Пышки» и «Милого друга».

Ла-Манш в Этрета и в Гавре, Сена в Руане и в Манте, «Лягушатня», Средиземное море в Каннах неразрывны с импрессионизмом. Вода с 1850 года стала «прекрасной дамой» живописи. В юные годы Третьей республики Сене никогда не уделяли достаточного внимания. Одновременно с появлением в живописи резких мазков, в музыке — диссонансов, а в поэзии — многообразия размеров на берегу реки взамен чопорных крахмальных воротничков, необходимой принадлежности буржуазной условности, торжествующе входят в моду открытые сорочки. Гребцы, купальщики, любители «воздушных ванн» совершают революцию нравов. В 1871 году близ Буживаля появляются сутенеры, разномастные девицы легкого поведения, полуголые гребцы, возмущающие отдыхающих лавочников и вгоняющие в краску их «барышень» своей выставленной напоказ мускулатурой. Мопассан и в творчестве и в жизни — истинный певец солнца.

Ги плавает, флиртует, ходит целыми днями в матросской тельняшке с синими и белыми полосами, открывающей шею и плечи, в английских брюках и кепи или в белом полотняном костюме гребца, придающем стройность фигуре. Ги отлично гребет. Он балагур и добрый товарищ. У него есть близкие друзья, которых он сохранит на всю жизнь. Ток и Синячок — мы с ними уже знакомы — это Робер Пеншон, которого к тому же называют Термометром, Градусником, Реомюром, и Леон Фонтен. И еще двое — Томагавк и Одноглазый. Прозвища в Буживале так же приняты, как двадцать лет спустя они будут приняты в Мулен-Руж.

Друзья обосновались для начала между Аржантеем и Безоном, на острове Марант (там разыгрываются события в рассказе «Два приятеля»). Сначала Леон Фонтен и Ги сняли мансарду в аржантейском кабачке «Морячок».

Ги был душой компании, ее главой не столько благодаря уму и таланту, сколько благодаря своей силе, славе умелого гребца и ходока, воинственности духа, казарменным анекдотам бывшего солдата и соленым шуткам перед честной компанией. Эти «похотливые» могикиане, эти сиу, команчи и маюло захватывают правый берег реки, где и основывают колонию Аспергополис. Летом 1873 года они спускаются вниз по реке.

Затем банда рассыпается в разные стороны. Самые сумасбродные осядут в Буживале, в нескольких километрах вниз по течению, и расположатся у Альфонсины и Альфонса Фурнеза, прозванного дядюшкой Геркулесом, — у рыжебородого силача, любившего пощупать «красоток», которые причаливали к его порогу.

Три приятеля из экипажа «Мушки» любят посидеть в деревенском трактире «Пулен», что близ безонского моста. В «Поездке за город» Ги описывает трактир — «светлое здание, построенное у самой дороги». Сквозь растворенные двери виден блестящий цинковый прилавок. Это классический кабачок речных берегов XIX века — «забегаловка», пристанище для персонажей романов Эжена Сю. Двое празднично одетых рабочих потягивают абсент, едят «жареную рыбу из Сены», рыбу под винным соусом, сотэ из зайца, запивая его вином. К услугам парижан все виды лодок напрокат: рыбацьи плоскодонки, душегубки, «норвежки». Подчас проплывают причудливые педальные аппараты, которые приводятся в движение ногами, — предки водяных велосипедов.

И конечно же, здесь лодки Ги, Леона Фонтена и Робера Пеншона, ялики с именами ласковыми, как смех девушки. «Два великолепных ялика для речного спорта... длинные, узкие, блестящие, они были подобны двум высоким, стройным девушкам». Для Мопассана, как и для англичан, суда всегда женского рода.

Он глядит на них тем же наметанным глазом знатока, каким оценивал округлости купальщиц в Этрета: «По реке скользили ялики, повинувшись порывистым движениям крепких парней с голыми руками, мускулы играли у них под загорелой кожей. Подруги гребцов, вытянувшись на белых или черных шкурах животных, управляли рулем, разомлев на солнце, держа над головой, словно огромные плавучие цветы, шелковые зонтики — красные, желтые, голубые».

Поистине Сена была полной противоположностью служебному кабинету, и Мопассан сдирал с себя вместе со своим обуженным чиновничьим кителем все служебные условности. Это было счастьем: и девушка, всякий раз другая, и верная лодка, и друзья-товарищи.

Ги дал имена всем судам своей флотилии: маленький парусник, построенный в Руане, он назвал «Этрета», второй — «Лепесток розы». Вскоре появились лодка «Брат Жан», третий парусник «Добрый Казак» (дань уважения Тургеневу), на котором Ги будет катать Стефана Малларме.

Компанию Ги в отличие от «ребят из Шату» прозвали «ребята из Безона». Обе банды прекрасно ладили между собой. Они просто нисколько не были похожи одна на другую, вот и все. Ребята из Безона обжирались,



пили ромовый пунш (поколение любило похорохориться), спускали свои ялики ночью на воду и горланили вовсю стихи. Одним словом, делали все то, чего не делали ребята из Шату. Своим сильным, красивым музыкальным голосом Ги непринужденно затягивал «Осéано Нох» или «Жену сержанта»:

*«Ах, — говорит жена сержанта, —  
Что ты грустишь, монах?  
Ах! — говорит жена сержанта, —  
Ты отчего в слезах?»*<sup>[47]</sup>

Иногда в самый разгар веселья, зачинщиком которого он всегда был, Ги внезапно умолкал, глядя перед собой невидящими глазами.

— Что с тобой, Ги? — спрашивал Синячок.

— Болит голова.

Ги объяснял недомогание жарой или вином, брал себя в руки и продолжал как ни в чем не бывало:

— Верно, что Поль приезжал в воскресенье с Бертой? Ну и шлюха же эта Берта!

Карты его судьбы были уже брошены, но никто еще не смел их открыть.

Из отрывочных писем, которые писал Ги, можно восстановить жизнь этой богемы, столь отличной от богемы Мюрже и более поздней богемы Карко<sup>[48]</sup>. 28 августа 1873 года Ги описывает раблезианскую попойку. В «Искушении святого Антония», с которым он познакомился еще по рукописи (это произведение вышло в свет только в следующем году), Жозеф Прюнье вычитал о боге Крепитусе, объявлявшем о своем появлении всякого рода непристойностями и нелепостями. Вот почему Прюнье основал Союз крепитусиан. Итак, речь идет о послании метра Жозефа Прюнье, лодочного навигатора безонских и окрестных вод, достопочтеннейшему Роктайду (он же Синячок)». Подобно священнику из Медона<sup>[49]</sup>, Ги перечисляет все, что они выпили. «Осушив многие чарки вступительные, принялись мы за пирование и испили 2591 бутылку вина Аржантейского». Он называет с добрых полдюжины винных марок, громадное количество бутылок и говорит о вполне понятных последствиях такого возлияния. «К нашим пантагрюэльским трапезам обычая не имея, старая задница Ток (Пеншон) зачал очами ворочать весьма негоже и

диковинно, а еще пуще того негоже и диковинно стал урчать чревом, да на пол свалился и вовсе перестал ворочаться».

Ги продолжает рисоваться: «И много дел содеял в оный день Прюнье, так же как и удивительных, чудесных и возвышенных подвигов в ремесле судоходном, а именно: отбуксировал от Безона до Аржантея столь устрашительную великую парусоносную ладью, что мнил уже кожу с дланей своих на веслах оставить (а были в той парусоносной ладье две преотменные...)».

Отрывок из одного июльского письма (без указания года), адресованного Леону Фонтену (к счастью, сохранилась фотокопия), дает нам более точное представление о фривольном и скандальном остроумии президента Союза крепитусиан. Это письмо повествует еще об одной выходке в Сартрувилле: «Товарищ Поля, прибывший вместе с ним, почувствовал себя очень плохо и оказался не в состоянии возвратиться в Шату, так что мне пришлось сесть в лодку в десять часов вечера, чтобы отвезти парочку странствующих голубков в их гнездышко. Сие опасное путешествие я совершил без всяких приключений, за что и был вознагражден Бертой, показавшей мне свою...»

Все пробелы в тексте Ги заменены рисунками.

А вот другой отрывок, не менее красноречивый, но выдержанный в несколько иных тонах:

«Сегодня 18 июля: как много событий произошло с 14 августа (он хочет сказать «июля». — А. Л.), с тех пор, как я начал это письмо. Во-первых, мы с Мими, Нини и еще с одним из наших друзей, Биби, который привез с собой прелестный «бутончик», побывали в Аржантее. Словом, вчера мы возвратились и после отчаянной битвы между Хаджи и Раджи, оспаривавшими один у другого «бутончик», и победы Раджи нам захотелось покататься на лодке, но оказалось, что Карашон сдал ее. Такую же шутку он сыграл с нами и в прошлое воскресенье».

В феврале 1891 года Эдмон де Гонкур описывал Союз крепитусиан, переименованный в Общество сутенёров, как «чудовищно непристойное содружество гребцов, главой которого был Мопассан». Ги любил эпатировать буржуа и своих коллег. Гонкур же любил сгущать краски. Общество сутенеров, Союз крепитусиан, попойки, соленые шутки вполне соответствуют хвастливому облику Ги тех лет. Но на самом деле все это было лишь его маской.

Находясь под гипнозом смерти, Мопассан за своим грубым балагурством пытается скрыть свойственную ему романтичность, которая все же проявляется в неистребимой любви к ночи и луне, вскрывая

сокровенное мопассановское «я». Противоречивость поведения Мопассана не ускользнула от его добросовестнейших исследователей, в том числе и от доктора Жана Лакассана: «В период увлечения гребным спортом у Мопассана наблюдалось странное поведение: бурная подвижность и неутомимые физические упражнения сменялись периодом депрессии и упадка. Душа общества, весельчак вдруг преображался в существо апатичное и унылое — вполне симптоматичная, впрочем, смена настроений для так называемого циклотимического состояния».

Вдыхая запах воды и жареных пескарей, прислушиваясь к шуму и гаму потасовок, Жозеф Прюнье, то молчаливый, то возбужденный, наблюдает течение ласковой и вероломной Сены. Его уже называют здесь Милым другом.

Жозеф Прюнье носит в ту пору челку. Бороду он сбрил<sup>[50]</sup>. Зато усы отпустил огромные, трепещущие. Загорелый, он дышит молодостью. У него темные глаза цвета «жженого топаза», сильная шея. Когда Ги выходит из министерства — это застегнутый на все пуговицы чиновник, но стоит ему очутиться на воде, и он мгновенно преображается в неотесанного моряка — «любовничка хоть куда», — скользящего в своем ялике, среди лодок и яхт, по зыбкой глади потревоженных вод.

В милой «Лягушатне» рождается мазурка. Мопассан слушает ее, опустив руки в Сену. «В плавучем заведении царил страшный гам и толкотня... Вся эта Толпа кричала, пела, горланила. Мужчины, сдвинув шляпы на затылок, покрасневшись, с пьяным блеском в глазах размахивали руками и галдели из животной потребности шума. Женщины в поисках добычи на предстоящий вечер пока угощались за чужой счет напитками, а в свободном пространстве между столами околачивались обычные посетители этого заведения — гребцы-скандалисты и их подруги в коротких фланелевых юбках».

Канкан торжествовал победу. Ги изобразил его с топ же сатанинской одержимостью, что и Тулуз-Лотрек на своей картине «Мулен де ла Галетт»: «Парочки одна против другой неистово плясали, подкидывая ноги до самого носа своих визави. Самки с развинченными бедрами скакали, задирая юбки и показывая нижнее белье. Их ноги с непостижимой легкостью подымались выше головы, и они раскачивали животами, дрыгали задом, трясли грудями, распространяя вокруг себя едкий запах вспотевших женщин».

«Лягушатня» отражается в мутной воде. Драгуны с саблями, болтающимися сбоку, сидят верхом на стульях, прохаживаются продавцы

галантерейных лавок, хлыщи в шелковых галстуках, с зонтиками. Повсюду в воде яркие костюмы купальщиков. Пловцы рассекают воду плечом, а какая-то толстуха, надрываясь, кричит:

— Милый, воздух холодный, ты простудишься!

Кроме работы и отпуска, который он неизменно проводит в Этрета, Ги все остальное время пропадает на реке (заводит однодневные романы, дерется, скандалит, пьет как сапожник). Но он и **присматривается**, как учит его Флобер. «Сегодня стоит небывалая жара... я гребу, купаюсь, опять купаюсь и гребу. Крысы и лягушки так привыкли видеть в любой час ночи мою лодку с фонарем на» носу, что неизменно являются меня приветствовать. Я управляю своей тяжелой лодкой так, словно это ялик, и гребцы, мои приятели, живущие в Буживале (два с половиной часа от Безона), чертовски поражаются, когда в полночь я захожу попросить у них стаканчик рома. Я все еще работаю над сценками из лодочной жизни, о которых я тебе говорил, и полагаю, что из них получится довольно забавная и правдивая книжка»<sup>[51]</sup>.

К этой среде молодой писатель подходит без всякой снисходительности. Что и говорить, он себя в ней прекрасно чувствует, но ничуть не обольщается на ее счет. «Здесь можно вдыхать испарения жизненной накипи, всего изощренного распутства, всей плесени парижского общества: смесь приказчиков галантерейных лавок, дрянных актеров, журналистов третьего сорта, отданных под опеку дворян, мелких биржевых плутов, кутил с замаранной репутацией, старых, потасканных волокит...»

Великолепное название очаровывает его: «Это место по праву носит название «Лягушатни».

Все это похоже на ожившие картины Мане.

Краски, которыми Мопассан живописует «Лягушатню», меняются, как и пейзажи на картинах Моне, в зависимости от различного освещения.

Вкус к свободе, неповиновению, презрение к ненавистному мещанству, воспитанное в Ги великим Флобером, охота за девицами легкого поведения гонят его на речной берег. Он познает манящее очарование воды. «Моей великой, всепоглощающей страстью в течение десяти лет была Сена». Между Севром и Пуасси река, прокладывающая излучину через Азниер, Аржантей, Буживаль, Ле Пек и Конфлан, словно бы шутки ради образует прописную букву «М» — инициал своего самого страстного возлюбленного.

Там, на речных берегах, он проходит свою школу жизни. Мопассан

позже вспомнит об этом с горькой меланхолией, возрастающей по мере того, как он будет непреодолимо погружаться в преждевременную тьму. «Много я видел забавных вещей и забавных девиц в те далекие дни, когда занимался греблей. Я служил, у меня не было ни гроша; теперь я человек с положением и могу выбросить на любой свой минутный каприз крупную сумму. Как просто, хорошо и трудно было жить — между конторой в Париже и рекой в Аржантейе или Буживале... О, прогулки вдоль цветущих берегов, о, мои подружки-лягушки, мечтавшие в прохладе, лежа животиком на листке кувшинки...»

«Помните ли вы дни, когда мы бродяжничали вокруг Парижа, нашу лучезарную бедность, наши прогулки в зазеленевших лесах и как мы были пьяны свежим воздухом в кабачках на берегу Сены, помните ли вы наши любовные похождения, такие банальные и такие очаровательные?»

Вот через эту любовь к реке он и обрел персонажей своих новелл, взятых из самой жизни, — от рассеянной и ласковой Полетт, подруги Поля, столь глупой как в своей наивности, так и в своем цинизме, до пухлой лавочницы из «Поездки за город» и нежной, способной к самопожертвованию Иветты.

Как нам известно, ялик Жозефа Прюнье назывался «Лепесток розы».

— Совершенно верно, мадемуазель Мушка, — «Лепесток розы».

— Мне очень нравится название! — бросает Мушка.

— Так вы согласны быть нашим рулевым?

— А почему бы и нет!

— Сейчас свезу вас к Геркулесу на жаркое из пескарей.

— Вот здорово! А как вас звать?

— Жозеф Прюнье.

— А-а!

— Или Ги-ги, а также проходимец!

— Ну и ну! А я бы, ей-ей, не испугалась повстречаться с вами в темном лесу.

Халупа дядюшки Фурнеза была причудливым кирпичным сооружением с балконом и террасой. На стенах были нарисованы мужские и женские фигуры больше натуральной величины, а на фасаде красовалась купальщица. Здесь все очень напоминало «Парижские тайны»<sup>[52]</sup>. Внутри стены были покрыты фресками Беро, Жервекса и Лепика — военный парад, шутовская семейная потасовка и три лесных геркулеса в синих воровских блузах героев Стейнлейна, пристающие под уличным фонарем к перепуганному буржуа, жена которого падает в обморок от страха, а двое

полицейских в это время делают вид, что ничего не замечают.

Мопассан напишет под этими фресками:

ПОД ПАСТЬЮ СОБАКИ

*Опасен над рекой откос:*

*Слетишь!. Люби не воду — сушу.*

*Не пей искристого вина,*

*Чтоб завтра не было изжоги*

*Страшись девчонки, коль она*

*Тебя поманит на дороге...*

Стихи датированы 2 июля 1885 года — в них ирония пресыщенного человека, вернувшегося в места своих юношеских походов.

Там, у Геркулеса Фурнеза, в трактире «Пулен» или на острове Марант, во всяком случае, «на воде», Мопассан стал любовником маленькой Мушки. «Нас было пятеро — целая банда. Так как все мы были бедны, то обосновались в убогой аржантейской харчевне и образовали там своеобразную колонию, занимавшую всего одну комнату, в которой я и провел, бесспорно, самые безумные вечера моей жизни... Мы жили в полном согласии и жалели только об одном: что нет у нас девушки-рулевого. Женщина в лодке необходима».

Они нашли ее в лице Мушки. Мушка, о которой идет речь, перелетала с места на место и беззаботно стала подружкой пяти ребят. «Она, не переставая, стрекотала, производя легкий неумолчный шум, характерный для этих крылатых существ, которые кружатся под, дуновением ветерка; ни о чем не помышляя, она изрекала самые неожиданные, самые причудливые, самые удивительные вещи».

Все шло прекрасно до тех пор, пока не выяснилось, что Муха собралась подарить мушонка пяти папашам.

«Сначала все оцепенели, почувствовав, что случилось непоправимое несчастье. Мы только Поглядывали друг на друга с желанием свалить вину на кого-нибудь одного. Но на кого? Да, на кого же? Затем мало-помалу к нам снизошло, нас укрепило нечто вроде утешения, родившегося из смутного чувства солидарности. Неразговорчивый Томагавк сформулировал это начавшееся прояснение следующими словами: «Ну что

ж, делать нечего, в единении сила!»

И все пошло опять как нельзя лучше.

Беспечная Мушка, поскользнувшись на речном берегу, упала в воду и лишилась своего мушонка. В этом месте рассказа к Ги подступает волна нежности. Мушка была безутешна. Тогда Одноглазого, «который, быть может, любил ее больше, чем кто-либо из нас, осенила гениальная мысль, и, целуя ее в глаза, потускневшие от слез, он сказал:

— Утешься, Мушка, утешься, мы сделаем тебе другого.

— Правда?

— Да, клянусь.

— Нет, правда, правда?

И все пятеро, мы хором ответили:

— Правда, клянемся тебе, Мушка».

Эти игривые страницы датированы февралем 1890 года. Ги было в ту пору сорок лет, и каждая фраза стоила ему мучительных страданий. **Глаза болели.** Он без всякого удовольствия слушал, как мальчишки с Бульваров горланили вовсю новую модную, навязшую в зубах песенку «Видел ли ты Мушку?». Тоска по «никогда больше» придает неповторимые краски этому рассказу, подлинная история которого восходит к событиям пятнадцатилетней давности.

Реальность и выдумка в рассказе «Мушка» переплетены теснейшим образом. Робер Пеншон и Леон Фонтен позднее рассказывали, что писатель до конца воспользовался создавшейся ситуацией. Возможно, конечно, что общий мушонок существовал только в воображении Ги, но все остальное было истинной правдой.

Трудно точно сейчас назвать имя четвертого из банды (после Тока, Синячка и Ги), Томагавка. Основываясь на разных источниках, я склонен скорее всего видеть в нем Анри Брэнна, однокашника Ги по лицу Корнеля. Его мать сыграла немалую роль в жизни молодого нормандского бычка, посвятившего ей впоследствии свой роман «Жизнь». Наконец, пятый из гребцов-мушкетеров, Одноглазый, Монокль, тот, который был таким благородным и «любил Мушку, быть может, больше, чем все остальные», десять лет спустя стал влиятельной фигурой в Управлении Восточной железной дороги. То был Альбер де Жуанвиль. Иногда во время административных советов он становился несколько рассеянным — когда муха садилась на зеленое сукно стола.

Кто была эта Мушка, осталось неизвестным. Она улетела. Говорят, что она умерла, будучи уже матерью семейства. Мечта ее осуществилась.

***Политический горизонт 1871–1879 годов. — Начало службы в министерстве народного образования. — Бюджет и плата за помещение и стол. — Флобер против ханжества. — Мопассан восхищается «Проступком Аббата Мурз». — 16 апреля 1877 года: обед у Траппа. — «Господа Золя». — Посещение Медана***

За два года Франция восстановила свои силы. Потопив революцию в крови, Тьер освободил страну, заплатив в июле 1872 года выкуп: три миллиарда. Это помогло спровадить пруссаков. В том же году появился закон об обязательной военной службе французов в возрасте от двадцати до сорока лет. Сроком на пять лет! Ги счастливо отделался.

В воскресенье 23 мая 1873 года за утренним кофе парижане узнали, что минувшей ночью Мак-Магон<sup>[53]</sup> был избран президентом вместо ушедшего в отставку господина Тьера. Президентом чего? Ведь только в начале 1875 года дополнительная поправка в законопроекте, принятая большинством голосов, введет в конституцию слово «Республика».

В феврале 1876 года произошло довольно сильное наводнение, и президент Мак-Магон получил возможность произнести самую удачную за всю свою жизнь шутку: «Сколько воды! Сколько воды!» «Очень глубоко», — сказал один остряк. Мопассан переносит на Мак-Магона ненависть, которую питал к Наполеонам: «Руководитель государства, не отличающий Ренана от Литре<sup>[54]</sup>, не знающий, чем они занимались! Справедливости ради, надо сказать, что имена Ренана и Литре наделают в истории больше шума, чем прославленный, но глупый, побежденный маршал, от которого зависит наше будущее».

3 сентября 1877 года Тьер умер. «Да здравствует республика!» — кричала толпа, выступая против Мак-Магона. Франция бурлит. В октябре 318 республиканцев избираются в палату против двухсот восемнадцати монархистов. Маршал, опасаясь государственного переворота — его впоследствии и попытается совершить генерал Буланже, — вынужден подчиниться. Республика поднимается вместе с уровнем воды в Сене.

1 мая 1878 года. Украшенный флагами Париж наводнен египтянами, марокканцами, турками, персами, китайцами, казаками. В два часа маршал, продолжающий по-прежнему оставаться на посту, объявляет в Трокадеро: «Выставка открыта»<sup>[55]</sup>. Бьют фонтаны. Маршал раздает ордена Почетного



легиона.

19 декабря 1878 года появился приказ о зачислении Ги в министерство народного образования. Через шесть недель Мак-Магон уходит в отставку, и вскоре Жюль Ферри сменил Аженора Барду на посту министра. В этой политической обстановке Мопассан обосновался на улице Гренель, где, помещалось министерство народного образования.

На левом берегу Сены атмосфера вполне благоприятная. Начальник отдела Ксавье Шарм не без задней мысли покровительствует своему подопечному — добрую половину дел он перекладывает на нового чиновника. Отдел, которым руководил Ксавье Шарм, осуществлял культурные связи с литературными и научными обществами — одним словом, был прототипом теперешнего Управления по делам искусств и литературы... Однако Мопассан предпочитает, так же как и в армии, оставаться на вторых ролях и всячески старается избежать ответственных поручений, исполняя лишь самые несложные.

Прожив шесть лет на улице Монсей, 2, в полуподвальной комнатухе без света и воздуха, Ги с ноября 1876 года поселяется в доме 17 по улице Клозель, куда перевозит несколько дорогих ему вещей из старой квартиры: старинный ковер, изображающий сцену охоты, кровать в стиле Людовика XIII, которая будет следовать за ним повсюду на протяжении всей жизни, и, конечно, руку трупа.

Мопассан по-прежнему жалуется на нехватку денег. Флобер в январе 1879 года сломал себе ногу, и Ги хотелось съездить навестить его. Служа в морском министерстве, он платил за железнодорожный билет лишь четверть его стоимости. Дорога в Руан обходилась ему в девять франков в оба конца. Теперь же за билет во втором классе Ги должен заплатить 36 франков. И он был вынужден отказаться от поездки.

Но главным образом угнетает его нехватка времени. Река и фехтование, женщины, служба, хотя он ею и пренебрегает, собственная работа совершенно заедают его — и к тому же постоянное недомогание. И ко всему этому еще добавляются светские обязанности, многочисленные приглашения. Как тут отказать! Начиная уже с 1878 года он жалуется: «У меня не менее десяти совершенно обязательных визитов, а это означает не менее трех недель потерянного рабочего времени. Совершенно невозможно чем-либо заниматься в те дни, когда выходишь, так что я не могу работать более четырех вечеров в неделю».

Ги рассчитывает свое время почти с той же точностью, что и бюджет.

«Десять визитов (возьмем девять), которые нужно сделать в течение

трех недель. Я же говорю, что у меня остается всего четыре свободных вечера в неделю, и это правда. Да еще отнимем воскресенье. День, который я провожу у Флобера, лишает меня спокойствия, необходимого для работы. В четверг, пообедав с друзьями, я отправляюсь к Золя». Об этом же он пишет и в следующем году: «Однако следовало бы понимать, как трудна, сложна и перегружена жизнь такого бедного малого, как я, который до шести часов на службе, а потом тотчас же берется за работу над другими вещами».

В апреле он сумел частично возместить свой моральный долг перед Флобером, раздобыв для него пост «внештатного» библиотекаря в библиотеке Мазарини — по существу, негласную пенсию. Это дает нам забавное представление о великодушии молодой Третьей республики. Благодаря синекуре существуют многие писатели, а шестьсот литераторов открыто или негласно получают пенсию.

Ги написал Каролине Комманвиль: «Милостивая сударыня и дорогой друг, действительно, министр намерен предоставить вашему дядюшке пенсию, на которую, мне Йажется, в конце концов нужно согласиться. Это будет, конечно, храниться от него в тайне. Главное, чтобы он не узнал, что я вам об этом рассказал».

И вдруг все всколыхнулось! 1 ноября 1879 года один из друзей Ги, Гарри Алис, опубликовал в журнале «Ревю модерн э натюралист» поэму Мопассана «На берегу», напечатанную тремя годами ранее в «Републик де летр» Катюля Мендеса под псевдонимом Ги де Вальмон. Трибунал Этампа (город, где издавался журнал) возбуждает дело против автора за оскорбление нравов и общественной морали.

Мопассана преследуют именно за те стихи, которые Флобер некогда показывал своему другу министру Барду. Ги настойчиво, в торжественных, чуть ли не высокопарных выражениях призывает Флобера на помощь: «Ваше особое, исключительное положение гениального человека, преследовавшегося по суду за шедевр, который был с трудом оправдан, затем превознесен и в конце концов признан безупречным всеми литературными направлениями, оказало бы мне неоценимую помощь. По мнению моего адвоката, дело бы немедленно замяли после опубликования вашего письма. Было бы желательно обнародовать его немедленно, дабы оно походило на непосредственное утешение ученика учителем». «Наверное, скоро потеряю место и окажусь на **мостовой**. Приятная перспектива! Скажу вам совершенно **конфиденциально**, что «**Нана**» очень близка к запрещению, а меня, я полагаю, преследуют только для того,

чтобы добраться по стремянке до Золя... Мне твердят повсюду, и притом на основании **авторитетных источников**, что меня, безусловно, осудят. Следовательно, здесь что-то кроется... Уверяют, что... я намеченная жертва для того, чтобы потом расправиться с Золя».

19 февраля 1880 года Флобер решается направить письмо в «Голуа», где оно появится 21-го.

«Так это правда? Я думал сперва, что это шутка! Оказывается, нет, — преклоняюсь. Ну, признаться, хороши они в Этампе! Уж не окажемся ли мы в зависимости от всех судилищ французских департаментов, включая колонии? Как могло случиться, что стихи, напечатанные когда-то в парижском журнале, которого больше не существует, оказались преступными, как только их перепечатал провинциальный журнал. К чему нас теперь принуждают? Что писать? В какой Беотии мы живем!»

Автор «Мадам Бовари» может себе позволить говорить во всеуслышание — у буржуазии совесть нечиста: «Привлечен к ответственности за оскорбление нравов и общественной морали» — эти два синонима составляют два главных пункта обвинения. У меня, когда я предстал перед восьмой судебной палатой с моей «Бовари», был еще третий пункт: «и за оскорбление религии»; процесс этот создал мне огромную рекламу, которой я приписываю две добрых трети моего успеха».

Судья Тесье требовал доказательств того, что речь идет о той самой поэме, которая уже была опубликована.

В действительности же все оказалось куда более сложным, чем оно выглядело в жалобах Мопассана и ходатайствах Флобера. Судья был несколько растерян. В деле фигурировала еще одна «скандальная» поэма — «Стена». В ней речь шла о парочке влюбленных, гуляющих в парке, и о более чем выразительных движениях их теней. Что же касается варианта поэмы «На берегу», опубликованной в «Ревю модерн э натюралист», то и Мопассан и Флобер — оба остерегались упоминать о том, что Катюль Мендес при всем своем свободомыслии напечатал не полностью поэму и что Гарри Алис поместил поэму без купюр, сделанных в свое время Мендесом.

Вот почему Мопассан и не спешил с розысками экземпляра журнала «Републик де летр».

Если общество намеревалось добраться через Мопассана до самого Эмиля Золя, то это объяснялось тем, что Мопассан уже несколько лет регулярно посещал автора «Терезы Ракен» и был совершенно заворочен

им. В апреле 1875 года Ги высказал свое восхищение «Проступком аббата Муре» в выражениях, которые заслуживают того, чтобы быть процитированными здесь:

«От начала до конца книги я испытал странное ощущение: я не только видел, но как бы вдыхал то, что вы описываете». У Мопассана более острый глаз, чем у уроженца Экса. У Золя более тонкий нюх. «От каждой страницы исходит крепкий, дурманный аромат. Вы заставляете нас ощущать землю, деревья, брожение и произрастание; вы вводите нас в мир такого изобилия, такого плодородия, что это ударяет в голову... Признаюсь, по окончании чтения... я заметил, что совершенно охмелел от вашей книги, да и сверх того пришел в сильное волнение!»

16 апреля 1877 года молодые писатели Поль Алексис, Анри Сеар, Леон Энник, Ж.-К. Гюисманс, Октав Мирбо и Ги де Мопассан пригласили Флобера, Золя и Гонкура в ресторан Траппа. Сияющий и великолепный Флобер ликует, позабыв о своих заботах. Золя и Эдмон де Гонкур сопровождают его. Флобер и Золя шутливо спорят. Гонкур выступает в качестве арбитра.

— Вы погрязли в этом, Золя. Натурализм тем плох, что он становится школой. Только искусство ради искусства чего-то стоит.

Ги, сиречь Вальмон, внимательно слушает, но не Может удержаться, чтобы не подмигнуть одной из официанток. Флобер возмущается:

— Еще одна, которую он увезет с собой на лодке!

Здесь, у Траппа, еще за три года до опубликования «Вечеров» уже собралась будущая меданская группа. Грандиозный успех «Западни» окончательно побудил Золя бросить клич натурализма — как объявляют войну — и организовать группу своих единомышленников. 1878 годом — годом покупки дома в Медане — датируется начало деятельности этой группы.

В 1876 году у Катюля Мендеса, в его квартире на улице Брюссель, Ги познакомился с Гюисмансом и Леоном Энником. Гюисманс был уже в ту пору другом Анри Сеара, а Мопассан другом Алексиса, который рассказывает следующее: «Однажды, в четверг вечером, все впятером, дружной гурьбой, мы отправились к Золя. С тех пор каждый четверг мы являлись к нему», Итак, Золя принимал их каждый четверг. Однажды вечером молодежь решила, в свою очередь, пригласить его отужинать в их «Забегаловке».

Гюисманс остроумно писал об этих веселых ужинах: «Мы встречались в отвратительной дешевой столовке на Монмартре, где кормили

недоваренной тухлятиной и поили ужасным дешевым кислым вином. Мопассан был душою этих пиршеств. Всегда сердечный и доброжелательный, он привносил свое веселье, добродушие, с видом напускного наплевательства ко всем и ко всему рассказывал смешные истории...» Золя, взыскательный гурман, скорчил гримасу, и тогда они решили позволить себе поужинать у Траппа.

18 апреля в «Републик де летр» были опубликованы отчет об обеде и меню, столь же неправдоподобное, сколь и литературное:

Суп-пюре Бовари.  
Таймень а ля Девка Элиза.  
Пулярка с трюфелями а ля Святой Антоний.  
Артишоки Простая Душа.  
Парфе «натуралист».  
Вино Купо.  
Ликеры из Западни.

Иронизируя, хроникер продолжал: «Господин Гюстав Флобер, у которого имеются еще и другие ученики, отмечает отсутствие угря по-кастильски и голубей а ля Саламбо». Это было очень тонко подмечено, так как у Траппа Золя оттеснил Флобера на задний план.

Кто же являлся инициатором этой литературной и гастрономической «операции»? Только Мопассан способен был уговорить Флобера, не любившего в одинаковой степени натурализм, реализм и романтизм, принять это приглашение. А когда Флобер согласился, то Золя уже не смог отказаться.

Впрочем, он и так, вероятно, согласился бы — только затем, чтобы доставить удовольствие Алексису! На этом обеде, который сегодня носил бы название пресс-конференции, Флобер и Гонкур были «звездами» второй величины — это был поистине бенефис Золя и молодежи из «его банды».

Кто вел протокол заседания? Разумеется, Эдмон де Гонкур. Возвратившись к себе, этот согбенный писарь занес в дневник: «Понедельник, 16 апреля. Сегодня вечером Гюисмане, Сеар, Энник, Поль Алексис, Октав Мирбо, Ги де Мопассан — молодежь, последователи реалистической и натуралистической школ, нас короновала — Флобера, Золя и меня, короновала официально трех мастеров современности, на одном из самых дружеских и веселых обедов. Вот она, новая плеяда, возникающая на наших глазах».

В литературной жизни, как и на водах Сены, Мопассан умеет управлять своей лодкой. Он лавирует. Он не более, чем Флобер, любит слово «натуралист», которое Золя пустил в жизнь, как выпускают джинна из бутылки. Слишком слабый, чтобы карабкаться одному, он не хочет быть растоптанным натуралистической когортой. С другой стороны, он не желает быть политически скомпрометированным. Зарождающийся натурализм принадлежит к левому течению... А министерство, в котором он еще служит, — к правому. Нюх его не обманывает, связь с натурализмом явится истинной причиной дела Этампа. Наконец, у него слишком сильно развито чувство собственного достоинства, чтобы согласиться долго называться — один из «господ Золя».

Взаимоотношения Мопассана и Золя всегда будут носить двойственный характер. Опираясь, сколько будет возможно, на учителя из Медана на заре своей карьеры, Мопассан отбросит, как только сможет, этот стесняющий его костыль. Уже 17 января 1877 года в письме к Полю Алексису он определил одновременно и свое восхищение, и свои опасения: «В настоящее время Золя — великолепная, блестящая и необходимая личность. Но его манера есть только одно из проявлений, а не вся сумма искусства. Зачем ограничивать себя? Натурализм так же узок, как и романтизм...»

Мопассан дорожит своей тягой к фантастике, которой не желает жертвовать во имя стойки кабака из «Западни». Он уточняет свою тактику: «Это письмо, само собою разумеется, не должно выходить за пределы нашего круга, и я был бы очень огорчен, если бы вы показали его Золя, которого я люблю от всего сердца и которым глубоко восхищаюсь: ведь он, возможно, будет обижен этим письмом».

Со Стариком Ги будет куда откровенней: «Что вы скажете о Золя? Лично я нахожу его совершенно безумным. Читали ли вы его статью о Гюго, статью о современных поэтах и его брошюру «Республика и литература»? «Республика будет натуралистичной, или ее не будет». — «Я только ученый» (Только!.. Какая скромность!)... Я только ученый!.. Ну и чванство!.. И никто не смеется...» Тактика Нормандца несколько поколеблена стратегией Итальянца. Скромность писателя? Нет. Они оба любят шумиху, но по-разному. Вся история их взаимоотношений являет собой пример странного содружества.

В один из субботних вечеров 1879 года Леон Фонтен и Ги уговорились встретиться в кабачке у. Фурнеза. Ги пришел из Безона пешком с мешком на спине. Они погрузились на «Лепесток розы» и по течению реки

спустились до острова Пек. Менее безденежные, чем во времена Аспергополиса, они пообедали в гостинице Лефевр, переночевали там и на завтра рано утром отправились дальше. Маневрируют поезда, угольным дымом застилая небо Сислея. Зимородки стремительно носятся от ивы к иве. Гребцы игриво раскланиваются с купальщицами. В Конфлане Ги с приятелем причаливают и отправляются в парикмахерскую побриться, Ги пристаёт к парикмахерше. Затем проплывают до Андреси и с яликом на плечах переходят через плотину шлюза.

— Я чертовски голоден, — говорит Леон. — Завтракать будем у Золя?

— Еще как! За четверых!

Перед Вилленом они высаживаются в тростники Медана. Оба путешественника пересекают луг и идут по мосту Западной железной дороги.

Ги вспомнил об этой поездке в «Воскресных прогулках парижского буржуа». Артур Мейер, директор «Голуа», предложил ему оживить очерки фактами из современной жизни. Ги по этому поводу писал Золя: «Мейер вот уже целых две недели преследует меня, требуя, чтобы я побывал со своим приятелем Патиссо<sup>[56]</sup> у некоторых людей искусства и начал свой обход с вас. Сперва я отказался, боясь причинить вам неприятность. Он возразил мне, что одной статьей больше или меньше, не имеет значения. Ведь о вас уже столько писали... Этот аргумент мне показался справедливым, и я сдался».

Молодые люди добираются до места, откуда уже виден дом писателя. «Сначала с левой стороны показалась старинная, изящная церковь с двумя башенками по бокам... Большое квадратное строение, новое, очень высокое, казалось, породило, как гора в басне, крошечный белый дом, притулившийся у его подножия. Этот домик — первоначальное жилище — был построен прежним владельцем. Башня же воздвигнута Золя».

Путешественники переглядываются: они смущены своими костюмами лодочников. Леон Фонтен делает смешную гримасу, Ги пожимает плечами.

«Большая собака, помесь сенбернара с ньюфаундлендом, грозно зарычала». Ги энергично звонит. Госпожа Золя узнает их, недоверчивое выражение сбегает с ее лица, и она открывает калитку.

— Боже мой, как вам должно быть жарко! Только не простудитесь! В доме очень прохладно...

Вот она, эта Александрина, высокомерная, деланно слащавая, бездетная жена, но в глубине души исполненная материнских чувств...

Они взбегают по лестнице. «Дверь открылась в необъятную высокую комнату, освещенную огромным окном, выходившим на равнину».

Приютские дети, которым госпожа Золя завещала дом, занимаются теперь гимнастикой перед камином. На его мраморной доске по-прежнему можно прочесть девиз по-латыни: «Ни дня без строчки».

Метр с асимметричным лицом, в ночной сорочке, заправленной в коричневые бархатные брюки, встречает своих учеников, оторвавших его от работы. Из большого окна открывается вид на леса Во, на склоны Оти, Триель, Шантелу, Андрези, на долину рек Уазы и Сены. Река течет у самого полотна железной дороги, отделяющей поместье от берега. Золя, неожиданно разбогатевший — успех не покидает его после «Западни», — купил также и небольшой остров на Сене.

«Потом он рукою указал на два кресла и опять сел на диван, подогнув под себя ногу. Рядом с ним лежала книга; правой рукой он вертел нож из слоновой кости для разрезывания бумаги и время от времени разглядывал его кончик, близоруко прищуривая глаза».

Вот великолепный портрет Золя, набросанный учеником Флобера. «Ему было лет сорок, не больше, он был среднего роста, довольно плотный и добродушный на вид. Лицо его, очень похожее на те, что встречаются на многих итальянских картинах XVI века (совершенно неожиданная и верная деталь. — А. Л.), не будучи красивым, отличалось характерным выражением силы и ума. Коротко подстриженные волосы торчком стояли над сильно развитым лбом. Прямой нос, как бы срезанный слишком быстрым ударом резца, круто обрывался над верхней губой, затененной довольно густыми усами; подбородок скрывала короткая борода. Взгляд черных глаз, часто иронический, был пронизателен... Круглая, мощная голова хорошо подходила к имени — быстрому, краткому, в два слога, взлетающих в гулком звучании гласных».

Автор «Западни» говорит о своих планах. Он по-прежнему очень заинтересован в собственном журнале, на который так рассчитывает Ги. Журнал будет осеен именем Бальзака... Он будет называться «Человеческая комедия»... То, что не удалось Флоберу, быть может, сумеет осуществить более деятельный Золя... От этого дьявольского человека исходит такая сила!

Золя очень тревожится о Флобере.

— У него что-то не ладится, дружище? Я послал ему «Республику и литературу». Никакого ответа! Или он не согласен с моими взглядами?!

— Да что вы, дорогой учитель! — торопится сказать Ги. — Я видел Флобера несколько дней назад. Он первым спросил у меня: «Ну, как поживает Золя?»

Успокоившись или только делая вид, что успокоился, Золя показывает



им дом. Леон Фонтен замечает: «Золя похож на медведя, и вид у него такой угрюмый, похоронный». Ги продолжает оставаться все таким же любезным. Ах, почему Золя не обладает качествами Флобера! И почему Флобер не имеет этой силы, этой житейской сметки, этого стремления к успеху!

— К столу, к столу! — зовет снизу Александрина. — У нас сегодня фаршированный рулет! Надеюсь, он вам понравится!

Нет! Все эти милые встречи никогда не выльются в настоящую дружбу!

*Комедия у принцессы. — Лодка «Нана». — Способ преуспеть. — Пасха у Флобера. — «Пышка». — Судьба Адриенны Легей. — Попутный ветер*

На заре 1880 года тридцатилетний Мопассан после пятнадцати лет изнурительного труда достаточно созрел для того, чтобы заявить о себе в литературе. Поэмы и стихи собраны в отдельный том, и уже есть издатель, намеревающийся выпустить его в свет. Для того чтобы убедить последнего, понадобился, правда, авторитет Флобера, обратившегося с письмом к прекрасной супруге господина Шарпантье<sup>[57]</sup>. У мальчика «есть талант, в этом я ручаюсь, а я, думается мне, кое-что смыслю. Стихи его не скучные — это первое, что требуется публике. И он поэт без всяких звездочек и пташек. Короче, **это мой ученик, и я его люблю как сына**. Если ваш супруг не уступит, невзирая на все эти доводы, я ему этого не прощу, так и знайте».

Затем — театр. После отвратительной «Графини де Рюн» Мопассан написал пьесу в стихах «В старые годы», которой посчастливилось быть поставленной на сцене театра Дежазе. Он посвятил пьесу Каролине Комманвиль, чтобы сделать приятное Флоберу, «вашему дяде, которого я так люблю». Премьера прошла неплохо. «Пти журнал» — очень добр, «Голуа» — любезен, Доде — вероломен... Золя не сказал ничего, надеюсь, он выскажется в понедельник. Впрочем, его «банда» третирует меня, находя, что я недостаточно натуралистичен. Никто из них не подошел пожать мне руку после успеха. Золя и его жена **много аплодировали**, а позднее горячо поздравляли меня...»

А затем принцесса Матильда<sup>[58]</sup>, приятельница Флобера, пожелала, чтобы Мари-Анжела Паска прочла у нее сцены из пьесы и сам автор руководил бы ею. Ги ведь ее знает, эту Паска! Он слышал, как Флобер расхваливал Гонкуру ее «очаровательные мраморные ляжки». В сорок пять лет она все еще хороша. По ее вине спектакль неоднократно будут откладывать, и ее подруга, госпожа Брэнн, мать Анри Брэнна, товарища Ги по Буживалю, объяснит Мопассану запросто:

— Ничего сейчас от нее не добиться, мой милый Ги. Паска переживает любовную драму. Четвертую.

— Проклятая Паска! — роняет Флобер. — Ну и дура набитая!

В конце мая 1879 года любовное отчаяние исполнительницы несколько улеглось, «она свободна», может выступать у принцессы. Ги растерян. И опять не обойтись без Флобера, без того же Флобера! «Как поступить? Написать или сделать визит? Если написать, то как ее титуловать? Госпожа, или Всемиловейшая принцесса, или Ваше высочество?.. При разговоре говорят ли «Ваше высочество»? Обращение в третьем лице отдает, по моему, лакейством. Но как же тогда?.. Жду от вас срочного указания...»

Флобер отвечает весьма осведомленно. Мопассан называет принцессу «госпожа». Принцесса улыбается и со свойственным ей притворным добродушием пропускает мимо ушей разглагольствования автора. Она окидывает его быстрым взглядом. Ее любовные похождения все еще делают много шума. Небольшого роста, как ее дядя Наполеон I, похожая на него, она охотно признается: «Без него я торговала бы апельсинами на улицах Аяччо». В ней, конечно, есть что-то от мадам Анго. Короче, пьеса сыграна. Она имеет успех. Светский, разумеется. Принцесса Матильда отныне удостаивает молодого писателя своей дружбой.

Да, удача начинает сопутствовать писателю. Теперь очередь за прозой. Ги весь поглощен рассказом, который он обещал Золя: «что-нибудь яркое и трагическое о войне 70-х годов в Нормандии. Я усердно работаю над новеллой о руанцах и войне. Отныне мне придется запастись пистолетами, если случится проезжать через Руан».

Ги теперь чаще бывает в Медане. Это золотой период его отношений с Золя. Несомненно, Сена роднит обоих любителей гребли не менее, чем литература. «Надо бы мне приобрести лодку», — сообщает Золя. Неугомонный, щедрый на услуги, отличный гребец, Ги уже не тот робкий поклонник, каким он был у Траппа. Он смело отвечает: «Я повидал нескольких жителей Пуасси и собрал сведения о местных плотниках и лодках. Человека, у которого вы были, зовут либо Бодю, либо Даллемань. Я, может быть, искажаю фамилию... Во всяком случае, оба они воры и не заслуживают доверия. Им нельзя заказать даже рукоятку для багра... Наиболее распространенная и самая лучшая для семейного катания лодка — это легкая норвежка (утиный охотник)».

— Отлично, дружище, — говорит Золя. — Остановимся на «утином охотнике»...

Ги покупает для Золя в Безоне лодку и пригоняет ее в Медан, проплыв пятьдесят километров на сей раз в обществе двух Леонов — Фонтена и Энника. Солнце еще больше позолотит Ги, мускулистого и загорелого красавца, о котором сын Доде скажет, что в нем одновременно уживались

хороший писатель, сумасброд и тяжелобольной. Это, конечно, сказано очень зло, по достаточно метко.

В этот счастливый меданский период Ги много пьет и не пьянеет, не уступая Полю Алексису, много ест, не уступая Золя. Курит как солдат и «все в том же роде», как вскоре скажет о нем начальник из министерства народного образования, Анри Ружон. Одним словом, вот «утиный охотник», поблескивая лаком, покачивается у причала, а Золя и Александрина любят лодку. Но ей еще надо дать имя.

— Чего долго думать! Назовем лодку «Нана»! — бросает веселый гребец. Это в честь Золя, который только и говорит о своем новом романе.

— Почему «Нана»? — спрашивает Поль Алексис.

— Потому что все будут залезать на нее, — прыскает Ги, ловко прыгая на крутой берег.

Алексис хохочет. Александрина поджимает губы. Золя сдерживает брезгливую гримасу. Но лодка будет называться «Нана», окрещенная так Милым другом.

Этот шутник вносит веселье и жизнь в дом, в котором Золя под началом своей жены постепенно начинает превращаться в примерного буржуа. А между тем в тот же день Ги горько жалуется Флоберу, что ему очень грустно. Он без всякой видимой причины переходит от бурного веселья к беспросветному унынию. Циклотимия уже явно налицо. «Любовь женщин так же монотонна, как и ум мужчин. Я нахожу, что события однообразны, что пороки измельчали и что мы не располагаем достаточным количеством оборотов речи».

Флобер бурчливо отвечает: «Вы жалуетесь на «однообразие» женского пола (фраза несколько смягчена, а потому не совсем точна. — А. Л.). Против этого есть очень простое средство — избегать его. Короче говоря, дорогой друг, вы как будто плохо настроены; и ваша тоска меня удручает, так как вы могли бы приятнее использовать время. Нужно, слышите ли, молодой человек, нужно больше работать... Слишком много (...) Слишком много развлечений! Слишком много гребли!»

В этой атмосфере, где гроза сменяется солнцем, отношения между Мопассаном и Золя достигают своего апогея. 17 апреля 1880 года молодой писатель напечатал в газете «Голуа» очерк, где писал: «Как-то летом мы собрались все вместе у Золя в его меданской усадьбе. Предаваясь длительному пищеварению после долгих трапез (а мы все гурманы и чревоугодники — один Золя способен съесть за троих обыкновенных романистов), мы болтали... Я лежал, растянувшись, в лодке «Нана» или

часами купался, в то время как Поль Алексис бродил, увлеченный какими-то легкомысленными фантазиями, Гюисманс курил, а Сеар скучал, находя деревенскую жизнь крайне глупой.

Так проходило послеобеденное время. Ночи были великолепные, теплые, напоенные запахом листьев, поэтому мы отправлялись гулять на «Большой Остров» напротив усадьбы.

Я перевозил туда всех на лодке «Нана».

Согласно существующей версии во время оживленных бесед в Медане и родилась мысль о совместной книге из шести новелл. Мопассан охотно признается в том, что он несколько присочинил подробности о рождении «Меданских вечеров», согласовав это с Артюром Мейером. Ведь это же Ги написал Алексису двумя годами раньше: «Следует обсудить серьезно **способы**, ведущие к успеху. Впятером можно добиться многого, хотя бы при помощи не использованных до сего времени приемов».

Мопассан, Доде и Эмиль Золя никогда не стыдились рассматривать литературу как профессию, потому что они были бедны. В конце концов Дидро, Бомарше, Бальзак, Гюго и многие другие тоже так думали. Правила игры требуют рекламы? Согласны. Пускай будет реклама. «Ну, вы просто дельцы, ребята!» — ворчит Флобер, пуританин в этом вопросе.

Существуют различные версии происхождения «Меданских вечеров». Леон Энник утверждает, что первая мысль о сборнике рассказов принадлежит ему. «Мы все сидим за столом у Золя в Париже: Мопассан, Гюисманс, Сеар, Алексис и я. Мы спорим, перескакивая с одного на другое; переносимся к событиям пресловутой войны 1870 года. Многие из нас были добровольцами или солдатами национальной гвардии.

— А почему бы не сделать нам сборник, сборник рассказов?

*Алексис:* А почему бы действительно не сделать?

*Золя:* У вас есть темы рассказов?

— Найдем.

— А название книги?

— Меданские вечера.

*Гюисманс:* Браво, мне очень нравится название».

5 января 1880 года Ги давал Старика прозаический и более точный отчет об этом: «Золя опубликовал в России, а затем во Франции, в «Реформе», новеллу о войне под названием «Осада мельницы». Гюисманс напечатал в Брюсселе другую новеллу, под названием «С мешком за плечами». Наконец, Сеар послал в русский журнал, корреспондентом которого он состоит, очень любопытный и острый эпизод из эпохи осады Парижа «Кровопускание». Когда Золя познакомился с двумя последними

произведениями, он сказал нам, что, по его мнению, они составили бы вместе с его рассказом любопытный сборник, совсем не шовинистический и весьма своеобразный. Тогда он предложил Эннику, Алексису и мне написать каждому по новелле, чтобы дополнить книгу...» До того, как сборник получил известность, Мопассан придавал ему куда меньше значения, чем своим стихам. Он рассматривал эту книгу просто как «выгодную», о чем и писал Викингу. Имя Золя, говорил он, практически «поможет сборнику разойтись и даст каждому из нас франков по сто или двести».

Как и ветер, удача дует в ту сторону, куда пожелает. Новелла Мопассана самая революционная в сборнике меданцев, и защищается он изо всех сил: «У нас не было при составлении этой книги никакой антипатриотической идеи, никакого предвзятого намерения; мы хотели только попытаться дать в наших рассказах правдивую картину войны, очистить их от шовинизма в духе Деруледа<sup>[59]</sup>, от фальшивого энтузиазма, почитавшегося до сего времени необходимым во всяком повествовании, где имеются красные штаны и ружье».

Таким образом, автор «Пышки», помимо своей воли, оказывается писателем тенденциозным. Тревога, родившаяся в мире, стремление покончить с мифом о войне, развенчать ложный героизм породят могучее древо военного романа — от «Разгрома» Золя до произведений нашего времени.

28 марта 1880 года, в пасхальное воскресенье, Доде, Золя, Шарпантье и Эдмон де Гонкур отправляются в Круассе. Ги приезжает за ними на руанский вокзал и доставляет всю компанию к Флоберу, который встречает их «в своей калабрийской шляпе, в пиджаке с закругленными лапами, его толстый зад обтянут бархатными брюками, лицо доброжелательно и ласково».

Эдмон де Гонкур любит «эту огромную Сену, по которой, словно на фоне театральных декораций, проплывают мачты невидимых пароходов», — сравнение, которое выдает человека города. Он еще больше любит «это подлинное жилище писателя», обед и, в частности, сметанный соус к рыбе тюрбо. Мопассан держится сдержанно и вполне благопристойно. Он потихоньку наблюдает за Шарпантье, сбросившим с себя чопорность. Флобер всячески обхаживает своего издателя. Все чувствуют себя счастливыми. Много пьют. Рассказывают сальные истории, от которых Флобер хохочет, давясь от смеха, как ребенок.

Когда гости уходят спать, гигант смачно ударяет Малыша по плечу и

подмигивает ему. Тот, кто на сей раз меньше всего разобрался в происходящем, — так это Гонкур. И знаменитый гость проявил не больше интереса к «Мопассанчику» здесь, в Круассе, чем тогда, у Траппа. Он превратился бы в соляной столб, как жена Лота<sup>[60]</sup>, если бы ему сказали, что не далее как через две недели «этот Малыш» станет знаменитым, что через пять лет он займет в литературе более значительное место, чем он, конкур, и что этот «уикенд» реалистической литературы имел лишь одну цель — выдвинуть Малыша.

В понедельник 12 апреля после обеда вся компания весело подписала договор с Шарпантье в кабинете Леона Энника.

После вечера в Медане, где Мопассан рассказал историю «Пышки», и после того, как решено было, что он ее напишет, Ги весь ушел в воспоминания о войне, о поражении. «Несколько дней подряд через Руан проходили остатки разбитой армии», И у него, как у всех солдат, отросла «длинная и неопрятная борода, мундир был изорван...». С восхищением, в котором угадывалось недоверие, глядел он, как «проходили и дружины партизан, носившие героические наименования: «Мстители за поражение», «Граждане Могилы», «Причастники Смерти»... но вид у них был самый разбойничий». Он изобразил их командиров — торговцев сукнами, «случайных воинов», опасавшихся своих же собственных солдат, «подчас не в меру храбрых — висельников, грабителей и распутников». В этой суматохе «буржуа, разжиревшие и утратившие всякую мужественность у себя за прилавком», с тревогой ожидали победителей.

«За нашествием следовала оккупация». Это невероятно, но Мопассан написал: «Прусский офицер иной раз был благовоспитанным». Так будут говорить и в 1940-м! Сам бывший солдат, Мопассан безжалостно бичует касту военных: «Впрочем, голубые гусары (немцы. — А. Л.) презирали простых горожан не больше, чем французские офицеры, кутившие в *тех же* кофейнях год тому назад. А между тем рыбаки не раз вылавливали с речного дна вздувшиеся трупы немцев в мундирах, — то убитых ударом ножа... то с проломленной камнем головой».

«Коллаборационизм» развивается одновременно с «сопротивлением». У крупных коммерсантов Руана капиталы в Гавре, который еще находится в руках французов. Некоторые просят у немцев разрешения отправиться в Дьепп, где можно сесть на пароход. Разрешение получено. Дилижанс подан, «при свете унылой зари» пассажиры могут приглядеться друг к другу: мосье и мадам Луазо, оптовые виноторговцы с улицы Гран-Пон, мосье Карре-Ламадон, прядильщик, с супругой — утешением офицеров

гарнизона, граф Юбер де Бревиль с женой, две монахини, рыжий Корнюде, демократ, и, наконец, Пышка.

Одной только Пышке пришла в голову мысль взять с собой в дорогу что-нибудь перекусить. Глядя, как она ест, остальные почувствовали, «как у них мучительно сводит челюсти». Девушка предлагает разделить со всеми свои запасы, и те, кто смотрел на нее с презрением, опустошают корзину. В селении Тот, где сменяют лошадей, пассажиров просит сойти немецкий офицер, «чрезвычайно тонкий, белобрысый молодой человек, затянутый в мундир, как барышня в корсет». Этот брат «Мадемуазель Фифи» делает недвусмысленные предложения Пышке. Последняя, возмущившись, отказывается ему. Ну что ж! Прусский комендант даст разрешение на выезд только после того, как Пышка изменит свое решение.

Вначале все пассажиры возмущены офицером, потом они находят подходящие доводы для того, чтобы Пышка принесла себя в жертву. В особенности омерзительны супруги Луазо: «Раз эта тварь занимается таким ремеслом и проделывает это со всеми мужчинами, какое же право она имеет отказывать кому бы то ни было». Аристократы настроены более патриотически: «Надо ее переубедить». Здесь сатира Мопассана достигает своей вершины: «Как только сели за стол, началось наступление. Сначала завели отвлеченные разговоры о самопожертвовании. Приводились примеры из древности — Юдифь и Олоферн...»<sup>[61]</sup>

Наконец слово берет старая монахиня:

«— Сам по себе поступок, нередко достойный порицания, становится похвальным благодаря намерению, которое его вдохновляет».

Такую вот святую сестру в чепце Ги знавал в Гавре, ухаживавшую за солдатами, больными оспой: «настоящая полковая сестра, и ее изуродованное, изрытое бесчисленными рябинами лицо являлось как бы символом разрушений, причиняемых войной».

Пышка в конце концов уступает, и тогда Корнюде восстает: «Знайте, что все вы совершили подлость!»

«На другой день снега ослепительно сверкали под ярким зимним солнцем. Запряженный дилижанс наконец-то дожидался у ворот, а множество белых голубей, раздувавших пестрое оперение, розовоглазых, с черными точками зрачков, важно разгуливали под ногами шестерки лошадей, разбрасывали лапками дымящийся навоз и искали в нем корма».

Когда Флобер прочел этот отрывок, он подпрыгнул от радости. Он ведь столько раз спрашивал себя, не обманывает ли его сердце. Глаза его подернулись слезами:

— Ступай! Теперь ты твердо стоишь на ногах!



Флобер справедливо ликует: «Пышка», повесть моего ученика, гранки которой я прочел сегодня утром, — это подлинный шедевр; я настаиваю на этом слове: шедевр композиции, сатиры, наблюдательности». Старик пишет Ги без промедления. «Эта маленькая повесть останется в литературе, не сомневайтесь в этом. Ну и рожи у ваших буржуа! Один к одному. Корнюде могуч и правдив! А несчастная девица, которая плачет, когда тот поет «Марсельезу», — как она возвышенно благородна! Так бы и расцеловал тебя! Нет, право, я доволен! Получил удовольствие и восхищаюсь!»

Путаница с **вы** и **ты** свидетельствует о взволнованности сияющего от радости Отца.

Построение новеллы классическое. Жизненность, точность наблюдений уверенно сочетаются со свободно и легко льющимся повествованием, воссоздающим двадцать великолепных образов, не выгравированных, не вставленных в рамку, а подлинных, живых. Сюжет не избитый, новый. Эта вариация на тему «подлость порядочных людей» обретает особую силу в 1880 году благодаря остроте факта, относящегося к недавнему прошлому — 1870–1871 годам. Ничего еще столь правдивого не было написано на тему франко-прусской войны. «Пышка» как бы сняла с нее запрет.

Когда Пышка, униженная, плачет после того, как принесла себя в жертву, а Корнюде насвистывает «Марсельезу» под носом у омерзительных «коллабо», — это ведь плачет сама униженная Франция.

В своем первом шедевре Мопассан вместе с Пышкой и Корнюде выступает против аристократии, чьи слабости и смешные стороны он, кстати, и не старается скрыть, выступает против благонамеренных и спекулянтов, так же **как и против оккупантов**. Насколько же он заходит дальше Барреса, автора «Колетт Бодош», обратившегося к этой теме спустя двадцать пять лет!

Необычайно редко случается, чтобы слава приходила к писателю после первой же вещи. Вчера еще его коллеги не верили в него. «Пышка» сразу все изменила.

«Пышка» не плод фантазии автора. Прототипом Элизабеты Руссе была Адриенна Легей.

Двадцати лет от роду Адриенна уехала в Руан в поисках удачи. Однажды, отправляясь в дилижансе к французским солдатам, она оказалась героиней истории, которая легла в основу сюжета повести Мопассана. По окончании войны она снова взялась за свою профессию.

Как-то вечером, много времени спустя после появления «Пышки», Мопассан увидел Адриенну одну, в ложе руанского театра Лафайет. «Он долго, с любопытством, почти растроганно глядел на нее». И тогда великий писатель, «преуспевающий человек», Метр на виду у всех поклонился своей героине и повез ее ужинать в отель Мане.

Адриенна, которую все еще звали Пышкой с улицы Шарет, растеряв клиентов, покончила с собой в 1892 году, оборванная и смердящая, задолжав хозяину семь франков.

В день выхода в свет коллективного сборника «Меданские вечера» Мопассан писал: «Это прекрасная прелюдия к моему сборнику стихов, который выйдет во вторник и положит конец рассуждениям о дурачествах натуралистической школы, повторяемым в газетах. Вся беда в заглавии «Меданские вечера», которое я нахожу неудачным и опасным».

Закончив, Мопассан подводит итог:

«Золя: Хорошо, но эта тема могла бы быть трактована точно так же и столь же хорошо госпожой Санд или Доде.

Гюисманс: Посредственно. Ни сюжета, ни композиции, мало стиля.

Сеар: Тяжело, очень тяжело, неправдоподобно, стиль неровный, судорожный, но много любопытного и тонкого.

Энник: Хорошо, рука настоящего писателя, местами некоторая беспорядочность.

Алексис: Похоже на Барбе д'Оревильи, но так же, как и Сарсэ<sup>[62]</sup>, хочет походить на Вольтера».

Несколькими неделями позже сборник «Стихи», на который он так рассчитывает, выходит у Шарпантье. Книга принята отлично. Все вышло сразу — и проза и поэзия. Это и впрямь попутный ветер. Так почему же он не ликует? Почему такая неуверенность, почти тревога? Да потому, что этот хитрый моряк взвешивает оба успеха — один нежданный, который удивил его самого, а другой — желанный, но более скромный. Значит, он ошибался? Не новеллой заинтересовались благодаря его стихам, а как раз наоборот. Мопассан теперь только изредка, случайно будет обращаться к стихам. Оставив поэзию, он резко меняет курс и пускается в новое плаванье с надутыми парусами.

**Святой Поликарпий. — Папа Симона. — Сентябрь 1879 года: поездка в Бретань. — Оливковая роща. — А почему не Флобер? — Досадная оплошность. — Письмо Эдуарда Эррио<sup>[63]</sup>**

Последние годы Флобера были освещены улыбками трех руанских красавиц, которых он называл тремя своими ангелами, — это госпожа Брэнн, что была так дружна с Ги, ее сестра госпожа Лапьер — жена Шарля Ланьера, директора «Нувелист де Руан», и не менее прекрасная госпожа Паска. Они вносили забавное веселье в помрачневший от бедствий дом, хотя положение Комманвилей и улучшилось.

Флобер в конце февраля 1880 года успокаивает Ги: «Через день-другой Комманвиль разделается со всеми долгами. Горизонт проясняется, и вскоре мы выпутаемся из омерзительного безденежья и тревог, которые более четырех лет не дают мне вздохнуть. Целую тебя, мой милый. Твой старик».

Ежегодно 27 апреля друзья Старика праздновали день святого Поликарпия, которого Викинг избрал своим патроном. В 1880 году праздник святого Поликарпия выдался веселее обычного — под одной крышей собрались три прекрасные, умные, независимые женщины и Ги, заразительно-жизнерадостный, искрящийся нормандским добродушием.

Ги написал Флоберу два забавных четверостишия:

*Мосье Флобер! В любом обличье  
Вы — виртуоз, черт подери!  
Под сенью вашего величья  
Дрожит в ознобе Жюль Ферри.*

*Пускай на утренней лужайке  
Цветы коснутся ваших ног...  
Не зря изрек всевышний бог:  
«Плодитесь, люди, размножайтесь!»<sup>[64]</sup>*

Да, поистине, до чего странными были отношения между Мопассаном и Флобером! Ги писал очаровательные письма тому, кто послал ему свое «Искушение святого Антония» со следующей надписью: «Ги де Мопассану,

которого я люблю как своего сына».

В беседе между этими двумя людьми безупречное целомудрие то и дело чередуется с пошлым сквернословием.

Существует упорная версия, что Мопассан якобы побочный сын Флобера.

Дабы лучше разобраться во всем этом, обратимся прежде всего к произведениям писателя. Несмотря на первое «безобидное» впечатление, рассказ «Папа Симона», написанный Ги в двадцать семь лет, столь же показателен, как и рассказ «Гарсон, кружку пива!». Мальчишки из школы смеются над Симоном, потому что у него нет отца. Ребенок хочет утопиться, как вдруг «на его плечо легла тяжелая рука». Мальчик обернулся, «На него добродушно глядел высокий рабочий с черными курчавыми волосами и бородой». Это кузнец, который хотел бы жениться на матери Симона. «Затем он (Симон — А. Л.) внезапно почувствовал, как друг приподнял его и, держа на своих вытянутых геркулесовых руках, крикнул: «Скажи им, своим товарищам, что твой папа — это кузнец Филипп Реми и что он надерет уши всякому, кто тебя обидит!»

Любопытный сюжет для писателя, слывшего бессердечным! Ги отождествлял себя, по-видимому, с Симоном. Надеюсь, Мопассан не будет ко мне в претензии за такое истолкование, поскольку в воспоминаниях, появившихся в 1912 году в «Гранд Ревю», он поведал прекрасной незнакомке, блондинке в вуалетке: «Я всегда чувствую, когда писатель вкладывает собственные переживания в свое произведение, будь он даже самым безликим автором». Автор «Папы Симона» был именно тем Мопассаном, который осенью 1874 года в Париже, на улице Нотр-Дам де Лоретт, схватил за шиворот «какого-то простолюдина», избивавшего мальчугана лет десяти, и отвел его в участок на улице Вреда. Впрочем, полицейские оказали Ги более чем прохладный прием, так как выяснилось, что ребенок — сын того грубияна и отец вправе «учить» его.

С 1877 по 1890 год Ги написал около двадцати рассказов, начиная с «Кропильщика» (сентябрь 1877 г.) и кончая «Оливковой рощей» (14–23 февраля 1890 г.) — это все вариации на тему о внебрачном, покинутом, родившемся в результате адюльтера ребенке. **Они составляют количественно самую значительную часть творчества Мопассана.** В противоположность другим темам — о войне, чиновниках, крестьянах, «Лягушатне», — которые по истечении определенного времени исчерпываются, эта тема сохранится до конца его жизни.

Множество высказываний Мопассана, его причуды, выдержки из различных его рассказов и главным образом из романа «Монт-Ориоль»,

отдельные темные эпизоды из его личной жизни вроде бы убеждают нас в том, что Мопассан был равнодушен к чувству отцовства. Однако это мнение не выдерживает критики. Как раз наоборот. В рассказе «Кропильщик» у молодой супружеской четы бродячие акробаты украли пятилетнего сына. В поисках ребенка супруги состарились, разорились. Однажды отец, побиравшийся у выхода из церкви, узнает сына. Красивый, здоровый «юноша упал и уткнулся лицом в колени старика. Плача, обнимал он то отца, то мать, задышавшихся от невыразимой радости».

Волнение, с которым Мопассан описывает эту сцену, так захватывает, что мелодрама уже перестает быть мелодрамой. Скорбная доброта обездоленного взяла верх над цинизмом.

Иногда тема незаконнорожденного поворачивается по-иному: отец, боготворящий своего ребенка, узнает, что последний не его сын. «Господин Паран» (3 января 1886 г.) терпит легкомысленную и сварливую жену только ради сына. «Он любил его всем своим сердцем, сердцем доброго, слабовольного, покорного, обиженного человека. Он любил его с безумными порывами, с бурными ласками, со всей застенчивой, затаенной нежностью, не нашедшей выхода, не излившейся даже в первые дни его брачной жизни...»

— Сын не от вас, — напрямик заявляет ему Жюли, служанка, которой отвратительна его доверчивость.

Мир этого человека рухнул. Позднее, перед сыном, которому уже двадцать лет и который ни о чем не догадывается, господин Паран беспощадно изобличает недостойную жену. «Она не знает... Нет... не знает... Черт возьми! Она спала с нами обоими... Разве это можно знать?.. Ты, мальчик, тоже этого не узнаешь, как и я... никогда...»

На смену теме **неизвестного отца** (незаконнорожденного ребенка), отца **обманутого** (любви, испытываемой к ребенку другого) приходит тема отца, **который не знает своего или своих детей**. Мопассан использует все эти варианты до конца. Последний великолепно разработан в «Отце» (20 ноября 1883 г.). Молоденькая девушка Луиза отдалась чиновнику Франсуа Тесье. Как только она признается ему, что беременна, его начинает преследовать одна мысль: «Порвать с ней во что бы то ни стало». Это он и делает. Франсуа старится и погрязает в «однообразном и беспросветном существовании чиновника». Но вот однажды он встречается в парке Монсо молодую женщину с двумя детьми — мальчиком лет десяти и девчушкой лет четырех. Это Луиза, а мальчик — его сын.

Вчерашний фавн попадает в силки отцовских чувств, которых и не предполагал в себе. «Он терпел тяжкие муки, снедаемый отцовской

нежностью, в которой было и раскаяние, и ревность, и зависть, и потребность любви к своему детенышу, заложенная природой в каждое живое существо».

Муж, узнав все, разрешает пристыженному отцу поцеловать своего сына. «Франсуа схватил ребенка в объятия и принялся целовать его, как безумный, покрывая поцелуями лицо, Мальчик, растерявшись от такого града поцелуев, отстранял ручонками жадные губы незнакомого человека.

Но вдруг Франсуа Тесье поставил его на пол. «Прощайте, прощайте! — крикнул он.

И убежал, как вор».

В «Сыне» Мопассан обрисовывает человека, одержимого навязчивой идеей. В рассказе сенатор беседует с академиком. Они рассуждают о пыльце цветов, и сенатору приходит на ум сравнение с великолепным раKITником: «Ах, милый мой, если бы тебе пришлось сосчитать своих детей, ты очутился бы в чертовски затруднительном положении. А вот это существо рождает легко, бросает без угрызений совести и нимало не заботится о них... Не найдется мужчины, у которого не было бы неведомых ему детей, — продолжает сенатор, — так называемых детей от **неизвестного отца**, созданных им, подобно тому как создает это дерево, — почти бессознательно».

В этой же новелле Ги устами академика рассказывает «очень скверную историю» о человеке, который не подозревал, что в результате случайной связи стал отцом. Много лет спустя судьба сталкивает его с сыном, оказывающимся жалким дегенератом.

В сентябре — октябре 1879 года Ги предпринял первое путешествие пешком по Бретани. Ему понравился Кон-карно, его чудесный залив и обнесенный стеною тысячелетний город. Ги полной грудью вдыхает запах этого легендарного и страшного края...

Между тем Бретань оставила у Мопассана подлинное или полувымышленное воспоминание о женщине «не более восемнадцати лет; ее светло-голубые глаза были пронизаны двумя черными точками зрачков...». Большая, пышная «грудь стиснута суконным жилетом в виде кирасы»; она ни слова не знает по-французски, со страстью отдается путешественнику и рыдает, когда он уезжает.

Несколько лет спустя рассказчик из новеллы «Сын» снова очутился в трактире, где он некогда встретил девушку. Служанка умерла от родов, никогда никому не сказав об отце, и ребенок остался жить в этом же доме. «Он стоял передо мной с идиотским видом, мямля шляпу своими

отвратительными узловатыми лапами и бессмысленно смеялся, но в уголках его глаз и губ было что-то от смеха матери...»

Тщательно выписывает Ги нестихающие «сомнения» отца, его кошмары, его переживания: «Вы и представить себе не можете того странного, смутного и невыносимого чувства, которое я испытываю перед ним, думая о том, что он плоть от плоти моей, что он связан со мной тесными узами, соединяющими отца с сыном, что, в силу ужасных законов наследственности, он является мной по тысяче причин...»

Рассказ от первого лица — это лишь классический прием, который не является доказательством автобиографичности, но все же упорное возвращение к этой теме невольно настораживает. Если бы Ги действительно был циником, каким хотел казаться, дабы защитить себя от ударов, к которым был так чувствителен, почему же тогда этот выдававший виды человек возвращается к этой теме на всем протяжении своей творческой деятельности? И для чего отводит он ребенку роль арбитра в делах взрослых, как в романах «Милый друг» и «Сильна, как смерть»?

Тема отцовства у того, кто был отцом лишь втайне, у того, кто проявлял такую нетерпимость к своему собственному отцу, — эта тема в его творчестве рассматривается с точки зрения высокой **ответственности**. Мопассан, не задумываясь, говорит, что персонажи его светских рассказов, да и сам он вместе с ними, — это циники и жуиры, создающие дно общества. «Уверены ли вы, что у вас где-нибудь на мостовой или на каторге нет шалопая-сына...или дочери, живущей в каком-либо притоне?... Кто их отцы? Вы, я, мы все, так называемые порядочные люди!»

Мопассан весьма схож с Руссо в подходе к этому вопросу: «Воры, бродяги — словом, все отверженные люди, в конце концов, наши дети...»

Эти довольно неожиданные настроения выявляются главным образом в одном из последних произведений Мопассана, в «Оливковой роще». Вслед за физическим уродом появляется урод моральный. Аббат Вильбуа поселился на берегу залива Писка, между Марселем и Тулоном. Это коренастый человек пятидесяти восьми лет, отличный рыболов, любит удить жирных зубаток, плоскоголовых мурен и «фиолетовых радужников, покрытых зигзагами золотистых полосок цвета апельсиновой корки». Аристократ Вильбуа становится священником из-за того, что когда-то ему изменила женщина. Она была беременна от него, но заставила Вильбуа поверить, что ребенок от другого; взрослый сын неожиданно является к священнику. Сын — бродяга, преступник.

«— Кто вам сказал, что ребенок был от другого?

— Она, она сама, и еще издевалась надо мной.

Тогда бродяга, не оспаривая этого утверждения, заключил безразличным тоном босняка, выносящего приговор:

— Ну что ж! Значит, мамаша, издеваясь над вами, тоже ошиблась, вот и все!»

Какой резкий контраст — издевательства хулигана и торжественный покой «мелкой сероватой листвы священного дерева, прикрывшего хрупкой сенью величайшую скорбь, единственный миг слабости Христа». Уверенный в себе негодяй гогочет, говоря о своей матери: «Ну, женщина, знаете! Она всей правды никогда не скажет».

О! Уж он-то хорошенько облапошит своего папочку-священника! К великому удивлению бандита, старик не принимает его. Тогда мерзавец тянется к ножу. Отец с такой силой отталкивает его, что тот, мертвецки пьяный, падает на пол. Служанка бежит в деревню с криками:

«— Мауфатан... мауфатан...»

Когда жители деревни сбегаются к дому священника, они находят старика с перерезанным горлом. Никто не узнает, что он сам лишил себя жизни...

В феврале 1890 года, когда Мопассан пишет этот рассказ, ему уже почти сорок лет... Он только что закончил новеллу «Мушка» (7 февраля 1890 г.). После фантастического рассказа «Кто знает?» и рассказа «Бесполезная красота» (оба от апреля 1890 г.) он больше не напишет ни одной новеллы. «Мушка» — это талантливое и волнующее прощание с молодостью, а «Оливковая роща» — последнее признание в тайных страданиях.

Пристальное внимание Мопассана к двум параллельным темам — неотступная мысль о судьбе незаконнорожденных детей и отвращение к материнству, — с которыми мы встретимся в «Монт-Ориоле» и в «Пьере и Жане», отчасти объясняются его философским пессимизмом, но не соответствуют его глубокой нежности к детям.

Рассказы Мопассана слишком личны, чтобы оставаться только рассказами.

И что же? Внести ясность могут только факты из биографии. Но мы найдем лишь отрывочные сведения, **потому что Мопассан все сделал для того, чтобы его биография осталась таинственной и темной.**

Мопассан не опровергал слухов о своей незаконнорожденности. «Я вырос со смутным ощущением, что на мне лежит какое-то позорное пятно. Другие дети называли меня однажды «ублюдком». Ги часто думал, что Гюстав де Мопассан вовсе не его отец. И тогда неизбежно напрашивается



вопрос: не Флобер ли был его настоящим отцом?

10 октября 1873 года Лора писала Флоберу: «...Юноша принадлежит тебе душой и сердцем, а я, как и он, твоя теперь и всегда. Прощай, мой дорогой друг, крепко тебя обнимаю...» Выражения слишком сильны даже для такой экзальтированной женщины, как Лора де Мопассан. 1 октября 1893 года, четыре месяца спустя после похорон Мопассана. Гонкур вспомнит о своем разговоре с Полем. Алексисом. Последний возвратился с юга, где он встретил Лору. Безутешная мать, говоря о последней воле сына быть преданным земле без гроба, обронила верному Трюблo: «Ги всегда занимала эта мысль. И тогда в Руане, когда он распоряжался похоронами своего дорогого отца...» Ляпсус или сорвавшееся признание? «И здесь, — продолжал Эдмон де Гонкур, — г-жа де Мопассан сделала паузу, но тотчас же добавила: «Бедного Флобера...»

Учитывая исключительный характер этого признания, нельзя упрекать биографов в том, что у них остались те же **сомнения, которые испытывал сам Мопассан!**

Андре Виаль, автор великолепной диссертации «Ги де Мопассан и искусство романа», уточняет, что «молва, приписывавшая отцовство Флоберу, родилась вследствие маленькой замечочки Фукье в журнале, понявшего буквально слово «сын», которым пользовался Учитель, чтобы определить свое расположение к ученику».

Анри Фукье, однако, прекрасно знал подноготную жизнь литературного мира. Трудно поверить, что он употребил слово «сын» по небрежности. Андре Виаль добавляет: «Все были удивлены тем, что Мопассан не обратил никакого внимания на эти толки».

Виаль находит объяснение молчанию Мопассана в том, что «распутство отца отравило его с малых лет презрением и злопамятностью». И действительно, Мопассан, задетый самой мыслью о своей незаконнорожденности, предпочитал молчать. Как мы видели, еще с самого детства между Гюставом и старшим сыном, подчеркнуто принимавшим всегда сторону матери, **будь она даже не права**, возникли довольно странные отношения.

Сходство между Флобером и Мопассаном — моральное, физическое, сходство характеров, взглядов, художественных вкусов — просто поражает. Та же нормандская солидность, то же пристрастие к девицам легкого поведения, та же любовь к искусству, не считая отдельных прихотей Ги, тот же нигилизм, тот же антиклерикализм, тот же антимилитаризм, та же

ненависть к глупости, то же презрение к мещанству, та же нетерпимость к порядку, то же неприязненное отношение «к массе» — в общем, та же концепция мира. Это уже немало!

Каковы же были в действительности отношения между Флобером и матерью Мопассана? Гюстав Флобер и Лора были друзьями детства. После того как Лора вышла замуж за своего художника, друзья теряют друг друга из виду. Несколько лет спустя литературные склонности Ги побуждают Лору восстановить отношения с лучшим из советчиков. Это все, в чем можно быть уверенным. Разумеется, романтические гипотезы вполне допустимы благодаря характеру Лоры, неясностям, связанным с местом рождения Ги, упорной легенде о какой-то необыкновенной и несчастной любви, некогда пережитой Лорой, — короче, благодаря той атмосфере таинственности, которую эта женщина старательно поддерживала вокруг себя. Но уместны и сомнения. Внутреннее и внешнее сходство с Флобером безусловно. Между тем другими чертами Ги напоминает своего законного отца. Его донжуанство, его расточительность, его манера бежать от всякой ответственности, его отказ от любого принуждения...

Еще более убедительными являются даты. Флобер уехал из Парижа в Египет 29 октября 1849 года в обществе Максима Дю Кана. Ги родился 5 августа 1850-го. Двести семьдесят девять дней спустя, то есть через девять месяцев и несколько дней. Между тем Флобер покинул Круассе 22 октября. Он находился в это время то в Ножан-сюр-Сен, то в Париже, что увеличивает срок между отъездом Флобера и рождением Ги еще на целую неделю, сводя его к двумстам восьмидесяти шести дням. Роды с опозданием случаются значительно реже, чем преждевременные роды, и только как редкое исключение могут затянуться до двухсот восьмидесяти шести дней.

Третье возражение одновременно и фактическое и психологическое. Нам известно от двух людей, что Флобер познакомился с Ги **очень** поздно, в 1867 году. Письмо Каролины Флобер к ее приятельнице Лоре, датированное 3 октября, указывает точную дату первого визита. Если Мопассан был его сыном, то разве Лора не пожелала бы познакомить их раньше?

Рене Дюмениль, которому мы обязаны множеством проникновенных страниц о Мопассане, пишет: «В письмах Мопассана к Флоберу мы не обнаруживаем ничего, указывающего на родственные отношения: они почтительны, полны преклонения и даже у самого сурового цензора не могли бы вызвать какое-либо тайное подозрение».

Леон Фонтен вспоминает, что Флобер и Мопассан **вместе посещали заведение Телье**. Флобер терпеть не мог Беранже. Ги первым идет к милым хозяйшкам, говорит что-то самой приветливой из них, та выходит навстречу Флоберу, игриво приветствует его:

— Здравствуйте, господин Беранже!

Флобер чуть не задыхается от негодования, а Ги — тот давится от смеха.

Но оставим в стороне анекдот и обратим внимание на их **одновременное присутствие** в этом месте. Нравы XIX века играли в этом немалую роль, как справедливо подчеркивает Рене Дюмениль. **Дом Телье** был заведением национальным, как, скажем, административный центр округа — супрефектура. Нередко случалось, что некоторые отцы водили туда своих сыновей. Все это верно. Учитывая **чистоту и искренность их дружбы**, правдоподобно ли, что Мопассан, догадываясь о том, что Флобер — его отец, пошел бы с ним туда, писал бы ему в таком тоне, какой он иногда позволял себе?

Если бы Флобер знал, что Мопассан его сын, писал бы он сам ему такие письма? Не правильнее ли предположить, что отношения Флобера и Мопассана были бы **иными, если бы они знали, кем приходятся друг другу?** Итак, гипотеза родства Флобера и Мопассана суживается до одной очень проблематичной версии: они были отцом и сыном, сами того не зная, ибо Лора, не будучи в чем-либо уверенной, никогда ничего не рассказывала ни одному из них.

Во время торжественного заседания, посвященного столетию со дня рождения Мопассана, в лионском театре Селестен 28 октября 1950 года Эдуард Эррио заявил: «Если Мопассан не сын Флобера, я очень об этом сожалею, ибо существует между ними неопровержимое родство духа и так много связывает эти два великих ума...» Чувствительный автор «Нормандского леса» нашел великолепный нормандский ответ на нормандскую загадку.

**8 мая 1880-го: три телеграммы из Руана. — Похороны в Круассе. — Хроникер и чиновник. — Бюллетень здоровья Мопассана в 1880 году, или подлинное зло века**

В субботу 8 мая 1880 года после обеда смотритель Безонской плотины получил необычную телеграмму:

«Просьба уведомить г. де Мопассана в трактире Пулен, что Гюстав Флобер внезапно скончался сегодня в Круассе».

Шлюзовой бегом кинулся в харчевню, но «господин Ги» там еще не появлялся. Две другие телеграммы — одна от Шарля Ланьера, другая от Каролины Комманвиль — подтверждали печальную весть.

Карета довозит мертвенно-бледного Мопассана к Западному вокзалу Сен-Лазара. Всего лишь десять дней назад они праздновали святого Поликарпия! У Ги еще лежит в кармане письмо от 3 мая, в котором Флобер, упоминая об этом воскресенье и больше занятый книгой Мопассана, чем своей собственной, предлагает помощь: «Принесите мне на будущей неделе список идиотов, которые строчат так называемые литературные отзывы в газетах».

Тяжелые выдохи паровоза большими ватными хлопьями заволакивают пространство между Сенной и окнами вагона. Руан. И наконец-то Круассе. Ги находит Старика «распростертым на постели и почти не изменившимся, если не считать, что шея несколько почернела от апоплексии. Он отлично чувствовал себя в последние дни, радовался тому, что заканчивает работу над романом, и собирался выехать в Париж в воскресенье 9 мая...».

Накануне Флобер плотно пообедал и хорошо спал. Утром он долго мылся и сразу почувствовал себя плохо. «Он сам откупорил флакон одеколона, натер себе виски, осторожно улегся на большой диван и прошептал: «Руан... Мы недалеко от Руана... Элло... Я знал этих Элло...» — а затем откинулся, весь почерневший, с крепко сжатыми кулаками, с лицом, налившимся кровью, сраженный смертью, о которой секунду до этого он и не подозревал...»

Ги обмыл тело «без слов, без крика, без слез, с сердцем, исполненным почтения». Впоследствии Мопассан подтвердил детали похорон: «После кончины Флобера я сам совершил омовение, затем обтирание крепким

одеколоном. Я надел на него сорочку, кальсоны и белые шелковые носки; лайковые перчатки, гусарские брюки, жилет и пиджак; галстук, подвязанный под воротником сорочки, выглядел как большая бабочка. Потом я закрыл его прекрасные глаза, расчесал усы и великолепные густые волосы...»

Ночь была бесконечно долгой. Под утро осипший буксир жалобно прохрипел на реке, и Ги увидел суда, плывшие вверх по реке «так близко, что, казалось, они своими реями коснутся набережной». Он машинально позавтракал, затем отправил необходимые приглашения. Написал Золя: «Наш бедный Флобер умер вчера от апоплексического удара. Похороны состоятся во вторник в полдень. Излишне говорить, что все, кто любил его, будут счастливы видеть вас на его погребении. Если вы отправитесь утром с восьмичасовым поездом, то приедете без опоздания...» Почти то же самое он пишет Гонкуру. Заканчивает письмо словами: «Жму вашу руку с чувством глубокой скорби...» Тэну: «...с глубокой скорбью... руку... со скорбью... руку...»

В ритуальных приготовлениях Ги провел воскресенье и понедельник. Во вторник 11 мая кареты были отправлены в Руан встречать друзей, как месяцем раньше встречали их на пасху.

После отпевания в маленькой церкви, описанной в «Мадам Бовари», похоронные дроги затряслись по долине. Корова промышчала вслед процессии, и Золя сказал: «Я всегда буду слышать это стенание животного!»

С кладбища Мопассан увидел Круассе, увидел таким, каким он никогда еще не открывался его взору. Вот излучина Сены, вот дом, который Старик очень любил. Он готов был чуть не плакать при мысли о том, что может потерять его. Ги поглядел на присутствующих: почти все молодежь. Был и Гонкур, но не было ни Гюго, ни Ренана, ни Тэна, ни Дюма, ни даже Максима дю Кана — они не соизволили потревожиться. Ги поведаёт об этом Тургеневу с оттенком горечи: «Она была нескончаема, эта дорога до Руанского кладбища, под палящим солнцем... И эти безразличные люди, которые говорили о бородах по-нормандски и об утках с апельсинами!» На кладбище пахло боярышником, оно возвышалось «над городом, подернутым лиловой дымкой, придающей ему аспидный оттенок».

Гроб Старика был слишком длинен — поверженный Викинг отличался могучим ростом. Из-за неловкости могильщиков гроб с телом застрял в могиле головой вниз. Могильщики грязно бранились, но ничего не могли поделать: ни вытянуть его наверх, ни опустить вниз! Запах потревоженной земли заползал в ноздри. Веревки скрипели. Каролина театрально стонала.

Тогда Золя хриплым голосом бросил:

— Довольно, довольно...

И все они удалились, не вынеся этого, оставив Старика, повиснувшего наискось в своей могиле.

В том же месяце, возвратившись в Париж, Мопассан писал Каролине Комманвиль: «Я остро чувствую в этот момент бесполезность жизни, бесплодность всех усилий, страшное однообразие событий и вещей и то моральное одиночество, в котором живем все мы, но от которого я страдал бы меньше, если бы мог беседовать с ним...»

Ги перечитывает последние письма учителя и находит пожелания, высказанные ему каких-нибудь пять месяцев тому назад: «Пусть 1880 год будет для вас годом легким, мой горячо любимый ученик. Прежде всего — никаких сердцебиений...»

Мопассан машинально подносит руку к глазам. В особенности беспокоит правый. Словно песчинка попала под веко. Он пространно пишет Золя, который также переживает самый мрачный год своей жизни: «Не могу вам передать, как много я думаю о Флобере; мысли о нем осаждают, преследуют меня. Я вспоминаю о нем беспрестанно, слышу его голос, представляю себе его жесты, ежеминутно вижу, как он стоит передо мной в своем широком коричневом халате, с воздетыми при разговоре руками...»

В маленькой квартире по улице Клозель ему еще слышится мстительный смех, раскатистый бас, он вновь видит перед собой гигантскую фигуру кондотьера с высоким открытым лбом, с мешками под глазами, с тяжелой львиной шевелюрой, с красным носом, с ниспадающими усами старого Галла. Галл! Верно! Моя статья для «Голуа!» Снова писать! К чему писать! Все равно все заканчивается смертью — она не предупреждает, она никому не дает объяснений!

Почти ежедневно можно встретить Ги де Мопассана в коридорах дома № 16 по улице Гранж-Бательер, где находится редакция газеты. Его встречают и провожают легким шепотом. Не более как месяц спустя после выхода «Пышки», 21 1880 года, Артюр Мейер торжественно возвестил своим читателям, что статьи Мопассана еженедельно будут появляться на страницах его газеты — того Мопассана, которому он так часто отказывал несколькими месяцами раньше! Это сотрудничество началось 31 мая с первой главы «Воскресных прогулок парижского буржуа», каждая страница которых напоминала Флобера, громящего глупость. Мопассан наспех

собирал различные свои записи — ранние, неизданные или не получившие того отклика, на который он рассчитывал, — клеил, резал, словом, пользовался исключительно журналистской техникой переделок и перелицовок, к которой питал презрение, отдавая, однако, должное ее рентабельности.

Став бульварным журналистом, Ги печатается и на страницах «Наполитэна». Он стряпает очерк за очерком, статью за статьей. В «Голуа», затем в «Жиль Бласе» и в «Фигаро» Мопассан, писавший несколько месяцев назад с таким трудом, вдруг обнаруживает себя литератором разнообразным, бойким, сведущим, когда понадобится, и в истории и в философии. А подчас и моралистом, не брезгующим никакими средствами. Он серьезен в «Голуа», по-парижски игрив в «Жиль Бласе», дерзок в «Фигаро». В течение долгих месяцев его хроника будет появляться еженедельно. Мопассан прервет свое сотрудничество с «Голуа» лишь из-за купюры, сделанной без его ведома в статье о «Манон Леско», которую дирекция газеты нашла слишком резкой. По существу, Ги просто воспользовался случаем.

Для Мопассана тех лет свойственна большая осторожность; несмотря на неожиданный успех и признание, Ги еще не верит в удачу. Он не бросает службы. Он желает оставаться чиновником как можно дольше. «Типичное французское честолубие, столь удивительное для этого грубоватого парня, фрондера с виду и по разговору, всегда шумного и хвастливого, когда он рассказывал о своих физических достоинствах...» — скажет о нем начальник Анри Ружон.

Ги же без всякого смущения объяснял, почему он не бросает службу: «Профессия литератора весьма ненадежна. В случае болезни или неудачи я буду счастлив иметь должность и оклад».

Выработав для себя линию поведения, Мопассан стремится получать как можно больше отпусков. После смерти Флобера Ги ходатайствует о трехмесячном отпуске с сохранением содержания. Получает его. 1 сентября он снова обращается с той же просьбой. На сей раз с сохранением половины содержания. Отпуск продлевается по новому соглашению еще на шесть месяцев, уже без содержания. «Отпуск, предоставленный г-ну Ги де Мопассану, чиновнику Управления исторических трудов и научных обществ, согласно решению от 31 декабря 1880 года, заканчивается сегодняшним днем», — выносит распоряжение новый министр народного образования Поль Берт 11 января 1882 года.

Между тем в личном деле Ги де Мопассана имелось заключение доктора Рендю, заслуживающее внимания: «Господин министр, я,

нижеподписавшийся, госпитальный врач, удостоверяю, что в течение двух лет наблюдал г-на де Мопассана. Этот молодой человек страдает стойким неврозом, проявляющимся в непрекращающихся головных болях, мозговых спазмах... Это предрасположение, хотя и не резко выраженное, наличествует наряду с сильнейшими сердечными перебоями... В течение последних нескольких недель он страдает параличом нерва правого глаза, сопровождающимся стойкой невралгией».

Смерть Флобера и головокружительный успех Ги совпадают с этим настораживающим медицинским заключением. На человека, торжествовавшего победу, обрушилось два удара: горе и болезнь, как еще неясное предзнаменование судьбы.

Когда Лора под предлогом болезни забрала сына из Ивето, она писала Флоберу: «Болезнь сына не опасна, но он страдает от нервного истощения, требующего весьма строгого режима...» В двадцать три года, в самый расцвет увлечения греблей, он уже страдал от исключительных по силе мигреней и резкой смены настроений — возбуждение чередовалось с полной депрессией. Не следует впадать в ошибку: эта депрессия не просто «хандра». «Когда я остаюсь один за своим столом с печальной лампой, горящей передо мной, я ощущаю часто такую глубокую тоску, что не знаю, к кому броситься». В 1875 году недомогание становится совершенно явным. Невзирая на геркулесову силу, гребец из Буживаля болен. «Мне предписали полный покой, бромистый калий, и никаких ночных бодрствований. Это лечение ни к чему не привело. Тогда меня посадили на мышьяк, йодистый калий, на кольхицинную настойку; это лечение тоже ни к чему не привело. Тогда врач направил меня на консультацию к специалисту, лучшему из лучших, доктору Потену...»

Этот врач уже раньше лечил мать Ги от тех же недугов.

Мопассан тревожится и о своем сердце. Потен успокаивает его. «Последний заявил мне, что сердце само по себе в порядке, но у меня началось отравление никотином...»

Действительно, речь шла о табаке. После доктора Потена Ги консультируется с гомеопатом, доктором Фредериком Ловаи. В 1877 году врач из министерства, доктор Ладреи де ла Шарьер, отправил его принимать серные ванны в Люэш. Волосы выпадают клочьями — симптом, позволивший Тургеневу сделать следующее замечание: «Бедняга Мопассан теряет всю растительность на теле! Это, как он говорит, связано с кишечным заболеванием. Он по-прежнему очень мил, но сейчас весьма дурен собой...»



С 1878 года болезнь приняла другую форму. В марте 1880-го Ги пишет: «У меня паралич нерва правого глаза, и Абади считает эту болезнь почти неизлечимой...» Уже тогда Шарль Абади, известный офтальмолог, использовал цианистую ртуть, которую применяют при лечении сифилиса. Ги обратился по назначению... «Но мой врач (он профессор медицинского факультета) утверждает, что болезнь излечима. Он полагает, что Абади совершенно не разобрался в моем состоянии. Я, по его мнению, болен тем же, что и моя мать, то есть у меня легкое раздражение верхнего отдела спинного мозга. Следовательно, нарушение сердечной деятельности, выпадение волос и история с глазом имеют одну причину...»

Эту истинную причину на факультете определили сразу.

Уже в марте 1877 года Мопассан отправил Роберу Пеншону письмо, в котором он сообщал своему другу, что он болен и лечится ртутью и йодистым калием.

А вот красноречивый отрывок из письма: «У меня сифилис, наконец-то настоящий, а не жалкий насморк... нет, нет, самый настоящий сифилис, от которого умер Франсуа I. Велика беда! Я горд, я больше всего презираю всяческих мещан. Аллилуйя, у меня сифилис, следовательно, я уже не боюсь подцепить его».

Что это? Похвальба студента-медика или песенка, которую затягивают, чтобы скрыть страх? Доктор Ландоль, офтальмолог, к которому Ги обратился через три года за консультацией, отметит в своих записях, опубликованных после его смерти Жоржем Норманди: «С начала 1880 года у Ги де Мопассана было повреждение либо хрусталика, либо — что более вероятно — зрачка. В 80 % такое заболевание вполне можно отнести за счет сифилиса и приблизительно в 40 % случаев это начало прогрессивного паралича».

Медицина того времени была еще беспомощна и старалась закрывать глаза на недуг, поразивший Доде, Малларме, Тулуз-Лотрека, Гогена, Нервалн, Бодлера, Жюль де Гонкура, Ван-Гога, Ницше, Мане и многих других — всех тех, кого Мопассан, посмеиваясь, называл «наидражайшие сифилитики». Сифилис — болезнь, в которой не признавались, «дурная болезнь», подлинное проклятье века.

Лягушки Сены нередко бывали ядовитыми, а эпоха еще не ведала пенициллина.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## МИЛЫЙ ДРУГ



*Г-же Б. в знак почтения от Милого друга.*

*Ги де Мопассан.*

***Открытие Средиземного моря. — Вико и мыс Порто. — Заведение  
Телье. — Логична одна только война...***

В Вико, большом корсиканском селении, здоровье Лоры, которая вот уже три недели как там поселилась, вдруг резко ухудшилось. Ги ворчит, спеша к матери в пропахшем угольным дымом поезде, петляющем вдоль излучин Сены. Сентябрь, идеальное время для гребли. Если Ги и любит путешествовать, то ненавидит неудобства — «прерванный сон, чувство полной разбитости при пробуждении в этом движущемся ящике». Наконец он засыпает в скором поезде — предке нынешнего «Мистралья». Просыпаясь, он слышит глухой шум Лиона. А затем... «в окно ворвалось стрекотание кузнечиков, то непрерывное стрекотание, которое кажется голосом самой нагретой земли, песней Прованса; она пахнула нам в лицо, в грудь, в душу радостным ощущением юга, запахом раскаленной почвы, каменистой и солнечной родины приземистого оливкового дерева с его серо-зеленой листвой...».

Занимается торжествующий день. «Когда поезд остановился у станции, железнодорожник промчался вдоль состава, звонко выкрикивая «Баланс!» по-настоящему подлинным местным говором...»

— Баланс! Баланс! — слышит нормандец, разбуженный ярким светом.

Ги забывает «ощущение немойтой кожи, летучий сор, засыпающий вам глаза и волосы, угольную вонь». Он не может оторваться от окна. Рона заигрывает с Альпами, и чарующие пейзажи пробегают мимо поезда.

— Монтеллимар! Оранж! Оранж! Авиньон!

Наконец Марсель «трепещет под веселым солнцем летнего дня. Кажется, что все здесь смеется: и большие разукрашенные кафе на мостовой, и лошади в соломенных шляпах, словно на каком-то карнавале, и деловитый и шумный люд».

Северянин учуял, что «в знойном воздухе вечера над шумным городом, полным криков, грохота, щелканья бичей, южного веселья, носился запах яств, приправленных чесноком». Он и сам безудержно весел, каким-то животным весельем. Он сравнивает жаркую улицу Бутери, забитую людьми, с руанской улицей Шарет. «Побродив в нерешительности по темным улицам, которые спускаются к морю, как сточные трубы, он выбрал извилистый переулок, где над дверями домов горели висячие

фонари... Иногда, в глубине передней... показывалась толстая полураздетая женщина, ее плотные ляжки и жирные икры резко обрисовывались под грубым белым бумажным трико...»

Назавтра пароход снялся с якоря, гудя всеми своими сиренами. И вскоре берег Прованса скрылся из виду.

С наступлением ночи Ги не отходил от капитана, который то и дело повторял:

— Нюхайте, нюхайте же, господин Мопассан!

«Действительно, я чувствовал сильный, необычный и крепкий запах растений с каким-то причудливым ароматом».

— Вы ничего не замечаете. Однако мы подходим. Это Корсика так пахнет. Вдохни хоть раз этот запах — и, как любимую женщину, вы никогда не забудете Корсику.

Ги никогда не забудет запах юга, запах разогретых лесных зарослей, мяты и розмарина. Аромат юга снизошел на него, как благодать. В этот день обозначилась линия водораздела: зеленое и серое море Этрета уже не будет безраздельно властвовать над этим Руми<sup>[65]</sup>, обратившимся в турка.

На Корсику путешественник попадает в самый разгар предвыборной кампании, наслаждается свободой, от которой он отвык за последние десять лет. Затем по гористой дороге Ги отправляется в Вико. После чудесного Аяччо он раз и навсегда полюбил громоздящиеся деревушки, «настоящие птичьи гнезда», леса каштановых деревьев, залив Сагонь, греческую деревню Каржез. Он буквально застывает в восхищении перед «неправдоподобным заливом Порто, опоясанным красным гранитом и населенным фантастическими и кровавыми каменными гигантами, которых называют пианские «Чудеса»... перед фантастическим лесом из розового гранита, лесом остроконечных вершин, перед колоннами разнообразнейших форм, изъеденных временем, дождем, ветрами, соленой морской пеной».

В Вико Лора ждала его с нетерпением. Врачи отправили ее сюда, и здесь она окончательно разболелась. Ослы... Тогда она вызвала сына. Когда Ги с ней, она чувствует себя лучше.

Болезнь Лоры утихает, и Ги снова бродит по полям и лесам. Октябрь в Пиана — ведь это же как июль в Этрета! Он купается по два раза в день. Обнаженный по пояс, катается на парусной лодке. Не перестает твердить как заклинание: «Вот это климат!»

Он повстречался здесь со студентом-филологом Леоном Гистуччи. Легко сходящийся с людьми, Ги не любит оставаться один. Однажды Леон

Гистуччи, удивленный тем, что не видит своего товарища, отправляется к нему и застаёт Ги в постели. У него искаженное болью лицо, голова, повязанная полотенцем, закрыты глаза.

— Пустяки. Мигрень...

Болезнь настигла его и здесь. Он увозит ее с собой в Париж, сомневаясь в том, позволит ли ему здоровье еще раз побывать в этом раю.

Чтобы укрыться от горя после смерти Старика, обмануть свой пессимизм и тоску, одолеть зиму, укрепить свою еще шаткую славу, утвердиться в не знающей верности журналистике, Мопассан весь уходит в работу.

В январе 1881 года он рассказывает Лоре о том, что делает, как всегда, с предельной откровенностью: «Я почти закончил новеллу о публичных женщинах на первом причастии. Думаю, что это по крайней мере равно «Пышке», а может быть, и лучше...» Речь идет о «Заведении Телье». Не всегда объективный судья, Ги на сей раз не ошибся.

Несколькими неделями раньше Ги принимал у себя меданских друзей — своего любимца Энника, сурового критика Сеара, неистовствующего Гюисманса, нерешительного Мирбо и грубоватого Алексиса. И между прочим, Ги, веселый и шумный Ги, опять похожий на прежнего Жозефа Прюнье, рассказал им, что прочел на дверях публичного дома такое объявление: «Закрывается по случаю первого причастия...»

— Великолепный сюжет для новеллы, не правда ли? — сказал он.

Гости запротестовали. Это тема, которой нельзя касаться.

— Да? Вы так полагаете?

«Заведение Телье», посвященное милому Москвитянину, — одна из новелл, которую Ги писал с наибольшим удовольствием. И это чувствуется! Читатель видит, как хозяйка, Фернанда, Рафаэль, Роза-Кляча и Флора по прозвищу Качели — она слегка прихрамывала, — садятся в поезд, отправляясь к первому причастию племянницы хозяйки. Есть в этом и мягкий комизм, и добротное здоровье, и полнокровность, позволяющие судить о том, каким бы стал Мопассан, если бы болезнь пощадила его. Словно ярмарочный зазывала, расхваливающий свой товар, Мопассан живописует следующий эпизод: «Действительно, яркие краски так и сияли в вагоне. Хозяйка, с ног до головы в голубом шелку, наинула на плечи красную ослепительную шаль из поддельного французского кашемира. (Это, бесспорно, Тулуз-Лотрек, но также и Руо или Матисс. — А. Л.)... Рафаэль в шляпке с перьями, изображавшей птичье гнездо с птенцами, была одета в сиреневое платье, усеянное золотыми блестками; оно носило

несколько восточный характер, что очень шло к ее еврейскому лицу. Роза-Кляча, в розовой юбке с широкими воланами, была похожа на чересчур растолстевшую девочку, на тучную карлицу».

В церкви контраст между выводком хозяйки и жеманными обывательницами Фекана детских лет Ги чертовски смачен, но отнюдь не злобен — даже когда добродушный священник наивно приветствует этих кающихся грешниц, приехавших из такой дали: «Это бог, среди нас бог, он обнаруживает свое присутствие; по моей молитве он снисходит на свой коленопреклоненный народ...»

«Заведение Телье» — произведение значительное, невзирая на легкомысленность сюжета. После юношеских стихов, после вторжения в фантастику (рассказы «Рука трупа» и «Доктор Ираклий Глосс») Мопассан прочно обретает свою индивидуальность, сначала в «Пышке», восстав против непризнанного поражения, потом снова бросив вызов ханжеству: «Это существует? Значит, это должно быть изображено!»

Разумеется, эту тему уже использовали и Флобер и Гонкур. Мопассан же присоединился к ним и дополнил их. Самим изложением фактов он выразил протест против «приличий», душивших литературу, против общества, мирившегося с домами терпимости, но понижавшего голос, когда о них заходил разговор.

В апреле, окончательно избавившись от министерства, Мопассан на три месяца поселяется в Сартрувилле, «за целое лье от всяческих путей сообщения». В это время ремонтируют его парижскую квартиру по улице Дюлон, 83. На берегу реки председатель Общества сутенеров, как всегда, не расстается с «бригадиром» Леоном Фонтеном, но теперь они живут с комфортом. На набережной Сены в доме 32 их комнаты разделены рабочим кабинетом Ги. Из окон, в скользящей зелени воды, отливающей рыбьей чешуей, виден плот, на котором стирает хозяйка, матушка Леванер.

«Ги де Мопассан снял в Сартрувилле небольшой белый домик, окруженный липами. В десяти шагах от калитки, обвитой диким виноградом, среди кувшинок, гибкого тростника, розовых хохолков плакун-травы, покачивались три длинные и стройные яхты, пришвартованные цепями к плотомойне... С одной стороны текла и искрилась Сена, поражавшая многообразием оттенков, на ней виднелись многочисленные шаланды, с поднятыми белыми парусами, своими оттенками напоминавшими старинный шелк, а с другой стороны горизонта тянулись холмы Фретт, поросшие сиренью, Сен-Жерменский лес... Оголенные по пояс, мы уезжали на лодке куда глаза глядят — вниз или вверх по течению,

часами скользя под мерное поскрипывание уключин...»

В 1880 году Мопассан считал себя обыкновенным новеллистом, поэтом, репортером — одним словом, писателем короткого дыхания. Но он хотел идти дальше, осуществить заветную мечту, получить признание как романист. Целых три года Ги бился над своим первым опытом в этом жанре. Об этом свидетельствуют нижеследующие строки Гарри Алиса, веселого соучастника этампского дела: «Он проживет здесь полгода, трудясь без устали, катаясь на лодке и плавая, чтобы передохнуть. К будущей зиме он закончит книгу «Жизнь».

Друзья переезжают, обзаводятся хозяйством. С открытой головой, в белой в синюю полоску тельняшке, с мускулистыми загорелыми руками, с «шеей ярмарочного борца», Ги двигает мебель, время от времени испуская залихватское «ух».

В перерывах от работы, продолжает Алис, «мы уплывали обедать куда-нибудь поблизости от мельницы... Мопассан, этот крепыш нормандец, беглый чиновник, рассказывает нам о любовных похождениях... Некоторые из них прелюбопытные».

Год 1881-й — это год туниССкой кампании.

Франция обосновывается также в Западной Африке, Сенегале, Гвинее, на Береге Слоновой Кости, в Дагомее, и в 1880 году она предпринимает прорыв на территорию Нигерии. Саворньян де Бразза проникает в Экваториальную Африку, а в это же время командующий Ривьер завоевывает Тонкин. На Мадагаскаре флот блокирует Таматав. В августе 1883 года, после восстания «Черных Знамен», последует взятие Ханоя, и Индокитай станет французским протекторатом.

Нам неизвестно, «Голуа» ли принадлежала инициатива послать корреспондента в Северную Африку или же Мопассан по совету Гарри Алиса предложил это Артюру Мейеру. Так или иначе, но Мопассан в 1881 году впервые ступил на Африканский континент в качестве корреспондента газеты «Голуа».

С бьющимся сердцем Ги вновь встречается со Средиземным морем и садится в Марселе на пароход «Абд-эль-Кадир». Раздувая ноздри, шагает он по корабельной палубе. Для него море — это форштевень, кильватер, будущее, прошлое... Во второй раз Франция скрывается из виду в конце вспененной водяной дорожки.

В Алжире Мопассан счастлив. «Восторженно любиЕшься сверкающим водопадом домов, словно скатывающихся друг на друга с вершины горы до

самого моря. Кажется, что это пенистый поток, где пена какой-то сумасшедшей белизны; но вот пена как бы еще более сгущается — то горит на солнце ослепительная мечеть». Он обожает белый город, его огни, его терпкие запахи, его особый вкус. Он вдыхает запах Востока, и если нередко и путает его с запахом базара, то все же постепенно начинает проникать в его таинственную гармонию. Он обладает глазами Делакруа, но ему не чуждо и чувство современного юмора, и он не может не подметить первой вывески, которую видит на земле Пророка: «Алжирский скетинг-Ринг (sic)».

Ги и Гарри недолго остаются в Алжире. Они отправляются в Оран через долину Шелиф, все дальше к югу, где присоединяются к отряду, который должен доставить снабжение одной из частей, разбившей лагерь вдоль берега соляного озера Эш Шерги. В августе Ги уже в Сайде. Он чувствует себя прекрасно. «Я удивительно хорошо переношу жару. И надо тебе сказать, что она была дьявольски сильна на плоскогорье. Мы пропутешествовали целый день при сирокко, который дышал нам в лицо огнем». Ги уезжает с двумя французскими лейтенантами, которые ведут дальнюю разведку в высокогорных долинах Захрез Харби и Шерги. Они переваливают через горы Улед-Наиль в самую глубь пустыни и снова поднимаются через Константину к тунисским границам. Поездка в Алжир была для Мопассана интересна с познавательной точки зрения. «Арабы восстают, говорят мне. Но разве не правда, что принадлежащие им земли отнимают, выплачивая владельцам лишь одну сотую их стоимости...»

Впечатления репортера, записанные по свежим следам первой поездки? Отнюдь нет. В декабре 1883 года, после начала тонкинской кампании. Мопассан публикует в «Жиль Бласе» очерк «Война». Он смело нападает на Жюля Ферри, который оставил улицу Гренель только для того, чтобы запятать пост председателя совета. Ги разносит своего бывшего начальника с яростью, не уступающей Золя в его «Я обвиняю!».

«Славный моряк, еще смеявшийся от удовольствия... рассказал мне об арестантах, посаженных на кол вдоль дорог для развлечения солдат (во время китайской кампании), о забавных гримасах несчастных жертв; о резне, устроенной по приказу военного начальства, дабы терроризировать население, о насилиях в арабских кварталах на глазах растерявшихся детей... о регулярных грабежах, совершавшихся под прикрытием общественного долга...»

Могли ли подобные строки служить интересам Мопассана и нравиться его читателям? Однако он оставался верен своему моральному долгу. Человек этот был возмущен, и его возмущение и было достоинством



человека.

5 июля 1881 года Мопассан, припоминая сказанное ему когда-то Жюлем Валлесом о гражданской войне, писал в «Голуа»: «Логична только одна война — война гражданская. Там я хотя бы знаю, за что сражаюсь». 11 декабря 1883-го, в самый разгар работы над «Милым другом», он опять вернется к тому же вопросу: «Мы желаем заполучить китайский город. Для того чтобы добиться этого, мы перебьем пятьдесят тысяч китайцев и пожертвуем десятую тысячами французов. Этот город нам ни к чему... И самое чудовищное — это то, что народ не восстает против правительства! Какая тогда разница между монархией и республикой?... Один одаренный в этой области артист, гениальный убийца г-н де Мольтке, сказал однажды следующие странные слова: «Война священна, война — божественное предназначение; это один из священных законов бытия; она поддерживает в людях все великие и благородные чувства: честь, бескорыстие, благородство, отвагу и не дает им впасть в самый омерзительный материализм...» Итак, собирать отряды в четыреста тысяч человек... грабить города, сжигать деревни, разорять народы — вот что, оказывается, не впасть в самый омерзительный материализм. Военные деятели — это бич человечества... Начинается война. За полгода генералы разрушили то, что создавалось двадцатилетними усилиями, терпением, трудом и талантом... И вот, если правительства так используют право смерти в отношении народа, то нет ничего удивительного, если народы подчас пользуются правом смерти в отношении правительства...»

Нормандец, пренебрегая всякой осторожностью, громит с еще большей силой: «Почему бы не судить о правительстве по каждой объявленной им войне? Если бы народы понимали это, если бы могли сами судить о губительных последствиях... Если бы они могли воспользоваться оружием против тех, кто им его дал, чтобы убивать, то в тот же день с войной было бы покончено...»

Возмущение Ги завершилось последней фразой, в которой взбунтовавшийся писатель возвращался опять к своей основной мысли — «к чему?»: «Но этот день не настанет!»

Когда Мопассан еще служил в Морском министерстве, он в таких же выражениях уничтожал Мак-Магона: «Как! Этот генерал некогда выиграл сражение благодаря личной глупости в сочетании с причудой случая; затем проиграл целых два исторических сражения... и вот теперь, имея такое же право называться герцогом Мажентским, как и великим герцогом Решоффенским или эрцгерцогом Седанским, который разорил бедных (единственных, кого разоряют), пресек в стране всякую умственную работу,

ожесточил мирных людей и подстрекал соотечественников к гражданской войне, как подстрекают несчастных быков в цирках Испании!.. Я требую уничтожения правящих классов... Да, я нахожу теперь, что 93 год<sup>[66]</sup> был мягок, что сентябристы были милосердны: что Марат — ягненок, Дантон — невинный кролик, а Робеспьер — голубок!

Избавьте нас от спасителей и военных, у которых в голове только ритуурнель да святая вода!»

Этот человек, внезапно раскрывшийся в результате соприкосновения с африканской действительностью, быстро все схватывает, видит предельно ясно, точно и, быть может, наконец говорит то, что думает. Выступая против Жюля Ферри, он поддерживает Жюля Греви, объявившего, что: «Тунис не стоит и грошовой сигары». И Мопассан вторит ему: «Да, на нашем теле созрел вредный прыщ — это Тунис. Можно было бы его раз и навсегда удалить. Ничуть не бывало. Его расчесывают, расчесывают до тех пор, пока он не превратится в рожистое воспаление...»

«Если бы я был правительством... я уложил бы в один чемодан все наши колонии и отправился бы к господину Бисмарку. Я бы ему сказал: «Сударь, вы ищете колонии, вот, пожалуйста, возьмите... За каждую колонию я попрошу у вас по километру Эльзаса и Лотарингии. И, если бы канцлер на это согласился, я совершил бы, безусловно, неплохую сделку...»

Возмущенный всем виденным, Мопассан возвращался домой. Механизм колонизации предстал перед ним во всей своей абсурдности. «Французский закон обирает арабов; им платят сорок франков за гектар, который стоит по крайней мере восемьсот франков. Тогда они уходят в пустыню и присоединяются к первому попавшемуся вождю мятежников. Никакая реформа здесь немыслима. Обманутые каидами... которые чаще всего вели двойную игру, арабы, доведенные до отчаяния, жгли свою собственную страну...»

«Вполне вероятно, что земля в руках (колонистов. — А. Л.) будет приносить столько, сколько она никогда не приносила в руках арабов. Но, без всякого сомнения, коренное население постепенно исчезнет».

Белый человек с отвращением глядел на море, на невидимый еще там, за горизонтом, север — его континент, — представший теперь перед ним в ином свете. «Клебер» увозил Ги де Мопассана и Гарри Алиса обратно в Марсель.

*Мопассан читает Максима дю Кана. — Молодой хозяин Ла Гийетт. — Профессиональный писатель в 1882 году. — Красавица Эрнестина, или танец под яблонями. — Первый роман. — «Сирота по доброй воле». — Искусство романиста. — Тень Флобера. — Поступление на службу Франсуа Тассара. — Манон Леско на бульваре. — Призвание к скуке*

Мопассан читал. Гнев наэлектризовал его сухие вьющиеся волосы, усы шевелились, и время от времени с губ срывалась извозничья брань. Книга «Литературные воспоминания» Максима дю Кана отброшена в сторону, и Ги в ярости натывается на мебель. Мопассану только что стала известна одна медицинская подробность, касающаяся Флобера. Она потрясла его. «Гюстав Флобер, — теперь это уже не секрет, — страдал ужасным недугом, эпилепсией, от припадков которой он и умер... Это сообщение, появившееся в печати, ранило меня до глубины сердца...»

Каролина Комманвиль обратилась к Мопассану с просьбой передать ей для публикации имеющиеся у него письма ее дяди. Ги отказывается это сделать и отвечает ей, ссылаясь на мнение самого Флобера: «Я полагаю, что никогда не следует печатать вещи, которые были написаны не для печати...» Он скорее готов уничтожить эти письма, представляющие значительную материальную ценность, нежели дать согласие на их публикацию (впрочем, он может претендовать лишь на половину гонорара — вторая половина принадлежит наследнице Флобера). В свою очередь, он просит у Каролины предоставить ему кое-какие сведения для библиографии, которую он готовит о Флобере. Его позиция ясна: все о творчестве, ничего о человеке.

Лора уступила ему в предместье Этрета земельный участок. Молодой писатель построил там одноэтажное шале с двумя флигелями, соединяющимися деревянным балконом-террасой. В парке он сажает ясени и серебристые тополя. Опрокинутая старая барка, поставленная на кирпичные опоры, превращена с помощью столяра Дюперу в купальную кабину и комнату для слуги.

Ги влюблен в этот дом, выросший на его глазах, влюблен в свой маленький дворик, в своих золотых рыбок, в свою клубнику, в крокет и тир.

Он сооружает птичник (свежие яйца — это великолепно!), шутит со своим «придворным» садовником Крамуасаном, сам кормит зерном своих кур и, конечно, расхваливает своего петуха.

— До чего же он хорош, этот малый! Какое чувство собственного достоинства! И гребень роскошный, ярко-красный!

В 1885 году Ги купит пару такс.

— Пиф! Не приставай к Пироли!

Пироли — это кошка. Пиф лает, ревнуя. Позднее появится еще и попугай Жако, быстро заучивший неприличные слова.

— Забавно! Забавно! — говорит Жако.

— Какой он красивый, наш Жако! Скажи: «Здравствуй, свинюшка!»

— Здравствуй, свинюшка! — вторит Жако.

Таким приветствием Жако будет встречать посетительниц дома Ги. Появится у Мопассана и обезьянка, далекое воспоминание о Суинберне; он назовет ее Шали.

Наш дворянин выглядел весьма импозантно: в темном пиджаке, в серых в полоску или клетку брюках, в мягкой шляпе. Он скорее походил на зажиточного молодого человека, чем на гуляку. Подчас глаза его, смотрящие с мягкой лаской, кажутся чуть испуганными. Подбородок подчеркивает грубую силу, что натолкнет Эдмона де Гонкура на все более резкие эпитеты: «молодой нормандский барышник», «коммивояжер непристойностей», «красавчик» и «караибский сутенер».

В качестве любезного соседа Ги преподносит груши дочери Оффенбаха, болтает с мясником Вимоном, таким жизнерадостным Геркулесом, и подает милостыню бедным. Он раскланивается с аббатом Обуром, священником из Этрета, и с Обуром-слесарем. О! сколько их здесь, этих Обуров! Красавица Эрнестина, например.

К нему относятся с той же почтительностью, что и к нотариусу. Он ведь тоже по письменной части. Его любят больше, чем его мать, даму из Верги, мотовку в городе, скрягу в деревне, получившую прозвище «Дайте на два су». 15 августа Ги по обыкновению устраивает фейерверк в саду или на пляже.

Он хотел назвать свой дом «Заведение Телье». Это вызвало у его посетительниц единодушное возмущение. Одна из них, склонная к сантиментам, предложила свое название: Ла Гийетт. То была его соседка Эрмина Леконт дю Нуи, «элегантная хрупкая смеющаяся блондинка — миленький синий чулок», с которой он недавно познакомился и которой любовался пока без видимых результатов. Много было споров по поводу этой дружбы. И снова Ги разрешил все сомнения надписью на томе

рассказов «Мадемуазель Фифи»: «Крестной матери Ла Гийетт, госпоже Леконт дю Нуи. Ги де Мопассан».

Заглядывая в щель высокого забора, Ги поджидает прихода дам, учит их играть в шары, в платочек, в крокет, позднее в теннис, катает на лодке, когда море спокойно, разыгрывает, рассказывая, что старые лодки, разбросанные по склонам, выброшены были на берег приливами равноденствия, и водит их в Девичий грот или в Сен-Жуен.

Ла Гийетт был построен летом 1883 года и сохранился поныне, прислоненный к ярко-зеленым холмам, свежевыкрашенный, охраняемый двумя китайскими львами из зеленого камня. Во дворе, позади дома, старая лодка осталась на своем месте, только теперь она под черепичным навесом, а прежде была под соломенным. Лодка по-прежнему носит свое наивное название: «Два друга. Фекан». Ла Гийетт — это дом, который много говорит о хозяине, несмотря на исчезновение всех вещей, принадлежавших когда-то Ги. Лепной камин изображает торжество Амфитрита, а по обе его стороны стоят скульптурные группы работы Жана Гужона. На дверях рабочего кабинета сохранилось панно кузена Луи ле Пуатвена — два меланхолических пейзажа.

Год спустя после появления томика стихов, изданного Жоржем Шарпантье, Ги заключил договор с Аваром на книгу рассказов, куда вошли «Заведение Телье», «Папа Симона» и «Подруга Поля». Теперь уже Мопассан диктует свои условия.

Шарпантье с некоторым опозданием проявляет беспокойство и посылает Ги в ноябре 1882 года договор, словно бы ничего и не произошло. Жорж Шарпантье, компаньон Фаскеля, крупнейшего издателя натуралистов, человек честный. Он это доказал на примере Золя, выделив ему процент от доходов после успеха «Западни», несмотря на то, что подписал с ним аккордный договор на всю серию «Ругон-Маккаров». Что касается Мопассана, то здесь Шарпантье оказался в полной растерянности от необыкновенного успеха, выпавшего на долю молодого автора, и потому готов был расплачиваться не только за свое, но и за то неверие, которое было свойственно также Доде, Золя и Тургеневу. У Шарпантье буквально дух захватило, когда он получил ответ Мопассана: «Принципиально я решил раз навсегда не подписывать официального договора. К слову говоря, с г-ном Аваром у меня соглашение только на словах. Но если я и заключу договор с вами, то только на подходящих для себя условиях. Вот они:

До третьей тысячи я получаю по 40 сантимов за экземпляр.

Начиная с третьей тысячи — по франку за экземпляр».

Обычная книга в то время продавалась за три франка с половиной. Следовательно, гонорар Ги составлял 28 процентов!

Мопассан цинично подчеркивает: «Поскольку мы не связаны друг с другом никакими письменными соглашениями, вполне естественно, что каждый из нас ищет для себя наибольшей выгоды, я — как автор, вы — как издатель».

Никогда не беря на себя никаких обязательств, постоянно докучая издателям, наблюдая за продажей, выходя из себя, если какой-нибудь из его книг нет в магазине, Мопассан извлекает выгоду из своего творчества как истый коммерсант.

Завоевав солидное положение в прессе, он «нарасхват» среди газетных издателей. Мопассан появляется в Париже лишь затем, чтобы протолкнуть книгу. Годом раньше он писал Жоржу Шарпантье по поводу своих стихов: «На сей раз **я сам буду заниматься рекламой своего сборника**, дабы побыстрее распродать одно издание. Я теперь не сомневаюсь в большинстве газет, к тому же у меня есть и другие способы. Но если вы отодвинете меня на май месяц, вы зарежете книгу. Я намеревался использовать мою этампскую историю — случай весьма благоприятный...»

Нет уже ничего общего между этим уважаемым, высокомерным и всесильным писателем и тем мелким робким чиновником, который тремя годами раньше выворачивал свои карманы, чтобы наскрести несколько франков для поездки в Руан!

Было бы, конечно, весьма приятно проследить за всеми выходками и шутками этого отличного товарища, милого, преуспевающего, веселого, которому все улыбается, послушать его раскатистый смех, отправиться вместе с ним в сельские кабачки. «Двое мужчин несут фонари, — расскажет позднее одна из приглашенных. — Мы следуем за ними, болтая и смеясь, как безумные. Будят фермера, служанок, лакеев. Нам готовят даже луковый суп (гадость!), и мы танцуем под яблонями!»

В Нормандии постоялый двор с кабачком не отличишь от фермы. Это видно из «Мисс Гарриет». «Мне указали маленькую ферму, нечто вроде постоянного двора посреди нормандской усадьбы, обсаженной двойным рядом буков, где хозяйка-крестьянка давала приют прохожим... Дело было в мае; яблони в цвету раскинули над двором душистый навес...»

Любимым местом эскапад Мопассана был кабачок в конце дороги на Сен-Жуен, соседствовавший с дикими скалами и развалинами замка. «Подымаешься по прямой тропинке; миновав фермы, выходишь на дорогу, ныряющую в овраги; ветер просторов неустанно раскачивает большие

зеленые деревья по обочинам, и ветви, поросшие листвой, неумолчно поют свою песню. Там, впереди — деревня, где живет красавица Эрнестина».

Эрнестина Обур, «цветок путешественников», твердой рукой управляет своим «Парижским отелем». «Дорожка за красочными деревенскими воротами ведет к красивому дому, заросшему вьющимися растениями. В двух шагах от него — прекрасный огород, а чуть поодаль, за забором — двор, покрытый травяным ковром, затененный прохладной крышей яблоневых ветвей». Завтрак — настоящий, обильный нормандский завтрак! — запивают полным до краев стаканом кальвадоса. Хозяйка заведения уже стала коллекционировать автографы. Красавец Ги пишет в «книге почета»:

*Четверостишие для вас?  
Но мысли после битвы вялы  
И жаждут утонуть сейчас  
В шампанском, рóзлитом в бокалы.*

В 1882 году — накануне своего сорокалетия — Эрнестина все еще смешлива и свежа. «Лоб и нос великолепны! Лоб изваян рукой античного мастера, а нос, продолжающий идеально прямую линию пробора, заставляет вспомнить Венеру, хотя он и выглядит несколько случайным на лице, словно бы написанном Рубенсом. Эта славная женщина напоминает фламандку — и свежим цветом лица, и статью, и дерзким смехом, и крепкими, всегда чуть приоткрытыми губами... Ее мораль? Кто же знает! Она действительно простая и славная женщина, внешне всегда веселая, а в душе — кто туда заглянет? — затаившая, быть может, грусть. В ней, как ни в ком другом, чувствуется нормандский дух, располагающий, открытый, лукавый. Да, она лукава, но лукава в хорошем смысле этого слова, без злобы и вероломства, — очаровательно лукава, инстинктивно находчива».

Ги словно рисует самого себя.

В 1881 года королева Испании Мария-Кристина уведомила хозяйку ресторанчика о своем визите. Эрнестина успокаивает своих слуг:

— Подумаешь, королева! Королева! Она из такого же теста, как и я! Подам-ка ей рубцы, этой даме! Уверена, что не так уж часто она их едала!

Королева отведала рубцы.

— До свиданья, Королева! — бросила ей вдогонку Эрнестина, стоя на пороге дома.

Королева приезжала еще раз.

Начиная с 25 февраля 1883 года «Жиль Блас» начал публиковать с продолжениями первый роман Ги де Мопассана, который сам автор расценивал как подлинный акт своего писательского рождения. В тот же день битва за успех была выиграна. Роман получил признание благодаря тому, что появился в газете. Целомудренные привокзальные киоскеры, подчинявшиеся законам морали, установленным знаменитым сенатором Рене Беранже, который в своей нелепости дошел до того, что потребовал одеть в панталоны негритянок с Антильских островов, отказались продавать эту книгу. Вокруг «Жизни», несмотря на столь скромное название, которое не нравилось самому Ги, поднялась шумиха, назревал большой литературный скандал. В «Ла Жен Франс» от 1 мая 1883 года были опубликованы едкие стихи:

*Никогда еще такого не бывало:  
Под угрозой целомудренность вокзалов!..  
Но не в том опасность гибельная скрыта,  
Что разбиты рельсы или насыпь скрыта.  
«Если рельсы целы, — спросишь ты, мечтатель, —  
Так чего же опасаться нам, приятель?»  
Опасайся «Жизни» — нового романа  
Дерзкого писателя Ги де Мопассана!<sup>[67]</sup>*

Шустрый рифмоплет советовал Ги позаимствовать у Октава Фейе<sup>[68]</sup> его «пуховый стиль».

Однако вокзальное целомудрие вынуждено было капитулировать перед успехом книги. За восемь месяцев со складов Виктора Авара в киоски поступило 25 тысяч экземпляров романа «Жизнь».

Вслед за рассказчиком и журналистом романист торжествовал свою скандальную победу.

«Жизнь» явилась для автора подлинным испытанием сил. Уже с декабря 1877 года Мопассан вынашивал эту незамысловатую историю. «О да, это великолепно. Вот уж поистине настоящий роман, настоящая идея!» — сказал тогда Флобер. Между тем Ги мучительно, медленно продвигался в своей работе. Наступило лето 1878 года: «Это очень трудно, особенно трудно скомпоновать все события, соединить одну мысль с другой...» В 1879 году он уже почти потерял веру в себя: «Я все больше и больше ухожу



от своего несчастного романа: боюсь, что пуповина оборвалась...» Однако успех «Пышки» вновь возвращает Мопассана к его основной цели — роману.

7 мая 1881 года «Голуа» публикует «Весенний вечер», один из эпизодов четвертой главы романа «Жизнь», сокращенный до размера рассказа. Предложения газет сыплются градом. Вспомнив о счастливом опыте с «Воскресными прогулками парижского буржуа», Мопассан поспешно роется в своих бумагах... Да, четвертая глава незаконченного романа вполне сойдет за рассказ. И «Прыжок пастуха» тоже...

Но, листая черновики, писатель вновь чувствует себя увлеченным самим произведением. Наброски обладают притягательной силой. В ноябре в Сартрувилле, по возвращении из Алжира, он вновь берется за роман, полный решимости завершить его. Для этого потребуется еще полгода. Трудно себе представить, что столь цельное произведение рождалось с такими муками.

В этом романе Ги поведал многое о себе самом, о своей любви к Нормандии, о своем детстве, проведенном вместе с Эрве в замке Гренвиль-Имовилль, и о мучительном конфликте между отцом и матерью. Один из самых ярких эпизодов мы находим в «Прыжке пастуха»: «Побережье от Дьеппа до Гавра представляет собою сплошную скалу вышиной около ста метров, прямую как стена. Местами эта длинная линия белых утесов внезапно понижается, и небольшая узкая долина с крутыми склонами, поросшими травой и морским тростником, спускается с возделанного плоскогорья к каменистому морскому берегу, где заканчивается ложиной, похожей на русло горного потока».

Глядя на дрожащие на ветру тополя Сартрувилля, Ги вновь вспоминает зеленые приморские долины. «Иногда в этих долинах, куда с силой врывается ветер морских просторов, ютится какая-нибудь деревушка». В одной из них хозяйничал священник, «суровый, и жесткий. Он вышел из семинарии, проникнутый ненавистью к тем, кто жил по законам человеческой природы». Подобно брату Арканжиа из «Проступка аббата Муре», этот священник ненавидит материнство до того, что способен раздавить каблуком щенящуюся суку, на которую глядят дети... Так вот, в этих гористых нормандских краях пастухи строят фургоны, похожие на лодки, в них они следуют за стадами овец. Однажды, застигнутый ливнем, священник хочет укрыться в одном из фургонов и наталкивается там на влюбленных. Вне себя от ярости, он запирает дверцу на крюк и скатывает фургон в пропасть, на скалы, где он «разлетелся вдребезги, как яйцо».

Эпизод этот заимствован из семейных преданий: такой случай

произошел с Гюставом де Мопассаном, только закончился он не так трагично. Чтобы написать «Жизнь», как, впрочем, и все другие свои произведения, Мопассану приходится затрагивать недозволенные темы, предугадывать последствия их обнародования. Личная жизнь и творчество писателя тесно переплетены. Роман «Жизнь» был написан бесконечно нежным сыном Лоры и **добровольным сиротой** Гюстава де Мопассана.

Первый роман Мопассана включает в себя почти все темы, которые дотоле занимали писателя. Презрение к отцу, отвращение к материнству, глубокий пессимизм, любовь к родному краю, привязанность к воде, неотвязная мысль о смерти, незаконнорожденность, крушение веры в мать, в которой, ему казалось, был воплощен идеал женской чистоты, — с годами все это будет лишь усиливаться в его творчестве.

Мопассан расплачивался за первый роман своею собственной жизнью.

В «Жизни» перед нами постепенно выявляется искусство романиста. Основное своеобразие формы произведения заключается в том, что автор не чередует описание и действие, как это свойственно было роману того времени, а старается соединять одно с другим. Пейзажи и окружающая обстановка показаны глазами человека, охваченного глубоким волнением или занятого делом, — словом, человеком действующим, а не только наблюдающим. Так, юная Жанна знакомится с деревней, совершая путешествие со своим отцом перед тем, как поселиться в замке «Тополя», «стоявшем на скалистом побережье близ Ипора». Вся Нормандия Ги-ребенка увидена этой младшей сестренкой Эммы Бовари. «Чавкали подковы лошадей, а из-под колес летели брызги грязи». Дилижанс из «Пышки» катится дальше. В большинстве случаев роман до Мопассана, не считая Стендаля, был статичным. С приходом Ги роман претерпевает изменения. «Беспрерывный стук катящегося дилижанса» все еще звучит в ушах Жанны, когда она вместе с нами знакомится с замком, где ей суждено отныне любить, иметь ребенка и завершить обычную, достойную подражания жизнь.

Мы знакомимся с замком, настолько большим, что в нем могло «поместиться целое племя». Мы смотрим на него глазами наивной семнадцатилетней девушки, только что покинувшей монастырь. Вместе с ней рассматриваем мы мебель, обитую материей с вышивкой крестиком, представлявшей собою иллюстрации к «Басням» Лафонтена, рассматриваем гобелены. На них изображены Пирам и Тисба, и Жанна, сама того не ведая, читает в них свою собственную судьбу. Со времен Пенелопы вышивки наглядно передавали содержание мифов так же, как и

помогали вышивальщицам скоротать медленно текущее время. Ги и сам видел **где-то в другом месте** на гобелене Тисбу, ожидающую своего возлюбленного под шелковичным деревом, и бегущую львицу с окровавленной пастью. Он видел, как испуганная Тисба, убегая, роняет шарф, а львица разрывает его в клочья. Он видел, как Пирам падает на колени перед окровавленной одеждой своей возлюбленной и, считая ее погибшей, извлекает свой меч и закалывается, а Тисба возвращается и, не в силах пережить смерть своего любимого, убивает себя. И тогда белые ягоды шелковицы наливаются кровью... Ги любит эту легенду, в которой есть что-то от Эсхила или Шекспира, а также и от того робкого представления о любви, которое он составил себе, будучи ребенком, и от того страха, который ему в детстве внушала любовь.

Пока дилижанс катится дальше и путешествие продолжается, мы наблюдаем восход луны и «широкий газон, который при ночном освещении казался желтым, как масло». Ночь завершается восходом солнца. После короткого отдыха мы отправляемся дальше. Спускаясь по склону до Ипора, мы видим покатую улицу, вдыхаем резкий запах рассола, нашему взору открывается море, «темно-синее и гладкое, уходившее вдаль, насколько мог видеть глаз». С Жанной и ее отцом мы привезем в замок великолепную камбалу, которую купила Жанна. И это мы с вами идем по берегу, «а камбала тащится жирным брюхом по траве».

Снобы от литературы не желают признавать Мопассана-романиста. Они просто плохо его читают и предвзято к нему относятся. Начало романа «Жизнь», влекущее читателя в длительное путешествие, дающее возможность увидеть мир глазами молодой девушки, — такой же шедевр, как и «Пышка».

После блистательной увертюры повествование следует за временем. Жанна встречает соблазнительного виконта де Ламара, который, кстати сказать, очень похож на Гюстава де Мопассана. Обручение молодых, вписанное в народный обычай «крещения» новой лодки, заставляет вспомнить того самого Октава Фейе, стилю которого Мопассану иронически рекомендовали подражать. Свадьба, неловкий супруг, дрожащая жена — все это оригинально постольку, поскольку касается темы, не подлежавшей в ту пору обсуждению. Несостоявшаяся брачная ночь, роды Розали, девушка-мать, сука, затоптанная священником-фанатиком, — здесь Мопассан, надо признаться, сделал все, чтобы шокировать читателя. Что же касается плохого сына и слабовольной матери, в этом у него было немало предшественников.

Виконт и Жанна садятся в лодку дядюшки Лястика в Ипоре и отправляются в Этрета — описание их поездки столь же прекрасно, как и полотно Моне: «Вдруг показались большие скалы Этрета, похожие на две ноги громадной горы, шагающей по морю, настолько высокие, что могли служить аркой для кораблей...»

Красной нитью проходит через весь роман история жизни самого автора.

После Ла-Манша, Этрета, с его скалами, с зубчатыми кронами величественного леса Пиана, на страницах романа возникает Средиземное море. Наконец-то познавшая счастье Жанна отправляется в свадебное путешествие, о котором она будет вспоминать со слезами на глазах по возвращении в Нормандию — **точно так же, как и сам Ги** годом раньше. «Доходя высотой до трехсот метров, эти поразительные утесы, тонкие, круглые, искривленные, изогнутые, бесформенные, неожиданно причудливые, казались деревьями, растениями, животными, памятниками, людьми, монахами в рясах, рогатыми чертями, громадными птицами, целым племенем чудовищ, зверинцем кошмаров, окаменевших по воле какого-то сумасбродного божества...»

Вот это настоящий, превосходнейший Мопассан!

Флобер «Простой души», «Мадам Бовари» и «Воспитания чувств» то и дело угадывается в первом романе «своего ученика». В 1878 году, в декабре, Флобер написал Ги: «Ничто никогда не бывает в жизни так плохо или так хорошо, как думают». Учитель не подозревал, что подсказывает Мопассану последнюю фразу романа.

Рукопись книги сохранилась и поныне — та самая, которая была передана издателю Авару 14 марта 1883 года. В раннем варианте романа Ги писал: «Жизнь, что ни говорите, — она никогда не бывает ни так хороша, ни так плоха, как о ней думают». Эта усложненная фраза самого Флобера была вложена в уста служанки. В дальнейшем Мопассан заставил женщину сказать проще: «Жизнь, что ни говорите, не так хороша, но и не так плоха, как о ней думают».

Если Мопассан и не повторил слово в слово выражение Флобера, то это все же именно Старик вдохнул жизнь в эту книгу — от первых до последних ее строк.

1 ноября 1883 года по рекомендации своего портного Ги де Мопассан взял к себе в услужение бельгийца Франсуа Тассара, искавшего место камердинера. Это был плотный молодой человек с крупным носом, тонким изогнутым ртом, с плоскими бакенбардами. Мопассан и портной

настаивали на ливрее, но бельгиец с достоинством отказался от такого наряда. Мопассан был сначала в нерешительности, но, узнав, что в 1876 и 1877 годах Франсуа прислуживал Флоберу в доме одних знакомых на улице Мурильо (Франсуа припомнил даже, что за столом блюда подавались метру прежде, чем дамам), он отбросил все колебания, отказался от мысли о ливрее, и Франсуа приступил к исполнению своих обязанностей.

Франсуа Тассар прослужил у Ги с 1883 года до самой смерти писателя, и это обстоятельство воистину настоящая благодать для биографов. Несмотря на то, что первый том воспоминаний Тассара был опубликован почти двадцать лет спустя после смерти Мопассана, Ги частично был знаком с этими записками. Об их авторе он сказал: «У него хорошая память, видит он все очень точно и умеет передать виданное». А к концу своей жизни, говоря о возможной биографии как о неизбежном зле, он называет того же Франсуа как лучшего свидетеля его жизни.

Что же представлял собою Франсуа Тассар? Всего лишь покорнейшего слугу («Я, покорнейший слуга, проживший долгие годы с ним, знал его лучше, чем кто-либо другой»)? Или же поставщика воскресного чтива, как называют его Эме Дюпюи и сам Мопассан? И то и другое.

Писал Тассар с трудом. Когда ему надо было надписать книгу своих «Воспоминаний», то он вначале чертил с помощью линейки линии на форзаце, а потом уже выводил имя того, кому предназначалась книга. Мне попал в руки экземпляр книги Тассара, подаренный им Морису Мютерсу. Если в посвящении и нет орфографических ошибок, то совершенно явно, что Франсуа надписывал книгу, прикусив от усердия язык! Сохранилось письмо Франсуа, датированное 15 декабря 1891 года, адресованное адвокату Жакобу, которое я привожу ниже, сохраняя его орфографию:

«Мосье

Это я написал вчера адрес на Завищании моего доброго хозяина. Я не уверен что хорошо написал слово Монтмартр. Если оно не прешло прошу изтребоват. Примите мосье мои глубокие уважения и все мои благодарности.

*Франсуа Тассар Шале де Лизер (sic).*

Это столь же показательно, как и свидетельство Шарля Лапьерра, увидевшего в Тассаре «неоценимого Фронтена<sup>[69]</sup>, который полагает, что льстит своему хозяину, торжественно объявляя: «Господин Маркиз вернувшись с выхода взад!»

Две книги Франсуа Тассара появились с перерывом почти в пятьдесят лет: «Воспоминания о Ги де Мопассане, написанные его камердинером Франсуа» в 1911 году, и «Новые воспоминания», опубликованные Пьером Коньи в 1962 году. Первый том, по-видимому, отредактирован кем-то неплохо владевшим французским языком. Второй без всяких прикрас воспроизводит стиль автора. Это издание благодаря всем его туманностям и неуклюжестям заключает в себе ту естественность, которой не хватает первой книге.

Вполне вероятно, наконец, что доктор Анри Казалис, один из самых преданных друзей Мопассана, просмотрел и литературно обработал страницы первой книги перед сдачей в печать.

Образ Тассара во втором издании выглядит более положительным, но менее убедительным. Самовлюбленный — это и Бувар и Пекюше одновременно, — хотя и преданный до самопожертвования, почтительный ханжа.

Вероятно, Мопассан, читая характеристику, данную ему Тассаром, не сумел бы удержаться от смеха: «Рассказчик, сочинивший триста новелл, чтобы показать человечеству его слабые стороны...» Можно себе представить «гр-р-рандиозный» смех Милого друга и его жест при этом!

Франсуа Тассар часто ошибается, путает даты, искажает имена, добавляет инициалы и повсюду переходит границы приличия и дозволенного. Но между тем его «Воспоминания» создают ощущение **присутствия** Мопассана, тепла, простоты отношений между слугой и хозяином, преданности — одним словом, дружбы.

Зимой моряк-джентльмен из Ла Гийетт снова, помимо своей воли, становится завсегдатаем бульваров. Вот он на площади Оперы за столиком пивной, где официанты в длинных, до полу, фартуках, похожих на юбки, снуют между любителями пива и абсента. Выйдя с редакционного совещания у Артюра Мейера, Ги читает корректуру, а потом болтает со своим младшим коллегой — Танкредом Мартелем и старшим — Арманом Сильвестром.

— Наша эпоха — это благословенное время для подлецов и ничтожеств!

— Однако наука совершает чудеса, мой дорогой Мопассан!

— Да, но все это только новые формы страданий! А в остальном все будет как прежде! Гарсон, кружку пива! Все это ни к чему!

Молодой, красивый, вызывающий зависть, преуспевающий человек

полон горечи. В ответ на его слова следует удивленная реплика Армана Сильвестра:

— Даже женщина!

— Да, Арман Сильвестр, даже женщина!

— Даже красота!

— В особенности красота! Красота, которой обладают женщины, становится орудием пытки для нас. Перечитайте «Манон Леско», «Опасные связи». Великолепная книга «Связи»! Ее считают аморальной. Что это значит — аморальная книга?

— Все же...

— Напротив, это самый полезный урок морали, когда-либо преподанный женскому роду. Вы ее читали?

— Читал и перечитывал и вполне с вами согласен.

— А потом еще и стиль, этот прекрасный стиль старого французского языка — стиль Прево в «Манон Леско», что и говорить!

Некоторое время спустя Мопассан напишет предисловие к новому изданию «Манон Леско». Мопассан всегда питал восхищение к вольной литературе XVIII века, в первую очередь он ценил аббата Прево, затем Шодерло де Лакло, маркиза де Сада и только вслед за ними Руссо, Дидро, Вольтера. Эта беседа в пивной свидетельствует о любви Ги к Манон, женщине-самке, к ее очарованию, беспечности и аморальности. Он ищет в каждой женщине «ее любовное и чувственное вероломство, нечто ненавистное, сводящее с ума Женское» и поэтому так восхищается романом, одухотворившим это извечно Женское. «Мы воочию видим ее... эту Манон; так живо представляем ее себе, как если бы сами встречали ее и любили... нам знакомы и этот веселый, лживый рот, и эти соблазнительные губы с ровным рядом белых зубов, четкая линия этих тонких бровей, и лукавый быстрый кивок... это опасное Женское, столь влекущее, столь вероломное».

Он безгранично восхищен своим любимым автором, который, игнорируя мораль вообще, описывает все происходящее **объективно**. Форма произведения Прево «великолепна и для современного романа», — говорит Ги, — а автор «блестящий знаток человеческих созданий... «Манон Леско» — натуралистический роман нашей эпохи».

И вдруг разговор надоедает Ги: «К чему все это?» И он уходит.

Арман Сильвестр допивает свою кружку и тихо говорит:

— Он грустный. Никто никогда не знает отчего.

Мопассан всегда так покидает общество, и это весьма характерно для него. Не уходит, а вырывается.словно преследуемый беглец. Он исчезает,

принося туманные извинения. И никому не приходит в голову, что он хотел бы скрыться от самого себя.

Ему всюду скучно. Он скучает в обществе светских дам, которым он все чаще наносит визиты: «Разум светских женщин напоминает рис, одобренный кремом. Умом своим они обязаны образованию, полученному в Сакре-Кер<sup>[70]</sup>, — это рис. Позднее добавляются банальности, почерпнутые в свете. Это уже крем, и приготовленное таким образом блюдо, которое предлагают вам, всегда одинаково!» Еще хуже, когда эти дамы хозяйничают в литературных салонах.

«Две трети своего времени провожу, скучая безмерно. Последнюю треть заполняю тем, что пишу строки, которые продаю возможно дороже, приходя в то же время в отчаяние от необходимости заниматься этим ужасным ремеслом... Я не способен любить по-настоящему свое искусство. Я слишком строго сужу его, слишком глубоко анализирую. Я чувствую, сколь относительна цена мыслей, слов и самого выдающегося ума. Я не могу заставить себя не презирать мысль, поскольку она ничтожна, и форму, поскольку она несовершенна».

Он скучает у Золя. Как-то во второй половине дня в ноябре 1885 года он скучает у Гонкура. Он глядит на своих собратьев: бледного и болезненного Доде, на Гюисманса, то чертовски неприветливого, то олицетворяющего саму вежливость, на Боннетена, скользкого автора скандального романа «Шарло забавляется», на утонченного Абея Эрмана, на ворчливого и дружелюбного Анри Сеара, на издателя Шарпантье, который с ним весьма холоден, на Поля Алексиса, добродушного шутника, и на Эредиа, такого тонкого и чувствительного. «А Гонкур переходит от одной группы к другой, принимает участие во всех разговорах, потом снова садится, зажигает папиросу, опять поднимается, демонстрирует великолепные безделушки, рисунки старых мастеров, терракотовые статуэтки Клодиона».

Держась с ними на равных, а по существу, в стороне от них, то смеясь, то говоря слишком громко или же, напротив, храня непроницаемое молчание, Мопассан, человек, повсюду чувствующий себя не в своей тарелке, все так же скучает. И только женщины, путешествия, лодка да работа могут отогнать эту странную болезнь, которой в такой степени подвержены очень немногие.



*Миленькие графини. — Первый портрет Потоцкой. — Двуликий Янус. — «Луизетта» в Антибе. — Увлечения 1884 года. — Дневник Муси. — Конец романа в письмах. — Свидание на «Променад дез Англе». — Византийская могила в Пасси*

Когда Мопассан не работает, когда он не занимается греблей и не лечится, тогда он охотится за женщинами. На сей раз его любимая дичь — это молоденькие графини. Он завлекает их, как завлекают птиц, — подражая их пению. Они идут на приманку, хотя и презируют его. Он мстит им за это: рисует их в своих рассказах, но не может при этом избежать описания своего собственного трепета, когда какая-нибудь из них входит к нему «в вуалетке, мокрой от дыхания».

Он наделяет свою изысканную жертву размышлениями самого вульгарного свойства: «Кровать, мой друг, — это вся наша жизнь! На ней рождаются, на ней любят, на ней умирают». Нравоучительный и игривый, он неуклюже проповедует «Средство Роже»: «Если кто-нибудь из твоих друзей страшится волнений брачной ночи, то порекомендуй ему мою военную хитрость и заверь его, что нет лучше средства развязать завязки». А хитрость эта — представьте! — отправиться с визитом в ближайшее заведение Телье.

Графини прыскают со смеху, слушая историю Жанны, Эта дама, прибегая к тонким намекам, пишет своей подруге, что начнет изменять мужу, если он вновь не отпустит усы: «Нет, ты и представить себе не можешь, до какой степени эта маленькая щеточка над губой приятна для глаз и... полезна для... супружеских отношений».

Эти дамы кудахчут, повторяя его истории, которые он приспособливает специально для салонного чтения. Госпожа де Галифе, урожденная Флоранс Жеоржина Лаффит, внучатая племянница банкира, жена палача Коммуны генерала Гастона Галифе, обратилась к Ги с просьбой почитать ей какой-нибудь из его рассказов. Он заставляет себя упрашивать. Она упрашивает. Наконец он соглашается.

— Я им такое преподнесу, что раз и навсегда отобью у них охоту приходить сюда, — говорит Ги Франсуа, подергивая себя за ус и мрачно торжествуя.

Ги достает только что законченную непристойную штучку «Хозяйка».

В рассказе речь идет о дородной бретонке, которая сдает внаем комнаты, установив в своем доме пуританскую строгость нравов. Но молодой человек, от имени которого ведется рассказ, познакомился с очаровательной девушкой Эммой и привел ее к себе. Увы! Ему помешала непримиримая хозяйка. Появившись в одной сорочке на пороге его комнаты, держа высоко в руке свечу добродетели, она прогнала девчонку. Хозяйка читает нравоучение студенту. А он... он подхватывает ее и несет, отбивающуюся, туда, куда только что собирался уложить свою девчонку. И удивленная хозяйка ласково шепчет: «Ах, каналья... каналья!...»

Ги сообщает матери: «Вещица прошла, и даже с успехом. Однако это было уж слишком смело. Но что поделаешь, мы движемся с удивительной быстротой!»

Эти игривые короткие рассказы, в большинстве своем вульгарные, которыми прославленный автор военной темы маскирует свой страх перед безумием и смертью, в течение нескольких лет в изобилии выходят из-под его пера. Господин де Гарель встречает свою бывшую жену, с которой он в разводе, находит, что она куда красивей теперь, чем прежде, и хочет, чтобы она, став его любовницей, возместила ему те часы наслаждения, которые украла у него, изменяя ему. Женщина возмущена! Тогда он угрожает ей, обещая рассказать ее нынешнему супругу, что она в свое время изменяла ему, господину де Гарелю. Новый супруг не простит эти измены, о которых он ничего не знал. Женщина вынуждена уступить. Миленькие графини давятся от смеха.

В новелле «Встреча» ситуация совершенно противоположная. Барон д'Этрай застал когда-то свою жену — «парижскую куколку, утонченную, избалованную, изящную, кокетливую, довольно остроумную, не столь красивую, как обаятельную, в объятиях маркиза де Сер-винье». Некоторое время спустя он повстречает ее в Поезде, идущем в Канн. Они одни в купе. Подобно господину де Гарелю, барон д'Этрай чувствует, как былое опьянение овладевает им. Оставаясь ее законным мужем, он настаивает на своих правах. Но оказывается, с ним сыграли злую шутку: встреча была подстроена плутовкой баронессой. Свидетели, приглашенные ею, поджидают на перроне. Они убеждаются в том, что баронесса провела ночь наедине с мужем. К чему все это? А к тому, что она беременна! Баронесса решила «соблюсти внешние приличия». Маленькие графини прыскают со смеху.

В рассказе «Булавки» две любовницы одного и того же мужчины бывают у него поочередно и узнают друг о друге благодаря булавкам, которые вкалывают в драпировки. Дело кончается тем, что они

встречаются.

«— И они продолжает встречаться?

— Как же, дорогой мой, — стали закадычными приятельницами.

— Так, так! А это не наводит тебя на мысль?..

— Нет, а на какую?

— Ах ты, балда! Да заставь же их снова по очереди втыкать... булавки».

— О, этот Мопассан! — хохочут возбужденные слушательницы.

— Вы знаете, он ведь и в жизни такой!

— Не может быть!..

— Даже хуже! Вы знакомы с графиней Эстель?

— С той, что живет в парке Монсо?

— С той самой. Так вот, дорогая моя, с ней и с ее кузиной Марией он и сыграл эту шутку с булавками.

— Ну и свинья! — бросает одна из собеседниц, позеленев от злости.

Серия рассказов о баронессе де Гранжери и маркизе де Реннедон относится к 1885–1886 годам. Маркиза входит к баронессе «возбужденная, в слегка измятой кофточке, в шляпе, чуть сбившейся набок:

— Уф! Дело сделано».

Она только что изменила мужу с Бобиньяком, «у которого ума с мизинец, но он человек порядочный и болтать не будет».

«— Но подумай, до чего это смешно!.. Подумай!.. У него (у мужа. — А. Л.) теперь совсем другой вид, и мне самой до того смешно... Подумай, что у него теперь на голове!..»

Ими овладел безумный смех, и в этот момент «появился грузный мужчина (муж. — А. Л.), краснолицый, с толстыми губами и висячими бакенбардами», который все повторял сиплым басом: «С ума вы сошли?.. С ума сошли, что ли?..»

Сатира? Скорее издевка! Баронесса де Гранжери, «чрезвычайно бледная и лихорадочно возбужденная», является к маркизе де Реннедон рассказать о том, что с ней произошло. Ужас! Она стояла у окна своей квартиры на улице Сен-Лазар и глядела на прохаживающихся девиц, подававших какие-то знаки мужчинам. Подражая, она тоже подала знак. Она не смогла удержаться — это было выше ее сил! И вот какой-то мужчина поднялся к ней в квартиру! О! Она, конечно, отбивалась! Но он и слушать ни о чем не желал! Так как муж должен был с минуты на минуту... возвратиться... баронесса уступила. Он оставил ей два луидора.

«— Только и всего?

— Только.

— Мало. Меня бы это унизило. И что же?

— Что же! Как мне быть с этими деньгами?

Маркиза раздумывала несколько секунд, потом ответила серьезным тоном:

— Дорогая... Нужно... нужно... сделать маленький подарок твоему мужу... Это будет только справедливо».

На сей раз графини хохочут до слез.

Одна из причин, вызвавших к жизни подобные рассказы, заключается в том, что Мопассан видел в своих прототипах и будущих читателей. Писатель настойчиво преследует свою цель. Подобно тому как он прекрасно знал «Лягушатню», так и здесь ничуть не заблуждается насчет этой среды. Разве не об этом говорит приводимый ниже отрывок из книги «На воде», лишенный всяких иллюзий: «За последние годы достаточным успехом пользуется и писатель. Кстати сказать, у него больше преимуществ: он умеет говорить, говорить долго, говорить много, говорить для всех, и так как ум — его профессия, можно слушать его и восхищаться им с полным доверием». С горечью говорит Мопассан о писателях: «Можно выбирать между поэтами и романистами. В поэтах больше идеального, в романистах больше неожиданного». «Итак, как только женщина остановила свой выбор на писателе, которого она хочет заполучить, то приступает к осаде с помощью комплиментов и всякого рода знаков внимания, с помощью баловства... Приметив, что он разнежен, растроган... она старательно подготавливает его успех, выставляет его напоказ... Тогда, почувствовав себя кумиром, он остается в этом храме...» Еще более прозрачно эта мысль высказана в следующей мстительной зарисовке без указания даты, в которой прозаик, вновь став поэтом, раздраженно жалит.

*Игривая, томная с фронта и с тыла,  
Она улыбается: «Как это мило!...»  
Улыбка птенца в позолоченной сини,  
Пустая улыбка красивой гусыни!  
Трепещет в шелках, измождена,  
Простого веселья не знает она.  
И глупость из уст ее розовых льется, —  
Пловец в ней утонет, никто не спасется<sup>[71]</sup>.*

Но ни один из добросовестно сделанных рассказов тех лет — с 1882

годаупо 1886 год — не сравним с откровенной горечью «Подруги Поля», с циничной нежностью «Мушки», с жестокостью протеста «Мадемуазель Фифи», с тонкой меланхоличностью «Иветты». Светские рассказы Мопассана — это тяжеловесные копии с поделок посредственных мастеров XVIII века. Где Ватто<sup>[72]</sup>? Где Мариво<sup>[73]</sup>? Где Манон, которой он поклоняется? Где Шодерло де Лакло?

Ги все это отлично сознавал, отрекаясь от себя же самого и подписывая выгодные пустячки псевдонимом Мофриньез, которым он пользовался до появления в свет «Пышки». Мопассан мог бы стать Роуландсоном, Хогартом, Константенон Ги<sup>[74]</sup>, Тулуз-Лотреком этого Оленьего парка<sup>[75]</sup> буржуазии. Но он остался завсегдатаем салонов, которые презирал, но где тем не менее продолжал расшаркиваться с изяществом рыботорговца из Фекана.

13 марта 1884 года Ги писал из Канн одной красивой даме, мало чем отличавшейся от своих предшественниц, но, пожалуй, обладавшей более широким кругозором: «Когда я думаю, что принц Уэльский сам по себе славный малый, по своему духовному развитию ниже герцогов Орлеанских, король Испании и русский император ниже принца Уэльского, а итальянский король ниже всех их — я сам превращаюсь в идиота от изумления перед организацией человеческого общества». Несколько позже он напишет Эрмине о Каннах — этом «королевском задворке»: «Кругом одни высочества, и все они царствуют в салонах своих благородных подданных. Я же не хочу больше встреч ни с одним принцем, потому что мне не по душе простаивать целые вечера, а эти невежи не присаживаются ни на минуту и заставляют не только мужчин, но и женщин стоять на их индюшачьих лапках с девяти часов до полуночи из уважения к королевскому высочеству. Принц Галльский, который был бы очень хорош в голубой блузе нормандского торговца свиньями, хотя он больше походит на свинью, чем на торговца, повелевает «англичанами», а рядом с ним граф Парижский, настоящий слесарь, царствующий над аристократами, настоящими и поддельными... Рядом с двумя этими вельможами видишь, по крайней мере, сотню других владетельных особ: короля Вюртембергского, великого герцога Мекленбургского и т. д., и т. д. Каннское общество помешалось на этом. Без труда констатируешь, что современная знать не погибнет во имя идей, как погибла предшествовавшая ей знать 1789 года. Какие кретины!!!

Время от времени все принцы наносят визит своему сиятельному кузену в Монако. Тогда картина меняется, начиная с вокзала (каннского. —

А. Л.). Всех этих высочеств, накануне не удостоивавших протянуть палец своим верным и высокородным служителям, склоненным в три погибели, теснят комиссионеры, задевают и толкают коммивояжеры, их заталкивают в вагоны в одну кучу с самыми обыкновенными, самыми грубыми и неотесанными людьми... И с ужасом замечаешь, что без предупреждения почти невозможно отличить царственное достоинство от мещанской вульгарности. Это восхитительная комедия, восхитительная... восхитительная... и я с бесконечным, вы слышите, — бесконечным наслаждением пересказал бы ее, не будь у меня друзей, очаровательных друзей между верноподданными этих гротескных фигур. И к тому же сам герцог Шартрский столь мил по отношению ко мне, что, право, я не могу решиться. Но искушение подзуживает, грызет меня...

Во всяком случае, все это помогло мне сформулировать следующий принцип, более истинный, будьте уверены, чем бытие божие.

— Каждый счастливый смертный, желающий сохранить честность мысли и независимость суждения, желающий взирать на жизнь, человечество и мир в качестве свободного наблюдателя, стоящего выше всяческих предрассудков, всяких предвзятых верований и всякой религии, должен решительно уклоняться от того, что называют светскими отношениями, ибо всеобщая глупость столь заразительна, что человек не может посещать подобных людей, видеть и слушать их, не — поддавшись, помимо своей воли, их убеждениям, их мыслям и их дурацкой морали.

Преподайте это вашему' сыну вместо катехизиса и разрешите мне поцеловать вашу руку».

«Но я вспоминаю о других особах, с которыми люблю беседовать. С одной из них вы, кажется, знакомы? Она не преклоняется перед властелинами мира (стиль-то каков! — А. Л.), она свободна в своих мыслях (по крайней мере, я так полагаю), в своих мнениях и в своей неприязни. Вот почему я так часто думаю о ней».

И дальше он весьма лестно изображает ее: «Ее ум производит на меня впечатление порывистой, непринужденной и обольстительной непосредственности. Это шкатулка с сюрпризом. Она полна неожиданностей и проникнута каким-то необычным очарованием». Короче, Ги хочет «через несколько дней поцеловать пальцы этой дамы» — традиционная фраза, имеющая для него особый смысл, и он посвящает ей «все, что в нем есть хорошего и приятного...».

Она — настоящая графиня, урожденная принцесса Пиньятелли ди Чергариа, дочь герцога ди Режина и благочестивой римлянки, жена графа Феликса Николаса Потоцкого, атташе при австро-венгерском посольстве.

Эта чета космополитов — истые парижане. Отец Николаса Потоцкого, малообразованный вельможный пан, покинул Польшу около 1830 года. Потоцкие богаты, любят роскошь. Их пышный особняк на авеню Фридлянд, 27 зовется «Польским Кредитом» из-за постоянно кишящей там толпы попрошайек, нашедших себе пристанище во Франции. Шумная, капризная, легкомысленная, обольстительная Цирцея, Эммануэла Потоцкая — Сирена — очаровательная хозяйка салона. Она принимает свиту разношерстных поклонников, врачей, аристократов и литераторов, припомаженного Жервекса — плохого художника, но веселого малого; наблюдательного портретиста Жана Бери и ему подобного мемуариста Жак-Эмиля Бланша, сына психиатра, боготворящего ее и воссоздавшего впоследствии ее образ в автобиографическом романе «Америс» под именем принцессы Люции Пеглозио; меланхоличного и светского Поля Бурже и строгого виконта Эжена де Вогюэ, славянофила, автора посредственного романа «Мертвые, которые говорят». Супруги не считают нужным скрывать свой разрыв, хотя и сохраняют «приличия». Это, однако, не мешает Николасу открыто «поклоняться» Эмилиенне д'Алансон.

Ги познакомился с сумасбродной графиней через своего друга Жоржа Леграна в 1883 году — еще до того, как был напечатан роман «Жизнь». Они не замедлили вступить с пылкой Эммануэлой в переписку, и в одной из записочек признательный и смелый Ги пишет ей: «Я в восторге. «Жизнь» великолепно расходуется. Ничто не могло принести мне большего удовлетворения, чем этот успех. А знаете ли вы, что я в огромной мере обязан вам этим успехом? И на коленях я хотел бы отблагодарить вас».

Решительная, независимая, взбалмошная, опасная, зажигательная и холодная наркоманка — такова эта графиня. Ей Мопассан посвящает стихи, в которых волк становится вегетарианцем:

*Растаял привычек дым.  
Я слыл фривольным — а зря!..  
Ведь нынче я одержим  
Желаньями пономаря<sup>[76]</sup>.*

И этот флирт — непрерывная кадрили из разрывов, возвратов, малодушия, примирений, капризов — будет развиваться, подкрепленный искренней дружбой. Разумеется, Ги ведет одновременно несколько любовных интриг. Как выражаются на Бульварах, «он седлает четверку».

А между тем за этой внешностью припомаженного грузчика

скрывается серьезный, несчастный, переменчивый Мопассан. «Уже несколько лет со мной происходит что-то странное. Все проявления жизни, которые прежде расцветали в моих глазах подобно зорям, кажутся мне вылинявшими... Когда-то я был весел! Все меня приводило в восторг: идущие мимо женщины, вид улиц, местности, где я живу. Меня волновал даже покроем моей одежды...»

Тот же двуликий Янус, которого так трудно распознать, признается несколькими годами позже Жану Бур-до, переводчику Шопенгауэра: «Подчас, на короткий миг, мне открывается красота в своей удивительной, страстной, неведомой, неосознанной форме, едва освещаемая какими-то мыслями, какими-то отдельными словами, какими-то видениями, какими-то внешними красками, в какие-то определенные минуты жизни, — и тогда я превращаюсь в изумительно восприимчивый вибрирующий инструмент, инструмент для наслаждения. Я не могу этого ни передать, ни выразить, ни написать, ни рассказать. Я все храню в себе».

Когда же ему удастся перенести это в творчество, то все, что он пишет, насквозь проникается и освещается ощущением красоты.

Сочетание большого художника и барышника богатых кварталов весьма озадачивает. «Красота» станет в конце его жизни святым Граалем, иллюзией, «Майей», его последним великим заблуждением.

Утомленный столь ненавистным ему Парижем, но вынужденный там жить, ибо в столице черпает он темы для своего творчества, Мопассан все чаще спасается бегством в Этрета, на юг, в Алжир, к морю, к воде, к лодкам.

В 1883 году Ги купил большую такелажную лодку «Луизетту» — «открытый вельбот», или, иными словами, старую лохань. Он любит ее страстно, как любил все свои лодки. «Моя лодочка, моя миленькая лодочка, вся белая, с сетью вдоль бортов». Со старым моряком Галисом Ги плавает «по тихому, уснувшему морю, голубому, бездонному, пронизанному той прозрачной голубизной, сквозь которую проникает нерезкий свет, достигая скал на морском дне».

В зимнем Антибе его восхищал мягкий климат и снег, лежащий на вершинах Альп. Отовсюду в этом сезоне приходили дурные вести: из Пьемона, из долины д'Аост, из Швейцарии. В горах свирепствовали разрушительные лавины. В Париже стояли десятиградусные морозы. Ги полной грудью вдыхал теплый воздух и эгоистически радовался тому, что может пока не покидать этот земной рай.

27 февраля 1884 года «Луизетта» выходит из каннского порта,



салютует маяку, минует Секан, пересекает фарватер пролива Круазет и берет курс на Антиб. Позади остается Гаруп. Восточный ветер, опасный в это время года, усиливается. Галис быстро спускает паруса и на веслах идет против течения, отбрасывающего их к берегу, пьет ром и успокаивается лишь тогда, когда выносливый и крепкий Ги сменяет его и ставит лодку на якорь позади Антибского мола.

— Мосье, — говорит старый моряк, мокрый от пота, — мне думается, что ежели вы собираетесь плавать во всякую погоду, то надо бы обзавестись настоящим судном!

В марте 1884 года Ги все еще в Каннах, очаровательном в своем весеннем наряде. Он живет в близлежащем старом поселке на улице Редан. Однажды утром Ги получает послание от неизвестной дамы. «Сударь, я читаю вас и чувствую себя почти счастливой. Вы любите правду природы и находите в ней поистине великую поэзию... Конечно, мне хотелось бы сказать вам много приятных и удивительных вещей, но это так трудно сделать. Я тем более сожалею об этом, так как вы достаточно известны, и вряд ли я могу даже мечтать о том, чтобы стать поверенной вашей прекрасной души, если только душа ваша и в самом деле прекрасна...»

Вероятно, и на сей раз это какая-нибудь графиня? Нет! Это иной стиль! «Вот уже год, как я собираюсь вам написать, но... неоднократно мне приходила мысль, что я переоцениваю вас, а потому не стоит и браться за перо. Как вдруг два дня назад я прочла в «Голуа», что некая дама удостоила вас изящной эпистолой и вы просите адрес этой прелестной особы, чтобы ответить ей. Я тотчас же почувствовала ревность».

Закидываешь удочку на макрель, а вытягиваешь тунца! Ги вертит конверт в руках. Корреспондентка весьма немногословна. «Госпожа Р. Ж. Д, до востребования, Почтовое бюро, улица Мадлен, Париж».

«Теперь слушайте меня хорошенько. Я всегда останусь неизвестной — так лучше. Я не хочу увидеть вас даже издали — поворот вашей головы может мне не понравиться, и как знать?! Но я должна сказать вам, что я очаровательная женщина. Это приятная мысль побудит вас ответить мне...»

Мопассан отнюдь не противник такого вызова.

«Сударыня,

мое письмо, очевидно, не оправдает ваших ожиданий... Вы просите разрешения быть моей поверенной. Во имя чего? Я вас совершенно не знаю... Разве вся сладость чувств, связывающих мужчину и женщину (он хочет показаться ласковым. — А. Л.) («я говорю о целомудренных

чувствах») (не отпугнуть бы! — А. Л.), не зависит прежде всего от приятной возможности видаться, разговаривать, глядеть друг на друга и мысленно восстанавливать, когда пишешь женщине-другу, черты ее лица... Возвращаюсь к письмам незнакомок. Я получил их за два года около пятидесяти или шестидесяти (он не преувеличивает. — А. Л.). Могу ли я выбрать из числа этих женщин поверенную своей души, как вы выражаетесь?»

Ирония и любовная диалектика — искусство довольно распространенное.

Незнакомка удачно парирует: «Ваше письмо, сударь, ничуть меня не удивило... Но, прежде всего, я не хотела стать вашей поверенной — это было бы слишком просто — и если у вас найдется время перечитать мое письмо, вы увидите то, что не соизволили уловить с первого раза иронический и дерзкий тон, который, как мне кажется, я позволила себе».

Ну что ж! Незнакомке понравилась хроника Ги о карнавале, и, напротив, она ничуть не одобряет другой его опус: «до чего банальна история старой матери, которая мстит пруссакам... («Старуха Соваж» была опубликована в «Голуа» 3 марта 1884 года). Ги хмурит брови.

«Между тем, чтобы привлечь к себе вашу стареющую нечуткую душу, достаточно, пожалуй, сказать следующее: блондинка, среднего роста. Год рождения — между 1812 и 1863. А что до моральных качеств... Нет, не стоит, а то вы еще подумаете, что я себя расхваливаю...»

Ги не медлит с ответом:

«Да, сударыня, второе письмо! Я удивлен (и это правда! — А. Л.). Я чуть ли не испытываю смутное желание наговорить вам дерзостей (не столь уж смутное! — А. Л.). Это ведь позволительно, раз я вас совершенно не знаю. И все же я пишу вам, так как мне нестерпимо скучно!»

Между тем Ги не может переварить критических замечаний по поводу рассказа о старухе и немцах. «Вы упрекаете меня за банальность образа старухи, отомстившей пруссакам, но ведь все на свете банально...» Неубедительно. Но разве можно все объяснить, рассказать, что он видел эту старую крестьянку, что он чувствовал то же, что чувствовала она, что ненависть к немцам все еще гнездится в нем?

Он предпочитает отшучиваться. Она знает, кто он такой. Он же о ней — ничего. Что ему остается? «Вы, правда, можете оказаться молодой и очаровательной женщиной, чьи ручки я буду счастлив расцеловать в один прекрасный день (ему явно это было бы по душе. — А. Л.). Но вы можете оказаться также и старой консьержкой, начитавшейся романов Эжена Сю». Вдруг им овладевает приступ горького откровения: «Но, видите ли, я никак

не принадлежу к числу тех людей, которых вы ищете. Во мне нет ни на грош поэзии (ему никак нельзя отказать в трезвости. — А. Л.). Я отношусь ко всему с одинаковым безразличием и две трети своего времени провожу, безмерно скучая (опять! — А. Л.). Последнюю треть я заполняю тем, что пишу строки, которые продаю возможно дороже (подчеркнутый цинизм. — А. Л.), приходя в то же время в отчаяние от необходимости заниматься этим ужасным ремеслом (здесь уже он передергивает! — А. Л.), которое доставило мне честь заслужить ваше — моральное — расположение! (Реверанс мужчины перед женщиной. — А. Л.) Вот вам и мои признания. Что вы о них скажете, сударыня?»

Послания Ги тяжеловаты. Она отвечает письмами, полными живости и безрассудства. «Вы отчаянно скучаете! О! Жестокий! Это для того, чтобы не оставить мне и капли иллюзии относительно причины, которой я обязана вашему почтенному посланию от... клянусь вам, что понятия не имею ни о цвете ваших волос, ни о чем другом и что, как частное лицо, я вижу вас лишь в тех строчках, которыми вы изволите меня пожаловать, да еще сквозь ухищрения и позы, которые вы принимаете».

Оба они позируют. Во всяком случае, она рассудочна и язвительна. В тоне ее чувствуется превосходство, которое особенно досаждал Мопассану. Ее дерзость свидетельствует о том, что она не мещанка: «Ну что ж, для маститого натуралиста вы не так уж глупы...» Довольно скверное представление о натурализме.

Таинственная корреспондентка, снова возвращаясь к теме «банальности» в творчестве, не слишком-то отчетливо излагает свое отношение к ней: «Но искусство как раз и заключается в том, чтобы мы глотали банальность, восхищаясь ею вечно, как это свойственно природе с ее извечным солнцем, и старой землей, и ее...» Синий чулок! Никакого сомнения! «А эти банальные строчки о вашем ужасном ремесле! Вы принимаете меня за мещанку, которая видит в вас поэта (браво! — А. Л.) и стараетесь меня просветить. Жорж Санд уже бахвалилась тем, что пишет ради денег, а трудолюбивый Флобер...» Ги хмурится. «...Что же касается Монтескье...» Следует экскурс в историю литературы! Абзац о евреях и об их искусстве продавать подороже... И в тот момент, когда он приходит в ярость и готов разорвать письмо, она снова возвращается к шутливому тону: «Я вижу вас отсюда: довольно большой живот (это у него-то, у которого живот мускулистый, как у гладиатора! — А. Л.), слишком короткий жилет неопределенного материала (неопределенного! — А. Л.) с незастегнутой последней пуговицей (мерзавка! — А. Л.). И все же вы меня интересуете. Я только никак не пойму, как это вы можете скучать...»

Теперь все кончено. Это уж слишком. Таинственная корреспондентка касается больного места. «Вы не тот человек, которого я ищу... Я никого не ищу, сударь, и полагаю, что мужчины должны быть лишь аксессуарами для сильных женщин... Мой запах? Запах добродетели. («Сомневаюсь! — бурчит Ги. — Стулья дает напрокат в городском саду. Вот она кто!») Уши у меня маленькие, не совсем правильной формы, но красивые. Глаза серые. Да, я музыкантша... Если бы я не была замужем, разве осмелилась бы я читать ваши ужасные книги... Довольны ли вы моей покорностью? Если да, расстегните еще одну пуговицу (она настаивает на своем! — А. Л.) и думайте обо мне в сумерках. А нет... все равно! Я считаю, что этого и так слишком много в обмен на ваши лживые откровения... А что, если я мужчина?»

Она нарисовала толстого мужчину, дремлющего в кресле под пальмой на берегу моря. Ги оценил набросок. Он ведь тоже не раз иллюстрировал свои собственные письма. Он отмечает, что пишет уже третье письмо (3 апреля 1884 г.): «Вы цитируете, не оговаривая, одним махом и Санд, и Флобера, и Бальзака, Монтескье, и еврея Баарона, и Иова, и ученого Шпицбубе из Берлина, и Моисея! О! Теперь-то я вас знаю, прекрасная маска: вы преподаватель шестого класса в лицее Людовика Великого. Признаюсь, я уже и раньше догадывался об этом, так как ваша бумага издавала легкий запах нюхательного табака».

Здесь он не устоял и пустил в ход весь набор «шуточек» из арсенала гребцов. «На этом основании я собираюсь перестать быть галантным (да и был ли я таковым?) и стану обращаться с вами как с ученым мужем, то есть как с врагом. Ах, старый плут, старая школьная крыса, старый латинский буквоед, и вы намеревались сойти за хорошенькую женщину!»

Он хватил через край, ничуть не заботясь о хорошем или дурном вкусе своих «шуточек». «Какое счастье, что я не предупредил вас о своем пребывании в Париже! В противном случае я, пожалуй, однажды утром узрел бы у себя некоего обносившегося старичка, который, поставив свой цилиндр на пол, извлек бы из кармана пачку писем, перевязанных бечевкой, и сказал бы: «Сударь, я та дама, которая...»

Уязвленный, он позволяет себе указать на некоторые погрешности его портрета, нарисованного корреспонденткой:

- «1. Живот значительно меньше.
2. Я никогда не курю.
3. Я не пью ни пива, ни вина, ни других спиртных напитков — ничего, кроме воды. Следовательно, блаженное ожидание кружки пива не может быть моим излюбленным состоянием... По правде говоря, я предпочитаю

всем искусствам красивую женщину. А хороший обед, настоящий обед, изысканный обед я ставлю почти на ту же ступень, что и красивую женщину... А вот еще одна деталь! Я люблю держать крупные пари в качестве гребца, пловца И ходока. (Не смог снести «толстобрюхого». — А. Л.). Теперь, после всех этих признаний, господин классный наставник, расскажите мне о себе, о вашей жене — несомненно, вы женаты, — о ваших детях. Нет ли у вас дочки? Если да, прошу вас, подумайте обо мне».

Ядовитая корреспондентка вела дневник, которому суждено было увидеть свет. Она записала в воскресенье 15 апреля: «Осталась дома, чтобы ответить незнакомцу (Ги де Мопассану. — А. Л.). Собственно говоря, это я для него незнакомка. Он мне уже трижды ответил (она немало горда этим! — А. Л.). Он не Бальзак, которого боготворишь за все. Теперь я сожалею, что обратилась не к Золя (что за мысль, учитывая хотя бы характер Золя! Но она действительно влюбится в творчество автора «Нана» вскоре после прекращения переписки с Мопассаном. — А. Л.), а к его адъютанту, талантливому и даже очень. Среди молодых он мне понравился больше всех. Однажды утром я проснулась, ощущая потребность, чтобы какой-нибудь знаток оценил по достоинству, как красиво я умею писать (I): я подумала и выбрала его».

Вскоре она написала ему четвертое письмо: «Я воспользовался (корреспондентка орфографически перевоплотилась в корреспондента. — А. Л.), сударь, свободным временем на страстной неделе, чтобы перечитать ваше собрание сочинений... Вы молодец, бесспорно. Я ни разу еще не читал вас последовательно и подряд, а потому впечатление у меня самое свежее. Есть от чего перевернуться моим лицеистам вверх тормашками, есть чем смутить все христианские монастыри... Что же касается меня, то я нисколько не целомудрен, я просто поражен, да, сударь, поражен тяготением вашего духа к чувству, которое г-н Александр Дюма-сын называет любовью. Это может превратиться в навязчивую идею, что будет весьма прискорбно...»

Она (или он) и не предполагает, как удачно это выражение! «Я знаю, что вы написали «Жизнь» и что книга эта проникнута чувством отвращения, тоски, отчаяния. Чувство, которое извиняет все, время от времени появляющееся в ваших произведениях, позволяет думать, что вы являетесь высшим существом, которому жизнь приносит страдания. Вот что ранило мое сердце...» Все ясно. Корреспондентка, без всякого сомнения женщина, угадала за маской грубияна человека с израненной душой.

«...Великий пожиратель женщин, я желаю вам всего хорошего... и с трепетом называю себя вашим преданным слугой Жозефом Савантеном».

Ги отвечает, взбешенный тем, что в нем так хорошо разобрались:

«Мой дорогой Жозеф,

...Мы дошли уже до точки, когда можем говорить друг другу «ты», не правда ли? Итак, я говорю тебе «ты», и наплевать, если ты недоволен!.. Адресуйся тогда к Виктору Гюго — он назовет тебя «дорогим поэтом». Знаешь ли, для школьного учителя, которому доверено воспитание невинных душ, ты говоришь мне не особенно скромные вещи! Как? Ты ни чуточку не стыдлив? Ни в выборе книг для чтения, ни в своих сочинениях, ни в своих словах, ни в своих поступках, не так ли? Я так и предполагал.

И ты думаешь, что меня чем-нибудь можно заинтересовать? И что я смеюсь над публикой? Мой бедный Жозеф, под солнцем нет человека, который бы скучал более меня».

Он и в третий раз не сумел удержаться от того, чтобы не вспомнить о своем недуге.

«...Так как мы откровенны друг с другом, то предупреждаю тебя, что это мое последнее письмо. У меня нет никакого желания познакомиться с тобой. Я уверен, что ты безобразен, и вдобавок нахожу, что послал тебе уже достаточно автографов вроде этого. Известно ли тебе, что они стоят от десяти до двенадцати су за штуку, в зависимости от содержания?

А кроме того, я собираюсь снова покинуть Париж».

Это «снова» изобличительно, оно, как вспышка молнии, освещает все закоулки души Мопассана.

«...Я поеду в Этрета, чтобы переменить обстановку, а также и потому, что в данный момент смогу пожить там в одиночестве. Больше всего люблю быть в одиночестве. Таким образом, по крайней мере, я скучаю молча».

Незнакомка тотчас же отвечает:

«Итак, это все, что вы нашли возможным ответить женщине, виновной, быть может, только в неосторожности? Красиво! Разумеется, Жозеф наделен всеми пороками, поэтому он так обиделся... Короче, вы могли бы, мне думается, оскорбить меня с большей выдумкой».

Верно. В чем причина возникновения этой истории, которая обернулась так плачевно?

Незнакомка сама легко распутывает весь клубок: «Почему я написала вам? Просыпаешься одним прекрасным утром и считаешь, что ты существо редкое, окруженное дураками. Что, если я напишу человеку известному,

человеку, достойному понять меня?.. Быть может, он станет твоим другом... Тогда спрашиваешь себя: кому же? Вот так-то я и выбрала вас». Она не может себе простить то, что ей пришла в голову эта наивная мысль: «Та точка, до которой мы дошли, как вы говорите, дает мне право признаться вам, что ваше отвратительное письмо испортило мне настроение на целый день. Я задета так, словно все ваши оскорбления и впрямь относятся ко мне. Какой абсурд! С удовольствием прощаюсь с вами. Если у вас еще сохранились мои автографы, перешлите их мне. Что касается ваших, то я их уже продала в Америку по сумасшедшей цене».

В своем дневнике незнакомка запишет в пятницу 18 апреля: «Как я и предвидела, все кончено между моим писателем (sic) и мною. Его четвертое письмо грубое и глупое».

Из Ла Гийетт Ги возобновляет переписку, заигрывает с незнакомкой:

«Итак, сударыня, я задел вас за живое. Не отрицайте этого. Я в восторге. И униженно прошу прощения... Знаете ли вы испытанное средство, позволяющее на балах Оперы узнавать светских женщин? Их щекочут. Проститутки привыкли к этому и просто заявляют: «Ну, хватит!» Порядочные же женщины очень сердятся. Признаюсь, я ущипнул вас весьма неподобающим образом, и вы рассердились. Теперь прошу у вас прощения... Поверьте, сударыня, я не так груб, не так скептичен и не так непристоен, каким я проявил себя по отношению к вам. Но помимо воли я питаю большое недоверие ко всякой таинственности, ко всему незнакомому и к незнакомкам... Я и сам надеваю маску, когда имею дело с замаскированными людьми. На войне это допускается. А благодаря хитрости я почти разгадал вашу душу.

Еще раз простите.

Целую незнакомую ручку, которая пишет мне. Ваши письма, сударыня, в вашем распоряжении, но я передам их лишь в ваши руки».

Корреспондентка 23 апреля заносит в свой дневник следующую запись: «Розали принесла мне с почты письмо от Ги де Мопассана: пятое и самое лучшее письмо. Итак, мы опять в мире. И затем в «Голуа» напечатана его великолепная статья. Я чувствую, что смягчилась. Удивительно! Человек, с которым я незнакома, занимает все мои мысли. Думает ли он обо мне? Почему пишет мне?»

Зачем она опять становится синим чулком? Ведь она же вышла победительницей из игры!

*Раскаяньем ваш осветился взор.*

*Не следует ли вас простить, сеньор?*<sup>[77]</sup>

И зачем она признается в мании величия?

«...Я прощаю вас, если вы настаиваете, потому что я больна. И так как со мной еще никогда ничего подобного не случилось, то мне вдруг стало жаль и себя, и весь мир, и вас, который нашел способ стать мне столь неприятным... Смешно, конечно, клясться вам, что мы созданы понимать друг друга. Вы меня не стоите. Я очень сожалею об этом. Ничего не могло быть приятней для меня, чем признать за вами все превосходства, за вами или за кем-нибудь иным...»

Ребяческая мечта надменной гордячки, которая помимо своей воли выдала разочарование и смятение души! Ги написал еще раз. Ответа не последовало. Незнакомка положила конец переписке, начатой по ее же инициативе.

Кто же она, эта знакомка? Ловелас, который, сам того не ведая, борется с бледной спирохетой, не знает также, что интригующая его корреспондентка больна чахоткой. Но она знает. В первые дни нового года она записывает в своем дневнике: «Да, у меня чахотка, и процесс идет полным ходом». Синий чулок — но умирающий синий чулок («у меня нет друзей. я никого не люблю, и меня никто не любит»), отдающий себе отчет в своих возможностях, «талант, который только заявил о себе, и смертельная болезнь» (24 марта). Несчастливая знакомка вызывает о помощи к человеку, также обреченному на смерть. Мусе (Марии Башкирцевой) оставалось жить всего шесть месяцев<sup>[78]</sup>.

Это была русская девушка, капризная и изысканная, несносная и трогательная, маленькое прозрачное существо, кокетничавшая перед лицом собственной смерти. Она хотела оставить свой дневник какому-нибудь писателю. Мария цеплялась за этот дневник как за единственную надежду пережить саму себя. Тотчас же после «разрыва» с Ги, 1 мая 1884 года, она напишет предисловие к дневнику. Она думала о Мопассане как об исполнителе ее завещания. Вместо того чтобы прямо ему об этом сказать, что его безусловно бы растрогало, она жеманилась. Грубость Милого друга, стоящего на пороге могилы, обескуражила этот хрупкий оранжерейный цветок Санкт-Петербурга.

Из переписки, опубликованной Пьером Борелем, мы узнаем, что Мопассан позднее напишет о Марии другой русской девушке, из Симиэза, которая также пожелала завязать с ним роман в письмах: «... Действительно, я ответил мадемуазель Марии Башкирцевой, но никогда не



хотел встретиться с ней... Она умерла. После ее кончины — хотя мне и ничего не было об этом известно — ее мать дала мне знать, что у нее имеется еще несколько писем Марии, адресованных мне. Я и с ними не пожелал ознакомиться, несмотря на просьбы, которыми меня одолевали».

Такова версия самого Мопассана об их отношениях. Ее достоверность в главном вне всякого сомнения. Пьер Борель считает, что Ги все же встречался с Марией в Ницце, где она жила на Променад дез Англе, 65, в прекрасном саду с огромными пальмами, зонтичными соснами и эвкалиптом. От сада ныне осталась одна лишь сосна, простирающая горестную длань над улицей. Мария читала, лежа в шезлонге, подле маленького журчащего фонтана. Скрип шагов по гравию заставил ее поднять голову. Тотчас же она узнала его. О чем они говорили — никому не известно. Вернувшись в Канны, Ги будто бы сказал своему слуге Франсуа:

— Я расцениваю свою дружбу с мадемуазель Башкирцевой как нечто очень серьезное.

Этого нет в «Воспоминаниях» Франсуа. Какой же вывод следует сделать?

Борель пишет, что назавтра Мария якобы сообщила своей подруге: «Наконец я его увидела и окончательно позабыла о неприятном впечатлении, которое оставили его письма. Он необыкновенно обаятелен, **его глаза смутили меня**. Прекрасные голубые глаза, но по временам взгляд их становится удивительно неподвижным».

Разумеется, письмо это не обнаружено. Опять сомнения? Или мистификация?

В 1877 году, сотрудничая в «Републик де Летр» Мендеса, Ги проникся искренним расположением к секретарю редакции Боду де Морселе, достойному доверия свидетелю.

Бод уточнил некоторые подробности. Однажды вечером, выходя из почтового бюро по улице Мальзерб, Мопассан встретил Бода.

— Я страшно зол, — говорит Ги. — Мадемуазель Башкирцева пишет мне письмо за письмом «до востребования» и заставляет ходить за ними на почту. Но с меня хватит. Я с ней незнаком. Чего она от меня хочет? Может быть, она мечтает о любовной встрече? Так пусть изволит сказать об этом!

Если Бод не ошибся, то незнакомка недолго оставалась незнакомкой. Однако романтическое свидание в Ницце весьма сомнительно. Достоверно лишь то, что Мопассан никогда не получит дневника Марии и что она, мечтавшая остаться в памяти людей, прославится благодаря этому дневнику, предназначенному только для него одного.

Несколько лет спустя Ги с одной из своих приятельниц пришел на кладбище в Пасси и остановился у аляповатого памятника в византийском стиле. То была могила Марии. Мопассан долго глядел сквозь решетку на часовню. Наконец он произнес:

— Ее надо было засыпать розами. О, эти буржуа! И подумать только, что они способны и мне поставить подобный балаган!

***Труп в Сен-Ромен. — Речной Филеас Фогг. — «Возвращение» и нормандские рассказы. — Запах эфира. — Магараджа горит. — «Иветта», или «Лягушатня» в розовых тонах. — Интуитивная психология глубин. — Шопенгауэр и Спенсер. — «Я никогда не любил»***

Мопассан шагает по Руану, в шуме и толкотне Сен-Роменской ярмарки. Его, как всегда, забавляют предприимчивые балаганщики, которых нормандские землепашцы зовут «что угодно покажет», великанши и борцы, увешанные медалями. Больше всего ему здесь по вкусу запах копченой селедки — «я люблю этот запах, знакомый мне с раннего детства, но вам он вряд ли бы понравился».

Робер Пеншон сопровождает его. Они идут обычным шагом, а между тем что-то неуловимо изменилось. Пожалуй, его товарищ по лицу Корнеля кажется теперь моложе Ги. Он выглядит почти студентом! Разве мужчины не одинаково стареют? Они останавливаются перед ярмарочным балаганом — там, где когда-то разыгрывали «Искушение святого Антония», но вместо Флобера и Буйле теперь иные зрители: Мопассан и Пеншон. Тот же седой комедиант, «скрипач», умилявший Буйле, пикирует как прежде, но он уже так одряхлел, так дрожит от холода, что его товарищи повесили ему на шею объявление: «Продается по случаю расстроенного здоровья».

Ги поднимается по ветхим деревянным ступенькам, движимый потребностью увидеть еще раз, «быть может в последний раз» (он подумал: «Ведь я еще так молод!»), флюберовского «Святого Антония».

Под навесом шумят ребяташки. Они сосут леденцы — маленьких липких ангелов. Под пронзительный скрип колец занавес медленно раздвигается, открывая молящегося святого Антония. А вот и свинья! «Юные зрители смеются, машут руками...» Ги сжался, чтобы не разрыдаться. «И мне чудится, что я тоже один из этих ребят... Во мне внезапно пробуждаются ощущения давних лет; и, охваченный воспоминаниями, словно в какой-то галлюцинации, я чувствую, что вновь стал малышом, который некогда смотрел на это зрелище».

Рассказ этот был опубликован в «Голуа» 4 декабря 1884 года. Ги уже далеко не тот, каким был когда-то хроникер Мофриньез, галантный кавалер Потоцкой и циничный корреспондент несчастной Марии Башкирцевой,

уже покоящейся в могиле. Мопассан нередко будет спрашивать себя, погружаясь в тоску и страдания: «Счастливые люди, крепкие и здоровые, — способны ли они по-настоящему понимать, постигать, выражать жизнь, нашу жизнь, столь беспокойную и короткую? Доступно ли им, этим благополучным людям, видеть все несчастья, все страдания, которые окружают нас, чтобы заметить, что смерть косит беспрестанно, повседневно, повсюду, жестоко, слепо, фатально?»

И это настроение будет усугубляться, составляя резкий контраст цветущему виду Нормандца. Как горьки строчки из его письма 1890 года, обращенного к неизвестной: «У меня бедное, гордое и стыдливое человеческое сердце, то старое человеческое сердце, над которым смеются, а оно волнуется и заставляет страдать мой разум. Моя душа — это усталая душа латинского народа... Я из числа людей, у которых содрана кожа и нервы обнажены. Но я об этом не говорю, этого не показываю и даже думаю, что очень хорошо умею скрывать свои чувства».

— Ты плохо себя чувствуешь, Ги? Ты бледен...

— Ничего, ничего, ничего! Свет лампы раздражает глаза... Больно...

Луи Буйле, Флобер! Как они смеялись! Ги до крови кусает губы... Они выходят из балагана. Снова собирается дождь. И впрямь Руан — это ночной горшок Франции! Ги встряхивается и ударяет Робера по плечу.

— Пошли на улицу Шаретт! Да здравствует тетушка Касс... боже праведный!

— Видишь ли... с моим положением, — начинает Пешпон.

Еще более сильный удар по плечу заставляет его замолчать. Под густым дождем, проколотым фонарями модных кабаре английских барменш, двое завсегдатаев «Лягушатни» спешат в местное «заведение Телье», что недалеко от собора. Там меланхолия Милого друга развеется в дым под нестройные звуки механического пианино, играющего — о чудо! — вальс из «Фауста».

Трезвым, ясным взглядом окидывает Мопассан зеленые воды, медленно текущую реку. Конечно, он по-прежнему любит Сену, но он упрекает ее в том, что она холодна, что она изменилась.

— Нынче гребцы носят монокли! — ворчит он.

С одним из своих приятелей (нам известны только его инициалы. — М. А.) он отправится вниз по реке от Парижа до Руана. Но господин де Мопассан уже не Жозеф Прюнье. Отныне за этим речным Филеасом Фоггом повсюду следует его Паспарту<sup>[79]</sup> и доставляет вещи господина к пристани Мезон-Лаффиит.

Милый друг распрямляет плечи, снимает пиджак и остается в тельняшке. Он долго натирает руки специальной мазью, предохраняющей от волдырей. Приятель садится сзади, а обеспокоенный Франсуа держит лодку.

Десятка три зевак аплодируют первому взмаху весел. Ялик подпрыгивает, делает рывок, и рулевой едва удерживается на своем месте. Но куда же делась мадемуазель Мушка?

В Этрета опять та же непроходящая депрессия, смертельно тоскливое «к чему все это?». Мопассану никак не удастся забыться в своей тучной, сочной Нормандии. Она по-прежнему дает пищу творчеству писателя, но уже не может накормить досыта человека.

В июле 1884 года он публикует новеллу «Возвращение»: несколько страниц, подлинный шедевр. Человек бродит вокруг дома Мартен-Левеков, на самой окраине деревни. Это моряк Мартен, якобы погибший на Новой Земле. После исчезновения моряка его жена — Мартениха — вышла замуж за Левека. После стольких лет разлуки они все же встретились, Мартен и Мартениха! Как быть? Священник рассудит. В ожидании решения прежний и новый супруг, возвратившийся с рыбной ловли, отправляются выпить по рюмочке.

Это новый Эсхил, раскрывающий жизнь ловцов трески. Но диалектика драмы здесь прямо противоположная: из катастрофы следует незначительный вывод. «Вот и ты, Мартен?» — «Вот и я...» Больше нечего сказать.

«Возвращение» — это великолепное введение к нормандским рассказам. Никогда не знаешь толком, плакать тебе или смеяться над служанками, беременными от кучера, который не брал с них платы за проезд в дилижансе, над парализованным толстяком Туаном, которого жена заставляет высиживать яйца, над бочонком, подаренным папашей Шико мамаше Маглуар для того, чтобы споить ее и затем завладеть фермой, или над зверем дяди Бельома, страшным чудовищем, оказавшимся затем «всего лишь блохой в ухе». До чего же комичен глухонемой пастух Гараган, обманутый своей замарашкой! А как трагичен Буателль из Туртевилля, влюбленный в негритянку! Он привозит ее в дом своей матери, а потом говорит ей: «Она не хочет, моя мать, она находит, что ты слишком черна!»

Мопассан проводит в Ла Гийетт добрую половину лета 1884 года. Он приезжает туда поездом, сходит у железнодорожной ветки Иф. Отвратительная наемная колымага, всегда одна и та же, довозит его до

Этрета.

Ей подымается в восемь утра, не завтракая, садится к столу и работает до двенадцати. Холодное обтирание придает бодрости, и он завтракает. После обеда стреляет из пистолета сорок-пятьдесят раз. Потом идет к морю. Он ведет жизнь трудовую, здоровую, иногда разнообразя ее забавными выходками. Между тем ему приходится каждое утро промывать глаза.

— Не знаю, Франсуа, может, это с дороги, но у меня сильнейшая мигрень. Попробую растереть затылок вазелином, если к одиннадцати часам не станет легче, понюхаю эфир.

В этом сезоне взоры всех парижан, отдыхающих на побережье между Амонской и Авальской бухтами, прикованы к необыкновенному индусу, окруженному тучей «пестрых принцев».

Вся компания благородных индусов с большой помпой отправляется купаться в Рош-Бланш, принимая Ла-Манш за реку вроде Ганга! Старый магараджа, глава делегации, изучающей постановку военного дела в различных странах Европы, скоропостижно умирает от язвы горла. Согласно своей религии он должен быть предан огню. Мэр города господин Боссе в большом затруднении. Он просит разрешения в префектуре и предлагает дату и время церемонии — глубокой ночью, между часом и двумя. К вечеру все еще нет ответа из Руана. Добропорядочный нормандец советуется с именитыми людьми:

— А вы, господин Мопассан, что думаете по атому поводу?

— Я думаю, что следует уважать волю и религию этого человека.

— Конечно, конечно. Вот почему я им и сказал, что, если не получу ответа до вечера, распоржусь сам.

В казино парижане танцевали мазурку. С моря дул сильный ветер. Индусы принесли магараджу на носилках к костру, сооруженному у подножия скалы, положили тело головой к востоку, облили его керосином и обложили сосновыми досками. «Один из индусов, наклонившийся над бронзовой жаровней, вдруг выпрямился, подняв руки, согнутые в локтях, — и на огромной белой скале внезапно выросла перед нами колоссальная черная тень — тень Будды...» Морские птицы, разбуженные искрами, улетали прочь. В какой-то миг доски обрушились, и «тело открылось все целиком, почерневшее, на огненном ложе, оно пылало длинными языками синего пламени».

К пяти часам утра от костра осталась лишь куча пепла.

Ги был потрясен. «Итак, я видел, как человека сожгли на костре, и это

возбудило во мне желание исчезнуть подобным же образом. Так все кончается сразу. Человек ускоряет медленную работу природы... Плоть умерла, дух отлетел. Очистительный огонь в несколько часов распыляет то, что было живым<sup>1</sup> существом».

Утром, когда открылся телеграф, мэр получил ответ из префектуры: «Сожжение категорически запрещается!» Кто кого хотел оставить в дураках? Префект, не торопившийся с ответом, а потому опоздавший, или же мэр, вынудивший его так поступить? Господин Боссе никаких сообщений более не получал, а для Этрета сожжение оказалось великолепной рекламой. Еще целую неделю спустя курортники разыскивали на пляже остатки пепла. И даже на следующий год какой-то ловкач продолжал торговать им.

26 октября 1884 года сияющий, возбужденный Ги приезжает в Ла Гийетт и бросается к Франсуа. Тот преспокойно кормит петуха.

— Франсуа! Я закончил **«Милого друга»**. Надеюсь, он понравится тем, кто требовал от меня длинных историй... Что касается журналистов, пусть выбирают оттуда, что им больше понравится. Я готов ко всему!

Прежде чем приступить к анализу этого большого романа, следует внимательно прочитать новеллу «Иветта», которую Мопассан писал одновременно с «Милым другом». Иветта — единственный женский образ, бесспорно удавшийся писателю вовсе незнакомому с подобными женщинами.

Он обращался к этому сюжету еще в 1882 году, в рассказе «Ивелин Саморис». Журналы осаждают его бесконечными просьбами, предлагают ему высокие гонорары, и он, согласившись, так же как и в случае с «Воскресными прогулками парижского буржуа», берется за использованную ранее тему, подштопывая и улучшая ее.

«Иветта» будет печататься на страницах «Фигаро» с 29 августа по 19 сентября 1884 года. Не успеет Ги закончить новеллу, как она покажется ему малоинтересной, и он даже не разрешит Авару издать ее отдельной книжкой. «Могут подумать, что я придаю ей большее значение, чем она заслуживает. Я хотел — и это мне удалось — воспроизвести изысканную манеру Фейе и К<sup>0</sup>. Это изящная безделка, а не психологический этюд. Это ловко, но не сильно...»

Столь суровое суждение несправедливо. Аргумент неубедителен. Жан де Сервиньи и Леон Саваль, молодые прожигатели жизни, приходят с

визитом к маркизе Обарди и ее дочери Иветте. Маркиза — куртизанка, дочь ее — чистая наивная девушка. У куртизанки Обарди, на берегу Сены, двое молодых людей — красавец великан и чувствительный юноша, — соприкоснутся с причудливостью женской природы и воды.

Поместье маркизы Обарди стояло высоко над излучиной Сены, «которая поворачивала к Марли у самой ограды сада». «Мюскад»<sup>[80]</sup> — Жан де Сервиньи — влюбляется в молодую девушку (подобно Мопассану, из одной лишь прихоти), хотя и отлично знает, что на дочери куртизанки не женятся. Они подолгу прогуливаются вдвоем, и описания этих прогулок — блистательные страницы и творчестве Мопассана. «Кругом стояла тьма, густая, чернильная тьма. Но небо искрилось огненными зернами и, казалось, сеяло их по реке — темная вода была вся в звездной россыпи». Вопреки ожидаемому Мюскад обнаруживает, что девушка — невинное существо. Его друг, «Геркулес у Мессалины», развлекается с матерью, а Мюскад сталкивается с чистотой дочери. По ее просьбе он везет ее в «Лягушатню».

И вот снова перед нами река — смех, толчая, тяжелые застойные запахи. Но краски, которыми Ги живописует реку, теперь совсем иные, чем в рассказе «Подруга Поля». Его привлекает игра теней, которые бросают на молодые лица колеблющиеся листья деревьев, — это скорее Ренуар, а не Тулуз-Лотрек.

Мюскад — это двойник самого Мопассана, только более молодой и легкомысленный, более пошлый, более нежный и менее молодцеватый.

Во время одной сцены, как бы предвосхищающей знаменитые эпизоды современного кинематографа, Иветта ведет с Мюскадом честную игру. Она спрашивает молодого человека о среде, окружающей ее мать. Он отвечает без утайки. Конечно же, ее мать окружена проходимцами. Конечно же, ее мать всего лишь содержанка! Правда, открывшаяся девушке после многих лет полного неведения, чуть не доводит ее до самоубийства (это одна из тех побудительных причин, которыми автор романа «Пьер и Жан» пользуется чаще всего). Решение, принятое Иветтой, усугубляется еще и тем, что в отблеске ночной грозы она видит свою мать, разомлевшую в объятиях друга Мюскада, Геркулеса-лодочника.

Многие добросовестные критики считали и поныне считают Мопассана писателем поверхностным. Большого недоразумения и быть не может! Мопассан рассказал о таких глубинах человеческой души, объяснить которые смогла лишь современная психология.

В этом смысле Мопассан занимает место между Шарко и Фрейдом. В



рассказе «Магнетизм» он изображает мужчину, увидевшего во сне знакомую женщину, к которой он никогда не испытывал желания. Женщина эта обнажена. Он овладевает ею. На завтра он идет к ней в гости, и она отдается ему. Мопассан устами своего героя объясняет: «Быть может, какой-нибудь ее взгляд, на который я не обратил внимания, дошел до меня в тот вечер в силу таинственных, бессознательных возвратов памяти, которые нередко восстанавливают перед нами все упущенное сознанием, все, что прошло в свое время незамеченным!» Превосходный анализ.

Есть, однако, и более убедительные примеры.

В первом варианте «Иветты» — в «Ивелине Саморис» — героиня, возмущенная поведением своей матери, кончает жизнь самоубийством. В «Иветте» же Мопассан отказывается от такого финала, чтобы оттенить саму попытку Иветты к самоубийству, приобретающему куда более сложный и непостижимый характер, как это часто бывает в жизни.

Тонко описанная во всех деталях попытка Иветты к самоубийству становится псевдосамоубийством — наполовину симуляция, наполовину искренний порыв — один из тех противоречивых поступков, на которые толкает женщину и действительное желание умереть, и стремление прибегнуть к сентиментальному шантажу как естественному проявлению слабости. Все это стало предметом изучения психиатров **значительно позднее**. Иветта хочет умереть, но в то же время подсознательно действует так, чтобы остались шансы на спасение.

Уже несколько раз тень Шопенгауэра скользнула по этим страницам. Чем можно объяснить симптомы душевного недомогания, столь частые в произведениях Мопассана? Больной писатель сам являлся объектом своих собственных наблюдений — это верно. Но верно также и то, что в очень молодом возрасте он уже увлекается Шопенгауэром, одним из исследователей психологии душевных глубин.

В рекламной статье, которую Мопассан, дабы обеспечить успех сборнику «Меданские вечера», опубликовал несколькими годами ранее в «Голуа», мы читаем: «Я бесконечно восхищаюсь великими корифеями этой школы (романтизма. — А. Л.), хотя разум мой при этом нередко возмущается, ибо я считаю, что жизненная философия Шопенгауэра и Герберта Спенсера гораздо глубже, чем взгляды знаменитого автора «Отверженных». Упоминания о философе из Данцига, умершем десять лет спустя после рождения Ги, изобилуют в его произведениях. В рассказе «У смертного одра» Мопассан создает редкий для него образ симпатичного немца, но этот немец особый: он знал Шопенгауэра.

«Я благоговейно взял книгу (с пометками Шопенгауэра. — А. Л.) и стал разглядывать непонятные мне слова (готический алфавит. — А. Л.), в которых запечатлелась бессмертная мысль величайшего в мире разрушителя человеческих грез». О Ницше Ги ничего не знает, разве только его имя. Мопассан, сравнивая Шопенгауэра с Вольтером, предпочитает «несокрушимую иронию» немецкого философа «невинному сарказму» автора «Кандида». «Пусть возражают и негодуют, пусть возмущаются или приходят в восторг, — Шопенгауэр навеки заклеил человечество печатью своего презрения и разочарования...»

Вполне понятно, что Мопассан объявляет себя учеником великого философа.

«Разуверившийся в радостях жизни (как сам Ги. — А. Л.), он ниспровергнул верования, чаяния, поэзию, мечты, подорвал стремления, разрушил наивную доверчивость (то же, что делает Ги. — А. Л.), убил любовь (то, что Ги пытается сделать. — А. Л.), низринул идеализм в отношении к женщине, развеял сладостные заблуждения сердца — осуществил величайшую, небывалую разоблачительную работу (то, что Ги собирается сделать. — А. Л.)...»

«— Значит, вы близко знали Шопенгауэра?

— Я был с ним до последнего его часа, сударь».

Шопенгауэр сквозь призму беллетризованной исповеди умирающего человека производит почти сверхъестественное впечатление. Мопассан рисует старого разрушителя «в шумной пивной, где Шопенгауэр, сухой и сморщенный, сидел среди учеников, смеясь своим незабываемым смехом, вгрызаясь в идеи и верования». Француз, который так мечтал о встрече с Шопенгауэром, удалился в смятении, заявив: «Мне кажется, что я провел час с самим дьяволом!»

Немец с товарищем бодрствует у постели только что скончавшегося Шопенгауэра. Им кажется, что и теперь философ смеется «тем страшным смехом, от которого нам страшно даже после его смерти». От трупа начинает исходить дурной запах. Оба друга переходят в соседнюю комнату. Внезапный шорох заставляет обоих ощутить ледяной холод. Они возвращаются в комнату покойника. Шопенгауэр более не смеется. Искусственная челюсть философа выпала изо рта — ослабили омертвевшие связки.

Влияние Герберта Спенсера было менее значительным, чем влияние немецкого философа. В то время как Шопенгауэр учил пессимиста Ги распознавать ловушки, уготованные ему природой, англичанин утверждал в нем смутное ощущение относительности знаний. «Если рассматривать

науку как сферу постепенно расширяющуюся (удивительное предвидение современных гипотез! — А. Л.), мы можем утверждать, что рост ее лишь увеличивает число точек соприкосновения с неведомым, окружающим ее».

Для Спенсера, равно как и для Мопассана, познание представлялось чистым обманом. Мысль не может постигнуть ни бесконечно большое, ни бесконечно малое. Этот факт приводит нас к неизбежности существования необъяснимого.

Безнадежность этого вывода удовлетворяет и оправдывает жизнерадостного пессимиста из Этрета.

Ги познакомился с Шопенгауэром по его «Мыслям и Максимумам», переведенным другом Мопассана Жаном Бурдо и опубликованным в 1880 году.

Ги открыл для себя немецкого философа не столько через изучение его трудов, сколько через беседы с Бурдо. В результате этих бесед 30 декабря 1880 года в «Голуа» появилась статья о «Современной Лизистрате» — статья, к которой необходимо подходить с осторожностью в связи с тем, что Мопассан значительно упростил мысли автора книги «Мир как воля и представление».

Опасаясь недовольства читательниц газеты, Мопассан с оглядкой начинает: «Несмотря на мое глубокое восхищение Шопенгауэром, до сих пор я считал его суждения о женщинах если не преувеличенными, то, во всяком случае, малоубедительными». И он кратко излагает эти суждения: женщины — это взрослые дети, зрелость их ума приостанавливается на восемнадцатом году жизни; они пусты и ограничены; их стремление к несправедливости, их «инстинктивное коварство и непреодолимая склонность ко лжи» — основной порок женской натуры.

Большинство женских образов нарисовано у Мопассана мрачными красками. Аббат Мариньян из «Лунного света» ненавидит их так же, как аббат из романа «Жизнь». Вот она, извечно одинаковая: «Женщина поистине была для него «двенадцать раз нечистое дитя», о котором говорит поэт... слабым и таинственно волнующим существом...» Такой она является и Полю, которого она убьет, сама того не желая: «Она взглянула на него с тем загадочным, коварным выражением, которое так внезапно появляется в глубине женских глаз...» Ее охватывает стремительное головокружение, которому она отдается, как Иветта... «А когда уже пала, то опускаешься все ниже и ниже». Это сама Манон. Ги восхищается женщиной, страшится и желает ее, но не поддается ей. «Посмотри, какими средствами пользуются самые честные Из них, чтобы добиться от нас того, чего они хотят... Они всегда выходят победительницами, старина, в

особенности тогда, когда дело идет о замужестве».

Эта Манон воды, Мелюзина<sup>[81]</sup> салонов и тротуара господствует над мужчиной подобно Лизистрате, подтверждая взгляды Шопенгауэра. «Любовь, этот наиболее скотский инстинкт, присущий каждому животному, эта ловушка, поставленная нам природой, превратилась в руках женщины в страшное оружие господства».

Но примерно к 1884–1885 годам женщина начала подумывать о том, чтобы отказаться от этого оружия. Предугадывая, во что выльется феминизм, Мопассан, хорошо осведомленный о «модных» идеях, реагирует с необыкновенной быстротой: «Наша владычица будет с нами на равной ноге. Тем хуже для нее!» Это напоминает подпись к рисунку в одном иллюстрированном журнальчике 1900-х годов, где изображены две суфражистки<sup>[82]</sup> из Латинского квартала, болтающие перед кафе на улице Суффло, на терассе которого сидят две «миленькие женщины». Первые говорят: «Мы хотим быть равными с мужчинами». Вторые же твердят: «Мы предпочитаем оставаться их любовницами!» Ничего нет удивительного в том, что автор «Иветты» на стороне последних. «Видите ли, сударыня, какова бы ни была любовь, соединяющая мужчину и женщину, они умом и душою всегда чужды друг другу; они остаются воюющими сторонами...»

Искусно завуалировать красотой свою отвратительную сущность — вот все, что Ги просит у женщин и будет просить все настойчивее: «Да, бывают такие женщины, расцветающие только для наших грез, украшенные всей поэзией, всем блеском идеала, всем эстетическим обаянием и чарами, какими цивилизация наделила женщину, эту статую из живой плоти, возбуждающую не только чувственную любовь, но и духовные стремления».

Для Мопассана, последователя Шопенгауэра, эта поэтизация женщины всего лишь предлог для того, чтобы продолжить поиск идеала, несмотря на постоянную изматывающую неудовлетворенность. И Ги полностью отдает себе в этом отчет. «Я люблю только одну-единственную женщину — Незнакомку, Долгожданную, Желанную — ту, что владеет моим сердцем, еще невидимая глазу, ту, что я наделяю в мечтах всеми мыслимыми совершенствами...» Он будет искать ее неустанно, ежедневно. Но такой женщины нет, и он отлично это знает.

И он приходит к беспощадному признанию:

«Я никогда не любил».

***Улица Моншанен, или «жилище Караибского сутенера». — Смерть в зеркале. — Тургенев и фантастический «прием номер два». — Погоня за собой. — Предчувствие смерти. — Вагнер и сиракузский Овн. — Палермские катакомбы. — Викинг перед Олимпом. — Милый друг и смерть Гюго. — Линия водораздела***

Тот вечер в Париже выдался на редкость теплым, и сладкий запах цветущих каштанов доносился из парка Монсо. В своем новом жилище Ги перечитывал гранки, доставленные ему из «Жиль Бласа»<sup>[83]</sup>. Звуки рояля Гуно, живущего по соседству, наполняли комнату. Ги встает из-за стола и подходит к окну небольшого особняка по улице Моншанен, 10, принадлежащего его кузену Луи ле Пуатвену. Это кокетливое, но не слишком броское трехэтажное здание в готическом стиле возвышается в модном квартале, неподалеку от площади Мальзерб. Не прошло еще и пяти лет, как был построен дом. Писатель занимает первый этаж особняка с апреля 1884 года, а Луи живет на втором этаже. Всего две-три сотни метров отделяют улицу Дюлон от улицы Моншанен, а между тем это сознательное бегство из квартала Ватиньоль, сплошь заселенного бездарными мазилами, поближе к зелени парка Монсо. Как и Париж, Мопассан стремится к Западу.

Изредка на коротенькую тихую улочку сворачивает фиакр, направляясь к Елисейским полям. Рояль Гуно смолкает.

Эту квартиру Гонкур назовет «жилищем караибского сутенера». Перед тем как поселиться здесь, Ги долго совещался с обойщиками. Он терпеть не может голых стен.

«Он поочередно наслаждается гранатово-красными обоями своей столовой, синей обивкой салона в стиле Людовика XVI и золотисто-желтым оттенком спальни».

Мопассан считает, что убранство жилища характеризует своего хозяина. В те годы дом писателя представлял собой караван-сарай в духе Лоти<sup>[84]</sup>. Здесь и кровати времен Генриха II, и буфеты эпохи Ренессанса, дикий мех, изображения итальянских святых, ризы и епитрахили, которыми этот агностик покрывает столы, и плохие картины, начиная с Жервекса и кончая Мейссонье. Кабинет принадлежит геркулесу, обладающему вкусом низкопробной кокотки: золоченые головки ангелов,

витражи из цветного стекла, окованные железом, сочная зелень вьющихся растений, ковры и драпировки. Огромный Будда с двумя христианскими святыми по бокам, водруженный на стол красного дерева, обещает писателю нирвану в шопенгауэровском духе.

Этот крепкий моряк, выносливый ходок, борец, любитель свежего воздуха и живой воды, этот поклонник простоты живет в душной теплице из «Добычи»<sup>[85]</sup>. «Как жен в гареме, холит он свои цветы. Их венчик — «таинственный заманчивый рот, сладостный на вкус, показывающий и снова скрывающий нежные, обаятельные и священные органы этих божественных маленьких созданий, которые приятно пахнут и не говорят». Более чем прозрачный намек. В горячем воздухе витают едва уловимые дурманящие запахи эпохи.

Гонкур был совершенно прав, говоря об этом изобличающем Мопассана времен «Милого друга» убранстве: «Черт побери, настоящая обстановка потаскушки!»

Безусловно, чувственность, которой пропитан весь воздух этого жилища, составляет основу основ романа, глава за главой отправляемого в типографию. Было бы, однако, ошибочно рассматривать роман «Милый друг», игнорируя второй его аспект — страх. Эротика является для Мопассана основой жизни, страх же — основа смерти, и обе эти темы сплетены, подобно символическим змеям на жезле Гермеса.

Писатель раскрывает себя по мере того, как им овладевает вдохновение. Мопассан вдохновляется от прикосновения к теме смерти столь же часто, сколь и от прикосновения к теме жизни. «Он думал о мухах, которые живут лишь несколько часов, о животных, которые живут несколько дней, о людях, которые живут несколько лет, о земле, которая живет вечно».

Невзирая на банальность, это песнь отчаяния. Ибо, если красавец Ги и умеет приспособиться к сексуальной стороне человеческого существования (однако с явно выраженным отвращением к грубости, с опустошенностью и страхом перед болезнью, порожденными близостью), то он не может смириться с мыслью о смерти. «С некоторого времени ему чудился в затхлом воздухе комнаты какой-то подозрительный запах...» Он раздувает ноздри. Поднимается с места, терзаемый своим удивительным даром романиста — насыщать мертвые слова жизнью, обуреваемый наивной сентиментальностью, которая заставляет его проливать слезы над судьбой своих героев, когда они несчастны, и радоваться вместе с ними, когда они счастливы. Он подходит к зеркалу. Вглядывается. Над широким лбом

вьются волосы, и в них мелькают серебристые нити. Лоб его могуч, словно из двух равных полушарий, но две глубокие складки пересекают его по горизонтали над самыми бровями. Если бы они, как реки на карте, носили бы имена, их называли бы Женщина и Смерть.

Прямой нос, победоносно раздувающиеся ноздри над густыми усами. Родинка под нижней губой подчеркивает резко выдающийся подбородок, который сливается с бычьей шеей, уходящей в распахнутый ворот сорочки. Зоб? Нет. Пока он еще только намечается — у этого человека слегка увеличена щитовидная железа.

Ги не может оторваться от зеркала.

— Всегда этот «незнакомец», — шепчет он.

Смерть глядит на него из зеркала, подстерегает его.

Сверкающее стекло зовет своего двойника. Другого. Себя самого. «Этого незнакомца, одетого в черное, который похож был на меня как родной брат...» Во времена, когда он писал «Милого друга», тема, затронутая им прежде в «Докторе Ираклии Глоссе», углубляется. Несколькими месяцами ранее Ги закончил «Сумасшедшего» — ранний вариант будущего «Орля». В этом рассказе главная роль отведена... зеркалу. Человек поворачивается спиной к зеркальному шкафу, у человека «странные глаза с сильно расширенными зрачками». Позади себя он улавливает какой-то хруст: «Я выпрямился и обернулся так резко, что чуть не потерял равновесия. Было светло как среди бела дня, но я не увидел своего отражения в зеркале! Оно было пусто, прозрачно, полно света. Меня в нем не было, а между тем я стоял против него...» Неизвестное существо скользнуло между человеком и его расплывшимся, еле видимым отражением. И «вот я начал узнавать себя в тумане, в глубине стекла, словно сквозь воду; и мне казалось, что эта вода скользила слева направо, медленно, все более просветляя мой образ...»

Это мгновенное помрачение обращает нас к лучшим страницам научно-фантастической литературы, которую оно предвещает. Какой тяжеловесной и наивной выглядит фантастика десятилетней давности в «Докторе Глоссе» и «Руке трупа»! Обретший вкус Ги усвоил наконец урок Тургенева: фантастическое выглядит тем более достоверным, чем ближе оно к обычному. «Никто лучше великого русского писателя не умел пробудить в душе трепет перед неведомым... Он умел внушить нам безотчетный страх перед Незримым, боязнь неизвестного, который притаился за стеной... Он не вторгался смело в область сверхъестественного, как Эдгар По или Гофман; в его простых рассказах

жуткое и непонятное сплеталось в одно...»

Рассуждения Мопассана очень точны- «Писатель занялся поисками едва уловимых оттенков; теперь он скорее кружил вокруг сверхъестественного, чем приобщал 13 а Лану 193 нас к нему. Он находил потрясающие эффекты, оставаясь на грани жизненной правды».

Именно то, к чему стремится Мопассан, открыв для себя новую фантастическую манеру.

Он утирает лоб, покрытый бисеринками пота. Болит правый глаз... Тассар постучал в дверь и вошел, но Ги не слышит этого. В своих записках Франсуа расскажет: «В 1885 году, когда он пребывал в полном расцвете — как физическом, так и моральном, Ги де Мопассана преследовали странные галлюцинации. Не раз видел я, как, оборвав фразу на середине, уставившись глазами в пустоту, наморщив лоб, он словно бы прислушивался к таинственному голосу. Это состояние длилось всего лишь несколько секунд, но, возвращаясь из забытия, он говорил слабым голосом, тщательно выговаривая слова...» Франсуа это точно подметил. Молниеносное озарение: «Человек, который возвращается в мир».

Франсуа смущенно покашливает.

— В чем дело? Я же просил вас не беспокоить меня, когда я пишу!

— Срочный пакет от госпожи графини...

— От какой? Их было восемь на обеде неделю назад.

— От графини Потоцкой, сударь.

Мопассан принимает пакет, вскрывает его и застывает на миг.

— Что с вами, сударь? Вам не по себе?

— Принесите мне антипирин и оставьте меня одного.

Смерть и Графиня! Какой прекрасный сюжет... В романе «Сильна как смерть» (еще одно изобличающее название!) он вернется к теме смерти, исходящей от зеркала. Графиня де Гилье — еще одна — недавно похоронила мать: «Ей казалось, что она в самом деле чувствует какой-то неуловимый зуд, чувствует, как медленно расползаются морщины на лбу, как обвисает ткань щек и груди и множатся бесчисленные мелкие складочки, от которых усталая кожа кажется измятой. Как мучительный зуд заставляет пораженного какой-нибудь кожной болезнью постоянно чесаться, так сознание и боязнь разрушительной и тонкой работы быстро бегущего времени вызвали в ней непреодолимую потребность глядеть в зеркало, чтобы беспрестанно убеждаться в этом. Это сознание, эта боязнь манили ее, влекли, толкали к зеркалам, и она, не отрываясь, смотрела в них и без конца разглядывала, ощупывала, словно желая удостовериться,



неизгладимые следы ущерба, причиненного временем... Это стало у нее болезнью, манией...»

Лучше не скажешь — другого слова не найти.

В том же 1885 году Ги доверительно поделится с госпожой Х.: «Подолгу задерживаясь взглядом на собственном облике, отраженном в зеркале, я подчас утрачиваю ощущение самого себя. В такие минуты все смешивается в моем сознании, и мне странно видеть здесь эту голову, которую я более не узнаю. Тогда... мне кажется удивительным быть тем, кто я есть... то есть кем-то...»

Когда роман «Милый друг» впервые появляется на прилавках магазинов, Ги де Мопассан румян, как яблоко, и сохраняет еще ясность ума. А между тем наваждения уже преследуют его. Нельзя без волнения читать далее в том же письме: «Чувствую, что — продлись это состояние еще хотя бы минуту — я окончательно превратился бы в сумасшедшего».

Слово «сумасшедший» не представляет здесь свидетельской ценности для психиатров; несомненно, однако, тот факт, что сифилис развивался, приближая больного к прогрессивному параличу.

Такой же одержимостью собственным образом Мопассан наделил грубоватого Милого друга: лейтмотивом проходит она через весь роман. Ги отдает себе в этом отчет вечером, перечитывая написанное. Никогда не устанешь удивляться написанному тобой! Помните: Милый друг впервые направляется с визитом к своему покровителю Форестье. Одетый во все новое, он не узнает себя в зеркале: «...вдруг прямо перед ним вырос элегантно одетый господин, смотревший на него в упор». Вне себя от радости после свидания с прелестной госпожой де Марель, Милый друг «любезно улыбнулся своему отражению и отвесил ему, точно некой важной особе, почтительный низкий поклон». Дюруа, разбогатевший после того, как выудил у жены половину состояния, завещанного ей любовником (привычный для Мопассана сюжет), возвращается вместе с ней домой и входит в темный подъезд: «Газ на лестнице уже не горел. Журналист то и дело зажигал восковые спички. На площадке второго этажа огонек чиркнувшей и вспыхнувшей спички выхватил из темноты зеркало, и в нем четко обозначились две фигуры. Казалось, будто два призрака появились внезапно и тотчас же снова уйдут в ночь». Мопассан заканчивает все это несколько театральной фразой: «Чтобы ярче осветить их, Дюруа (Милый друг. — А. Л.) высоко поднял руку и с торжествующим смехом воскликнул: «Вот идут миллионеры!»

При мягком золотистом свете керосиновой лампы, который он

предпочитает нервным вспышкам газа и резкой желтизне молодого электричества, писатель погружается в пессимизм, свойственный Норберу де Варенну<sup>[86]</sup>. «Видите ли, настанет день, — а для многих он настанет очень скоро, — когда вам, как говорится, уже не до смеха, когда вы начинаете замечать, что за всем, куда ни посмотришь, будет стоять смерть».

Мопассан останавливается на миг и поправляет:

«Стоит смерть».

Он мягко улыбается, вспоминая Флобера. Улыбка угасает по мере того, как он перечитывает: «...От жизнерадостного, бодрого, сильного человека, каким я был в тридцать лет, не осталось и следа. Я видел, с какой злобной, расчетливой кропотливостью она окрашивала в белый цвет мои черные волосы. Она отняла у меня гладкую кожу, мускулы, зубы, все мое юное тело и оставила лишь полную отчаяния душу, да и ту скоро похитит».

В своей теплице, в тишине, нарушаемой только мерным тиканьем часов, писатель отодвигает стул, который скрипит, как веревки, царапавшие бока гроба пять лет тому назад в Круассе. «И — через сколько лет я буду как Норбер де Варенн? Через десять? Через пять?.. Ах! Все религии бессмысленны — с их наивной моралью и чудовищно глупыми эгоистичными посулами. Достоверна только смерть». Мопассан не прочел записки, которую ему подал Франсуа. Взбалмошной графине придется подождать. Он собирается прилечь отдохнуть. Проскользнув мимо серебристого омута зеркала, Ги машинально потирает правый глаз.

15 апреля 1885 года художник Жервекс и журналист Жорж Легран вместе с Ги встречаются в Риме упоительную итальянскую весну. Анри Амик, романист и драматург, должен присоединиться к ним в Неаполе. Ги обожает путешествовать, «вынырнув» на какое-то время из романа, над которым он работает. Болезненно воспринимающий поток новизны, он не оценил Венецию по достоинству, но ему очень понравился Веронезе. Рим он находит ужасным, даже живопись! «Страшный суд» Микеланджело похож на ярмарочный занавес, написанный невеждой угольщиком для балагана, где состязаются борцы; это мнение Жервекса и воспитанников Римской школы, с которыми я вчера обедал».

Разочарованный, он уезжает в Неаполь. Вот это город! О, улица Чиайя, надменные офицеры, дерзкие чернявые девчонки с волосатыми ногами, вшивые попрошайки, фа-чини, протягивающие вам два пальца, сложенные наподобие рогов, чтобы отвести от вас дурной глаз судьбы и требующие за это щедрого подаяния, нищенки, греющие свои тощие зады у всех на глазах, в то время как какой-то бездельник распевает «Санта-Лючия». Из

распахнутых дверей trattorie доносится аппетитный дух горячей снеди, а бесчисленные церкви в стиле барокко словно бы опираются на плечи мраморных колонн! Он обожает Неаполь, источающий все запахи мира, он влюблен в неаполитанцев, «подвижных, жестикулирующих, кричащих, всегда возбужденных, всегда словно бы охваченных лихорадкой».

— Если вы пожелаете, эти распутники дадут вам возможность переспать даже с Везувием!»

О, эти веселые приятели! Они могут позволить себе и благовидное и неблаговидное! Они завтракают в trattorie «Палино» дарами моря, запеченными в тесте, и пиццей, взбираются на Вомеро, пересекают Торредель Греко, посещают Геркуланум и поднимаются на Везувий в вагончике фуникулера. Ги предпочитает всему прочему побережье, Сорренто, Амальфи, Салерно и Пестум. Он счастлив на тартане, увозящем их на Капри — медовый пряник в лазурном море, — далее в Ичия. 15 мая путешественники переправились через Мессинский пролив между Сциллой и Харибдой. Из отеля «Катания» Ги пишет Эрмине Леконт дю Нуи: «Я поднимаюсь в четыре или пять утра, затем еду в повозке или иду пешком. Я вижу памятники, горы, города, развалины, изумительные греческие храмы или причудливые пейзажи, а затем вулканы — маленькие вулканы, изрыгающие грязь, и большие, изрыгающие огонь. Через час я собираюсь предпринять восхождение на Этну».

Он предполагает вернуться в Париж в начале июня, а затем отправиться на лечение в Шатель-Гюйон, «ибо у меня болит желудок да глаза никуда не годятся». А пока что Ги возвращается в Рим, где гостит у графа Примоли в Палаццо Примоли на виа Торре ди Нина.

В Палермо, на вилле Ангри, великий французский писатель пожелал ознакомиться с квартирой, где Вагнер написал последние аккорды «Парсифаля».

— Да, сударь, большой диван стоял посреди комнаты и был обтянут блестящей златотканой обивкой.

В раздумье Ги подошел к окну, рассеянно оглядел парк, потом резко повернулся к старинному зеркальному шкафу. На миг его охватило изумление: он увидел свое отражение искаженным.

— Здесь господин Вагнер хранил свое белье, опрысканное розовой эссенцией...

Рассохшаяся дверца отчаянно скрипит.

— Этот запах никогда не выветрится, синьор.

А в музее Палермо Мопассан останавливается перед необыкновенным бронзовым Овном, найденным в развалинах Сиракуз. Ги зачарован этим

удивительным символом религии тиранов, его откровенностью, его безграничной дерзостью и он добрый час стоит «перед этим самцом, который как бы воплощает в себе животное начало мира... Эта голова животного кажется головою бога, скотского, нечистого и великолепного бога».

Ги не может оторвать глаз от материализованного человекозверя. Иные люди в незапамятные времена высказали то, что он хочет сказать сейчас. Он их брат, он брат этого странного животного.

Время от времени он с робостью, как бы стыдясь, будет признаваться в этом чувстве, исподволь овладевающим им: «Во мне трепещет нечто от всех животных, от всех их инстинктов, от всех смутных желаний низших тварей».

Как из храма выходит он из музея на залитую солнцем площадь. Он только что видел символическое воплощение животного начала в человеке.

Кроме Анри Амика, Леграна и Жервекса, вместе с ним развлекается и кутит целая банда во главе с молодым принцем Скалеа и виконтом де Серионом, который в результате веселых приключений неожиданно оказывается женатым, что и вызывает у Ги неудержимый приступ хохота. Вечером он проделывает обычные свои номера. Ги утверждает, что ел человеческое мясо, и наконец переходит к фривольным шуткам... О, неисправимый озорник!

Между тем во время бесцельных прогулок по Палермо ему несколько раз попадалась на глаза «странная фотография, изображающая подземелье со множеством мертвецов, гримасничающих скелетов в причудливых нарядах». Вернувшись в отель, он услышал от одного из своих друзей-итальянцев объяснение, ничем не отличавшееся от тех рассказней, которыми потешали его словоохотливые прохожие:

— Не ходите смотреть на эту мерзость. Чудовищная, дикая вещь, которая должна скоро исчезнуть. Впрочем, там уже больше не хоронят. К счастью...

Этого было вполне достаточно. Однажды утром Ги позвонил перед входом в катакомбы капуцинов. Старик монах в глухом капюшоне, надвинутом на глаза, открыл дверь и, не обращая никакого внимания на несколько итальянских слов, произнесенных Мопассаном, жестом пригласил его следовать за собой.

Они спускаются по широкой каменной лестнице и попадают в огромную галерею. Тысячи корчащихся одетых мертвецов, подвешенных к потолку, прислоненных к стенам. Эти гримасничающие марионетки глядят

вслед незваному гостю. Таблички, болтающиеся на шеях, указывают имя и год смерти. Последние из усопших очутились здесь в 1882 году. «Так это, значит, человек или то, что было человеком три года назад. Он жил, смеялся, разговаривал, ел, пил, был полон радости и надежд. И вот он теперь!»

Сицилийская земля обладает удивительной способностью мумифицировать трупы. Год спустя после похорон близкие покойника выкапывают его из могилы и подвешивают в одной из главных галерей.

Ги углубляется в женскую галерею: «Женщины еще более уродливо комичны, чем мужчины, потому что их кокетливо принарядили. Пустые глазницы глядят на вас из-под кружевных, украшенных лентами чепцов, обрамляющих своей ослепительной белизной эти черные лица, жутко прогнившие, изъеденные тлением». Чулки, «облегающие кости ног, кажутся пустыми». ДонЖуан взирает на свой адский гарем: «А вот и молодые девушки, безобразные молодые девушки. Они кажутся старухами, глубокими старухами, так искажены их лица. А им шестнадцать, восемнадцать, двадцать лет. Какой ужас!»

И дети, на которых все еще приходят глядеть их матери! И священники в своих облачениях — черных, красных и фиолетовых!

С нервической словоохотливостью гид рассказывает истории, и Мопассану, скверно владеющему итальянским, они кажутся еще более гофмановскими — вроде той, в которой уснувший в катакомбах пьянчуга оказывается по недосмотру взаперти и, проснувшись среди ночи, сходит с ума. С тех пор у дверей повесили колокол. Время от времени он звонит...

Когда Ги наконец выбрался из катакомб и очутился на воздухе, пропахшем густым ароматом весны, и увидел величественный силуэт горы Пеллегрини в форме сахарной головы, то взял коляску и отправился в Таско, под сень апельсиновой рощи Золотой Раковины. Вскоре Ги уехал осматривать Сицилийскую Грецию — Сегесту, Агригент и Сиракузы.

Нормандец, привыкший к шелковистой траве, к серым волнам Ла-Манша, полюбил южные колючие растения, которые сплошь покрывают склоны. Агригент приводит его в восхищение: «На гребне длинного каменистого берега, совершенно голого, огненно-красного, без единой травинки, без единого куста, возвышаются над морем, пляжем и гаванью, на синем фоне южного неба — если глядеть снизу — величественные каменные очертания трех великолепных храмов...»

Сицилия ему «открыла Грецию», и перед потрясенным Викингом забрезжил Олимп. В Сиракузах, после Зверя и Смерти, его ожидала сама

Венера — величественная мраморная женщина. «Такая женщина, какая она в действительности, какую любят, какую желают, какую жаждут обнять. Она полная, с сильной развитой грудью, с мощными бедрами, с немного тяжеловатыми ногами...» Внезапно он испытывает страшное ощущение — богиня обезглавлена. «Она без головы? Ну так что же! От этого символ стал еще выразительнее». «Подлинная ловушка для мужчин, которую угадал древний ваятель... Соблазнительная тайна жизни».

Вывод великолепен: «Простой и естественный жест, исполненный стыдливости и бесстыдства, жест, который одновременно и скрывает, и показывает, прячет и обнажает, притягивает и утаивает — как бы предельно точно определяя все поведение женщины на земле».

Языческая Венера, как и Овн, бросала вызов пустым марионеткам христианского мира.

Между тем Мопассан не забывает и о делах. Он пишет письмо Золя, извиняясь перед ним за молчание по поводу только что вышедшего в свет романа «Жерминаль». Но у него есть на то причины, заслуживающие оправдания: глаза настолько утомлены, что ему пришлось просить своего друга Анри Амика прочесть книгу вслух.

Произведение, как всегда, нравится ему больше, чем сам автор. «Вы привели в движение такую огромную массу внушающего сострадания, жалкого и грубого человечества, вскрыли столько страданий и плачевной глупости, всколыхнули такую страшную и безотрадно-унылую толпу, и все это на таком поразительном фоне, что, конечно, никогда еще ни одна книга не была столь полна жизни и движения, не вбирала в себя такую массу народа... Добавлю, что здесь — в стране, где вас очень любят, — я ежедневно слышу разговоры о **«Жерминале»**.

Ги де Мопассан, не связанный ни с какими литературными течениями, искренне оценил своеобразие «Жерминаля», первого большого романа о жизни рабочих.

Первого июня, вернувшись в Рим, Ги находит множество писем. Так вот оно что! «Милый друг» наделал много шума! Вся французская пресса кипит негодованием, куда более сильным, чем то, которое предугадывал сам Мопассан в разговорах с Франсуа. Нормандец тотчас же берется за перо и пишет главному редактору газеты «Жиль Блас»: «Меня, по всей видимости, обвиняют в том, что, рассказывая о газете **«Французская жизнь»**, являющейся плодом моего воображения, я якобы хотел подвергнуть критике или, вернее, осудить всю парижскую прессу. Если бы я выбрал какую-нибудь крупную, действительно существующую газету

(следует понимать — такую, как «Жиль Блас». — А. Л.), то те, которые сердятся на меня, были бы совершенно правы; но я, напротив, решил взять один из тех подозрительных листков, которые представляют собою нечто вроде рупора банды политических проходимцев и биржевых пенкоснимателей, ибо такие листки, к несчастью, существуют... Возымев желание обрисовать негодяя, я поместил его в достойную среду, для того чтобы придать большую выпуклость этому персонажу... Но можно ли было, хотя бы на секунду, предположить, что я намеревался обобщить все парижские газеты в одной...»

Он дезавуирует своего героя — эту мелкую каналью, этого негодяя, этого подлеца! Черт возьми, Милый друг «пользуется прессой так же, как вор пользуется лестницей. Я описал сомнительную журнальную среду так, как описывают любое сомнительное общество. Разве это запрещено?»

Но все это чрезвычайно сложно. Разумеется, братья журналисты, выведенные из себя дерзким успехом Мопассана, воспользовались случаем, чтобы напасть на него. Необходимо, однако, сказать в их оправдание, что роман содержал «множество достаточно прозрачных намеков», которые скрыты от нас, но которые «каждый журналист мог обнаружить...».

Одним словом, пора возвращаться в Париж.

В Париже, невзирая на шумиху, роман расходуется медленно. «Милый друг» задерживает Ги в столице. 7 июля он все еще там: «Я предпринимаю ряд мер, чтобы оживить продажу, но пока без большого успеха. Смерть Виктора Гюго нанесла нам страшный удар. Мы на двадцать седьмом издании, тринадцать тысяч экземпляров продано. Как я тебе говорил, мы дойдем до двадцати тысяч или двадцати двух. Это весьма почетно, но и только».

И действительно, необыкновенный караул у гроба покойного поэта 31 мая 1885 года под Триумфальной аркой, этот неведомый дотоле парад похоронного искусства, отвлекает внимание публики. Как и все французы, Мопассан читал завещание, прозвучавшее подобно грому среди бела дня: «Пятьдесят тысяч франков я завещаю бедным. Желаю быть доставленным на кладбище на их похоронных дрогах. Я отказываюсь от церковных панихид в каких бы то ни было храмах. Я хочу, чтобы обо мне молились души». Приостановлены все очередные дела. Назначается экстренное заседание кабинета министров, а муниципальный совет переименовывает авеню Эйлау в авеню Виктора Гюго. Церковь Пантеона сочтена недостойной для праха великого человека. Катафалк установили под Триумфальной аркой, обвитой траурным креном, задрапированной огромным полотнищем... Пахнет мятежом... Здесь уже и коммунары,

возвратившиеся после версальского кровопролития, в своих блузах а-ля Курбе. Кирасиры в касках, украшенных султанами, разгоняют толпу манифестантов, угрожая саблями.

Помимо положенной печали, испытываемой во всей этой шумихе по собрату по профессии, Мопассан переживает искреннее огорчение. Гюго зачаровал в свое время ребенка из Ивето и Руана. До сих пор в его ушах звучит раскатистый голос Флобера, декламирующего стихи Гюго. Да и сам Ги с истинным чувством читал ночью на Сене «Осéапо Nox». Но «Милый друг» может затеряться в этом шквале! Наконец с продажей все налаживается. Уф-ф! Теперь Ги сумеет покинуть Париж.

Ги предстоит провести в Шатель-Гюйоне курс лечения, о котором он писал Эрмине Леконт дю Нуи. Курорт этот совсем недавно вошел в моду благодаря его другу доктору Потэну. Уже после первого пребывания в Шатель-Гюйоне в 1883 году Мопассан стал подумывать об использовании этого вынужденного знакомства с лечебными источниками в своих произведениях. В доме доктора Барадюка, медицинского инспектора лечебных вод, друга Гюстава де Мопассана, Ги начинает новый роман.

Последние годы были удивительно плодотворными. В 1883 году Мопассан опубликовал «Жизнь» и «Рассказы вальдшнепа» отдельными книгами, а также множество рассказов в периодике — таких, как «Господин Иокаста», «Дядюшка Милон», «Мадемуазель кокотка», «Он?», «Мисс Гарриет», «Сестры Рондоли», «Старуха Соваж», «Иветта», «Гарсон, кружку пива!» и о самом Шатель-Гюйоне — «Больные и врачи». В 1885 году появляются «Милый друг», «Зверь дяди Бельома», «Мои 25 дней» — опять же о Шатель-Гюйоне, «В пути», «Сумасшедший?», «Маленькая Рок», «Сказки дня и ночи» и значительная часть набросков, посвященных миленьким графиням.

Год появления «Милого друга» — решающий год в творчестве Мопассана. Прежде всего этот роман представляет собой уникальный слепок с того слоя общества, который принято называть «сливками». И наконец, определенно выявляется кривая литературной продукции Мопассана. Успех, принесенный ему рассказами и злободневной журналистикой, не может отвлечь его от многопланового романа.

Между 1880 и 1890 годами Мопассан опубликует почти все свои произведения: около трехсот рассказов, шесть романов, три повести, сборник стихов и многочисленные очерки. Небезынтересно отметить распределение по жанрам — оно как бы намечает вехи в эволюции творчества писателя. В 1881 году он публикует дюжину рассказов, в 1882—



1883 и 1884 годах будет опубликовано более пятидесяти рассказов, а спрос на них постоянно растёт. В 1885 году отмечается некоторый спад: всего тридцать, — но не потому, что он охладел к новелле как к таковой, а в связи с тем, что этот год — год рождения «Милого друга». Вдохновленный успехом романа, автор продолжает развивать эту линию в ущерб своим «маленьким историям». 1886 и 1887 годы дадут лишь по двадцати рассказов: число их упадет до десяти в 1889 году и до пяти в 1890-м. Зато в то же время он будет писать по одному роману в год.

В 1885 году Мопассан уходит от журналистики и новеллы — так же, как ушел он от поэзии пятью годами раньше.

Бывший служащий с улицы Руаяль, достигший физического расцвета в 1880 году, по возвращении с Корсики, теперь достиг и совершенной творческой зрелости. Никогда более не будет он автором «Пышки» и «Милого друга», чей шумный успех окончательно освободил его. Рождается новый Мопассан — тот, который вознамерится стать «Бальзаком светских женщин».

*С почтением от Милого друга. — Прототипы Милого друга. — Загадочная Мадлен Форестье. — Гарем Дюруа. — Усы и шевелюра. — Крах «Всеобщего союза». — Изнанка тунисского дела. — Политические убеждения господина де Мопассана. — «Милый друг» уходит в море*

Осенью 1932 года литературный обозреватель Фернанд Вандерем, прогуливаясь по площади Мадлен, зашел в книжный магазин издательства «Конар». Листая старые книги со сдержанной пресыщенностью знатока, столь хорошо знакомой коллекционерам, он внезапно вздрогнул и не смог сдержать возглас радостного удивления. На титульном листе довольно-таки потрепанного экземпляра «Милого друга» он узнал изящный, с легким наклоном почерк Мопассана.

«Госпоже Б. с почтением от Милого друга».

Сомнений не было: надпись сделана рукой Мопассана; почерк изящный, аккуратный, стремительный, ровный, буква «д» с завитушками, некоторые буквы, написанные в отрыве от слова, свидетельствовали о нервозности, сдерживаемой волей автора, благодаря чему строчка приобретала словно бы мускулистую упругость; и наконец, подпись — круглая, горделивая. Факсимиле нервного человека, отлично владеющего собой. Краткость посвящения (имя было не указано) и прямолинейность автора давали повод для выдвижения множества гипотез.

Разумеется, в то время уже было известно, что Мопассан нередко отождествлял себя со своим героем. Это подтверждал Жорж де Порто-Риш в книге «Перед моими глазами»: «Милый друг — это я», — говорил Ги, смеясь, когда роман его только-только появился в продаже. «Франсуа Тассар, в свой черед, находит прозвище настолько естественным, что, рассказывая о том, как его хозяин гримировался «под негра» для очередной своей проделки, непроизвольно называет Мопассана Милым другом».

Существует еще одно обстоятельство, о котором не знал Фернанд Вандерем: надпись на найденной им книге была отнюдь не единственной. Мопассан воспроизводил ее довольно часто в различных вариантах — как, например, нижеследующая, правда не столь прямолинейная и откровенная: «Госпоже Пуше от ее преданного друга Ги де Мопассана, именуемого Милым другом». Или другая подпись, достаточно определенная, адресованная Эрмине: «Остаюсь, мадам, вашим почтительным другом,

именуемым М. Д. Мопассаном».

«Милый друг — это я» стало столь же знакомым утверждением, как флоберовское «Мадам Бовари — это я».

Литературный критик Альбер Тибодэ замечает: «Все же ни одному из читателей романа не пришло бы в голову видеть в Милом друге самого автора...»

Тибодэ предпринял попытку систематизировать отличия Мопассана от его героя. Милый друг не умел писать, в то время как Мопассан был большим писателем; Милый друг добивается своего благодаря женщинам, тогда как Мопассан не просил у них ничего, кроме их самих, и т. д. Тибодэ приводит также письмо Мопассана из Рима, в котором тот развенчивает своего героя. Вместе с тем критик вынужден отметить существенное сходство автора и героя: сексуальность, карьеризм, внешность, пренебрежение к женщинам, атеизм, любовь к родному краю, любовь к воде, страх перед смертью.

Ныне, быть может, позволительно предположить (поскольку анализируемое нами сходство признавал сам автор), что духовно Мопассан был куда ближе к своему Милому другу, чем Флобер — к мадам Бовари.

Молодой авантюрист без гроша в кармане, бывший сержант гусарского полка, влачит в Париже жалкое существование демобилизованного. Владелец роскошных усов и эластичной совести, Дюруа без труда соблазняет женщин. Он встречается друга своего детства журналиста Форестье, жена которого Мадлен пишет за него статьи в газеты. Форестье, умирающий от чахотки, вводит Дюруа в среду журналистов. Так как Дюруа, вскоре получивший прозвище «Милый друг», пишет столь же плохо, как и его покровитель, Мадлен, ставшая его любовницей, строчит за него очерки для столичной прессы. Дюруа, быстро усвоивший все преимущества такого сотрудничества, в дальнейшем с успехом пользуется ими. Он начинает с того, что женится на овдовевшей Мадлен. Высосав из нее все, что для него полезно, он уличает ее в измене с одним из министров правительства. Этот министр в союзе с крупным финансистом, используя газету, в которой сотрудничает Дюруа, подготавливает выгодную для себя политическую интригу, связанную с интервенцией в Марокко. Дюруа вынашивает план мести: получив развод, он похищает дочь финансиста и женится на ней. Милый друг добивается всего: почета, власти, женщин. Мир — это маскарад, в котором успех сопутствует негодяям.

В журналистских кругах называли нескольких прототипов Милого

друга. Один из них — пронырливый журналист, забияка и хвастун, бывший унтер-офицер, высоко ценимый читательницами «Жиль Бласа», Рене Мезруа, называвший себя бароном Рене-Жаном Туссенем. В 1883 году Мопассан написал предисловие к последней работе Мезруа: «Женщины, которые осмеливаются». К моменту выхода в свет «Милого друга» Мопассан обратился к своему издателю Виктору Авару, прося его помочь Мезруа выпутаться из грязной истории: «Это письмо сугубо конфиденциальное. Рене Мезруа пишет мне, что, если я не позднее чем через четыре дня не одолжу ему триста франков, ему ничего не останется, как покончить с собой. Я сообщаю ему, что вы должны мне двести франков, и я уполномочиваю вас передать их ему».

В своем предисловии Мопассан допускает самые циничные признания. «Я удивляюсь тому, как может женщина быть для мужчины чем-то большим, нежели простым развлечением, которое легко разнообразить, как мы разнообразим хороший стол, или тем, что принято называть спортом... Меня никто не разубедит в том, что две женщины лучше одной, три — лучше двух, а десять — лучше трех... Человек, решивший постоянно ограничиваться только одной женщиной, поступил бы так же странно и нелепо, как любитель устриц, который вздумал бы за завтраком, за обедом, за ужином круглый год есть одни устрицы...»

Это, как всегда, не более чем бравада.

Известно, что Мезруа нередко прибегал к помощи женщин при подготовке газетных статей! Помимо Эрве, родного брата Мопассана, служившего в 1877 году в гусарском полку, прототипом «Милого друга» мог быть барон Людовик де Во, также сотрудник «Жиль Бласа», называвшийся Шарлем из Сен-Сира. Бывший унтер-офицер сверхсрочной службы, он, как и Мезруа, присвоил себе дворянский титул и вскоре стал значительной фигурой на Бульварах. Знаток лошадей, псовой охоты, прекрасный стрелок, завсегдатай варьете — этот «барон шантажа был всегда в курсе всех скандалов Парижа». Он опубликовал небольшой этюд об оружии, в котором выводит Мопассана как «совершенного атлета, словно бы созданного для палочного боя и бокса, неутомимого в этих упражнениях, которым великолепно соответствовала его мускулатура Фарнезского Геркулеса. Никогда не встречал я другого человека, который выполнял бы **прикрытую розу** с такой скоростью, как он. Держа палку над головой, он придает своему оружию такую скорость вращения, что голова его оказывается словно бы защищенной непробиваемым шлемом».

Плутовское зверье копошилось вокруг «Жиль Бласа» на улице Глюк, как десятью годами раньше гребцы вокруг «Лягушатни». Барон занимал

первый кабинет налево от входа. Главным украшением кабинета был диван. Когда к барону приходили красивые посетительницы, он демонстративно запирает дверь на ключ.

Ги свой человек в редакции. «Здесь пахло затхлостью, кожаной обивкой мебели, табаком и типографией. Здесь царил тот особый аромат редакции, который так хорошо знаком всякому журналисту».

Издатель Оллендорф в 1900 или 1901 году рассказал своему литературному секретарю Мишелю Жорж-Мише-лю, что Мопассан получал по тысяче франков за новеллу, к всеобщему изумлению прочих писателей, встречавшихся с ним у кассы. Ги, хрустя новенькой купюрой, восклицал:

— Вот сколько он получает, Мопассан!

Фердинанд Бак часто встречал Мопассана в том же «Жиль Бласе»: «Он запомнился мне приземистым, косматым и сильным. Темноглазый, загорелый и обветренный, он носил сорочки с распахнутым воротом, открывавшим мощную шею, небрежно повязанную темно-синим галстуком в горошек. Он производил впечатление застенчивого человека». Бык, но бык застенчивый.

Жак-Эмиль Бланш едко заметит: «Унтер-офицер, типичный лодочник из Аржантейя». Порто-Риш, напротив, скажет с симпатией: «Он не походил на литератора. Он был замкнут, неболтлив, избегал красноречия. Всякий вступивший с ним в общение не мог не задать себе вопрос: «Я ему надоел или, наоборот, доставляю ему удовольствие?»

Это замечание также справедливо: характерное проявление циклотимии.

С великим трудом справляясь со своими статьями, Дюруа прибегал к помощи женщины; это одна из характерных черт Милого друга. Трудно писал и Мопассан: он чуть не плакал, сидя над листом бумаги.

Мопассан тоже встретил в жизни свою «мадам Форестье» — Эрмину Леконт дю Нуи, соседку из Этрета; была у него и другая таинственная Эгерия<sup>[87]</sup>, предшествовавшая Эрмине.

В одном из очерков, подписанном еще псевдонимом Мофриньез и озаглавленном «Женщины в политике», Мопассан писал: «Та, чью историю я хочу рассказать, не называя имени, долго жила до и после замужества в одном из крупных городов Центральной Франции. Ее отец, человек пожилой и ученый, напичкал ее исторической, а главное, мемуарной литературой... Вместо того чтобы грезить о влюбленных юношах, при свете луны похищающих своих дам, она думала о крупных европейских

событиях, умудрялась с успехом разбираться в них, давая мудрые, прозорливые советы некоему государственному мужу.

...Выйдя замуж против воли за чиновника, человека бесцветного и ограниченного, она чинно жила бок о бок с ним, а он так никогда и не заподозрил, что таится в душе жены... После смерти отца она сумела добиться перевода мужа в Париж. Вскоре после переезда он умер. Она достала пригласительные билеты на заседания палаты депутатов и принялась терпеливо изучать многообещающих политических деятелей — цвет и надежду Франции. Наконец она выбрала одного из них... И вот между ними начался обмен необычайными письмами, в которых мысли о политике переплетались с изысканными выражениями чувств. У ее избранника был легковоспламеняющийся темперамент южанина... он был тронут, пленен... Он захотел встретиться с ней, она отказалась... Зато каждую неделю он получал длинное, похожее на отчет дипломата письмо... Порою в своих речах... он дословно повторял целые страницы из ее анонимных писем... В эти дни газеты писали, что он превзошел самого себя.

Он почувствовал, что сердце его покорено, ум одурманен, голова кружится, и заявил наконец своей незнакомке, что порвет всякие отношения с ней, если она не согласится стать его видимым другом... Они полюбили друг друга, и чувство это было основано на рассудке, на духовной гармонии и европейском равновесии, на географических соображениях и на взаимном понимании. Она стала его любовницей, но не это было для них главное!»

Бесспорно, Мопассан описал здесь Леонию Леон, Эгерию Гамбетты. Есть основания предполагать, что таинственная сестра этой дамы одно время водила рукой Мопассана.

Если и поговаривали о том, что за Мезруа кто-то писал его романы, если и предполагали, что то же самое происходило и с бароном де Во, если и Мопассан в раннем периоде своего творчества, быть может, тоже прибегал к подобной помощи, если история и полна рассказами о писателях и политиках, пользовавшихся услугами советчиц, сколь проницательных, столь и таинственных, если совсем недавно и имел место судебный процесс, на котором наследники Юлии Доде доказывали, что она принимала активное участие в создании произведений своего мужа, — то все это только подтверждает типичность подобных явлений. В атмосфере XIX столетия многие женщины посвящали себя деятельности, запрещенной условностями того времени, действуя через подставных мужчин.

Образ мадам Форестье вырастает, таким образом, до границ собирательного образа.

Нынешний живой интерес к творчеству Мопассана и, в частности, к «Милому другу» объясняется как недавними событиями в Северной Африке и Индокитае, так и возросшим интересом к сексуальным проблемам.

Начнем с них. Образ мадам Форестье послужит нам отправной точкой, поскольку именно они являлись ее призванием! Мопассан собрал вокруг Милого друга великолепный гарем влюбленных женщин. У них совершенно иной облик, нежели у пошловатых и полнокровных маленьких графинь, образы которых он создает в это же время. Рядом с самобытной, своеобразной и рассудочной мадам Форестье мадам де Марель, всего лишь своевольная ветреница, растлившая Милого друга, тайком бросавшая золото в его кошелек, разражающаяся гневом при известии о каждой его новой измене, но неизменно прощающая, в конце концов смиряющаяся с его расчетливым браком и возвращающая Милого друга себе здесь же, во время церковной церемонии. Опускается ли она до грязных притонов вместе со своим любовником, оскорбляет ли его или умоляет — во всем она проявляет себя великолепной **партнершей**. История грехопадения мадам Вальтер, одной из жертв Милого друга, более схематична, разумеется. Она правдива, трогательна и почти омерзительна со своими слезами и седыми волосами. Еще более остро его чувствует Сюзанна, ее дочь, совсем еще юная девушка, очень юная и очень влюбленная.

Мопассан берет реванш, создавая два других образа: Рашель из Фоли-Бержер, которая написана словно бы тончайшей кистью Мане, — писателю удавались все его Рашели, а сколько у него их было! — и в особенности дочурка мадам де Марель, Лорина, маленькое обаятельное существо, очаровательная дикарка, которой виртуоз Мопассан доверил в самом начале книги дать прозвище Дюруа, подчеркивая тем самым, что в этой крошке пробудился уже извечный инстинкт женщины, вступающей в соглашение с Милым другом.

В 1884 году, за год до этого, в очерке «Гюстав Флобер» Мопассан писал: «Нравиться женщинам! Пламенное желание почти всех... Благодаря всемогущей силе своего таланта стать в Париже, в обществе, исключительным, из ряда вон выходящим человеком, которым восторгаются, за которым ухаживают, которого любят, который может по своему выбору срывать эти плоды из живой плоти, что нас так соблазнительно влекут!» То был гимн мужскому началу, о котором он писал

и в романе. И действительно, Мопассан изобразил в нем тех женщин, которых знал. Писателя вдохновляли мадам Форестье, мадам де Марель, те многочисленные миленькие графини, которых он знал и любил (по-своему!), девица из Фоли-Бержер, малютка Лорина и в значительно меньшей степени престарелая дама, глупая гусыня, представительница того типа женщин, к которому он испытывал куда меньшее тяготение.

В «Милом друге» Мопассана сконцентрирована и показана в рамках дозволенного сексуальность той эпохи. Усы, столь превозносимые в серии рассказов о миленьких графинях, этот «неизменный трагический атрибут мужского лица», как скажет Ницше, являются свидетельством мужественности, настойчивости, выставляемой напоказ. У Милого друга «...голос был приятный, взгляд в высшей степени обаятельный, а в усах таилось что-то неодолимо влекущее. Они вились над верхней губой, красивые, пушистые, пышные, золотистые с рыжеватым отливом, который становился чуть светлее на топорщившихся концах».

Усы становятся **предметом**, независимым от личности их владельца.

«Одни закручены, завиты, кокетливы. Сразу видно, что такие больше всего на свете любят женщин. Другие остроконечны, угрожающе, заострены, как иглы. Эти предпочитают вино, лошадей и сражения. Третьи огромны, ниспадают вниз, пугают. За такими усищами обычно скрывается превосходный характер... в них есть что-то французское, подлинно французское... Усы хвастливы, галантны, молодцеваты».

Он обращается к аргю, чтобы воспользоваться как можно большим количеством синонимов слова «усы». Короче говоря, в описании усов раскрылся Мопассан.

Усы Милого друга идеализированы, рафинированы, ухожены, надушены, слегка пошловаты. Рыжеватые, огромные, подобные скрещенным сабельным клинкам, усы, выступающие надо ртом, чувственность которого они вроде бы пытаются замаскировать, а на деле подчеркивают его влажную красноту, — они одновременно характеризуют и Дюруа, и его творца.

Усам мужчины соответствуют волосы женщины. Мопассан рисует молодую девушку Сюзанну Вальтер со свойственным ему раздражением: «Слишком гладкая, точно выутюженная, кожа, без единой складки, без единого пятнышка, без единой кровинки, и прелестное легкое облачко взбитых кудряшек, которым нарочно был придан поэтический беспорядок, — точь-в-точь как у красивой дорогой куклы (что я вам говорил! — А. Л.)». О да, совсем в ином тоне Милый друг и его автор предаются мечтам о



великолепной самке мадам де Марель: «Мысленно он оглядывался назад, и перед его глазами, ослепленными ярким солнцем, носился образ г-жи де Марель, поправляющей перед зеркалом свои кудряшки, которые, пока она лежала в постели, всегда развивались у нее на висках!» Волосы мадам Форестье не менее выразительны, чем волосы Сюзанны или мадам де Марель, но Мопассан ограничивается в их описании несколькими штрихами: «Волосы, собранные в высокую прическу, чуть вились на затылке, образуя легкое, светлое, пушистое облачко...»

В двух последних отрывках прозрачно выражены вкусы Мопассана — Милого друга. Госпожа Форестье «вызывала желание броситься к ее ногам, целовать тонкое кружево ее корсажа, упиваясь благоуханным теплом, исходившим от ее груди». Совсем по-иному, властно и неудержимо, испытывал он стремление к Клотильде де Марель: Кло «вызывала более грубое, более определенное желание, от которого у него дрожали руки, когда под легким шелком обрисовывалось ее тело». Но до конца удовлетворял он это свое неудержимое и властное стремление лишь с потаскухами, в частности с Рашель из Фоли-Бержер. «И все же он любил посещать места, где кишат девицы легкого поведения, — их балы, рестораны, улицы; любил толкаться среди них, заговаривать с ними, обращаться к ним на «ты», дышать резким запахом их духов, ощущать их близость. Как-никак это тоже женщины, и женщины, созданные для любви. Он...» «Он»... Кто? Милый друг или Мопассан? Здесь они неразрывны и неразличимы.

В июне 1878 года некий финансист Бонту создал «Всеобщий союз». Это общество, пользуясь поддержкой Рима, выкачивало капиталы из провинциальных церковных приходов и среднего класса ультрамонтанов<sup>[88]</sup>. Вокруг лионских промышленных тузов организовалась католическая организация, поставившая своей целью свалить крупный протестантский и еврейский банк.

Тогда французский капитал разделился на два лагеря. Банк Ротшильда был еврейским, протестантским и республиканским; новый банк стал католическим, консервативным и роялистским. Невозможно понять «Милого друга» и еще менее историю Третьей республики, не воскресив в памяти хронику этой тайной войны. В освещении этой темы большая заслуга Мопассана, он обратился к ней сразу после Альфонса Доде, написавшего «Фромон-младший и Рислер-старший» (1874), и до появления в свет «Денег» Золя (1894).

В ту пору в Париже пользовалась популярностью кондитерская,

владелец которой также носил имя Бонту. Его знаменитые изделия вызывали дружное одобрение домашних хозяек. Тотчас же акции «Всеобщего союза» получили насмешливое название «сладости в тесте». Республиканское правительство было не на шутку обеспокоено растущим влиянием этой организации. В ее административный совет вошли открытые враги республики. Естественно, что Гамбетта — президент совета, республиканец, занял позицию, направленную против роялистского и католического банка. В 1881 году держатели «сладостей в тесте» весело праздновали новогоднюю ночь. Несколько дней спустя их акции, тайно скупленные Ротшильдами, были выброшены на рынок. 28 января «Всеобщий союз» прекратил свои платежи. Однофамилец кондитера, директор союза был арестован. «Всеобщий союз» распался.

Мопассан настолько хорошо был осведомлен об этой истории, что 25 января рассказал об этом финансовом Седане на страницах «Голуа» в таких выражениях, которые не оставляли сомнений насчет его истинных симпатий: «Бесчисленное стадо двуногих баранов, называемых «деловыми людьми», исчезло в волнах спекуляции... Эта история особенно поучительна. Весь спекулирующий Париж во имя религии, до которой ему столько же дела, сколько рыбе до яблока, начал так называемую войну с евреями, размахивая новыми акциями, под знаменем объединения... Действуя умело, союзники раздули цену на акции до фантастических размеров... И вдруг, неизвестно почему, этот клочок бумаги потерял всякую ценность».

«Милый друг» построен на этом эпизоде.

Персонажи «Милого друга» не столь конкретны (Вальтер, как и Дюруа, — образ собирательный: это и Мейер, и Фульд, и Ротшильд, и Казн д'Анвер), равно как и та финансовая интрига, и те исторические события, о которых идет речь в романе: писатель всего-навсего заменил повсюду слово «Тунис» словом «Марокко».

В 1864 году деловые люди Парижа живо заинтересовались Тунисом. Эрлангеры, в частности, разместили во Франции краткосрочный заем для одного из беев на губительных для Туниса условиях. В 1868 году Наполеон III приказал учредить Высочайшую смешанную комиссию, в задачи которой входил подсчет всех государственных доходов Туниса и строгое их контролирование. Государства-соседи настороженно отнеслись к этому нововведению, их давление на Париж было столь значительным, что уже в следующем году комиссия стала Международной. 23 марта 1870 года тунисский долг Франции исчислялся в 125 миллионов.

В 1880 году Общество марсельских коммерсантов приобрело 80 тысяч гектаров тунисских земель. Итальянцы, не менее французов заинтересованные в Тунисе, также вошли в игру. Их компания «Рубаттино» вступила в жестокое соперничество с французской компанией «Бон-Гюэльма» при продаже с торгов железной дороги Тунис — Ла Гулетт. Дорога досталась итальянцам, но французская компания решила в качестве компенсации присвоить железную дорогу от Бизерты до Суса и право на строительство порта в Тунисе.

Здесь начинается наиболее романтическая сторона этого дела. В июне 1883 года Франция неожиданно гарантирует тунисские акции. Тотчас же стоимость облигаций «Унифицированного долга» возрастает более чем вдвое. Казалось бы, можно поздравить себя с тем, что честные владельцы облигаций вновь станут хозяевами своих денег... Не тут-то было! Уже давным-давно избавились они со значительными потерями от своих ценных бумаг, в то время как тайные скупщики приобрели облигации небольшими партиями, как в деле «Всеобщего союза». Машина сработала точно так же, как это описано в романе, когда министр Ларош-Матье («эталон парламентариев молодой Третьей республики» — согласно самому Мопассану) дает Милому другу следующее указание: «Лучше говорите об экспедиции так, как будто она должна состояться, и одновременно дайте ясно понять, что она не состоится и что вы меньше, чем кто-либо другой, в нее верите».

Мадам Вальтер, жена банкира, немолодая любовница Милого друга, выдает тайну своему любовнику: «Экспедиция (в Танжер. — А. Л.) была решена еще в тот день, когда Ларош стал министром иностранных дел... и они скупили их все до одной (облигации марокканского займа. — А. Л.). Скупили они их очень осторожно, через мелких, не внушающих доверия биржевых жучков. Ротшильды не могли взять в толк, почему такой спрос на марокканский заем, но они и их обвели вокруг пальца... Ну, а теперь затевается экспедиция, и, как только мы будем в Танжере, французское правительство сейчас же обеспечит заем».

Последствия политических и финансовых интриг, давших Ги де Мопассану материал для «Милого друга», окажутся весьма значительными. Италия, в ярости оттого, что оказалась одураченной в Тунисе, снова кинется к Бисмарку и альянсу с немцами.

На горизонте уже клубятся тучи 1914 года.

Автор «Милого друга» не только романист, использовавший новый сюжет, но и ценный свидетель событий. Между тем его ироническое

отвращение к современности найдет выход лишь в творчестве — в хрониках, статьях и романах. Десятью годами раньше, в октябре 1876 года, Катюль Мендес, познакомившийся с Мопассаном в редакции «Републик де «Петр», предлагал ему вступить в ряды масонов. Рискую вызвать недовольство, Мопассан ответил: «Из-за эгоизма, злости и независимости я никогда не свяжу себя ни с какой партией, какова бы ни была ее программа, ни с какой религией, ни с какой сектой, ни с какой школой».

Этой позиции он будет придерживаться. «Меня страшит даже самая тонкая цепочка — независимо от того, где она берет свое начало: в идее или в женщине». Показательно, что оба эти понятия объединены Мопассаном в одной фразе. Подхлестываемый настроением — возмущением или гневом, ненавидящий войну, военных, финансистов, эксплуатацию человека человеком, разочаровавшийся впоследствии в Буланже, как прежде в Мак-Магоне, Мопассан во многом напоминает представителя теперешней прогрессивной интеллигенции. Но есть в нем, несомненно, и черты «реакционера»: презрение к массам, к парламенту, к мнению большинства, к демократии.

В «Воскресных прогулках парижского буржуа» он говорит устами господина Рада: «1-й принцип: единовластие — чудовищно.

2-й принцип: ограниченное голосование — несправедливо.

3-й принцип: всеобщее голосование — бессмысленно.

Задыхаясь, господин Патиссо поворачивается к господину Раду:

— Значит, вы ни во что не верите, сударь?

— Ни во что, сударь».

Мопассан разделяет точку зрения господина Рада и бахвалится этим: «Я не стою ни за одну из этих форм правления».

Итак, Мопассан не испытывает желания быть с кем-либо солидарным. Он остро ненавидит все общественное: «Это вторжение, это давление **общественного**, фатально в любой стране, опирающейся на большинство, а не на интеллектуальное превосходство индивидуума, сделало нас народом богатым — но лишенным порядочности, промышленным — но без деликатности и чуткости, могучим — но без превосходства». Этот текст был написан 3 декабря 1880 года. На страницах той же газеты «Голуа» несколькими неделями позже он пишет: «...смех, подлинный смех, оглушительный смех, смех Аристофана, Монтеня, Рабле или Вольтера может расцвести только в аристократическом мире. «Под аристократией» я отнюдь не подразумеваю **дворянство** — но самых умных, самых образованных, самых остроумных людей».

Мы видели, как он держался вдали от Коммуны. Короткая полемика с

Жюлем Валлесом проясняет его позицию. В «Кри дю Пепль» 14 ноября 1883 года Жюль Валлес выступил против натуралистов: «...тех, кто проявляет мягкотелость при защите интересов народа, тех писателей, которые, развалясь на диванах в доме Маглуар, записывают воспоминания Ангелины Ла Токе... вместо того, чтобы прислушаться к отчаянному крику Республики, которая не желает проституировать и превратиться в шлюху, сидящую на коленях солдата».

Мопассан, взятый на прицел так же, как и Гонкур, отвечает «писателю большого таланта: Мы не пишем для народа. Нас вообще мало занимает то, чем интересуется народ: мы действительно не вышли из народа. Искусство, каковым бы оно ни было, адресуется лишь интеллектуальной аристократии страны».

Мопассан не был политиком, как и не обладал вкусом к философским выводам; лишенный этого качества, он и не пытался систематизировать свои взгляды. Он просто моментально реагировал на то, что шокировало его, не задумываясь над своими интересами. В этом свете он — типичный представитель нормандского характера, умеющего сочетать победу с осторожностью и дующего и на горячее и на холодное. Мы видим, что он способен действовать одновременно с ловкостью стряпчего из Ивето, торговать, заключать сделки **ради прибыли**, менять министерства, поступить в газету, проникнуть в общество и тотчас же рискнуть, потерять все, искренне выразив возмущение, — непримиримый, когда затронуты его убеждения, которые он никогда не имел ни времени, ни желания привести хотя бы к относительной стройности.

Остается сделать вывод о взаимосвязях Мопассана с Милым другом. Его посвящение «от Милого друга» не может быть рассмотрено лишь как шутка. Мопассан был и крупнее и мельче, чем Милый друг, бесконечно сложнее литературного персонажа. Милый друг был **отрицательной** стороной Мопассана — проекцией на мир зла, маской хвастуна из Буживаля, зеркалом для хорошеньких дурочек, миленьких графинь и пантер с галерок варьете.

Вокруг Милого друга, карьериста из романа, быстро, слишком быстро проделавшего путь от нищеты к предельному могуществу (сходство с самим Мопассаном!), кишат женщины, так же как и вокруг его автора, но смерть уже подкрадывается к этому чувственно-политическому торжеству.

Мопассан не сумел так всеобъемлюще изобразить страсти и деньги, как это сделал Бальзак; Вальтер не стоит Нусингена, а Милый друг не стоит Растиньяка. Он не сумел описать так же досконально, как Золя в своем романе «Деньги», сверхмахинации с капиталом — крах «Всеобщего

союза», который вдохновил автора «Ругон-Маккаров». И тем не менее роман «Милый друг» остается шедевром — неровным и сложным, шедевром приземленным, который в конце концов своими недостатками подчеркивает спесь и противоречия общества, приговоренного к смерти собственной испорченностью, так же как прогрессивным параличом приговорен к смерти художник, бычок с улицы Моншанен.

Циник Мопассан никогда не шутил с водой, священным для него элементом, но он назвал «Милым другом» свою первую яхту — символ благосостояния и могущества, приобретенного на деньги от романа. Яхта «Милый друг», которая скоро снимется с якоря, — это материализованный реванш осмотрительного мелкою чиновника из министерства с улицы Руаяль. Это сам Мопассан, поднявший паруса, скользящий с попутным ветром в открытое море своей судьбы.

# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

## ОРЛЯ



Но мало-помалу необъяснимое беспокойство овладевало мною. Какая-то сила, мне казалось — тайная сила, сковывала меня, останавливала, мешала идти дальше, влекла обратно...

*Роза и оливковое дерево. — Сестры Рондоли. — Бульварный Казанова. — Рождество 1885 года в Антибе. — Нежная Эрмина. — Призраки любовной дружбы. — Охота. — Шесть чувств. — Склонность к садизму. — Кошки*

«Я непоседа!» — хорохорясь, повторяет Мопассан. И впрямь ему не сидится — он то и дело снимается с места. Не успел обосноваться в Каннах, в парке Монсо, в Сартрувилле, как он уже где-то, в другом месте. Солдата Мопассана искали в Венсенне, в Руане или в Гавре — и находили в Этрета! Он ходит в четыре раза больше заядлого любителя пеших прогулок. Он гребет. Плавает на лодке. И наконец, покупает трехколесный велосипед.

И в его книгах все тоже в движении. Дилижанс из «Пышки» подпрыгивает на ухабах нормандских дорог, катится карета в романе «Жизнь», ялик из «Мушки» встречается с лодкой из «Иветты», едут фиакры из «Милого друга» и «Нашего сердца». Один пароход держит курс на Корсику и в Алжир, другой возвращается из Бужи в Марсель... «Луизетта»... «Милый друг-1», «Милый друг-2». «Октав Мирбо, — отмечает Гонкур, — забавно рассказывает о страхе Мопассана перед смертью — страхе, который приводит его жизнь в бесконечное движение как на земле, так и на море, лишь бы укрыться от этой навязчивой идеи».

Тряска под песню колес... Мопассан дремлет. Спешит. Перемещается. Идет вперед. Как и персонажи всех его произведений, он постоянно в движении. Куда он едет? Куда-то... В страну, где его правый глаз, словно бы подернутый соленой пеленой, не будет доставлять ему мучений. В страну, где нет мигреней, в страну, где всегда светит солнце. Он ненавидит запах сырого угля. Он счастлив.

Валенсия... Корсика... Как давно это было! Марсель... Тулон... Фрегюс, Сан-Рафаэль... «Поезд мчался сквозь сад, сквозь рай розовых кустов, сквозь лес цветущих апельсиновых и лимонных деревьев, покрытых белыми лепестками и золотыми плодами...»

Он уже больше не Мопассан. Он уже не... то есть да! Да! Он наконец человекозверь, восемьдесят килограммов сверхчувствительного мяса в кожаном мешке, раскачивающегося в такт механическому ритму. Кондуктор, спотыкаяюсь, проходит по вагону. О, как он счастлив, что снова сбежал из Парижа! Сбежал от боли, сбежал от миленьких графинь, сбежал



от принцессы Матильды! Он подымается, разражается смачной бранью. Хорошо! Подходит к окну, и синие брызги хлещут его по щекам. Извечное ослепление язычника перед «страной, где цветут апельсины», — вот ритм его творчества! Он пробудился. Он больше не страдает мигренью, соленые песчинки не режут больше правый глаз... И вот наконец он видит розу и оливковое дерево.

По всему побережью розы оплетают тысячелетние оливковые деревья. «Они ползут по стенам, поднимаются на крыши, взбираются на деревья, просвечивают сквозь листья — красные, белые, желтые, маленькие или гигантские...»

Окно открыто, и Ги, раздув ноздри, чувствует не их аромат, но их «дыхание»...

«Поезд все мчится, ныряет в туннели, скользит по волнам холмов, бежит над водой по карнизам, отвесным, как стены...» Чух-чух-чух, чух-чух-чух!.. Ницца, Болье, Монако, Рокебрюн, Ментона... Заходящее солнце пробуждает в памяти вид с красочной почтовой открытки. «И вдруг я заметил под деревьями, сбоку от рельсов, в сгустившейся тьме, нечто вроде звездного дождя... То были светлячки — пылающие мушки, танцующие в напоенном ароматами воздухе удивительный огненный танец...»

Поздним вечером Пьеру и Полю, путешественникам из новеллы, занявшим место своего автора, удастся разговориться с хмурой итальянкой, севшей в поезд в Марселе. Светлячок уселся на ее черные как смоль волосы, «и Поль замер в экстазе, уставившись на эту блестящую точку, искрившуюся, как живой бриллиант».

Насупившаяся сестра Рондоли со своей светящейся мушкой **существует**, как **существовал** только что звездный дождь у железнодорожного полотна.

«Сестры Рондоли» (29 мая — 5 июня 1884) — это одно из лучших его произведений. Мопассан чувствует себя очень уверенно в этом жанре — среднем между повестью и романом. Почти все истории такого размера: «Пышка», «Заведенье Телье», «Подруга Поля», «Оливковая роща», «Иветта», «Господин Паран», «Мисс Гарриет», «Наследство», «Маленькая Рок», «Орля» — подлинные шедевры еще и потому, что Ги рассказывает в них о непроходящем колдовстве открытого им юга...

Мопассан в них очарователен, циничен, весел. И какая острота взгляда! Он равно великолепен как в описании женщины, так и в описании пейзажа. «Без сомнения дочь юга. У нее были чудесные глаза, великолепные черные волосы, волнистые, слегка вьющиеся, до того густые,

жесткие и длинные, что казались тяжелыми (как всегда, Ги придает большое значение волосам. — А. Л.), и стоило только взглянуть на них, чтобы сразу ощутить на голове их бремя».

Пьеру наконец удастся согнать морщины со лба красавицы итальянки, которая до этого на все их заигрывания отвечала угрюмым «Non capisco»<sup>[89]</sup>. Перед Генуей он даже добился того, что капризница согласилась последовать с ним в отель!

Ее зовут Франческа Рондоли. Мопассан часто говорил: «Я не умею, как Бальзак, придумывать имена. Я поступаю примерно как Флобер: имена моих героев я беру наугад из справочника, где то и дело наталкиваешься на знакомые имена из «Мадам Бовари»: Оме, Урель, Дюваль, Ле Сенекаль и множество других». Или он решительно выбирает такие банальные имена, как Пьер и Поль, или изобретает такие, как Рондоли.

«В изумлении, восхищенный, остановился я на пороге. Она уже спала на постели, совершенно нагая. Сон настиг ее, пока она раздевалась, и она лежала в прелестной позе тициановской женщины». Далее он «дорисовывает» этот набросок:

«Казалось, побежденная усталостью, она прилегла на кровать, когда снимала чулки — они лежали тут же на простыне... Вышитая по вороту ночная рубашка, купленная в магазине готовых вещей — роскошь начинающей, — валялась на стуле». Вот они, эти флюберовские детали, которые делают обнаженную спящую женщину неповторимой, не похожей ни на какую другую.

К горестному изумлению уальня Поля, Пьер становится любовником пассажирки. Все трое задерживаются в Генуе, ходят по музеям, спускаются в Портофино. Однажды Франческа исчезает. Пьер и Поль возвращаются в Париж.

Год спустя Пьер — на сей раз один — приезжает в Геную и отправляется на поиски Франчески. По адресу, который она ему оставила, Пьер находит матрону во вкусе Витторио де Сика! «Открыла толстая женщина, должно быть поразительно красивая когда-то, но теперь лишь поразительно грязная. Хотя она была чересчур жирна, в чертах лица все же сохранилось необыкновенное величие. Пряди растрепанных волос ниспадали на лоб и плечи, а под широким капотом, испещренным пятнами, колыхалось жирное, дряблое тело». Это же мама! О да, ее Франческа так горевала, не найдя своего француза! Ничуть не меньше, чем тогда в поезде, когда ее марселец сбежал от нее. Поэтому она и была такой угрюмой, бедная малютка! Теперь у нее есть один господин в Париже, художник, который посылает ее мамочке ожерелья, браслеты, серьги и шелковые

платья...

Заметив, что Пьер собирается уйти, она удерживает его:

— Если пожелаете, Карлотта пойдет с вами... Она знает все места для прогулок. Это моя другая дочь, сударь, — вторая...

Карлотта, младшая, заменила Франческу, и Пьер был очень щедр, когда уезжал.

— Ах! — вздыхает мама. — У меня есть еще две, но они еще маленькие... Каких денег стоит растить четверых детей!

«Сестры Рондоли» куда более автобиографичны, чем мог бы быть дневник самого Ги, которого он никогда не вел, если не считать некоторых прозрачных страниц книги «На воде». В этом автопортрете бульварного Казановы<sup>[90]</sup> мы сталкиваемся с его чувствами — мимолетными, забавными, трогательными, правдивыми, возникающими на фоне реальной обстановки. Он терпеть не может отели. «Я не мог приподнять простыню на гостиничной постели без [трепета отвращения]. Воспламеняемый каждой новой женщиной, он постоянно испытывает тревогу, боится дурных последствий. Заметив, что Франческа, пренебрегая свежей водой, довольствуется душистой эссенцией, он впадает в замешательство: «...по комнате разнесся такой резкий запах, что я почувствовал приступ мигрени...» Появление мигрени весьма примечательно. Неужели это профессиональная проститутка?! И он снова вздрагивает «от той мучительной тревоги, которая преследует нас после подозрительных любовных приключений, тревоги, отравляющей нас самые очаровательные встречи, неожиданные ласки, случайно сорванные поцелуи». Он дрожит от страха, того упорного и гнетущего, подчас панического страха... который его никогда не останавливал!

«Тогда... черт возьми... я воспользовался обстоятельствами, что ее, по-видимому, нисколько не смутило».

Франческа упорхнула. Рассказчик удивлен: «Мне было не по себе; я немного тосковал, немного нервничал. Право же, я к ней привязался». Расставшись с ее сестрой, Карлоттой, более тонкой, более веселой и к тому же более красивой, он скажет: «Она не заставила меня пожалеть о своей сестре». И Милый друг заканчивает таким пируэтом: «В ближайшее время я собираюсь снова съездить в Италию и с некоторым беспокойством, но и с надеждой думаю о том, у г-жи Рондоли есть еще две дочери».

Пьер — это сам Ги без прикрас, а все эти откровения написаны донжуаном в розовых тонах. В 1885 году он припасет для себя другие — черные краски.

В канун рождества 1885 года Мопассан поселяется в Антибе, на вилле Ле Боске, в красивом сельском доме. Вытянутое белое строение с зелеными ставнями, стоящее у дороги, соединяющей улицу Кап с пляжем Жуан-ле-Пен, ничуть не изменилось с тех пор. Медовые часы по-прежнему текут по солнечному циферблату, хотя разросшийся город вплотную подступил к этой тихой обители.

Он живет здесь вместе с матерью. На скамейке, на солнышке, они, как всегда, подолгу обсуждают его рассказы. Она одобряет, восторгается, протестует, ругает, советует. Мопассана обычно представляют себе одиноким человеком. Но он прожил по меньшей мере половину жизни с **матерью**. Его очаг — это хилый огонь, разведенный Лорой де Мопассан.

В Антиполисе он находит кое-что от Трои, от Востока, кое-что от Палермо Овна, кое-что от Сиракуз Венеры. Он восхищается сочной повседневной жизнью средиземноморского побережья: овощным рынком, словно бы покрытыми синим лаком баклажанами, душистыми мандаринами, желтеющими в венках из жестких блестящих листочков, вызывающе яркими каннами, театральными апельсиновыми кустами, зеленовато-сизыми оливковыми деревьями, всей этой буйной растительностью, инкрустированной агавами, приморскими елями, растущими в расщелинах крепостного вала.

Если колдовство юга объясняет «измену» Ги Нормандии, болезненную потребность в движении, то к этому необходимо добавить и все возрастающий страх перед холодом.

«Холод, еще более жестокий, более ощутимый, чем в прошлом году, заставлял (его. — А. Л.) постоянно страдать... Сквозняки беспрестанно проносились по комнатам, словно живые существа, словно коварные, остервенелые враги...» Борясь с «черным декабрем», Ги провел зиму 1884/85 года в Каннах. Там были свои достопримечательности: старая колокольня, покрытая кованым железом, черепичные крыши, заносчивые пальмы, только входившие тогда в моду (на фотографиях той эпохи они выглядят совсем маленькими), эвкалипты — местное благородное растение, платаны, ели и оливковые деревья. Ги любит обрызганный солнцем порт, где моряки разговаривают на языке спутников Улисса. Он смеется до слез, вслушиваясь в раскаты их голосов:

- Подвали-ка поближе да выкладывай все начистоту!
- Это к тебе-то, к усатой заднице?!
- Ого! Повтори-ка, если хочешь догрести до причала!

Лето. Лазурный берег пустынен, в Монте-Карло еще не начался сезон.

«От Канн, где царит тщеславие, и до Монако, где царит рулетка, в эти края приезжают лишь для того, чтобы пускать пыль в глаза или разоряться».

В 1886 году Ги приедет в Этрета несколько раз, ненадолго. Там он снова встретится с Эрминой в утопающем в зелени имении Ля Бикок, которое впоследствии стало называться ОМениль. Эрмина, в девичестве Удино де ла Фавери, вышла замуж за Эмиля Леконта дю Нуи, архитектора, сделавшего карьеру при румынском дворе. Он был своим человеком в королевском семействе Бориса и Елизаветы, их другом... В особенности королевы... Свадьба состоялась 10 февраля 1877 года. Фактически Эрмина и Эмиль не были мужем и женой, потому что он не хотел покинуть Румынию, где процветал, а она не желала жить в Бухаресте. Это положение приводило Эрмину, без ума влюбленную в мужа, в отчаяние. В декабре 1883 года у них родился сын Пьер. Да, Эрмина — мать Пьера Леконта дю Нуи, автора путаной и ложной книги о Мопассане «Человек и его судьба».

Под благопристойной внешностью золотоволосой мещаночки скрывалась артистическая натура. Обманутая в надеждах вернуть в связи с рождением сына путешествующего мужа, она остро реагировала на льстившие ее честолюбию ухаживания знаменитого соседа. Правда, он иногда ее шокировал, но еще больше шокировала Эрмина дам из своего окружения. Испытывая затруднения в деньгах из-за скупости мужа, она писала. Сочиняла она и ради удовольствия, и для того, чтобы обеспечить маленького Пьера. Ги порекомендует ее сказки «Добрые друзья» издательству «Кантен», а также другим издателям, обратится он и в «Фигаро иллюстре».

Ги обожал ее ребенка. Сцена, описанная ниже, произойдет в саду виллы Ля Гийетт в 1888 году. Однажды после обеда Мопассан играл с Пьером и Франсуа, пуская в бассейне кораблики, сделанные мальчиком.

— Я иду завтра на охоту. Ты пойдешь со мной, Пьер?

— Когда я вырасту, мой Ги. И потом у меня нет ружья.

— А если б у тебя было ружье, ты бы его не боялся?

— О нет!

— Даже когда оно стреляет?

— Конечно!

— Так вот, если ты пойдешь со мной и не струсíš, когда я выстрелю, я подарю тебе мое первое маленькое ружье. Это ружье досталось мне от

моего дедушки, когда мне исполнилось двенадцать лет.

Пьер не струсил, и Ги подарил ему ружье дедушки Жюля. Пьер, возвратившись, сказал матери:

— Мама, я пойду охотиться на берег и убью для тебя куропатку, зайца, кролика, цыпленка и омара!

В одном из писем к мужу Эрмина забавно описывает Ги: «Маленький и толстый, с красной физиономией, с налитыми кровью глазами, по существу уродливый, но очень умный. Он шепелявит, но манера его разговора столь обаятельна, что скоро забываешь о том, что он страдает дефектом речи. Он неухожен, плохо одет и носит отвратительные старые галстуки». Могла ли эта проницательная женщина увидеть Ги именно таким? А может быть, она сгустила краски для того, чтобы не вызвать ревность мужа?

Из всех женщин, окружавших Ги, Эрмина пользовалась особым его расположением. Он относился к ней с искренней нежностью. Роман «Любовная дружба», выпущенный анонимно Эрминой в 1889 году, с некоторым опозданием проливает свет на «Наше сердце», где она без труда узнала себя. Мы уже видели, что кое-что от нее есть и в мадам Форестье. В «Любовной дружбе» несколько идеализированный Ги фигурирует под именем Филиппа де Люзи. Эрмина вводит писателя в роман и под настоящим именем — нехитрый прием! — предлагая читателю невинные анекдоты наподобие следующего: глупцы приходят в восторг от того, что, по словам Ги, процесс творчества для него — мука.

«— Так зачем же вы тогда пишете?

— Господи, это все же лучше, чем воровать!»

Иногда она подробно описывает его манеру работать: «Он мог месяцами вынашивать план книги — а точнее просто замысел! — в голове, а потом вдруг, сразу, произведение возникало перед ним окончательно оформленным и появилось на свет божий все всеоружии, как Минерва».

Слегка изменив, она включила в свой роман целые страницы из их писем. Некоторые цитаты из романа хорошо характеризуют ее образ: «Моя дорогая интеллигентка!» — говорит Филипп Денизе. Она защищается: «Вы иронически швыряете мне в лицо «интеллигентка»... Неужто интеллигентность — это ваше монопольное право, господя мужчины?!» Между тем роман Мопассана и Эрмины — это роман «интеллектуалов». Так как он страдает болезнью глаз, она читает ему в саду переписку Дидро и Софи Воллан, письма мадам д'Эпине, мадам дю Деффан, мадемуазель

Лепинас<sup>[91]</sup>. Они прекрасно чувствуют себя в шаловливом, циничном и умном XVIII веке.

Образ Милого друга, выведенный в романе «Любовная дружба», нравился Лоре, с которой Ги познакомил Эрмину в марте 1888 года. Свой роман «с нежнейшим почтением» Эрмина посвятила Мопассану. Она еще раз, на сей раз с грустью, расскажет о писателе в романе «А жизнь проходит мимо» (1903) и в «Минувших днях», написанных в соавторстве с Анри Амиком.

Долгое время оставался неясным характер отношений, связывающих Мопассана с наименее пылкой из всех его подруг.

Изучение архива Мари Леконт дю Нуи, невестки Эр-мины, помогает разобраться в этом вопросе. Архив включает в себя, помимо других документов, пятьдесят четыре письма Ги к Эрмине. В течение ряда лет переписка эта носит чисто дружеский характер. Он, разумеется, ухаживает за ней, но делает это, скорее всего следуя привычке. Для нее же никто не существует, кроме далекого мужа. В марте 1883 года, собираясь преподнести ей иллюстрированное переиздание «Мадемуазель Фифи», Ги еще не знает, когда ему будет позволено нанести визит. Рождение Пьера сблизит их. В письме из Канн Ги спрашивается о Пьере: «Расскажите мне о нем, о его шалостях и проказах». Соппротивление прекрасной соседки постепенно ослабевает, ибо он становится все более фамилльярным. Времена «преданного и почтительного слуги» миновали: «Знаете, что мы сделаем в один из этих дней? Поедем обедать в Шату на Сене. Итак, до завтра. Нежно целую ваши руки».

29 ноября 1886 года Ги пишет на борту яхты «Милый друг» весьма игривое письмо, в котором спрашивает, не поедет ли она в Вильфранш: «Дайте ваши руки. Целую также ваши ножки». 29 декабря он уже обращается к ней как к любовнице, которую хотят успокоить: «Я живу здесь (в Антибе. — А. Л.) в абсолютном одиночестве. Я почти разучился говорить — как и разучился делать все прочее... (sic.) Привыкаешь ко всему — я и привык к этой тишине... Долго и нежно целую ваши руки. Наилучшие пожелания вашей матери, отцу и брату. (Он уже не упоминает мужа, о котором никогда не забывал прежде. — А. Л.) Целую Пьера, который на днях получит свой новогодний подарок».

Пьер получит свой подарок, она — свой. Она послала Ги булавку для галстука, он ей — браслет.

«Простите меня за то, что он не нов. Вот его история: одна дама, в прошлом красивая, богатая и счастливая, а ныне состарившаяся, разоренная и жестоко преследуемая судьбой... рассказала мне о своей

жизни и своей глубокой, ужасающей нищете. Я предложил ей денег. Она не приняла их, но сказала: «Нет ли у вас приятельницы, достаточно близкой, чтобы предложить ей браслет, который я когда-то носила? Скажите ей, — разумеется, не называя меня, — откуда он у вас и подчеркните, что он принадлежал честной женщине, очень несчастной и очень честной женщине...» Итак, я купил эту цепочку... приобрел футляр и посылаю вам».

Тихая, ничем не примечательная, но нежная любовь развивается. Можно ли сомневаться в этом, прочитав записку, в которой Ги приглашает Эрмину в Триель в июле 1889 года: «Не хотите ли вы попробовать пожить в местном маленьком отеле? Не со мной — об этом и думать нечего: я здесь у всех на виду... А вот и предлог: вы можете сказать всем, что едете подыскивать дом...»

Есть основания полагать, что Эрмина сделала кое-какие купюры в письмах Ги де Мопассана. И все-таки то здесь, то там, кроме приглашений в Шату и Триель, проскальзывают достаточно красноречивые детали. Надо думать, что Эрмина все же хотела, чтобы правда стала достоянием истории, — и это так характерно для женщины! Вот, например, коротенькая записка от 14 мая 1890 года: «Дорогой друг! Не одевайтесь — мы будем одни. Целую ваши руки. Мопассан».

Или вот эта, адресованная в ноябре 1890 года ее брату, Камиллю Удино, ставшему одним из лучших друзей Ги. «Дорогой друг! Черкните мне несколько слов и, прошу вас, ничего не говорите моему слуге. Если он умеет держать язык за зубами, когда дело касается меня, то он отнюдь не таков, когда речь идет о других. Он заинтригован, а мы играем здесь жизнью трех человек. Все ли готово? Будет ли у нас в понедельник место где встретиться? Сердечно жму вашу руку, Мопассан».

По словам Эрмины, подтвержденным и Анри Амиком, на рукописи «Пышки», хранившейся в архиве Эрмины, Ги написал несколько строк из «Репетиции»:

*Я любовной ищущу лихорадки,  
А она бежит от меня;  
Но, полны и любви и огня,  
Не твои ли уста ея сладки?..  
Недотрога моя, погоди!  
Все найду я, когда расцелую  
На устах твоих душу живую,  
Твое нежное сердце в груди!*



Разумеется, это только цитата, но очень характерная! Есть и другие стихи, правда менее выразительные, которые он написал на веере своей прелестной соседки:

*Я знаю — этот веер предназначен  
Для нежных пальцев, для прелестных рук.  
«— Чтоб надписать ваш веер, о мой друг,  
я слишком груб, увы, и однозначен,  
Но мне полет мечты высокой дан.  
Я, стоя перед вами на коленях  
и подавляя жаркое волненье, подписываю  
Ги де Мопассан».*

Веер был у всех на виду, и каждый имел возможность прочитать на нем надпись. Стихи, которые Ги набросал, возвратившись однажды вечером из Ла Бикок, после совместных чтений поэтов вольного XVIII века, были куда более сочными. Нет никакого сомнения в том, что Эрмина, прочитав наутро эти строки из «Марса и Венеры», ничуть не покраснела:

*На спящую Венеру Марс  
Набрел, слоняясь не впустую.  
«А ну-ка, чем богаты мы!» —  
Шутник воскликнул:  
«Аллилуйя!»  
Он приподнял душистый шарф,  
Скрывавший грудь ее нагую.  
Была та грудь бела как снег,  
И Марс воскликнул:  
«Аллилуйя!»  
Его рука, дрожа слегка,  
Округлость тронула крутую.  
С собою совладав с трудом,  
Вздохнул проказник:  
«Аллилуйя!»  
Венера, век не разомкнув,  
Сменила позу на другую.*

*Храбрец не растерялся, и...  
Великий боже!  
«Аллилуйя!»*<sup>[92]</sup>

Милый друг еще раз оказался в выигрыше. Еще одна его победа. И не без удивления узнаем мы о том, что Мопассан, покинув дом на улице Моншанен после ссоры со своим квартирохозяином и кузеном Луи, 15 февраля 1890 года пересдал свою квартиру, оплаченную на три года вперед, Эрмине и ее матери. Муж Эрмины понятия не имел об этом переезде, что и породило в дальнейшем неприятные толки.

Можно согласиться с предположениями Мари Леконт дю Нуи: Мопассан начал ухаживать за своей одинокой соседкой точно так же, как он ухаживал бы за всякой другой красивой женщиной. Позже он вошел во вкус потому, что она упорно хранила верность своему архитектору. Вскоре сердце Эрмины смягчилось, и со свойственной женщинам неосмотрительностью она влюбилась в него... В то время, когда он уже разлюбил.

Ныне эта старая история навевает меланхолический аромат увядшей любви, более искренней у нее, чем у него, никогда не разгоревшейся, тихой, как сама Эрмина.

Ученый Эмэ дю Пюи, потомок Дидро, нынешний владелец виллы Ла Бикок, показывает мне дом, стоящий на холме — над церковью, кладбищем и вокзалом, утопающий в бурной зелени кустарника. Этот кудесник поставил в саду, на том самом месте, где встречались Ги и Эрмина, столик и два стула. Он часто повторяет: «Их призраки приходят сюда — бесплотные образы любовной дружбы...» — и, честное слово, я верю ему.

Осенью 1885 года Ги арендовал в Этрета земли крупной фермы. Он писал оттуда Анри Амику: «Первый месяц охоты в Нормандии я открываю шестью обязательным вылазками». Однако Мопассана влекут сюда не только светские развлечения. Он терпеть не может шумную изысканную охоту, толпу доезжачих и рев охотничьего рога. Он ненавидит «убийство животных». Он не рыцарь. Он слишком привязан к морю, слишком любит ходить пешком. Охота для него — наглядный возврат к варварской эпохе человекозверя, которого Ги так возвысил и которому так поклоняется.

Охотники, одетые как лапландцы, отправляются в лес Каннето близ Фекапа. Франсуа сопровождает хозяина вместе с таксами Пифом, Пафом и Мусташем, «похожими на трех маленьких крокодилов, покрытых

шерстью». Охотники обедают на ферме и остаются ночевать в комнате с выбеленными известью стенами. Еще до зари Гаспар д'Оржемоль будит их звуками рожка. Вскоре раздаются ружейные выстрелы. Никто не хочет испытывать судьбу: все дружно утверждают, что охотятся на кроликов. Вдруг один из охотников громко кричит: «Вальдшнеп! Готов!» Когда Мопассан убивает вальдшнепа, он восклицает: «Кролик!» — чтобы потом, при показе добычи, испытать подлинное торжество удачливого охотника. И, подмигивая, добавляет: «Я хитер!»

«Мертвые листья падают с нежным и непрерывным шелестом, сухим и немного печальным... Стоит мороз, легкий мороз (повторение слова подчеркивает достоверность ощущения. — А. Л.), который щиплет глаза, нос, уши; он запорошил белым инеем верхушки трав... но под толстым овчинным тулупом по всему телу разлито тепло... Солнце весело сияет в голубом воздухе».

У Мопассана, как и у всякого человека, каждое из пяти чувств развито по-разному. Глаз его особенно остер — глаз рисовальщика, точно передающего форму и цвет. Любимые краски: синяя, белая, черная. В цикле его рассказов «Бродячая жизнь» мы находим прекрасные страницы.

«Мне ни разу еще не приходилось видеть, чтобы солнце создало из белого купола такое чудо, такую изумительную игру красок. Правда ли, что он белый? Да, белый, ослепительно белый! И все же свет так странно преломляется в этом огромном яйце, что тут различаешь волшебное разнообразие таинственных оттенков... (они. — А. Л.) так тонки и нежны, так утопают в этой снеговой белизне, что их улавливаешь не сразу... Чем больше в них всматриваешься, тем ярче они выступают. Золотистые волны текут по этим контурам и незаметно гаснут в легкой сиреневой дымке, которую пересекают местами голубоватые полосы. Неподвижная тень ветки кажется не то серой, не то зеленой, не то желтой. Под карнизом стена представляется мне фиолетовой; я догадываюсь, что воздух вокруг этого ослепительного купола розовато-сиреневый...»

Это и Делакруа и Матисс одновременно.

Ухо у него чуткое. Правда, Мопассан более чувствителен к ритму и шуму, нежели к мелодии. У него отлично развитое обоняние — настоящий нюх сеттера. В этом отношении он вплотную приближается к Золя, обладателю самого острого обоняния среди всех писателей века. Вкус и осязание также весьма развиты и избирательны. Воистину он богато одарен от природы силой восприятия. Между тем благодаря этой своей переполненности он особенно остро сознает, что так же беден, как и все люди вокруг него: «Всего лишь пять чувств... Всего лишь пять...»

Пан жалуется! В действительности наиболее характерная его черта — это постоянное ощущение в себе шестого чувства, заключенного во всем существе в целом, — чувства единства со всем миром. Он, обладатель шестого чувства, отлично знаком со всеми его недостатками и достоинствами:

«Счастливее или несчастливее те люди, которые воспринимают ощущения не только глазами, ртом, обонянием и слухом, но в той же мере и всей поверхностью тела?»

Как хорошо он знал себя — романист, деланно презиравший анализ и самонаблюдение!

В рассказе «Любовь, или три страницы из дневника охотника» Мопассан появляется без маски: «Я родился со всеми инстинктами и чувствами первобытного человека, впоследствии обузданными воспитанием и рассудком. Охоту я люблю страстно, и при виде окровавленной птицы, крови на перьях и у меня на руках я теряю власть над собой».

Мы снова сталкиваемся здесь с «жестокостью» — основополагающей, органичной, позаимствованной из далеких веков. «Я люблю стрелять в летящую птицу, я убиваю ее, а потом жалею, глядя, как она умирает. И я ухожу, мучимый угрызениями совести, от этого агонизирующего животного, чьи судороги никак не исчезнут из моих глаз... И снова возвращаюсь к охоте».

В целом ряде рассказов проявляется откровенная жестокость: в таких, как «Господин Иокаста» (1883), «Сумасшедший» (1884), «Маленькая Рок» (1885), «О кошках» (9 февраля 1886), «Вечер» (1889). Им близки и военные рассказы, и рассказы о кровной мести, и фантастические новеллы начального периода его творчества.

Ренарде задушил и изнасиловал девочку. Писатель задерживается на описании маленького оскверненного тела: «В нескольких шагах от него на мху лежало совершенно обнаженное детское тело. Это была девочка лет двенадцати. Она лежала на спине, разметав руки, ноги были раздвинуты, лицо покрыто носовым платком, бедра слегка испачканы кровью».

Тремулен, товарищ по коллежу, случайно встреченный на рыбалке, терзает осьминогов потому, что жена изменила ему с 66-летним генералом. Как разителен контраст между болезненной жестокостью человека и умиротворенной красотой залива Бужи! «Он швырнул в лодку искалеченного, издыхающего осьминога, который прополз под моими коленями к зловонной луже, чтобы умереть там, среди уже мертвых рыб».

Отождествление неверной жены с истерзанным осьминогом отвратительно.

Воспитатель Муарон, желая отомстить богу, «угощает» своих воспитанников сладостями, начиненными иголками. «Махмуд-Продувной», обращенный в христианство турок, связывает веревкой своих врагов-арабов. «И тогда он сделал нечто чудовищное и смешное (sic): четки из пленников или, вернее, четки из удавленников. Он крепко связал руки первого пленника, затем набросил затяжную петлю из той же веревки на его шею и ею же стянул руки следующего, а затем его горло... От каждого движения петля затягивалась на шее, и пленным приходилось идти размеренным шагом, почти вплотную друг к другу, чтобы не упасть замертво, подобно зайцу, пойманному в силок...»

Вопреки явному вызову, вопреки «флоберовскому» желанию эпатировать буржуа не следует, однако, преувеличивать садистскую сторону творчества Мопассана.

Рассказ «Любовь, или три страницы из воспоминаний охотника» подтверждает эту точку зрения. Охотники на уток, подстерегая дичь, разводят костер в своем укрытии. «Наш конусообразный дом казался гигантским алмазом с огненной сердцевинкой, внезапно выросшим на льду болота.

Внутри виднелись две фантастические фигуры: это были наши собаки, гревшиеся у огня...»

На рассвете Ги убивает чирка с серебристым брюшком. Где-то высоко над своей головой он услышал крик птицы. Это был самец. Он не хотел улетать. «Никогда еще стон так не надрывал мне душу, как этот безутешный призыв, этот скорбный укор бедной птицы, затерявшейся в пространстве». Кузен убивает самца. «Я положил их обеих, уже остывших, в ягдташ». Перед этими Тристаном и Изольдой животного мира он еще раз оплакивает свою двойственность. «И в тот же день я уехал в Париж».

Рассказ этот был написан 7 декабря 1886 года. Еще несколько раз он будет приезжать на охоту, но охотничий азарт больше никогда не вернется к нему.

У Мопассана была кошка Пироли. Когда он возвращался из очередного путешествия, красивое животное не отходило от него ни на шаг. Привлеченное плеском воды, оно прыгает вокруг ванны и сбрасывает в нее высушенную руку, внушающую такой страд Франсуа.

— Ах ты, чертенок! Ты хочешь утопить в моей ванне руку Шекспира!..

Ги разговаривает с кошкой, сна ему отвечает. Он увозит маленькую «горожанку» в Этрета, где она застывает в изумлении перед утками.

— Надеюсь, мадемуазель Пироли, вы не собираетесь принять этих

пташек за настоящих птиц!

Забавляясь со своей кошкой, Ги раскрывается. Он любит также и своих собак — быть может, даже сильнее, чем Пироли. Но в них нет того «женственного» очарования, которое так присуще кошкам.

В феврале 1886 года в Антибе, лишенный своей Пироли (она осталась в-Париже), он ласкает кошку садовника. «Я действовал на нее раздражающе, но и она раздражала меня, ибо я и люблю, и ненавижу этих зверей, пленительных и коварных (те же самые эпитеты, которыми он наделяет женщину и реку. — А. Л.)... Что может быть нежнее, что дает коже более утонченное, более изысканное, более редкостное ощущение, чем теплая, трепещущая шкурка кошки? Но эта живая одежда сообщает моим пальцам странное и жестокое желание задушить животное, которое я ласкаю».

Смущает ли его это чувство, которое он испытывает?

«Я помню, что любил кошек еще ребенком, но мною и тогда овладевало вдруг желание задушить их своими маленькими руками».

У Ги всегда были кошки в доме, и он испытывал к Пироли чувство такой искренней дружбы, что ее смерть в сентябре 1887 года потрясла его. Он несколько утешится, приобретя маленькую Пусси. Ги так будет заботиться о ней, что попросит Франсуа купить специальную гладкую бумагу: скрип пера по шершавому листу нервировал котенка!

В отношении к женщинам, собакам, дичи, кошкам проявляется двойственность Мопассана: он человек противоречивый, с циклотимическим характером, то мрачный, то просветленный, как двуликий Янус.

*Первый парусник «Милый друг», октябрь 1886 года. — Земля дрожит в Антибе. — Профессор Шарко и «Орля». — Тоска по балу гребцов. — Пепис, Казанова и Франк Гаррис. — Психиатры и критики: трудный диалог*

Из Антиба Мопассан писал Эрмине 2 марта 1886 года: «Что рассказать Вам о здешней жизни? Катаюсь по морю, а главным образом работаю. Я сочиняю историю страсти, очень экзальтированной, очень живой и очень поэтической». Речь шла о «Монт-Ориоле», законченном в Антибе, на вилле Ле Боске, в 1886 году.

Мопассан работал в салоне, за круглым столиком, стоявшим в северной стороне комнаты, работал каждое утро, как в Этрета. Он расхаживал из угла в угол и (Эрмина совершенно точно это подметила), построив фразу в уме, присаживался к столу и записывал. Потом начинал сызнова. Позавтракав, он отправлялся на прогулку, и мысли его были далеки от «Монт-Ориоля»: он думал о новом, следующем романе.

С некоторых пор на его письмах стала появляться пометка: «Борт «Милого друга». По совету старого Гадиса Мопассан в конце 1884 года купил по случаю тендер «Шпага», который согласно красочной легенде некогда принадлежал «проигравшемуся русскому вельможе».

Судно — его черный узкий корпус низко поднимался над водой — обладало высокой скоростью. Восемь человек без труда могли разместиться на борту «Шпаги». Каюта была рассчитана на четверых пассажиров. Блестящий штурвал красной меди служил предметом постоянной гордости Мопассана.

Эта парусная игрушка изменила жизнь писателя, так же как и успех, **результатом и доказательством которого она явилась**. Приготовления к выходу в море носили ритуальный характер: капитан Бернар еще до рассвета бросал в окно своего хозяина горсть морского песка, и некоторое время спустя яхта, снявшись с якоря, уже скользила по Волнам, окутанная лимонным утром, держа курс на Ла Салис. «Звезды меркли и угасали. Маяк Вильфранша в последний раз закрыл свое вращающееся око, и впереди, в небесных далях, над еще незримой Ниццей, я увидел странные розовее отблески: то были вершины альпийских ледников, зажженные утренней зарей...»

«Милый друг», идя на запад против ветра, огибает мыс и направляется к Эстерель: «Прелестная гора..., словно написана акварелью на фоне театрального неба услужливым Создателем для того, чтобы служить моделью англичанкам-пейзажисткам и вызывать восторги титулованных особ — чахоточных или попросту праздных». Вода, ласкающая песок и гранит, умиротворяет печального путешественника, «и радость, которая рождается от того, что ветер толкает меня и несет по волнам, заставляет бездумно отдаться грубым и естественным силам бытия, силам первозданной жизни».

Поклонник Овна из Палермо испытывал насущную необходимость скользить между небом и морем, существовать «на воде».

В декабре Ги снова не сидится на месте. Он покидает Ле Боске и поселяется в «Шале дез Альп». Через окно своей комнаты он видит на востоке цепь альпийских вершин — отсюда и название домика. Вот вершина горы Бордигер, обнаженная, раздетая резким мистралем; вот Ницца с ее бухтой Ангелов и чуть ближе, у Антиба, — земляные укрепления Вобана. На широком плацу маршируют солдаты в красных форменных рейтузах. На западе — мыс Антиб, голубые глубины пустынного залива Куан, белые Канны и ожерелье островов Эстерель, словно бы отчеканенное из зеленоватого золота.

Закончив утреннюю работу, Ги часто отправляется побродить в сторону Валлорис, «в такие густые леса, где только ложбинки служат естественными дорогами». Он стреляет, плавает. Из окна кабинета он видит мачты своей яхты. В ветреную погоду капитан Бернар поднимает флаг ее владельца.

Иногда Ги заходит поглядеть на цветочные плантации Эрве. После всех неприятностей, которые его младший брат причинил матери да и ему самому, Эрве наконец остепенился, хотя поведение его время от времени давало еще повод для беспокойства. Ги в свое время помог брату деньгами, тот обзавелся цветочным хозяйством и 19 января 1886 года женился на Мари-Терезе де Фантон д'Андон, молодой девушке из предместья Грасс. Жизнь неудачливого Эрве вроде бы наладилась.

Этой зимой, 23 февраля, произошло землетрясение в Антибе.

«Вечер выдался необыкновенно красивый, и я допоздна любовался небом, усыпанным крупными звездами. По ту сторону залива Ницца танцевала и пела в этот последний карнавальное вечер». Ги, как обычно, лег спать около часа ночи. Разбуженный грохотом и страшными толчками, он в испуге вскочил с постели. «В первую секунду растерянности я просто



подумал, что рушится дом... Я вскочил на ноги и бросился к двери, и тут сильнейший толчок отшвырнул меня к стене... На лестнице я услышал странный и зловещий перезвон колокольчиков; они звонили сами по себе...»

Лакей бегом спускается по лестнице.

— Скорей на улицу! — кричит Ги. — Это землетрясение!

Он нервничает:

— В сад! Сейчас будет второй толчок! Где же мама? Мама, спускайся скорее!

Лора все не появляется. Он зовет ее снова.

— Не могу же я бежать! — откликается Лора. Как все чересчур нервные люди, она сохраняет спокойствие во время самых ужасных катастроф. — Какое мне дело до этого землетрясения!

Наконец все в саду. «Через несколько мгновений после первого толчка море резко отпрянуло от берега, оставив на мели лодки и рыб. Трепетали маленькие сардины, крупный морской угорь удирал, хотя никто не собирался его преследовать. А потом двухметровый вал накрыл пляж, и море наконец вернулось на свое место».

В Антибе было много раненых. Один человек умер. Целых шесть недель двести антибских семей ютились в палатках. Ги ненавидел нищету и описывал ее с отвращением. Отрывок из «Пьера и Жана» красноречиво говорит об этом:

«У него перехватило дыхание от тошнотворного запаха, свойственного нищему и грязному люду, от зловония человеческого тела, зловония более отвратительного, чем запах звериной шерсти или щетины. В каком-то подобии подземелья, темном и низком, как забои в рудниках, сотни мужчин, женщин и детей лежали на дощатых нарах... Пьер думал о многолетнем труде этих людей, труде упорном и напрасном... об энергии, растроченной этими несчастными, которые намеревались заново начать неведомо где жизнь в безысходной нужде, и ему хотелось крикнуть им: «Да бросайтесь вы лучше в веду со своими самками и детенышами!» И сердце его так заныло от жалости, что он поспешил уйти, не в силах больше выносить этого зрелища».

А Ги не уезжал. Антибская катастрофа выявила его скрытую доброту. Знаменитый писатель, «господин из Парижа», одним из первых пришел на помощь пострадавшим от землетрясения.

Зимой 1886 года, в перерывах между работой над «Монт-Ориолем», Мопассан пишет «Орля». Маловероятно, что сюжет рассказа — только

плод воображения писателя. Да и сам Мопассан никогда этого не утверждал. С первой же главы, как и с первых строк новеллы «Гарсон, кружку пива!», мы убеждаемся в том, что в произведении звучат автобиографические мотивы. Как и большинство романистов, Мопассан использовал какой-то реальный факт из своей или чужой биографии, оживляя и обогащая его. Трудно восстановить историю сюжета, когда дело касается таких писателей, как Ги де Мопассан.

По поводу возникновения «Орля» существует несколько гипотез. Одна из них утверждает, что тема была С \_доказана Мопассану Шарко: знаменитый врач консультировал его мать и, кроме того, встречался с Ги у Гонкура. Блестящий психиатр, на лекциях которого о неврозах и истерии в больнице Сальпетриер бывал весь Париж (эти лекции посещал в 1886–1887 годах и молодой австрийский студент Зигмунд Фрейд), поведал об этой теме Эннику, который и пересказал ее Ги. Шарко оказал на литераторов третьей четверти XIX века такое же влияние, какое оказали Месмер и Сведенборг<sup>[93]</sup> на Бальзака. Светское общество было без ума от — доктора Шарко. С другой стороны, психиатрия всегда занимала Ги.

Согласно второй гипотезе тема рассказа принадлежит Жоржу де Порто-Ришу. Автор «Влюбленной» подтвердил это доктору Пилле: «Я не подсказал Мопассану сюжет «Орля» в буквальном смысле этого слова. Йо мы, во всяком случае, обсуждали подобную тему, и я хочу добавить — и это абсолютно соответствует истине, — что сюжеты многих мрачных и меланхолических историй были ему подсказаны мною».

Как бы то ни было, даже признавая определенное единомыслие между этими писателями, фантастическая идея о существе, изгоняющем вас из вашего собственного «я» и занимающем ваше место, владела Мопассаном до его дружбы с Порто-Ришем и до знакомства с Шарко.

Мопассан всегда склонен был преувеличивать свое увлечение фантастикой, относясь к ней не как к литературному жанру, но как к иной существующей реальности. «Я не боюсь опасности. Я не боюсь привидений, не верю в сверхъестественное. Я не боюсь покойников и убежден в полном исчезновении каждого уходящего из жизни существа. Так, значит?.. Так, значит?.. Ну да, я боюсь самого себя!»

Это решающее признание. Галлюцинации, появление которых Франсуа Тассар заметил еще в 1882 году, все более дают о себе знать. Задолго до «Орля» он написал рассказ «Он?» — тщательно разработанный художником рассказ о галлюцинации, который поразил, смутил и взволновал читателей. Вернувшись домой, персонаж, от лица которого ведется рассказ, находит своего приятеля уснувшим у камина. Он

протягивает руку к его плечу. «Рука уперлась в деревянную спинку кресла. Там не было никого. Кресло было пусто!.. А между тем голова моя все время оставалась ясной... Значит, произошло это не от умственного расстройства. Здесь был только обман зрения, обманувшего, в свою очередь, мысль... Случайное нервное расстройство зрительного аппарата — и только, да, может быть, еще легкий прилив крови».

Именно так чувствовал себя Ги после каждой своей галлюцинации — растерянный, но трезвый наблюдатель того, что в нем происходило.

В «Орля» фиксируется развитие подобного наваждения, тщательнейшим образом описанного главным действующим лицом — самим автором. Мы сталкиваемся с литературным воплощением темы о неизвестном, которая преследует Ги с юных лет и всю жизнь преследовала его дядю Альфреда. Доппельгенгер, двойник, вот-вот появится из-за кулис.

Существует два варианта повести «Орля». Первый, законченный 26 октября 1886 года, содержал не более десятка страниц. Второй был втрое больше. Первый вариант написан в форме рассказа о больном, содержащемся в психиатрической лечебнице. Второй — в форме дневника. События, описанные в дневнике, придают второму варианту потрясающую достоверность, проникнутую живым ужасом, усиленную рядом великолепных вводных сцен: прогулкой на Мон-Сен-Мишель, сеансом гипноза, возвращением на бал гребцов. Эти сцены дают передышку в нагнетении ужасов. Они пробуждают тоску по безвозвратно утерянному, неискаженному духовному миру.

Поразительно сильное впечатление возникает от сочетания страшного сюжета с меланхоличной ясностью стиля. «Откуда струятся эти таинственные влияния, которые превращают наше счастье в уныние, а надежды — в отчаянье? Как будто самый воздух, невидимый воздух наполнен неведомыми Силами, таинственную близость которых мы испытываем на себе. Я просыпаюсь радостный, желание запеть переполняет мою грудь. Почему? Я иду низом вдоль берега и вдруг, после короткой прогулки, возвращаюсь расстроенный, как будто дома меня ожидает какое-то несчастье. Почему? Может быть, это струя холода, коснувшись моей кожи, потрясла мои нервы и омрачила душу? Или же это форма облаков, краски дня, оттенки предметов, такие изменчивые, воспринятые зрением, встревожили мою мысль? Как знать?»

Какое прекрасное описание внутреннего состояния. Сначала герой испытывает лихорадочное возбуждение попеременно с приступами неудержимого веселья, затем его мучают кошмары, охватывает тоска. На миг он успокаивается подле монаха, но новая волна вновь захлестывает

его. «Не схожу ли я с ума?» — спрашивает он себя. Герой уезжает в Париж, Сеанс гипноза, которому подвергается его кузина, потрясает его. Он отправляется на бал гребцов в Буживаль.

Где же горестное смятение «Подруги Поля», чувственная радость «Поездки за город», искрящаяся женственность «Иветты»? Человек постарел. Он больше в этом не участвует. «Я пообедал в Буживале, а вечер провел на балу гребцов. Несомненно, все зависит от местности и окружающей среды. Поверить в сверхъестественное в «Лягушатне» было бы верхом безумия...»

Мопассан понижает голос, говорит задушевно и проникновенно: «Я думал обо всем этом, идя по берегу реки. Солнце заливало светом водную гладь, ласкало землю, наполняло мои взоры любовью к жизни, к ласточкам, чей стремительный полет — радость для глаз, к прибрежным травам, чей шелест — отрада для слуха».

Эту отчаянную попытку — вернуть молодость, уберечься от чудовища, поселившегося в крови, снова стать сильным, здоровым, язычником — Ги пытался осуществить и в своей жизни. Настойчиво, раз за разом вступал Ги в борьбу с собой за себя — и неизменно терпел поражение. «Но мало-помалу необъяснимое беспокойство овладевало мною. Какая-то сила, мне казалось, — тайная сила сковывала меня, останавливала, мешала идти дальше, влекла обратно...» С Орля («Это он, он, Орля преследует меня, внушает мне эти безумные мысли! Он во мне, он стал моей душой; я убью его!») не совладать ни реке, ни Нормандии.

Река, так же как и жизнь, внушает мысль о небытии, ибо она течет. Число персонажей Мопассана, которые тонут, топятя или хотят найти смерть в воде, весьма значительно. Это и мальчуган из «Папы Симона», и соблазненная из «Девушки с фермы», и Жан из «Солдатика». В творчестве Ги де Мопассана больше утопленников, чем во всей французской литературе.

Мопассан в «Орля», как и в «Жизни», натывается на смерть, как пчела на оконное стекло.

Угрюмый герой «Орля» возвращается к себе. «На моих глазах невидимая рука сломала цветочный стебель, а потом исчезла вместе с цветком». Отныне он уверен в том, что лишился ума. «Кто-то овладел моей душой и управляет ею».

Галлюцинирующий читает в научном журнале, что явления подобного рода наблюдались в Рио-де-Жанейро. «Растерянные жители покидают дома... утверждая, будто их преследуют, будто ими овладевают и

распоряжаются, как людским стадом, какие-то невидимые, хотя и осязаемые, существа, вроде вампиров, которые пьют их жизнь во время сна и, кроме того, питаются водою и молоком...»

Это озарение... Разве он не видел, как в Руане по Сене плыл «великолепный бразильский трехмачтовый корабль»? Бразильский! Вот объяснение! «Существо это приплыло на нем — оттуда, где появилась эта порода». Круг замкнулся, логика восторжествовала. Потрясенный читатель вновь обретает почву под ногами. Но читатель не ведает о том, что Мопассан присутствует в своем рассказе. Не вне его. Мопассан из «Орля» знает всю правду. История, о которой он поведал, является его собственной историей.

«Орля» в противовес большинству произведений этого жанра не утрачивает напряженности до последней фразы. Вместо того чтобы свести рассказ к банальной действительности, логика поднимает его до вершин непримиримости. Такому герою, каким увидел его Мопассан, не остается ничего иного, как убить Орля, чтобы спастись. Герой поджигает дом. Орля ускользает, потому что он нематериален. Мопассан заканчивает рассказ, перефразируя принадлежащее Эдгару По выражение: «Нет... Нет... Несомненно... несомненно... он не умер... Значит... значит, я должен убить самого себя!»

Тысячу раз приходя в отчаяние от боли, которую причиняют ему глаза, от бесконечных мигреней, от галлюцинаций, холодно взвешивая возможность победы безумия, Ги думает о самоубийстве. Он говорит об этом почти теми же словами, что и его герои: «Я совершенно отчетливо констатирую, что мое здоровье ухудшается, что мои физические страдания усиливаются, что моя галлюцинации становятся все более затяжными, что моя работоспособность уменьшается. Высочайшее утешение для меня заключается в том, что, когда я стану немощен и жалок, я сам смогу положить всему этому конец».

К этому периоду относится встреча Мопассана с Франком Гаррисом, довольно неприятной личностью, представляющей собою нечто среднее между Самюэлем Пеписом<sup>[94]</sup> и Казановой. С этим английским переводчиком Ги связывало главным образом то, что было так неприятней в самом Мопассане: бахвальство, рискованные выходки и грубые шутки. Гаррис вейоминает, что Мопассан прислал ему своего «Орля» вместе с «очень занятым» письмом, в котором писатель говорит, что критики, несомненно, сочтут его сумасшедшим, Но что его друг Гаррис не даст ввести себя в заблуждение. «Рассудок мой абсолютно здоров. Однако эта история меня удивительно захватила! В нашем мозгу возникает столько

мыслей, которым мы не можем дать объяснения, столько инстинктивных страхов, которые образуют, так сказать, дно нашего существа».

Согласно этому высказыванию, содержание которого неоспоримо, Ги отлично сознавал, что его произведение выходило далеко за пределы обычной литературы. И когда Гаррис, невзирая на насмешливое предупреждение Ги, написал: «Страх, который вы, должно быть, испытали и который вдохновил вас на этот рассказ, доказывает, что нервы ваши вконец расстроены», — Мопассан, смеясь, воскликнул:

— Никогда еще я не чувствовал себя так хорошо!

Он смеется слишком громко. Факт, приведенный Гаррисом, подтверждает и Робер Пеншон. Однажды, после опубликования первого варианта «Орля», Ток и Жозеф Прюнье отправились позавтракать: «Мы говорили о его последней новелле, и, так как я заметил ему, что она будоражит мозги, он разразился здоровым чистосердечным смехом, который подтверждал, что уж у кого, у кого, а у него-то мозги не набекрень».

Посылая в конце октября первый вариант «Орля» в редакцию «Жиль Бласа», Ги сказал Франсуа:

— Я отправил сегодня рукопись «Орля». Увидите, не позже чем через неделю все газеты будут писать, что я сумасшедший. Ну что ж, как им будет угодно! Я абсолютно здоров психически. Я отлично отдавал себе отчет в том, что делаю, когда писал эту новеллу.

— Конечно, мосье, конечно, — говорит несколько обеспокоенный Франсуа.

Мопассан своим «Орля» вызвал неразрешимый спор между психиатрами и критиками. Первые с легкостью обнаруживают в его творчестве признаки умственного расстройства, которое вторые с возмущением отвергают.

Правдоподобность истории, рассказанной в «Орля», смущает и настораживает. Достоверность, разумеется, достигается отчасти мастерством автора, но вместе с тем **и чем-то другим. Это не только мастерство.** Рассказ насыщен множеством подлинных деталей, хорошо знакомых самому Ги: графин, опустевший к утру, дверь, запертая на два поворота ключа, холодное и пустое зеркало перед рассказчиком. Но это еще не все. Детали обретают пророческий смысл, который будет разгадан лишь в будущем, как, например, такое поразительное откровение: «Все время у меня ужасное предчувствие угрожающей мне опасности, боязнь надвигающегося несчастья или близкой смерти, то ощущение, которое,

несомненно, является приступом болезни, еще неизвестной, но **гнездящейся в крови и плоти».**

Мопассану не было нужды фантазировать, чтобы создать правдоподобный вымысел. Ему достаточно было прислушаться к самому себе. Холод, который гнездится в глубинах его существа, порождает смерть, и она медленно поднимается по его капиллярам. В том, что он пишет, предвосхищение того, кем он станет скоро, очень скоро. Это так страшно, что нет нужды притворяться: **этот человек изображает самого себя.**

*Трое детей Литцельман, 1883, 1884, 1887. — Второе досье по делу «Разыскивается отец». — Неприязнь к брату. — Шатель-Гийон в 1883 году. — «Монт-Ориоль», или отвращение к материнству. — «Мои двадцать пять дней», дневник курортника*

27 февраля 1883 года в Париже, в 17-м округе родился от неизвестного отца мальчик Люсьен, которому была дана фамилия его матери Жозефины Литцельман. Через двадцать лет, десять лет спустя после смерти Мопассана, одна из ежедневных парижских газет, «Эклер», оповестила читателей, что Мопассан оставил после себя потомство — мальчика и двух девочек.

В 1884 году родилась девочка Люсьенна, а 29 июля 1887 года на улице Миди в Венсенне появилась на свет вторая девочка, Марта — Маргарита.

Их мать Жозефина Литцельман умерла в 1920 году. После смерти мадам Литцельман журналист Огюст Нарди посетил ее сына и обеих его сестер: «Все трое сохранили весьма четкие воспоминания о своем отце, помнят его посещения, но не позволяют себе никаких разговоров, касающихся официальной стороны этого дела. Все трое были огорчены тем, что печать заинтересовалась ими. Старший рассказал, что он часто получает газеты и журналы, содержащие материалы о его отце. Кто их посылает, ему неизвестно. Есть, однако, люди, очевидно знающие его историю: когда он был произведен в офицеры, чья-то рука вывела на его деле: «сын Мопассана».

После смерти Мопассана, в 1893 году, положение семьи Литцельман заметно ухудшилось. «Мать располагала еще в ту пору деньгами, но они быстро иссякли, и через несколько месяцев мы оказались в нужде. Между тем она получала время от времени письма с сургучными печатями...»

Мопассан, очевидно, взял на себя материальную ответственность за семью Литцельман при жизни и в какой-то степени после своей смерти. Итак, дети Литцельман не были в полном смысле этого слова покинутыми детьми. В завещании, однако, Ги назвал наследницей свою племянницу.

Люсьен Литцельман, несомненно, внешне похож на своего предполагаемого отца: тот же овал лица, те же пропорции, тот же подбородок, нос, волосы, но он был более приветлив и добродушен. Маргарита, младшая сестра, по словам Огюста Нарди, очень походила на



Лору.

Познакомимся теперь с Люсьенной Литцельман — портнихой-надомницей, проживавшей в 1927 году в Париже, по улице Асомпсьон, в доме 82: «Женщина очень восприимчивая, брюнетка, несколько полноватая, с теми же глазами, что и у Маргариты, и так же очень напоминавшая Лору де Мопассан». Встретившись с Нарди, она расплакалась. «Он меня ласкал, баловал... Он нас любил... Наша мать очень горевала после его смерти...»

В комнате Люсьенны фотографии Ги. «Он не любил фотографий, — говорит она. — Он их рвал». Эта деталь весьма интересна и изобличительна.

На сегодняшний день вероятность тройного отцовства Мопассана весьма велика. По словам Ломброзо, мадам Лора де Мопассан и друг семьи доктор Балестр, лечивший ее, отрицали существование этих детей.

Врач Лоры говорил Ломброзо: «Я никогда не слышал, чтобы в семье кто-либо говорил об этих трех детях... мадам де Мопассан никогда не упоминала о них.

Мопассан оставил сына, но вам ведь известно, какие обстоятельства мешают назвать его. Между тем это секрет Полишинеля».

Ни доктор Балестр, ни Ломброзо не прибавили к этому ни слова. Возможно, оба они имели в виду маленького Пьера Леконта дю Нуи...

Люсьен Литцельман был уверен, что, если бы смерть его отца «не была бы столь трагической, если бы он обладал трезвым рассудком, он, несомненно, признал бы (их. — А. Л.)». Маловероятно! В декабре 1891 года, за несколько дней до попытки покончить с собой, в присутствии двух врачей Ги составит завещание, назначив единственной и законной наследницей всего своего состояния племянницу Симону, дочь брата Эрве, отцу и матери доставалась лишь четверть, гарантированная им законом о наследстве. Довольно странное завещание для человека, которого так мучительно волновала проблема незаконнорожденных!

Можно было бы выдвинуть и другие предположения. В высшем обществе, в частности, в Нормандии было принято бросать своих незаконнорожденных детей. Женитьба на простой женщине явилась бы, несомненно, катастрофой для Мопассана, который в 1883 году делал все от него зависящее, чтобы проникнуть **в общество**.

Не следует также упускать из виду, что Мопассан, как и Флобер, был открытым противником брака. Тем не менее Ги несколько раз подвергался

этому искушению. «За несколько лет до смерти Ги, — говорит Леон Фонтен, — я слышал от него самого — от этого твердокаменного холостяка, хмурого отшельника, — что он готов был бы соединить свою жизнь с некой дамой, если бы она была свободна».

Приблизительно в 1887 году Ги встретил у графини де Х. молодую, красивую, сдержанную и изящную женщину. Этой неизвестной нам даме и адресовано, надо полагать, его письмо из Туниса от 19 декабря 1887 года — письмо, проникнутое обжигающей искренностью: «Со вчерашнего вечера я, как потерянный, мечтаю о вас. Безумное желание увидеть вас снова, увидеть вас сейчас же, здесь, передо мной, внезапно переполнило мое сердце... Не чувствуете ли вы, как оно исходит от меня и реет около вас, это желание?.. А больше всего хотел бы я увидеть ваши глаза, ваши кроткие глаза... Через несколько недель я покину Африку. Я снова увижу вас. Вы приедете ко мне, не правда ли, моя обожаемая? Вы приедете ко мне в...» Продолжение письма неизвестно.

В июне 1888 года в Экс-ле-Бен Мопассан поведал Франсуа нечто более определенное. Несколькими годами раньше ему понравилась молодая девушка, но из страха он предпочел соблазнительную интрижку. «И я спрашиваю себя: быть может, этот брак стал бы для меня счастьем?.. Но судьба есть судьба!»

Франсуа еще раз вспомнит об этом признании в беседе с доктором Бланшем после смерти Ги. Тассар был уверен в том, что удачный брак спас бы его хозяина. «Нет, — ответил психиатр, — Ги де Мопассан был слишком большим художником, чтобы жениться...»

Властная, аристократическая Лора не желала и слышать о какой-то Литцельман. Огюст Нарди пишет об этом совершенно определенно: «Госпожа Лора де Мопассан, безупречная мать, непреодолимой стеной оградила своего умирающего сына от общества. Она запретила молодой женщине вход в больницу Пасси, где умер Ги. Решительным движением набросила она вуаль на его прошлое. Она отказывалась видеть и понимать». «Дети!.. Я не знаю никаких его детей, кроме этих!» — говорила она, указывая на книги сына.

Андре Виаль пишет с заведомой осторожностью: «Небезынтересно также, что, быть может, из дворянского тщеславия, а скорее всего из уважения к семейным предрассудкам, которое бросает тень на его смелость, Ги де Мопассан, которому материнское тщеславие **вопреки истине** отводит местом рождения замок, не признал своими троих детей, рожденных ему в 1883, 1884 и 1887 годах женщиной низкого происхождения».

Существуют матери, злоупотребляющие своим материнством, существуют злоупотребляющие своим положением вдовы. Властные женщины, потерпевшие разочарование в браке и слишком долго завивавшие волосы своих подрастающих сыновей, тем самым готовят из них завязанных клиентов Содома, убежденных холостяков, одержимых соблазнительями и в конце концов **приносят их себе в жертву**. Если Мопассан и совершил этот нечистоплотный, на наш взгляд, поступок, то причиной тому, несомненно, была Лора. Пользуясь своей слабостью, одиночеством, даже своей болезнью и бесконечной нуждой в деньгах, Лора сделала все, чтобы сохранить сына, ограждая его от Жозефины Литцельман, как и от всякой другой женщины.

Что касается Тассара, которого так открыто обвиняет одна из дочерей Ги и чье влияние все возрастало по мере развития болезни Мопассана, то Франсуа раболепно повиновался Лоре, которой безгранично восхищался.

В 1887 году, заканчивая работу над «Монт-Ориолем», Мопассан жил в Антибе. Этот год — год рождения третьего ребенка Жозефины Литцельман. Роман «Монт-Ориоль» проливает наиболее яркий свет на личность автора. Финансовая интрига (она преподнесена здесь в более грубой форме, нежели в «Миллом друге») дополняется в романе любовной историей, которая объясняет еще одну навязчивую идею Мопассана — отвращение к материнству.

Мы знаем теперь, что замысел романа возник в результате посещений Мопассаном курорта Шатель-Гийон, где он жил у доктора Барадюка.

Инспектор минеральных источников Барадюк немало способствовал процветанию курорта; он хотел контролировать оба источника и даже сумел заинтересовать этим делом парижского банкира Брокера. Таким образом, в 1887 году было создано Общество минеральных вод Шатель-Гийона.

Разберемся в этом подробнее. Доктор Бонефиль, один из героев романа, открывший источник, составил полное-представление о возможных доходах будущего предприятия: «Ловкость, такт, гибкость и смелость решают все. Чтобы создать курорт, нужно ввести его в моду, а чтобы ввести его в моду, надо заинтересовать парижских светил медицинского мира».

Андермат, еврейский банкир, тотчас же понимает, какую он может извлечь выгоду из Анваля, построив здесь, на холме, современный курорт. К сожалению, этот холм принадлежит упрямому и алчному овернцу, старику Ориолю.

Конфликт между Андерматом и Ориолем, этими двумя стяжателями, делает роман динамичным. 11 мая 1884 года Мопассан писал: «Вокруг каждого курорта, возникшего у теплого минерального источника, который открыл какой-нибудь крестьянин, разыгрывается немало любопытнейших сцен. Прежде всего это торг с крестьянином за землю, затем создание общества с фиктивным Капиталом в несколько миллионов, затем сооружение Первого здания на мнимые деньги, но из настоящих камней, потом приезд первого врача, носящего звание врача-инспектора, потом появление первого больного и, наконец, занимательная комедия, разыгрываемая между больным и врачом».

На этом медико-социальном фоне развивается любовный роман Христианы, жены Андермата, и Поля Бретиньи, молодого парижанина, который, как только эта дама будет обезображена беременностью, покинет ее ради молодой и свеженькой Шарлотты Ориоль, одной из дочерей старика Ориоля.

Это отвращение к беременности — интересная сторона книги, которая самому Мопассану представлялась неудачной. Бретиньи испытывает постоянное чувство гадливости к материнству, которое «превратило эту женщину в животное. Она уже не была теперь редкостным, обожаемым, дивным созданием, а стала самкой, производительницей...».

Это ее удел, ему же предназначено иное: «Она не понимала, что этот человек был из породы любовников, но совсем не из породы отцов».

И на сей раз писатель наделяет своего героя собственными чертами. В рассказе «Бесполезная красота» красавица графиня Габриэль де Маскара ненавидит своего мужа за то, что он **обрекает ее на отвратительную пытку материнством**. Семеро детей за одиннадцать лет (явление, обычное для той эпохи)! «Одиннадцать лет беременности для такой женщины! Ведь это ад! Молодость, красота, надежды на успех, поэтический идеал блестящей жизни — все принесено в жертву отвратительному закону воспроизведения рода... и здоровая женщина становится простой машиной для деторождения».

В рассказе «Прощай!» очаровательная любовница становится толстой насадкой: «Она высидела четырех девочек!» О этот глагол! Так же как и в «Монт-Ориоле», здесь принимается в расчет лишь реакция любовника на обожаемую женщину, безвозвратно утратившую всю свою поэтичность. «Сердце сжималось от острой боли, и в то же время во мне нарастало возмущение против природы, безрассудный гнев против жестокого, отвратительного разрушения».

**Творение** Мопассан называет здесь **разрушением**. Однако он обожает детей. Что же это означает? Да только то, что противоречивый Мопассан пытается примирить непримиримое — и не может сделать этого. Этот человек связан.

Следует ли продолжать? Безусловно, да; если и невозможно выбраться из темных лабиринтов биографии, то на помощь приходит анализ творчества. Для Ги трагизм человеческого существования — явление биологическое. Всякий ребенок несет в себе катастрофу, **потому что в нем заключена жизнь**. Все зло идет от него. Ребенок убивает мать при своем рождении. Ребенок становится отцеубийцей. Ребенка крадут. Ребенок появляется на свет в атмосфере тайны. У Мопассана ребенок очень редко является источником счастья. «Мысль о маленьком существе, зачатом от него человеческом зародыше, что шевелится в ее теле, оскверняет его и уже обезобразил его, вызывала у Поля Бретиньи непреодолимое отвращение».

Мопассан выражает это отвращение тем же глаголом «высиживать». Высиживать яйца. Даже в агонии он будет вспоминать об этих яйцах. Мопассан теперь не приемлет жизнь так же, как и смерть. Он находит абсурдным человеческое существование.

Когда втайне рожденные дети Мопассана прочитали «Монт-Ориоль», они, видимо, многое сумели понять в своем отце.

Летом 1883 года Ги жил в Шатель-Гийоне. Без всякого удовольствия испытал он на себе «пытку водой», «стянутый неким подобием смиренной рубашки» из клеенки, с резиновой кишкой во рту, которую врач засовывает в горло больному, «вводя все глубже и глубже. (Пациент. — А. Л.) задышался, всхлипывая, икал, делал мучительные и тщетные попытки извергнуть из своего желудка заползавшую в него резиновую змею... Служитель повернул кран, и вскоре живот у больного начал заметно вздуться, наполняясь теплой водой источника...».

В перерывах между отвратительными процедурами Мопассан изучает обитателей курорта — так же, как он изучал нормандских крестьян, гребцов «Лягушатни», чиновников министерства, арабов Алжира, журналистов из «Милого друга».

«Здесь встречаются представители всех слоев населения, — всех народов, всего мира, — чудовищная смесь, одним своим существованием порождающая темные и опасные авантюры. Женщины осуществляют свои замыслы с очаровательной легкостью и быстротой. Мужчины приобретают состояния, как Андермат; другие находят здесь смерть, как Обри-Пастер; иных ждет трагический конец... они женятся».

Мы вновь встречаем Мопассана в Шатель-Гийоне в конце июля 1885 года, и весь август он пишет роман — «короткую и простую историю, развертывающуюся на фоне спокойного пейзажа».

Ги, как всегда, работает по-своему: наблюдая, развлекаясь, во всем принимая участие, не делая специальных записей, но кропотливо собирая материал. Отсюда и появление псевдодневника курортника «Мои двадцать пять дней». В этом произведении Ги беззаботен, он со смешной гримасой пьет лечебную воду, расточает улыбки хранительницам целебной жидкости, прогуливается до эрмитажа Сен-Суси и в долину Анваль и, наконец, волочится — за двумя незнакомками. История поездки в ландо к озеру Тазена с двумя «вдовушками» очаровательна. Озеро Та-зена «круглое, синее, прозрачное как стекло».

«— Не выкупаться ли нам?

— Но... А костюмы?

— Ба! Мы одни!

И мы купаемся!»

«Вода настолько прозрачна, что белые тела, скользя вдоль утесов, кажутся парящими в воздухе. Даже видны их движущиеся тени на песчаном дне».

Он совершает прогулку в Шатонеф, где лечатся ревматики, и вновь обретает свой мрачный юмор: «Презабавно, чуть ли не все население на костылях!» Говорят, что девушки-горянки славятся своими свободными нравами. Господин кюре требует за каждое грехопадение высаживать одно ореховое дерево. «И вот по ночам на холме, точно блуждающие огоньки, двигались фонари, ибо согрешившим вовсе не хотелось приносить покаяние среди бела дня». Через Два года на участке, принадлежавшем общине, насчитывалось свыше трех тысяч ореховых деревьев господина кюре!

Да будет нам позволено предпочесть этот шаловливый набросок всему тяжеловесному «Монт-Ориолу» — несостоявшемуся новому «Милому другу».

Счеты с врачами сводит не только Мопассан-писатель, но и Мопассан-больной. Ги упрекает врачей в том, что «они так невежественны и глупы, что я хотел бы свести счеты с теми, кто дал им право безнаказанно пользоваться их ремеслом». Он яростно нападет на «опытного врача, умеющего привлечь внимание к своим открытиям и заявляющего, что источники, открытые им, обладают свойством продлевать человеческую

жизнь; человечество много лет не может разобраться в сути и окружает имя первооткрывателя ореолом».

Врачи из «Монт-Ориоля» составляют целую шутовскую галерею. Здесь есть всякие, на любой вкус: врач торжественный, врач добродушный, врач — любимец женщин, сельский врач — прямолинейный и толковый, парижский врач — искусный интриган; врач благочестивый, умеющий выпытать чужую тайну и сохранить ее, врач-итальянец — податливый и хитрый.

***Графиня Потоцкая. — Мари Канн, «холодная красавица». — Женестьева Стрo и маленькие союзники. — Общие интересы***

Графиню Потоцкую, то обжигающую, то леденящую, нашпигованную морфием, так же как шелковая подушечка рукодельницы — иглами, Мопассан вывел в романе «Наше сердце» под именем баронессы де Фремин: «...Изящный рот с тонкими губами был, казалось, намечен миниатюристом, а затем обведен легкой рукой чеканщика. Голос ее кристально вибрировал, а ее неожиданные острые мысли, полные тлетворной прелести, были своеобразны, злы и причудливы. Развращающее, холодное очарование и невозмутимая загадочность этой истерической девчонки смущали окружающих, порождая волнение и бурные страсти. Она была известна всему Парижу как самая экстравагантная светская женщина из подлинного света». В своих записках Франсуа Тассар называл ее «девчонка». Это говорит о многом. «Она покоряла мужчин своим неотразимым могуществом. Муж ее тоже был загадкой. Благодушный и барственный, он, казалось, ничего не замечал. Была ли то слепота, безразличие или снисходительность?.. Доходило до намеков, будто он извлекает выгоду из тайной порочности жены».

Эта прелестная союзница во многом помогла Ги. С другой стороны, Ги, несомненно, являлся украшением ее салона. Ну что ж, ничего не дается даром! Княгиня по рождению, графиня по мужу, Потоцкая имела все возможности для того, чтобы предъявить свету свои желания и удовлетворять свои — нередко весьма рискованные и далеко идущие — капризы. Ее салон отличался свободными, очень свободными нравами.

В игре Ги де Мопассана эта дама треш с авеню Фридлянд была одной из козырных карт.

Потоцкая дружила с Мари Канн, с которой Ги был хорошо знаком еще со времен «Монт-Ориоля». Он видел Мари у Потоцкой, приезжал к ней в Сен-Рафаэль, беседовал о ней с принцессой Матильдой. Если милая Эрмина была чертовой дамой, то Мари — это дама пик.

«Происходя якобы от восточной знати, — говорит Андре Виаль, — Мари Канн в действительности была украинской еврейкой».

Она жила на улице Гренель, в самом центре пестрого общества,



населявшего светское предместье Сен-Жермен по обоим берегам Сены.

Гонкур, замороженный Мари Канн, посвятил ей любопытную страницу, относящуюся ко времени торжества Мопассана в светских парижских салонах.

«Понедельник, 7 декабря, 1885. Обед у м-м Мари Канн. Три лакея на лестнице, высокие двустворчатые двери, огромные комнаты, анфилада залов, стены которых обтянуты шелком, говорят вам о том, что вы в доме еврейского капитала... На диване небрежно расположилась м-м Канн, — большие глаза, обведенные темными кругами, глаза, переполненные негой, свойственной брюнеткам, лицо цвета чайной розы, черная мушка на щеке, насмешливо изогнутые губы, глубокое декольте, открывающее белоснежную шею с голубыми прожилками, и ленивые, расслабленные движения, в которых подчас угадывается лихорадочная страстность. Эта женщина обладает совершенно особым, томным и ироническим обаянием, к которому примешивается необъяснимая обольстительность русских женщин: интеллектуальная извращенность в глазах и наивное журчание голоса... Однако, если б я был еще молод и искал любви, мне было бы достаточно одного кокетства: кажется, что если бы она отдалась мне, то я, поцеловав ее, почувствовал бы вкус смерти... Разговор каким-то образом перешел от Палермских катакомб (Мопассан вернулся с Сицилии и, разумеется, присутствует на обеде. — А. Л.) к моргу и утопленникам. Мопассан пространно рассказывает о выуженных из Сены трупах... Он рассказывает все более смачно... описывая отвратительность трупов с целью — это так впечатляет! — воздействовать на разум молодых женщин и одновременно скрыть свой страх перед темными кошмарами».

Мари Канн, «улыбающаяся, испуганная, замирающая», сидя у своего освещенного, написанного во весь рост портрета работы Бонна, задумчиво вглядывается в сильного нормандского бычка.

Женевьева Стро, бубновая дама, не менее привлекательна в этой разномастной игре. Вдова Жоржа Бизе, она вышла замуж вторично за адвоката Эмиля Стро. Образованная, живая, умная, с выразительной наружностью каверзного мальчишки, более пикантная, нежели красивая (фотографии опровергают слащавые комплименты мемуаристов), она сумеет «завоевать» для своего салона Марсея Пруста. Ее сын приведет Марсея в салон матери приблизительно в 1888 году. Мопассан не придает Прусту никакого значения, в то время как Пруст открыто восхищается им, о чем и пишет своему отцу: «Надеюсь, он тебе понравился. Я видел его всего лишь два раза, он, наверное, знает, чем я занимаюсь». Если Мопассан и не

фигурирует в романе «В поисках утраченного времени», то Женестьева и Эмидь Стрo запечатлены в образах герцога и герцогини Германтских.

Из переписки между Женестьевой Стрo и Мопассаном мы узнаем о тактике проникновения в светский салон, которой пользовался Милый друг. Прежде всего Ги обольщает хозяйку. Он пишет молодой вдове начиная с мая 1884 года: «Я знаю, что совершенно не принято, чтобы дама пришла па обед к холостяку. Но я не совсем понимаю, что в этом неприличного, если дама сможет встретить там женщин, с которыми она близко знакома». Продолжение письма демонстрирует нам степень снобизма Ги, то ли напускного, то ли искреннего: «И потом, если бы я показал вам список всех тех, кто приходил ко мне завтракать или обедать — будь то в Каннах, в Этрета или здесь, — вы убедились бы, что список этот длинен и полон выдающихся имен».

Подчеркнуто Мопассаном! Письмо он заканчивает it вовсе некрасиво: «Наконец, мадам, вы осчастливьте меня, приняв мое предложение, и я обещаю вам ни словом не обмолвиться об этом в «Жиль Бласе»...»

Время от времени он все же помещал отчеты о своих званых обедах.

Следующим летом Ги пишет Женестьеве, предлагая ей встретиться в тот час, когда кабачок Фурнеза будет «свободен от многочисленных светских посетителей». Почему? Он хочет быть наедине с ней, «красивой и очаровательной».

В 1887 году Ги продолжает бывать у нее, теперь уже жены своего приятеля адвоката Стрo. Топ переписки изменился. Теперь это уже теплое, непринужденное общение, продиктованное привычкой, переходящее в дружбу. Он пишет ей из Хаммам-Рира в конце 1887 года: «На днях я просидел так до полуночи перед дверью полуразрушенного караван-сарая, где мне пришлось есть немыслимые кушанья, пить воду, о которой противно вспоминать. Откуда-то издадека доносился лай собак, тьяканье шакалов и вой гиен. И под небом, покрытым сверкающими звездами, огромными, волшебными, бесчисленными звездами Африки, эти звуки были так заунывны, внушали чувство такого безвозвратного одиночества, такой оторванности от мира, что холод пронизал меня до мозга костей».

Он доверительно сообщит Женестьеве Стрo двумя годами позже из Канн в письме, проникнутом той же меланхолией: «В Париже в прошлом году жил человек 38 лет, с несколько тяжеловатым и жестковатым взглядом капитана от инфантерии, подчас любивший побрюзжать. Этот человек, который был всего-навсего торговцем прозой, исчез к осени, и никто не знает, что с ним случилось...»

Гонкур будет утверждать, что мадам Стрo бросила бы все ради этого

«торговца прозой». Она, во всяком случае, была также преданной **союзницей**. Несколько дней спустя после похорон Ги Гонкур возобновит свои нападки — смерть соперника не заглушила его злобы: «Успех Мопассана у светских шлюх подтверждает их **вульгарный** вкус. Никогда не приходилось мне встречать у человека из общества столь красное лицо со столь заурядными чертами простолюдина. Одет он был так, словно бы только что вышел из универсального магазина «Ла Бель Жардиньер». Шляпа его была натянута па голову по самые уши. Светские красавицы, по-видимому, питают склонность к субъектам, наделенным грубой красотой».

Два года спустя после смерти Ги он напишет: «Я удивлялся тому, что светским женщинам могут нравиться такие заурядные в различных областях люди, как Мопассан... и м-м Сюшель заметила на это, что дамы, которых молва связывала с этими людьми, были еврейками — женщинами, принадлежавшими мужчинам **в моде...**»

Поведение Ги в салонах и в редакциях — это самореклама и грубость, цинизм и вызов. Мопассану выгодно шокировать. Его поклонницы побуждают его к этому. «До чего он забавен, этот Ги, не правда ли? Его ничто не останавливает!» Какая приманка для салонов! Во всем отдающий себе отчет, расчетливый, хитрый, он раздувается от внимания окружающих его людей, от их шепотка, как кусок теста в кипящем масле. «Я литературный фабрикант. Вы ведь читали, друг мой, **малый справочник по литературе и искусству**. Там написано: «Мопассан И. К.». Это означает — «известный коммерсант»!

В своем доме на улице Мопшаиен, где он принимает целый выводок миленьких графинь, в «Жиль Бласе», где он чувствует себя полновластным хозяином, в салопах мадам Казн д'Анвер, Потоцкой, Мари Канн или мадам Стро — повсюду Ги продолжает оставаться мелким дворянчиком с повадками празднично разодетого грузчика, самцом с трепещущими ноздрями, неясным с женщинами, жестким с мужчинами — таким, каким видел его Абель Эрман: «Типичный представитель Второй империи: квадратные плечи, короткая шея, движения борца или подмастерья, манера наклонять голову вперед, говорящая о решительности и инициативе. Кажется, что ему предстоит умереть скоропостижно — после долгой и сполна прожитой жизни».

Как мог один и тот же человек располагать к себе и одновременно вызывать такую неприязнь? Это происходило потому, что он по-разному держал себя с обездоленными и сильными мира сего, по-разному вел себя с

мужчинами и женщинами. Одно верное замечание из статьи в «Гранд ревью» великолепно выражает эту двойственность: «Задушевный и экспансивный в обществе женщин, Ги был очень сдержан и вежлив в общении с мужчинами».

Что заставило сомнительную графиню и ее гладиатора заключить союз? Да и существовали ли такие причины? Да, несомненно! Мопассан ведет ту же игру, что и его милые подруги.

За него все сказал Гастон де Ламарт, писатель из романа «Наше сердце», которого Андре Мариоль обвиняет в том, что тот все свое время проводит у юбок светских дам:

«— Почему? Почему? Да потому, что это меня интересует! И наконец... Что же, вы запретите врачам посещать больницы и наблюдать болезни? Такие женщины — моя клиника, вот и все. Я пользуюсь их же оружием, притом владею им не хуже, чем они, может быть, даже лучше, и это полезно для моих сочинений, в то время как им все то, что они делают, не приносит никакой пользы».

Подлинный заговор объединяет роскошествующего Милого' друга с его милыми подругами, сумевшими благодаря своим деньгам купить титулы вместе с их обладателями и проникнуть в светское общество. В этой среде, густо сдобренной аферистской приправой, Мопассан находил персонажей своих романов: «Милый друг», «Монт-Ориоль», «Сильна как смерть» и «Наше сердце».

***Летающий романист: 8 июля 1887 года. — «Предисловие» к «Пьеру и Жану». — Ссора с Гонкуром. — Раздражительность. — Незаконнорожденность. — Октябрь 1887 года: второе путешествие в Алжир, — В ландо по Кэруану. — Большая белая птица***

Чуть недогляди — и Мопассана уже нет на земле: воздушный шар уносит его в небо. Капитан Жовис, с которым Ги встретился в Ницце в 1886 году, сделал по заказу Мопассана воздушный шар «Орля». Мы располагаем описаниями первого полета «Орля», сделанными самим Ги, Франсуа Тассаром и пилотом Морисом Малле.

«Орля», огромный шар объемом в 1600 кубических метров, ожидает своего хозяина 8 июля 1887 года в пять часов дня на Вилетском газовом заводе. Оболочку наполняют газом в присутствии трехсот зрителей.

— Дальше фортов ему не улететь, — говорит какой-то инженер.

Тем временем помощники затыкают пробками из намоченной газетной бумаги дыры, образовавшиеся в оболочке во время транспортировки. Перекусив в заводской столовой, путешественники готовятся к полету.

Церемонно приседая, словно в кадрили, размахивая шляпами, господа воздухоплаватели занимают свои места.

— Сударыни! — галантно обращается капитан к глазающим дамам. — Я прошу вас отойти немного в сторону, иначе мы рискуем обсыпать песком ваши прелестные шляпки...

— Отпускайте канаты! — командует Жовис.

Он перерубает веревку. «Орля» взмывает в небо. Его пассажиры одной рукой судорожно хватаются за борт гондолы, другой за шляпы. Дрожащими ногами Ги упирается в дно корзины. Вот-вот впереди покажется Париж. «Темная, синеватая, иссеченная улицами плоскость; то здесь, то там вздымаются купола, башни, шпили... Сена (он не может удержаться, чтобы не упомянуть ее. — А. Л.) похожа на большую, неподвижно свернувшуюся змею, у которой не видно ни головы, ни хвоста...»

Он различает ажурные переплеты Эйфелевой башни, пролетает над Сен-Гратьеном, помещьем принцессы Матильды на берегу Ангиенского озера. Пассажиры улавливают даже голоса гостей на террасе.

— Мы поднимаемся!

Высота пятьсот метров. Земля скользит под ними, простроченная

лесами и полями, земля крестьян, описанных Мопассаном, которые, окаменев с запрокинутыми головами, твердят: «Свят, свят, и чего им там надо?»

Мопассан декламирует стихотворение Гюго «Высокое небо». Счастливый, как на своей первой лодке, он учится обращению с маневренным клапаном. Раздув ноздри, он жадно вдыхает запахи сумерек, «запахи сена, зеленой и мокрой земли, они наполняют благоуханиями воздух, такой легкий, сладкий, упоительный воздух, никогда не дышал я им с подобным наслаждением!».

— Луна похожа на шар, летящий вместе с нами!

— Надо соблюдать осторожность — она притягивает воздушные шары!

«Несущий нас воздух превратил нас в существа, ему подобные, — думает **мчащийся** Ги, — в немые, радостные, безумные существа, опьяненные этим изумительным полетом, странно подвижные, хотя мы не шевелимся...» Тысяча двести метров. Тысяча пятьсот метров. Две тысячи пятьсот метров... Два часа будут они блуждать на этой высоте. Полночь. И вдруг шар начинает стремительно снижаться.

— Бросайте балласт! — кричит Малле.

— Смотрите! Что там такое бежит по полю?!

Какая-то фантастическая фигура с головокружительной быстротой приближается к «Орля».

— Это тень от нашего шара! Чем ближе мы к земле, тем она больше...

Сирена и два охотничьих рога трубят в ночи. Запоздалые земляне глядят на появление воздушных путешественников. Воздухоплаватели, приставив ладони ко рту, кричат:

— Где мы?

Какой-то дурень отвечает:

— На воздушном шаре!

И вдруг «под нами загорается такой ослепительный поток огненной лавы, что мне чудится, будто мы летим над какой-то сказочной страной, где изготавливают драгоценные камни для великанов». Это Лилль. Заря «быстро разгорается; теперь при ее свете мы ясно различаем все, что делается на земле, — различаем поезда, ручьи, коров... Поют петухи. Но громче всего доносится криканье уток. Города появляются и исчезают. Вот еще один, окруженный водою, прорезанный по всем направлениям каналами, точно северная Венеция». «Орля» пролетает над Брюгге так низко, что едва не задевает длинным канатом, прикрепленным к гондоле, городскую колокольню. Хрустально поет колокол. «Мы отвечаем гудком

нашей сирены, ее ужасающий рев зычно разносится по улицам».

Сверясь с барометром, они уравнивают нагрузку.

— Внимание! — кричит Бессан. — Слева — корабельные мачты!

«Море было доселе скрыто от нас туманом. Теперь оно виднелось всюду — слева и прямо перед нами; а справа Шельда, слившаяся с Маасом, простирала до моря свое устье, которое казалось шире любого озера».

— Клапан! Открывайте клапан!

Газ выходит из оболочки. Большая ферма мчится навстречу «со скоростью пушечного ядра». Капитан сбрасывает последний мешок с балластом, и «Орля» перелетает через крышу фермы. Якорь, брошенный на свекловичное поле, подсакивает в последний раз, прежде чем крепко вонзиться в землю.

— Внимание! Держитесь крепче!

Гондола касается земли, подсакивает и наконец судорожно опускается. Они приземлились возле Гейста-сюр-Мэр, в устье Шельды. Фламандцы, словно бы сошедшие в своих средневековых одеждах с полотен Брейгеля, глазеют на астронавтов, упавших с высот будущего. А астронавты тщательно освобождают оболочку от газа, сматывают канаты и возвращаются в Париж скорым остендским поездом. Ги успевает до отъезда отправить несколько депеш. Одна из них адресована Эрмине: «Великолепная посадка в устье Шельды. Восхитительное путешествие!»

Он повторит полет в 1888 году с шестью спутниками на борту. Ги — первый известный летающий романист!

Ги любит воздушный шар и ненавидит Эйфелеву башню. В коллективном письме, адресованном в 1887 году господину Альфану, директору ЭКСПО-1889, возмущенные писатели и художники протестуют против сооружения башни. Ги — во главе этой группы вместе с молодым Мейссоиё, своим соседом Гуно, Сарду, Коппе, Леконтом де Лилем, Сюлли Прюдомом и другими. «В течение двадцати лет мы будем вынуждены смотреть, как, подобно чернильному пятну, будет расплзаться отвратительная тень от отвратительной железной колонны, закрученной болтами... Башня, долговязая и тощая пирамида из железных лестниц, неуклюжий гигантский скелет, основание которого кажется предназначенным для колоссального памятника Циклопу и который разрешился нелепым и тонким профилем заводской трубы».

Несколько лет подряд эта башня будет служить предлогом для всех его внезапных отлучек и бегств. «Я бегу из Парижа, чтобы убежать от башни». Он смиряется с ней лишь в грозовые дни, когда она трещит от разрядов, как

мех Пусси или его собственные волосы.

Год 1887-й проходит в чередовании путешествий, лечения и занятий литературой. Июнь он провел в Ла Гийетт. Всюду, где Ги появляется, он первым делом устраивает душевую. Следом за ним по комнатам ходит Франсуа с суконкой в руке, восстанавливая девственный блеск паркета: хозяин дома, завернувшись в толстую махровую простыню, то и дело путешествует от рабочего стола в душ и обратно.

Закончив «Монт-Ориоль», он за два месяца написал «Пьера и Жана» — произведение, которое далось ему легко. Он создавал его, прохаживаясь по молодой ясеновой аллее виллы Ла Гийетт и глядя на играющего мальчика — Пьера Леконта дю Нуи.

Большой интерес представляет так называемое «Предисловие к Пьеру и Жану», в котором раскрываются литературные взгляды Мопассана.

Мопассан останавливается на терминологических трудностях, с которыми сталкиваются критики. «Если «Дон-Кихот» — роман, то роман ли «Красное и Черное»? Если «Монте-Кристо» — роман, то роман ли «Западня»?» Писатель дает свое определение романа: «Цель его вовсе не в том, чтобы рассказать какую-нибудь историю, позабавить или растрогать нас, но в том, чтобы заставить нас мыслить, постигнуть глубокий и скрытый смысл событий... Это личное восприятие мира он (романист. — А. Л.) и пытается нам сообщить и воссоздать в своей книге... Следовательно, он должен строить свое произведение при помощи таких искусных и незаметных приемов и с такой внешней простотой, чтобы невозможно было увидеть и указать, в чем заключается подлинный замысел и намерение автора».

Романисты, пользуясь расположением Мопассана, «скрывают» психологию в своих книгах, подобно тому как она скрыта в действительности за жизненными фактами. Автор должен исчезнуть. «Мастерство заключается в том, чтобы не дать читателю определить авторское «я», надежно спрятать его за другими образами и явлениями...»

А потом он вдруг обрушивается на «нелепый, сложный, длинный и невразумительный набор слов, который навязывают нам сегодня под именем художественной манеры письма». Вычурному стилю он противопоставляет язык своей кормилицы. «Поменьше существительных, глаголов и прилагательных, смысл которых почти неуловим, но побольше непохожих друг на друга фраз, различно построенных, умело размеренных...»

И наконец, он заканчивает замечательной формулой: «Впрочем, французский язык подобен чистой воде, которую никогда не могли и не



смогут замутить вычурные писатели... Наш язык — ясный, логичный и выразительный. Он не даст себя ослабить, затемнить или извратить».

Он перечитывает написанное. Да, это именно то, что он и хотел сказать. Не так-то просто быть простым! «Те, кто в наши дни создает образы (о, сколько здесь презрения. — А. Л.), злоупотребляя отвлеченными выражениями, те, кто заставляют град или дождь падать на чистоту оконного стекла, могут также забросать камнями простоту своих собратьев! Они, может быть, и нанесут телесные повреждения собратьям, но никогда не заденут простоты, которая бесплотна».

Сомнений нет: он целится в Гонкуров, символистов и их последователей.

Это небольшое «Предисловие» вызвало оглушительный резонанс. Можно принять точку зрения Анатоля Франса, считавшего, что «теория романа, созданная Мопассаном, столь же естественна для него, как теория отваги для львов». Но в то же время можно и отделить преднамеренное от случайного. Основная цель «Предисловия» — доказательство того, что роман должен быть предельно объективным и что роль автора — это роль отлично загримированного актера.

Гонкур отказывается верить собственным глазам. Задыхаясь от обиды и гнева, он с горечью записывает в своем дневнике год спустя: «Почему в глазах определенного круга людей Эдмон де Гонкур — джентльмен, любитель, аристократ, забавляющийся литературой, и почему Ги де Мопассан — настоящий писатель? Почему, хотел бы я это знать?» Давно уже назревало в Гонкуре недовольство этим противным Нормандцем, этим «Подем де Коком» современности, который, однако, так тепло надписал ему свою книгу «Под солнцем»: «Господину Эдмону де Гонкуру — другу, мастеру, которым я так восхищаюсь».

«В предисловии к своему новому роману, нападая па художественную манеру письма, Мопассан, не называя имени, целился в меня. Еще в те времена, когда он собирал деньги для памятника Флоберу, — уже тогда я усомнился в его искренности. Сегодня, посылая мне «Предисловие», он заверяет меня в своем восхищении и привязанности. Таким образом, я вынужден видеть в нем Нормандца, трижды Нормандца. Впрочем, Золя говорил мне о нем, что это настоящий король лжецов...»

Хотел ли Мопассан задеть Гонкура? Маловероятно. > Он нападает больше на последователей, чем на лидера. В чем же дело? По-видимому, Мопассан слишком поздно сообразил, что может причинить боль раздражительному метру, и поспешил исправить положение частным

письмом. Это произвело впечатление двурушничества. «Мопассана можно назвать нормандским **рассказчиком** наподобие Монье<sup>[95]</sup>, — продолжает Гонкур, — но это не писатель: у него, конечно, есть свои причины, чтобы принижать **художественную манеру письма**... Страница Мопассана, не подписанная им, вполне может принадлежать любому грамотному человеку».

Гонкур хорошо помнит инцидент с памятником Флоберу.

В 1881 году была открыта подписка для сбора средств на строительство памятника в Руане. Эдмона де Гонкура избрали председателем комитета. В 1886 году комитет располагал 9650 франками из необходимых 12 тысяч. Гонкур, обратившись к Золя, Мопассану, Доде, предлагает восполнить недостающую сумму. Мопассан... присылает чек на тысячу франков! Это необдуманное вмешательство носило характер урока, преподанного щедрым Мопассаном скряге Гонкуру. Гонкур немедленно подал в отставку. Мопассан вынужден был отправиться в Отей<sup>[96]</sup> и, вероятно, пустил в ход все свое красноречие, потому что после этого визита Гонкур взял обратно прошение об отставке. Не прошло и года, как между писателями возникает новый конфликт.

В январе 1888 года «Предисловие», вызвавшее столько литературных споров, появляется в неузнаваемо искаженном виде в литературном приложении к «Фигаро». Взбешенный Ги хочет «раз и навсегда провозгласить абсолютное право каждого писателя защищать свою мысль, какова бы она ни была, против каких бы то ни было искажений». Мопассан поручает своему другу, адвокату Эмилю Стро возбудить против «Фигаро» судебное дело. После длительных переговоров инцидент был улажен миром. «Фигаро» с удовлетворением публикует сообщение: «Г-н де Мопассан после объяснений, полученных им в связи с купюрами, которые редакция позволила себе сделать в одной из работ без его ведома и которые дослужили поводом для судебного иска против «фигаро», дал своему адвокату указания прекратить дело. Мы счастливы, что решение г-на Мопассана позволяет нам восстановить добрые отношения с нашим коллегой».

Отношения Мопассана с издателями ухудшаются. 18 октября 1885 года Мопассан пишет из Этрета своему издателю Виктору Авару: «Дорогой друг! Получил две тысячи франков. Благодарю. Рассчитываю получить еще две тысячи. Будьте любезны передать моему отцу, дом 10 улица Юзе, причитающиеся мне 5200 франков. Можете разрешить издание в

Будапеште за 200 франков и ответить настоятелю Пю де Дом, что он может переиздать «Иветту» при согласии Об-ва писателей, если он заключил договор с этим обществом, членом которого я состою.

Здесь все по-прежнему. У меня очень болят глаза, и я почти не могу писать. Рассчитываю вернуться в Париж к 10 ноября, чтобы пустить в продажу сборник рассказов, который Оллендорф придержал до осени, опасаясь конкуренции «Милого друга». Время неудачное, но мне все равно: я продолжаю писать очерки...»

Мопассан упрекает Авара за нарушение сроков платежей, за неумение ладить с книготорговцами, за плохую продажу и плохое планирование. Он принимает решение и без колебаний уведомляет об этом Авара. «Но я не могу больше ждать. Вы опять поставили меня в крайне затруднительное положение. Мне предстоит уплатить весьма крупную сумму не позднее пятого мая, а я до сих пор понятия не имею, чем я располагаю у Вас, в то время как Вы должны были сообщить мне об этом в начале месяца. Ваша небрежность — причина того, что я передал Оллендорфу один маленький роман».

Роман, о котором идет речь, — это «Пьер и Жан».

Сюжет этого романа весьма прост. В буржуазной семье один из двух сыновей — Жан — получает наследство после смерти старого друга дома. Люди судачат о том, что покойный и есть настоящий отец Жана, мысль об этом мучит второго брата — Пьера. Пьер не ошибся: мать его виновна, и он уходит из дома, благословленный поруганным отцом, оставляя семью и состояние незаконнорожденному брату.

Это шедевр, но шедевр иной, чем «Милый друг». Вопреки «Предисловию» «Пьер и Жан» — повесть, а не роман. Из письма, написанного 2 февраля 1888 года на борту «Милого друга» и адресованного молодому писателю Эдуарду Эстонье, огорченному тем, что тема, над которой он работал, привлекла внимание его маститого коллеги, мы узнаем, что обратился к этой теме Мопассан после случайного знакомства с газетной заметкой. Эрмина же, наблюдавшая Мопассана за работой над этой книгой, рассказала: «В течение многих лет я вела дневник. Вот запись, которую я сделала 22 июня 1887 года: «Мопассан читает мне первые страницы своего нового романа «Пьер и Жан». Экспозиция обещает быть очень удачной: реальный факт лег в основу произведения. Один из приятелей Ги получил в наследство восемь миллионов от друга семьи. Отец молодого человека был стар и немощен, мать — молода и красива. Ги пытался объяснить себе, чем вызвана такая щедрость...»

Между случайной газетной заметкой, о которой Мопассан сообщает Эстонье, и историей, случившейся с «одним приятелем» Ги, нет, видимо, никакой связи. Какой же версии отдать предпочтение — первой или второй? Или, быть может, толчком послужили семейные воспоминания? Как и его мать, Мопассан мог сказать что угодно, когда это было ему необходимо.

Опять эта тема незаконнорожденных детей! Как мучительна и достоверна жестокая сцена из «Пьера и Жана» — лучшая сцена, в которой Жан прощает мать, зачавшую его не от законного мужа, а от другого человека. Весьма вероятно, что Мопассан испытывал к Лоре те же чувства, какие испытывал Жан к героине романа.

Ничто в жизни Гюстава де Мопассана, Лоры и Ги не может рассеять или подтвердить предположение о незаконнорожденности писателя — мы уже убедились в этом, изучая материалы о Флобере. Однако эта навязчивая идея неотступно преследует Ги. Она питает его творчество, она подчиняет себе его мужскую жизнь. Она сказывается в его настоящем и накладывает отпечаток на его будущее. Да и разве у самого Мопассана нет незаконных детей? Быть может, работая над «Пьером и Жаном», он чувствует себя одновременно и виновным и жертвой? И не потому ли подсознательно наказывает он своего героя, своего глашатая Пьера, наказывает за его невиновность вместо виновной матери? Мы вынуждены ограничиться вопросами, ответы на которые унес особой Мопассан. Ясно тем! не менее одно: из всех его романов «Пьер и Жан» наиболее глубоко вскрывает тайну автора.

«Пьер и Жан» станет любимым романом Золя, который видел в нем «чудо, редчайшую жемчужину, правдивое и величественное произведение, превзойти которое невозможно», — суждение, едва ли преувеличенное. Зато Лора никогда не проронила ни слова об этом романе!

3 октября 1887 года Мопассан останавливается в отеле «Нюэй» в Марселе, сняв номер, в котором, он обычно живет. Он спускается на набережную, жадно вдыхая аромат рыбной похлебки, приправленной шафраном, острый запах девиц и отправляется осмотреть продающуюся яхту «Зингара», а завтра уезжает в Алжир. Сколько изменений за пять лет! После «Голуа» он порвал и с «Жиль Бласом». Необходимость каждый день писан, для газеты стала невыносимой. Теперь он свободен, как ветер, подгонявший «Орля»! Отныне он путешествует за свой счет, и его сопровождает лакей.

В Алжир он приезжает вместе с неизвестной и Пьером-Амедеем

Пишо, сыном основателя «Ревю Британник». «Он кочует из отеля в отель, жалуясь на комнаты и пищу». В конце концов Ги снимает двухкомнатный номер на улице Ледрю-Роллен. «С окнами на юг!» — просит он, удивляя тем самым хозяина и производя на него впечатление большого оригинала: в этой стране все ищут тени.

Мопассан вновь встречается с офицерами, «очаровательными людьми, воспитанными, даже образованными. Кое-кто из них достаточно силен в литературе. Здесь и педагоги, и Эмиль Маскере, новый директор филологического института». 14 октября он вместе с ним отправляется на мыс Матифу. Выехав в половине шестого утра, он наблюдает «восход солнца, прекраснее которого невозможно себе представить».

Большой любитель природы, он искренне восхищается: «Я познакомился с неизведанным уголком Алжира, где наткнулся на чудесные овраги в девственных сказочных лесах... Завтра я уезжаю в кедровые леса Теньет-эль-хад, к подножью горного кряжа Уарсенис. Говорят, это самые красивые горы мира». Это, однако, не мешает ему искать и совсем другую красоту. Каждую пятницу арабские женщины приходят на кладбище и «украшают могилы остроугольными камешками». Кое-кто из них приподымает чадру при его приближении и показывает лицо, «белое как мел. Кажется, что щеки некоторых слегка припудрены лиловой пудрой. Черноглазые и стройные, они очень красивы».

На улице Ледрю-Роллен москиты мешают ему спать. Приходит бессонница, вместе с ней — мигрени. Режет глаза. В письме он жалуется: «Я собираюсь покинуть Алжир через несколько дней; точнее, я еще буду в Алжире проездом в Тунис. У города Алжира как зимнего курорта есть большой недостаток: он обращен на север, вследствие чего в три часа пополудни уже нет солнца».

4 ноября он уезжает к-горячим источникам Хаммам-Рира, «Здесь я надеюсь попробовать пустыню, ибо она действительно представляет для меня особую прелесть... Я начинаю наконец-то ощущать, благотворное действие жары. Мне надо бы побыть здесь как можно дольше».

Да, это правда! Хаммам-Рира — это арабский Монт-Ориоль. 42-градусные ванны не идут ему на пользу, и хозяин отеля господин Дюфур в отчаянии от того, как мучительно проводит ночи его постоялец.

Ги нанял проводником 19-летнего туземца Бу-Яхья. Они вместе охотятся, путешествуют, и Ги предается мечтам о тысячелетнем покое библейских деревень:

— Как, должно быть, приятно здесь жить, Бу-Яхья!

— Да, господин. В этих горах чистый воздух, но слишком жарко.  
И вдруг... Что-то, словно огненный меч, пронзило его голову.  
— Вернемся, — говорит он. — Не знаю, приду ли я сюда завтра...  
— Инч-Аллах! — говорит Бу-Яхья, которому тысяча лет.

Через Алжир Ги возвращается в Тунис — страну с более мягким и ласковым климатом. Из окна вагона он видит, как мелькают сады Хуссейндея. А вот уже и железные ворота и за ними — Кабилия, «область, которую я несколько лет назад пересек верхом на лошади», — говорит он Франсуа.

В Тунисе он снова увлекается ваннами. Ги посещает древние римские бани Хаммам-Лиер, которые продолжают действовать, как и две тысячи лет назад. Перед ваннами, похожими на саркофаги, и залами, напоминающими темницы, «чемпион по гигиене» делает брезгливую гримасу.

— О нет, милейшая, — говорит он встречающей его мальтийке — черноволосой матроне, представительной, с длинными ногами, с сильными бедрами, прикрытыми фартуком в красную и розовую полосу, — я не буду вашим клиентом!

Но он не может удержаться, чтобы не добавить:

— Во всяком случае, не в бане!

Директор Тунисского банка предлагает отвезти его в ландо до Кэруана, где он предполагает посетить фермы. Ланфида. На завтра в половине десятого утра они отправляются в путь. Четверо европейцев в пальто с меховыми воротниками, в шляпах мышиного цвета разуваяются перед входом в большую мечеть. Мопассан возвращается Морем из Сфакса в Сус, восхищенный и очарованный.

Ги работает, пишет любовные письма, и среди них — прекрасное письмо неизвестной, отправленное из Туниса 19 декабря 1887 года, то письмо, в котором Ги высказывает мысль о женитьбе на самой «обожаемой». Он едет в коляске в древний Карфаген — там, среди праха и развалин, маленькие Али без зазрения совести торгуют поддельными, якобы времен пунических войн, светильниками. Он нашел людей, которые когда-то сопровождали Старика в его путешествии<sup>[97]</sup>... Меланхолически сообщает он принцессе Матильде об этой поездке в письме от 20 декабря: «Я посетил то, что осталось от Карфагенского акведука, и мне все время казалось, что я слышу звонкий голос Флобера, ревущего от восхищения».

После мальтийки он решается навестить «толстуху туниску», супер-Пышку на 120 килограммов веса, гордость заведения, где принимали клиентов ее дочери. «Три девицы, три сестры, крикливо разряженные, проделывали свои непристойные кривлянья под благосклонным оком

матери, невероятной груды жира с колпаком из золоченой бумаги на голове...»

Шестого января 1888 года он садится на «Моиз», корабль Трансатлантической компании, который доставил его вместе с купленной африканской борзой обратно в Марсель за тридцать шесть часов. Море спокойно, и Франсуа Тассар проклиная сильнее, чем когда бы то ни было, демона путешествий, притаившегося в лучшем из хозяев!

Мопассан, вновь оказавшийся в номере марсельского отеля «Нюэй», не может скрыть свою меланхолию: «Несмотря на провансальское веселье, убывающий свет солнца, как всегда, огорчает меня».

Между тем Милому другу предстоит весьма ответственное свидание: у причала поджидает его «Зингара», которая Станет вторым «Милым другом» — его «большой белой птицей».

## **ЧАСТЬ ПЯТАЯ**

### **НАЧАЛО КОНЦА**

*Путешествие — это своего рода дверь, через которую выходишь из знакомой действительности, чтобы перейти в действительность неизведанную, кажущуюся сном.*

*«Под солнцем»*



*Первое путешествие «Милого друга-2». — Крестная с острова Поркероль. — Подмоченная княгиня и Общество сутенеров. — Возлюбленные с островов. — Удивительная страна воды. — По-прежнему Милый друг*

По приезде в Марсель Мопассан телеграфировал капитану Бернару, приказывая ему прибыть с Раймоном на борт «Зингары». «Зингара» похожа на стройную и высокую цыганку. Черный корпус отделан золотом. Это судно не имело ничего общего со старой «Шпагой»! На новой яхте есть салон, обеденный зал на десять человек и рабочий кабинет писателя.

«Очень красивая яхта, отличный парусник для плавания в открытом море», — указывалось в проспекте, включавшем в себя также инвентарный список судового имущества. Сделана из великолепного шотландского белого дуба. Матросы, ремонтировавшие трюм и борта, смогли убедиться в отличных качествах корабля.

— Ну и имечко у нее! Не сглазить бы...

После этих слов моряки осеняют себя крестным знаменiem.

— Ладно! Отплываем завтра в шесть утра... Бернар! Нужно написать на борту новое название. Ну, разумеется, «Милый друг»!

18 января, на рассвете, они поднимаются на борт. Маленький пароходик, задыхаясь и воинственно ревя, выводит яхту из порта и буксирует ее до замка Иф. Капитан в плохом настроении.

— Ветра нет, мосье, а волнение сильное.

— В Этрета я видел волнение похлестче!

— Ах, это сволочное Средиземное море! — бросает капитан Бернар таким голосом, от которого рухнуло бы большое оливковое дерево.

Но господин де Мопассан, когда дело касается женщин и путешествий, не хочет обуздывать свои желания.

— Курс на запад! Беру штурвал!

Осторожности ради Бернар поднимает не все паруса.

— Не люблю зыбь при слабом ветре! Куда лучше хорошая буря!

— Святая Зоя! Несчастный! — стонет Раймон. — Он испытывает судьбу!

Обвисшие паруса хлопают, килевая качка усиливается. Тассар бледен.

— Франсуа! — говорит Ги. — Мне думается, что из вас никогда не

получится настоящий моряк. Выпейте бокал шампанского, и вам сразу станет лучше.

Борясь с качкой, они минуют мыс Круазет и лавируют между берегом и островами Жар и Риу. В голубой дымке а-ля Моне неяркий солнечный свет позволяет различить величественные контуры каменистых бухточек.

— Тысяча дьяволов! Да это Средиземное море — просто Северный океан!

— Сто тысяч чертей! — бурчит капитан. — Только тумана нам не хватало!

Итак, «Милый друг-2» был крещен шампанским и туманом.

Первое путешествие показало, что паруса яхты недостаточно велики. Погода была омерзительная, и геркулес Раймон вынужден был спуститься в шлюпку и, налегая на весла, отвести яхту от опасных скал, к которым гнало ее течение. Наконец, море немного стихло, и им удалось причалить к Касси и позавтракать. Мопассан по своему обыкновению отправился побродить по окрестным горам. Ночь они провели на берегу и с восходом солнца вновь пустились в путь. На сей раз морская фортуна улыбалась им. Подгоняемый добрым бризом, «Милый друг» развил большую скорость.

— Эта скорлупа не любит покоя! — говорит Бернар.

— Так же как и ее хозяин, — замечает повеселевший Ги.

Второй день плавания был на редкость удачным, и господин де Мопассан по-настоящему полюбил свой корабль. В два часа пополудни за кормой остался остров Эмбизе, Тулон, и яхта пришвартовалась у причала Поркероля. В пиджаке, в фетровой шляпе, с палкой в руках Мопассан сошел на берег. Раймон и Бернар запасались водой, а Франсуа отправился за цветной капустой, молоком и сметаной — продуктами, которые в одинаковой степени подходили для его желудка и соответствовали диете хозяина.

К вечеру возвратился торжествующий Ги и, окинув взглядом покупки Франсуа, провозгласил:

— Я тоже не с пустыми руками! Я нашел сюжет для очерка. Нет, право, только со мной такое может случиться!

До 1900 года Поркероль представлял собою дикое, захолустное местечко. Крепкий запах древесной смолы исходил от нагретых кустарников, тот самый запах, который с таким наслаждением вдыхал Ги восемь лет тому назад, открыв для себя юг.

Ги бродил по южному берегу островка. Разыскивая дорогу к мысу Меде, он неожиданно встретил необычного вида одинокую даму. «Да,

представьте себе, именно здесь! Я сознательно говорю «даму». — элегантную шестидесятилетнюю даму с кокетливо причесанными седыми волосами. Ее одежда заставляла вспомнить год 1830-й. Я спрашивал себя, уж не пригрезилось ли мне все это? Когда она поравнялась со мной, я, уступая ей дорогу, отошел к кустам и поклонился».

— О мосье, — сказала она, — я понимаю ваше удивление! Встретить в таком заброшенном уголке одинокую женщину... За долгие годы, проведенные мною здесь, я лишь второй раз встречаю парижанина. Нет, нет, не вздумайте сказать мне, что вы не из Парижа... Как ваше имя, мосье?

— Ги, Ги де Мопассан.

— А... А что вы здесь делаете?

— Я ищу море и заблудился в кустарнике.

— Как все мужчины! Идите за мной — мы выйдем на дорогу, ведущую прямо к берегу. Я счастлива узнать, что вы...

— А вы, мадам?

— Простите, я не могу себя назвать. К тому же мое имя вам ничего не скажет...

— Но это несправедливо!

— Да, это несправедливо, но не настаивайте!

— Вы давно живете в Поркероле?

— Лет двадцать...

— Одна?

— С моей служанкой. Здесь, в этих диких зарослях. Единственное мое развлечение — проходящие мимо корабли. Я видела, как подошла и ваша яхта, но не разобрала названия.

— Я приобрел ее совсем недавно. Она носит имя «Милый друг».

— Красивое имя.

— Вам никогда не бывает здесь страшно?

— Иногда. Зимой в час прилива слышны какие-то странные звуки... Впрочем, я привыкла!

— Однако, мадам, все это не может объяснить мне, зачем вы здесь.

— Когда Наполеон Третий царствовал еще в нашей дорогой Франции, я была знатной парижской дамой. Я встречалась с Рикором, врачом императора, с вашими братьями Октавом Фейе и Проспером Мериме, с Жюлем Симоном, Тьером... Я чувствовала, я предугадывала катастрофу... Я пыталась открыть глаза императору. Меня не захотели выслушать.

— Вы были республиканкой?

— Не знаю. Я боялась... И тогда я написала обо всем этом.

— И вас арестовали!

— Я начала снова. Я видела Седан, мосье...

Ги остановился, с ужасом глядя на трогательную пожилую даму. Его обветренное, слегка красноватое лицо залила бледность. Дама заметила его замешательство.

— Что с вами, мосье?

— Я сам принимал участие в прусской кампании. Простите меня, мадам...

— Вы выглядите очень молодо.

— В юд Седана мне было двадцать...

— Господи! Так это для вас, мосье де Мопассан, я писала, для вас и ваших товарищей!

Странная дама машинально подталкивала камешки носком туфли.

— Он был не так уж плох, Наполеон Третий, — продолжала она. — Он страдал лишь одним недостатком — был болен.

И, вспоминая о болезни императора, она засмеялась легким, хрупким смехом.

— Меня приговорили к ссылке. Император разрешил мне остаться на земле Франции при условии, что я никогда не покину этих мест. И никогда не раскрою тайну своего имени. Вот и все!..

— Но он уже пятнадцать лет как умер, мадам, и у нас теперь республика! Ваш друг, господин Тьер, встретил бы вас с триумфом, если бы вы вернулись в Париж.

— Да, мосье, но я дала клятву...

— Врагу!

— Я обязана сдержать свое слово.

Она покачивала своей красивой седой головой, как маленькая упрямая девочка.

— Вы слышали об островах Лерен? Святой Маргариты?

— Я как раз держу туда путь.

— Так вот, я сестра «Железной маски», вот и все.

И она искоса, лукаво взглянула на своего великолепного собеседника; усы его вздрагивали, он жадно вдыхал запах розмарина, древесной смолы и водорослей.

— Мне кажется, вы хороший писатель, мосье де Мопассан. Позвольте мне спросить вас кое о чем.

— Прошу вас, мадам.

— «Милый друг» пользуется все таким же успехом, что и прежде?

— Признаться, да, мадам. Вот уже три года...

На борту яхты писатель прерывает свой рассказ, вывивает чашку чая и

потом продолжает:

— Мы подошли к морю. За прибрежными скалами чернела яхта. «Всего хорошего, — сказала она мне. — Спасибо за прогулку. Счастливого пути «Милому другу»...» Вот крестная, которой нам так недоставало, друзья мои! Берегитесь, Белая дама наблюдает за вами. Только со мной такое случается!

Назавтра, в девять утра, яхта покинула Поркероль. Ветра почти не было. Наконец слабый ветер наполнил паруса. За кормой вскипел пенный бурун. Бернар рассказывал хозяину о морских трагедиях, свидетелями которых стали прибрежные скалы, за которыми Мопассан следил по карте. Мыс Бена, острова Иер, Пор-Кро, Леван, мыс Негр, залив Кавалер, башня Камар, Сен-Тропез, который он так любил и о котором сказал: «Я провел здесь один из тех очаровательных дней, когда душа кажется спящей в бодрствующем теле».

Весь день и всю ночь они плыли, подгоняемые западным ветром. На исходе ночи ветер окреп, порывы его участились. Подстегнутый словно плетью, «Милый друг» рванулся вперед. Первые лучи солнца нашли его в открытом море бегущим по высоким волнам по направлению к Сан-Рафаэлю.

— Скоро будем в Каннах, — обронил Раймон.

— Ах, черт подери! — выругался Бернар. — Море непостоянно! Ты испытываешь судьбу, несчастный...

Через десять минут ветер стих. «Милый друг» снова заплясал на месте.

— О ля-ля! — простонал Франсуа, к которому вернулся его бельгийский говор. — Как все-таки качает на этих больших лодках!

Качало действительно крепко. Как оно было капризно, женственно, это зимнее Средиземное море, подчас безразличное, подчас злобное! Водяные брызги наотмашь хлестали людей. Провалы между волнами достигали трех метров, вновь налетел порывистый ветер. Раймон помимо воли повторял то и дело: «О святая Клеопатра, не покидай нас!»

Бернар гулко смеялся, пряча подбородок в высокий воротник:

— Святая Клеопатра! И где он ее только выкопал!

И капитан рычал во весь голос:

— Хозяин, это суденышко, ей-богу, отличная. побудила! Оно перепрыгивает через волны, как лев через скалы.

Пеньковые тросы трещали. От брани дрожали манильские канаты. Франсуа, почти потерявший сознание, остро завидовал собачке Тайе,

которую отправили по железной дороге и которой, надо думать, было так хорошо и спокойно в Каннах!

А потом море улыбнулось им, и они плыли без тревог весь день и всю ночь. К трем часам они поймали наконец устойчивый свежий ветер. Бернар поднял все паруса. «Милый друг» взял курс на Канны. В семь часов Раймон бросил якорь и, подтянув яхту к причалу Сюкюэ, поставил ее рядом с парусником «Город Марсель», который надолго станет соседом «Милого друга» по стоянке.

Мопассан был очень привязан к «Милому другу-1»; он был влюблен и в «большую белую птицу» («Милый друг-2»). «Ее паруса из тонкого нового полотна бросали под августовским солнцем огненные блики на воду, они были похожи на серебряные щелковистые крылья, распутившиеся в бездонной голубизне неба. Три ее фока улетают вперед — легкие треугольники, округляющие дыхание ветра; главный фок, упругий и огромный, проколот гигантской иглой мачты, возвышающейся на восемнадцать метров над палубой».

Ги часто предпринимал короткие морские прогулки. Но больше всего он любил устраивать приемы на борту своей яхты. Он прекрасно понял, что только здесь, на море, где этикет был куда менее строг, чем в Сен-Жерменском предместье, ему удастся установить светские контакты, о которых он так мечтал. Он знакомится с герцогом Шартрским, с княгиней Саган, с маркизой де Галифе, «с которой я время от времени устраиваю морские прогулки», с герцогиней де Риволи.

Мадам де Галифе попросила Ги принять маленького владыку из страны, где протекает Меконг. «Как он был красив, этот царек, — вспоминает проныра Франсуа, — весь желтый, с головой, покрытой жесткими, как проволока, волосами!»

Княгиня Жанна Маргерит де Саган, законодательница мод, дочь крупного финансиста барона Сейера, часто посещала Мопассана. Ги отправлялся за гостьей на пристань и, мощно выгребая, привозил княгиню с приятельницей на борт корабля. Смеющиеся под вуалетками, с раскрытыми зонтиками, одна светлая, другая брюнетка, они казались двумя чайками, покачивавшимися на корме ялика. В другой раз ялик привезет на яхту изящную Колетт Дюма — дочь Дюма-сына и Женевьеву Стро, по-прежнему хранящую верность своему писателю.

Однажды к завтраку Франсуа соорудил целый куст из раков высотой в метр, окруженный гирляндой из черепах, виноградных листьев и отлично

приготовленными лягушками. По знаку Ги этот куст распался, открыв взору оцепеневших гостей... сотню мышей! Дамы громко зовут на помощь. Графиня д'О кричит:

— Я чувствую, одна заползла ко мне в панталоны, Мопассан!

А княгиня де Саган восклицает не без кокетства:

— Ги, прошу вас, позовите кошку!

Приносят Пусси, а красавицы тем временем бросаются на палубу по крутому трапу, нисколько не смущаясь тем, что ноги их приковывают внимание присутствующих мужчин.

Ги любил купаться в десять часов утра, когда море было спокойно и солнечно. С восклицанием: «Я иду купаться!» он прыгает с борта, рассекает волну, ныряет подобно дельфину, потом переворачивается на спину и, облизывая усы красным языком, говорит: «Черт, до чего она соленая, эта вода!»

И он счастлив. «О, эти восходы солнца над морем! Каждый раз они выглядят по-иному. Посмотрите только на эти зеленые огни, вспыхивающие в кронах елей! Посмотрите же! Словно бы зуавы в красных штанах и синих куртках взбираются на огненные скалы. Мон-Сан-Пьер такой же круглый, как криолин моей бабушки!»

Как только болезнь немного отступала, он тотчас же становился крепышом лодочником, бузотером из Шату, горланящим «Жену сержанта». В один из таких моментов он и созвал генеральную ассамблею Общества сутенеров, к тому времени прекратившего свою деятельность. Приятели Мушки встретились в Каннах. Здесь и Леон Фонтен, и Анри Брэнн, и Альберт де Жуанвиль. Не хватало только одного Тока, оставшегося в Руане. Никогда более они не соберутся вместе. Этот «съезд» удался как нельзя лучше. Среди «участников» художник Рене Бийот, Стефан Малларме, Жеже — он же граф Примоли, и две дамы, сильно расшалившиеся в присутствии знаменитых гребцов из Шату. Одну из этих дам Франсуа называл «мадам девчонка» (это, несомненно, графиня Потоцкая).

Ночью четыре белых ялика отправляются на рыбную ловлю. Они освещены фонарями и факелами. За кормой лодок мягко светится потревоженное море. Старый морской волк господин Фурнер — новый друг, с которым Ги познакомился недавно, — командует двумя лодками, Бернар — двумя другими. Вылазка завершается чудовищной ухой, потопом вина «Сен-Лорен дю Вар» и непристойными песенками гребцов из «Лягушатни».

В 1888 году Эммануэла Потоцкая продолжает занимать особое место в

жизни Мопассана. Ги пишет ей: «Ведь это должно быть волшебным сном — путешествие с Вами! Я говорю не об очаровании Вашей личности, которое я могу испытывать и здесь..., но я не знаю женщины, которая лучше бы воплощала мое представление об идеальной путешественнице...»

«Милый друг» скользил между Сент-Маргерит и Сент-Онора, оставляя по левому борту цитадель «Железной маски». Франсуа готовил завтрак. Его хозяин и графиня наслаждались морским ветром на палубе.

— Бросим якорь! — предложила «девчонка».

— Пока нет! Видите, вон там риф? Это островок Сен-Фереоль, одно из самых любимых мною мест на земле

— Но ведь там едва уместится солдатская палатка!

— Вы любите Паганини?

— Да.

— Паганини умер в Ницце от холеры в 1840 году. Тело его все почернело. Но генуэзское духовенство отказалось хоронить его. Ходили слухи, что он заключил союз с дьяволом и поэтому играл так прекрасно... Сын Паганини привез его тело в Марсель. Марсельское духовенство оказалось не более терпимым, чем генуэзское. Проклятый корабль вновь пустился в плавание со своим, нелегким грузом. Не имея возможности похоронить великого музыканта и в Сен-Оноре, сын тайком предал прах, своего отца земле Сен-Фереоля. Там он и оставался целых пять лет.

— Здесь?!

— Здесь! Под солнцем, во власти соленых брызг, охраняемых только чайками... Наконец в 1845 году сыну удалось перевезти прах в Геную, на виллу Гайона. Он был удивительным человеком, Паганини! Своим талантом и художбой он походил на героев Гофмана. Старик Оффенбах, очень напомиавший итальянца, обожал эту историю. «Я сожалею, что Паганини увезли оттуда. Я предпочел бы, чтобы тело его оставалось на этом щетинистом рифе...»

Вода лизала голубым языком красноватые береговые скалы.

— Как вы не похожи на легенду о вас, Ги! Я счастлива. Мне так хотелось, чтобы вы увезли меня на своем корабле!

— А я — как я этого хотел!

— Слышите — стрекозы!.. Как они стрекочут... Сойдем на берег!

Ги и графиня добрались на ялике до Сент-Маргерит. Сквозь завесу удушливой жары слабый ветер доносил аромат розмарина.

— Какой красивый грот! Он совсем голубой. Совсем как на Капри!.. Ги, подождите меня здесь минутку!



Ги мечтал, лежа на спине в тени приморской сосны. Приглушенный колокольный звон донесся с Сент-Онора, напомнив ему, что он не один и что люди сейчас предаются молитве...

Вдруг взбалмошная графиня окликнула его. Он поднялся, огляделся и пошел туда, где раздавался звонкий смех. Наконец он нашел эту Цирцею золотых островов, ее нагое тело белело в мерцающей синеве грота. Она смеялась!

Он отлично плавал, наш Милый друг.

Назавтра он писал этой миленькой взбалмошной графине: «Я люблю тебя, я ищу тебя, я все еще держу твою горячую тень в своих объятиях».

Развязка их отношений была трагична: Ги и Потоцкая познали жестокую, ужасную смерть. Он сроднился со своим Орля, она умерла, покинутая всеми, в Пасси во время фашистской оккупации. Ее труп был объеден крысами — мрачная картина, добавляющая еще одну ненаписанную страницу к творчеству ее поклонника.

Ги любил сидеть на носу своего корабля, когда «большая белая птица» устремлялась в открытое море. Он наблюдал за тем, как бежит за бортом прозрачная вода. «На глубине нескольких футов под лодкой медленно разворачивалась по мере нашего продвижения волшебная водяная страна, где вода, как воздух небес, дает жизнь растениям и животным».

Жизнь, заполненная путешествиями, на время успокаивает того, кто в скором времени превратится в тяжелобольного. Ги рассказал об этом в книге «На воде», «полной сокровенных мыслей, потому что это — мой дневник».

«На воде» — единственная значительная книга, в которой Мопассан прямо говорит о себе, изо дня в день на борту или на суше записывая свои впечатления, мысли; подчас это заметки, адресованные самому себе, подчас — материал для очерков, которые он опубликует позже в «Жиль Бласе», «Фигаро» или «Голуа». Мопассан досконально описывает собственные переживания, противореча тем самым своему программному заявлению в предисловии к «Пьеру и Жану».

Как бы вполголоса беседует он со своими друзьями: «Я один, в самом деле один, в самом деле свободен. Дымок поезда бежит по берегу! А я, я плыву в крылатом жилище, и оно покачивается, прелестное, как птица, маленькое, как гнездышко, удобное, как гамак, и блуждает на волнах по воле ветра, не сдерживаемое ничем».

Поль Неве в предисловии к полному собранию сочинений Мопассана, выпущенному издательством «Конар», сравнивал «На воде» с «Вертером»

и «Ренэ», называя этот отрывочный и поспешно написанный «бортовой журнал... завещанием и исповедью Мопассана».

«Вокруг меня Канны расплескали свои огни... И я думал о том, что во всех этих виллах, во всех этих гостиницах сегодня вечером собрались вместе люди, как собирались вчера, как соберутся завтра, и что они разговаривают! О чем же? О принцах, о погоде!.. А потом? Больше ни о чем!.. Надо захмелеть от глупого высокомерия, чтобы считать себя чем-то иным, а не животным, едва возвышающимся над другими животными! Послушайте-ка их за столом, этих несчастных! Они разговаривают! Они разговаривают искренне, доверчиво, мягко и называют это — обмениваться мыслями».

В действительности этот пессимизм, это разочарование, этот бунт против абсурдности жизни маскируют отчаянную тоску о невозвратном романтизме. В грустном литературном бычке есть что-то от полузадушенного Мюссе.

«Конечно, в иные дни я чувствую такой ужас перед всем существующим, что хочется умереть. Я испытываю обостреннейшее страдание от неизменной монотонности пейзажей, лиц и мыслей... В другие же дни, наоборот, я всем наслаждаюсь с животной радостью. Если мой беспокойный ум, измученный трудом и перенапряженный, рвется к несвойственным нашей природе надеждам, чтобы, убедившись в их призрачности, снова погрузиться в презрение ко всему, то моя животная плоть опьяняется всеми восторгами жизни. Я люблю небо — как птица, леса — как бродяга-волк, скалы — как серна, высокую траву — как конь, за то, что на ней можно валяться, по ней можно носиться, прозрачную воду — как рыба, за то, что в ней можно плавать. Я чувствую, во мне трепещет что-то свойственное всем видам животных, всем инстинктам, всем смутным желаниям низших тварей. Я люблю землю. Когда, как сегодня, погода хорошая, в моих жилах — кровь древних фавнов, бродячих и похотливых, и я больше не брат людям, но брат всем живым существам и всем вещам!» В этом мастерски сделанном куске торжествует языческий Овн из Палермо. Лежа на палубе «Милого друга», Ги де Мопассан наблюдал за тем, как медленно и торжественно вздымаются у скал Сент-Маргерит и Аге прозрачные волны. Он воспринимал окружающее всем своим существом, размышляя о жизни и смерти.

В гостиной по улице Боккадор, где он вскоре обоснуется, будет висеть картина Риу, написанная в марте 1889 года. На ней изображена «большая белая птица». Каждое утро, прежде чем сесть за работу, Ги бросал взгляд

на бюст Флобера и на свой парусник. И вновь страсть к путешествию завладевает им. И он задумывает новое, на Балеарские острова — вдоль берегов Испании, через Гибралтар, мимо побережья Марокко. Эта мечта помогала ему преодолеть боль, терзавшую его глаза...

Мы видели, что тот, который столь охотно позволял называть себя «Милым другом», дал и своему первому настоящему кораблю имя «Милый друг» — кораблю, приобретенному на деньги от издания этого романа. Такое название — это дань уважения к своему труду; Золя — тот назвал одну из пристроек своей виллы в Медане «башней Нана». И то, что Ги назвал «Милым другом» и второй свой парусник, возводит возможный каприз, связанный с огромным успехом романа, до высоты символа.

В Каннах, как и в Париже, Мопассан по-прежнему остается все тем же Милым другом — веселым лодочником своей унесенной волнами молодости.

*Бой цветов. — Встреча с генералом. — Третье путешествие в Африку. — Аллума. — Обед с доктором Бланшем. — Май 1889 года: «Сильна как смерть». — Счета романиста. — Золя завтракает на вилле Штильддорф. — Пауки Этрета*

В мае 1888 года в Каннах Мопассан заканчивал роман «Сильна как смерть». Он еще раз переменил квартиру и занимает теперь три великолепные, солнечные комнаты на вилле «Континенталь». Как в Этрета и в Антибе, сын и мать горячо спорят по поводу новой работы Ги.

— Мне не нравится заключительная часть романа, — безапелляционно заявляет Лора. — Этот несчастный случай надуман.

— Да нет же, мама! — возражает Ги. — Должен быть именно несчастный случай. Его невозможно пред-, видеть!

— Я в это не верю, — повторяет Лора. — Мне это не нравится.

— Но ведь это случайность! — горячится Ги. — Весь смысл книги — в ее финале.

Ги сейчас переживает период эйфории. Он даже принимает участие в бое цветов, который проводится на бульваре Круазет. «Вдоль всего бульвара Фонсьер двойной ряд экипажей, украшенных гирляндами цветов, движется подобно бесконечной ленте. Из одного экипажа в другой летят цветы. Они реют в воздухе, как пули, ударяют в возбужденные лица, взлетают вверх и падают в пыль, откуда их выхватывает целая армия мальчишек... Седоки узнают друг друга, окликают, приветствуют, а потом обстреливают друг друга розами...»

Не менее удачное описание карнавала дает Мария Башкирцева: «Бой цветов на Променаде дез Англе. Это красиво и забавно! Там появляются в карнавальных костюмах. Я постаралась выглядеть как можно более красивой... И я в восторге от того, что могу наконец показаться в свете, где меня считают такой больной... Мы накидываем черные капюшоны, садимся в ландо и проезжаем Корсо. Грустный успех сопутствует нам. Мы неподвижны и черны в своем ландо, и вслед нам несутся крики: «Мертвые, мертвые!»

На Лазурном берегу смерть подстерегает чахоточных и тех, кто менее всего ожидает встретить ее на своем пути.

Эти просветления бывают теперь у Ги редко и ненадолго. Весенним вечером Мопассан, вернувшись домой, спрашивает у Франсуа, почему его матери нет дома. Тассар не любит, когда его хозяин проявляет нетерпение. Не успела Лора переступить порог дома, как Ги начинает свой рассказ:

— Ну, наконец-то! Ты знаешь, я прекрасно провел день! Я встретил генерала А. Мы вместе гуляли по бульвару Круазет... Он рассказал мне о своем последней деле, в 1870 году, — он тогда командовал эскадроном. Ты знаешь, мама, он сказал: «Мы знали, что все уже потеряно». Они все это знали. Они делали все, чтобы спасти честь армии. Он был очень взволнован, генерал. Я не мог унять дрожь, когда слушал его. Молодцы, мама, какие молодцы!.. Мы вернулись обратно вместе. Ты видела, какой сегодня красивый закат?

— Да, Ги, прекрасный закат...

— Залив похож на большое озеро, наполненное кровью.

— Да, малыш, да...

Вот уже семнадцать лет, как закончилась война. Но для ее сына война окончилась словно бы вчера. Как они похожи — Эрве и он! Эрве, который с каждым днем чувствует себя все хуже, который даже пугает ее. А Ги, возбужденный, продолжает, обращаясь к своему лакею:

— Так мы договорились, Франсуа? Я в любой момент готов отправиться в армию. Итак, я рассчитываю на вас. Без вас я не воюю!

— Мосье знает, что может целиком рассчитывать на меня.

Удивительный человек! Ему, так взволнованному рассказом генерала, ему, который так ненавидит их всех (кроме Наполеона), — ему принадлежит фраза: «Патриотизм — это яйцо, снесенное войной».

Глаза болят. После курса лечения в Экс-Ле-Бен, куда он сбежал из своей «нормандской Сибири», Мопассан 20 октября 1888 года покидает Францию, отправляясь в третье путешествие по Африке.

Он пишет Женеви́еве Стро из Алжира 21 ноября 1888 года: «Больше всего у меня болит голова, и я Лечу невралгию настоящим, горячим, африканским солнцем. До одиннадцати вечера блуждаю по арабским улицам без пальто и не испытываю озноба. Это доказывает, что ночи здесь столь же горячи, как и дни; близость и влияние Сахары, однако, очень возбуждает и нервирует. Не спишь, вздрагиваешь — одним словом, нервы не в порядке».

Он гуляет, пишет женщинам, ухаживает за алжирками и вспоминает свою яхту. Нужно все подготовить к марокканскому путешествию будущего года! Перспектива этого плавания увлекает его больше, чем нынешнее

путешествие. Он дал все указания Бернару, но за выполнением их просил проследить своего друга, капитана Мютерза, которому написал длинное и подробное письмо из Туниса. Просто скандал! Ремонт «Милого друга» должен был обойтись, по подсчетам рабочих с верфи, в 800 франков, теперь они просят 2000! Ги, однако, прекрасно понимает, что служит истинной причиной его постоянного возбуждения и недовольства. «Мне это тем более досадно, что я и понятия не имею о том, придется ли мне пользоваться впредь моей яхтой: врачи настоятельно рекомендовали мне избегать морских путешествий, да так единодушно, что в конце концов сумели навязать мне свою точку зрения».

Вскоре он даст Морису Мютерзу новые указания.

«Что касается работ, которые необходимо произвести на яхте, здесь я хочу полностью следовать Вашим советам. Прошу Вас дать распоряжение Ардуэну, чтобы он изготовил новое основание мачты непременно из дуба. Поскольку Вы сообразовали следить за ходом работ на яхте, я хотел бы просить Вас дать Бернару следующие указания: на днях он получит смолу, качество которой необходимо будет сверить с образцом, отправленным мною сегодня. Фирма, у которой я приобрел партию смолы, могла, по-моему, перепутать товар. Бернар ни в коем случае не должен опускать металлические части в масло, но только в нефть или, за отсутствием таковой, в керосин.

Необходимо, чтобы мой капитан с исключительным вниманием проследил за разогревом смолы. Открытое пламя никогда, ни на секунду не должно коснуться смолы, — в противном случае смола немедленно утратит все свои качества и не сможет быть использована...»

Никогда ни к одной из своих любовниц Ги не проявлял такого ревностного внимания. Между тем мнительность и возбудимость усиливаются. Ги становится мелочным. Вначале он подозревает в обмане рабочих с верфи, потом — торговца, потом чуть ли не Бернара, поручает наблюдение за инженером Ардуэном и матросами своему доброжелательному корреспонденту Мютерзу.

Вероятно, зимой того же года Мопассан встретился с Аллумой. Он опишет эту арабскую женщину. Если судить по дате — 10–15 февраля 1889 года, то рассказ «Аллума» появился сразу вслед за приключением. Никогда не забыть эту южную девушку, которую подложит в постель своего хозяина слуга Магомет, от чьего имени ведется рассказ, «девушку с лицом древнего изваяния, разукрашенную всевозможными серебряными безделушками, какие носят женщины юга на ногах, на шее, даже на животе. Она, по-видимому, спокойно ждала моего прихода. Глаза ее, увеличенные кхолом,

были устремлены на меня; четыре синих знака в виде звезды, искусно нататуированные на коже, украшали ее лоб, щеки и подбородок».

И тем не менее Аллума прежде всего женщина, извечная женщина. «Глаза ее, загоревшиеся желанием обольстить, той жаждой покорить мужчину, которая придает кошачье очарование коварному взгляду женщины, завлекали меня, поработали... То была короткая борьба одних взглядов, безмолвная, яростная, вечная борьба двух зверей в человеческом образе, самца и самки, в которой самец всегда оказывается побежденным».

Рассказчик счастлив с Аллумой, пока дикарку от него не уносит южный ветер. Он примиряется с первым ее исчезновением. А после возвращения голос крови, столь властно звучавший в ней, побудил ее бежать с пастухом, «рослым бедуином, с загоревшей кожей под цвет его лохмотьев, грубым дикарем с выдающимися скулами, крючковатым носом, срезанным подбородком, поджарыми ногами, худым оборванным верзилкой с коварными глазами шакала».

Рассказ весьма интересен тем, что, несмотря на свою кажущуюся легковесность, содержит четыре пророческие строчки, выражающие отношение Мопассана к колониальной авантюре: «Быть может, никогда еще народ, побежденный насилием, не уклонялся с такой ловкостью от действительного порабощения, от нравственного влияния, от настойчивого, но бесполезного изучения со стороны победителя».

6 марта 1889 года Гонкур записал в своем дневнике: «Мопассан, вернувшийся из своей экскурсии в Африку, заявил на обеде у принцессы, что чувствует себя прекрасно. Действительно, он оживлен, подвижен, словоохотлив, и благодаря тому, что лицо его похудело и покрылось загаром, он выглядит несколько менее вульгарным, чем прежде...

Он не жалуется более ни на боль в глазах, ни на слабость зрения и уверяет, что любит лишь солнечные страны, что ему никогда не бывает слишком жарко, что в августе он совершил поездку в Сахару, где было 53 градуса в тени и где он несколько не страдал от жары».

Между тем на этом званом обеде присутствовал некий седовласый пожилой господин, с которым Мопассан имел долгую беседу, касающуюся здоровья Эрве. Этот господин рассказывал, что психиатрическая лечебница в Пасси, по улице Бертон, 17, которой он руководил, была продана в 1850 году «за кусок хлеба» его коллеге, доктору Мерию. Собеседник Ги, строгий, но в глубине души мягкий человек, совершенно неопытный в практических делах, считал свою профессию священной. Он нередко повторял своему сыну, влюбленному в Потоцкую: «Душевнобольной живет в ином мире».

Доктор Бланш вскоре станет единственным хранителем судьбы Милого друга.

Анонсированный в «Ревю Иллюстре» 1 декабря 1888 года роман «Сильна как смерть» начнет печататься с 15 мая 1889 года. Книга была продана к концу года в количестве 35 тысяч экземпляров. Мопассан чувствует себя тем более удовлетворенным потому, что этот роман потребовал от него куда большего напряжения сил, чем «Пьер и Жан»! «Я готовлю потихоньку свой новый роман и нахожу его очень трудным», — писал он годом раньше своей матери. «Столько в нем должно быть нюансов, подразумеваемого и невысказанного. Он не будет длинен к тому же: нужно, чтобы он прошел перед глазами как видение жизни, страшной, нежной и преисполненной отчаяния».

Есть и другие причины медлительности писателя:

«Я спрашиваю себя, уж не болен ли я, — такое я испытываю отвращение ко всему, чем занимался так долго и с таким удовольствием. Бесплодные попытки вернуться к труду приводят меня в отчаяние. Что же это? Утомление глаз или мозга? Истощение художественного дара или воспаление глазного нерва?»

На борту яхты «Милый друг». Ги де Мопассан — крайний справа, в берете — матрос Раймон.

Как болят глаза!

Оливье Бертен — художник. Мопассан воспринимал живопись более чутко, чем Золя. Однако Бертен занимает нас куда меньше, чем Клод Лаптье из «Творчества» Золя, и в еще меньшей степени, чем Френхофор из бальзаковского «Неведомого шедевра». Ги не интересуют драматические попытки художника передать на полотне подлинную жизнь, которые с таким изумительным мастерством раскрыли Бальзак и Золя. Самый пошлый академизм свойствен Бертену, дельцу от живописи, работающему на потребу «сливок общества». Он вознамерился выразить в портрете прекрасной мадам Гильруа «то неуловимое, что ни одному художнику не удалось еще удержать на конце своей кисти, — тот отблеск, ту тайну, то отражение души, которое проскальзывает, мимолетное, на лицах».

Этот почтенный поставщик масляных полотен прославился сразу же после первой своей картины «Клеопатра» в 1868 году. В 1872 году благодаря своей «Иокасте» он был отнесен «к числу самых дерзновенных художников, хотя его благоразумно-оригинальная манера исполнения была оценена даже академиками». Наконец он становится «самым любимым живописцем парижан и парижанок». Так изображает художника тот, кто по-



настоящему понимал Мане, Моне и Курбе!

Мадам Гильруа, уступая просьбам влюбленного в нее Оливье Бертена, соглашается позировать. Страсть художника не знает границ. А потом подрастет дочь мадам Гильруа. Оливье — это опять Мопассан, ошеломленный постепенным распадом красоты, тот, которому никакая сердечная привязанность не может принести утешение. Мопассану изредка открывается этот мир любви, но как мир ему недоступный. Об этом он и поведал Леону Фонтену 13 мая 1889 года: «Моя вера в мир чувства разрушена. Испугавшись моего цинизма, она умолкла. Она так далеко спряталась в глубинах моего существа, что никакие клятвы не смогут ее возродить».

И он опять возвращается к уличной девке, к сбившейся с пути мещанке, к скучающей иностранке или к миленькой графине.

Франсуа Тассар оценивает роман «Сильна как смерть» возросшим количеством посещений опасных поклонниц Мопассана. Успех огромен, он превзошел все, что было прежде, придавая Мопассану силу и уверенность!

Растущая слава, увеличивающиеся доходы, постоянство успеха — все это, казалось бы, должно было отвлечь писателя от денежных забот. Но нет! Мопассан становится все более алчным.

В мае 1889 года Ги снял в Триеле дом, где он собирался провести часть лета. Эта вилла называлась «Штильдорф», что по-немецки означает «Тихая деревня». Продолжая движение на запад, начатое когда-то гребцами колонии Аспергополис, Ги перегнал свои яхты в Пуасси. Прощай, Фурнез, «великий адмирал из Шату»!

Вилла Штильдорф стояла на окраине деревни, близ дороги, ведущей в Во. Первые дни Ги наслаждается своим чудо-домом. «Дом построен у подножья высокого берега Сены. Из моих окон видны двадцать километров реки, текущей между лесистыми зелеными склонами... Здесь я работаю и мечтаю... Я купаюсь и брожу по лесам с животной радостью, и я совершенно позабыл эту длинную железную шлюху с Выставки».

Отправляясь в Триель в поезде, Ги проезжает мимо дома Золя в Медане и смотрит, не открыты ли окна большого рабочего кабинета мэтра. 20 июня он приглашает Золя к завтраку. Франсуа прислуживает им. Он внимательно смотрит и слушает: «Каждую секунду, подобно двум приготовившимся к драке кошкам, два великих романиста бросали друг на друга короткие прямые взгляды, а затем быстро опускали глаза к тарелкам. Это поведение совсем не соответствовало характеру моего хозяина, всегда такого открытого и веселого. В общем, лед никак не мог растаять».

Если Франсуа и догадывался о заботах своего хозяина, то он, естественно, ничего не знал о переживаниях, которые терзали Золя. Наскоро съев великолепный обед, гурман из Медана уехал на велосипеде в Швершешмон, где его ожидала Жанна Розеро<sup>[98]</sup>.

Проводив Золя, Ги повел Гектора Пессара, приятеля из «Голуа», поглядеть на парники, где выращивались шампиньоны. Вернувшись, он сказал ему за чаем:

— Золя я расцениваю как крупного писателя, как значительную литературную фигуру...

И остановился на полуслове. Золя по-прежнему остается для пего старшим: это проявляется в дарственных надписях на книгах: «Моему дорогому Учителю и Другу»- Оба слова с заглавной буквы. И в письмах.

И все же после давнего обеда у Траппа чувства Мопассана к Золя идут на убыль. Их взаимоотношения становятся все более прохладными. Время не сгладило между ними разногласий. Они не могут найти общих точек зрения относительно натурализма, концепции мира, морали и политики. Два года тому назад они чуть было не поссорились из-за немцев. Мопассан упрекал Золя в интернационализме, Золя Мопассана — в прямолинейном патриотизме. Ги были чужды идеи Золя, он просто терпеть не мог твердость своего собрата по перу, его спокойную уверенность в том, что он всегда прав, его любовь к абстрактной справедливости. Ги вздохнул и закончил фразу:

— Но его лично я не люблю!

— Мосье совершенно прав! — обронил Франсуа, из профессиональной солидарности не простивший сегодняшнему гостю ту чушь, которую говорят служанки из романа «Накипь».

Ги молчит. Ему еще предстоит написать отцу письмо об Эрве.

Не прошло и недели, как Ги снова ощущает холод в роскошной вилле Штильдорф. Друзья, приезжающие к нему «на паровой яхте», без конца тревожат его. Еще одна несбывшаяся мечта — о покое на речном берегу, еще раз выброшенные на ветер деньги. Мопассан вновь предается мечтам: «Поброжу немного по Корсике, затем — из порта в порт — проеду по итальянскому побережью до Неаполя... Это для меня лучший вид развлечения».

Сначала он приезжает в Этрета. По утрам работает над романом «Наше сердце». После, обеда играет в теннис, фехтует, стреляет из пистолета. Вечером разыгрывает с друзьями небольшие пьески или развлекается с «волшебным фонарем». Он встречается с Эрминой и с ее

уже подросшим сынишкой Пьером. Но очарование этих нормандских мест уже потеряно для него: слишком сыро, слишком дождливо. Встревоженный, недовольный собою, он всем существом ощущал «эту невозможность обмануться и обмануть» — чувство, которое он приписывал Мишель, своей героине.

Однажды утром этого лихорадочного лета 1889 года он вбежал в кухню виллы Ла Гийетт, где Тассар готовил завтрак:

— Франсуа...

— Мосье?

Франсуа сразу же заметил блестящие, словно покрытые эмалью, глаза своего хозяина.

— Я попрошу вас присмотреть за тем, чтобы все окна дома были плотно закрыты перед заходом солнца... Этой ночью я не сомкнул глаз. Я перепробовал кровати почти во всех комнатах — и повсюду меня преследовали пауки. Я испытываю к этим насекомым страшное отвращение. Не могу объяснить почему, но они внушают мне страх.

Взгляд писателя выражает беспредельное отчаяние. Его лицо напоминает этрусскую маску.

— Эти мерзкие твари ползут по стенам на балконы... Вы понимаете, Франсуа?

— Да, мосье.

— Так закройте же, не забудьте! Прошу вас...

Тон его смягчается, последние слова он произносит с просительной интонацией.

— Да, мосье, я не забуду.

Они вместе преследуют пауков и уничтожают их. Настораживает то чрезвычайное значение, которое он придавал этому мелкому событию.

**Агония Эрве. — Новый бюджет Мопассана в 1889 году. — Веер Потоцкой. — Последний праздник в Ла Гийетт. — Арбузы из Генуи. — Тень Шелли. — 13 ноября 1889 года: смерть Эрве. — Доппельгенгер. — Обратный счет**

Ги писал из Канн в Париж отцу: «По получении этого письма сможешь ли ты взять карету и немедленно отправиться в Виль-Эврар?

Ты покажешь директору психиатрической лечебницы это письмо доктора Бланша и скажешь ему, что я рассчитываю привезти моего брата в среду утром.

Доктор Бланш сказал мне, что за содержание во втором классе нужно платить 250 франков в месяц. Выясни, верны ли эти сведения, и скажи директору, что я вынужден — довольствоваться вторым классом, ибо мой брат, его жена и дочь полностью находятся на моем попечении.

Телеграфируй мне завтра, в течение дня, следующее: «поручение выполнено все договорено».

Прости, что не пишу тебе более подробно. Я буду в Париже в среду. Вчера я отвез Эрве в приют для душевнобольных в Монпелье, переполненный мерзкими и страшными сумасшедшими. Завтра я поеду за ним... Голова Эрве абсолютно затуманена. Вчера во время обеда он вдруг принялся пилить дрова и прекратил это занятие после того, как совершенно изнемог от усталости. Мама об этом не знала».

В конце 1888 года Ги узнает, что избежать помещения Эрве в лечебницу не удастся. Он пишет по этому поводу своей приятельнице мадам Стро: «Состояние моего брата не позволяет мне оставить его. К тому же моя мать совсем обезумела от горя...»

Безумие подкрадывается к Эрве. В начале августа 1889 года Ги из Триеля предупреждает отца: «Мы переживаем страшное время. Необходимо срочно поместить Эрве в приют Брона близ Лиона. Я уезжаю в Канны в середине будущей недели. Срок аренды дома кончается 1 сентября, и мне нет смысла возвращаться. Я потерял весь август и теперь собираюсь в поисках покоя отправиться на яхте к Корсике или к итальянскому побережью. Все деньги от моего романа пойдут на содержание матери и на болезнь Эрве. Жильцы Верги не платят ни сантима. Мы пожаловались на них, но... Я выделил Эрве пенсию, которая

покрывает расходы по содержанию его в лечебнице; я обеспечиваю мою мать; но нужно еще не дать умереть с голода его жене и ребенку. Нет, право, это очень тяжело — так работать, без конца истощать себя, отказываться от всех удовольствий, на которые я имею несомненное право, и наблюдать, как деньги, которые я мог бы предусмотрительно сохранить, уходят таким образом.

К тому же я плохо себя чувствую. Я подумывал о Виши, но врачи единогласно отсоветовали мне поездку туда, ибо у меня вялость, слабость желудка и кишечника, и мне нужнее укрепляющая и стимулирующая эти органы целебная вода. Мне советуют несколько немецких или швейцарских курортов. Но мне будет холодно там. Я предпочитаю наслаждаться теплом на Юге».

Осажденный со всех сторон, измученный, Мопассан, однако, не сдастся. Денежные затруднения — это не самое страшное, но они раздражают. С 1885 года он зарабатывает изданиями и переизданиями, переводами и газетными публикациями более 40 тысяч франков в год, и эта сумма постепенно возрастает до 120 тысяч. Но расходы увеличиваются столь же быстро, как и доходы. Ги ничего не преувеличивает. Он целиком содержит Лору. Сначала он помогает Эрве встать на ноги, потом содержит его во время болезни, поддерживает его жену и маленькую Симону, балует своих многочисленных любовниц, несет заботы о Жозефине Литцельман и ее детях, оплачивает постоянных слуг в Этрета и Каннах. Он без конца арендует дома, как, например, виллу Штильдорф, на которой не может жить. Он покупает новую яхту. Путешествия с Франсуа обходятся дорого, и другие его фантазии — примером может служить воздушный шар — требуют огромных расходов.

Облака сгущаются над головой грустного бычка. Но и перо, случается, изменяет ему. «Я провожу мучительные дни, глядя на белую дорогу, на тень столба, и прихожу к выводу, что не могу описать всего этого».

Тревога созревает в нем, подымается вместе с кровью по жилам.

«Прости меня, дорогой отец, что я не написал тебе раньше, но я очень болен. После твоего отъезда у меня не было ни одного спокойного дня: я искал новую психиатрическую лечебницу для Эрве. Он плох; с ним случаются страшные припадки буйства и, находясь у мамы в Каннах, он подвергает опасности жизнь окружающих его людей. Мне пришлось побывать у многих врачей. Теперь, мне кажется, я нашел то, что нужно: он будет содержаться в больнице близ Лиона под наблюдением профессора

Пьере, зятя знаменитого Бушара.

Но... когда же женщины решатся либо вовсе оставить его, либо поместить в больницу? Вот в чем все зло».

Монпелье, Виль-Эврар, «дом отдыха» доктора Бланша в Пасси? В этой лотерее больниц, где один «выигрыш» гнуснее другого, вытянули лечебницу Брона. Мопассан долго беседовал с профессором Пьере. В отчаянии он спрашивал у Пьерс совета. Профессор успокоил его. Ги пишет отцу: «Я нашел Эрве совершенно сумасшедшим без всякого проблеска сознания. Мы, к несчастью, не можем рассчитывать на его выздоровление. Моя мать не знает об этом».

Ги ошибался. Лоре было известно все. Они щадят друг друга. Лора лжет своему сыну, а Ги — матери.

«Два часа, проведенные вместе с ним в лечебнице Брона, были ужасны. Он узнал меня, плакал, целовал без конца и, заговариваясь, просил, чтобы я забрал его отсюда».

Вернувшись после свидания с братом и закрывшись в номере гостиницы, Ги сел писать письмо Эммануэле:

«Он до такой степени надорвал мне сердце, что я никогда раньше так не страдал. Когда я должен был уехать, а ему не позволили проводить меня на вокзал, он принялся ужасно стонать, и я не мог удержаться от слез, смотря на этого приговоренного к смерти человека, которого убила природа, который никогда не выйдет из этой тюрьмы, никогда не увидится со своей матерью... Он чувствует, что с ним происходит что-то страшное, непоправимое, но не знает, что именно...» Мопассан возвращается к мысли о бренности всего живого: «Ах, бедное человеческое тело, бедный человеческий дух! Что за мразь, что за ужасное творение! Если бы я верил в вашего бога — какое беспредельное отвращение почувствовал бы я к нему!»

Затем, снова став нежным, фривольным, галантным, он сообщил графине, что послал ей старинный веер, на обратной стороне которого написал новые стихи для Сирены:

*Стихов хотите вы? О нет,  
Не напишу на этой штуке,  
Какую вы возьмете в руки,  
Я ни новеллу, ни сонет.  
Лишь имя «Ги» поставлю я.  
Чтоб вы всегда его читали,*

*Под легким ветерком мечтали,  
Дум сокровенных не тая*<sup>[99]</sup>.

Шутливые, приятельские отношения давно уже установились между ними. В письме от 14 июля 1889 года, адресованном графине, и следа нет от того легкомыслия, которое проскальзывало в рассказе о прелестной проказнице с острова Сент-Маргерит: «Я оказался в очень затруднительном положении в тот вечер, взбираясь по Сен-Жерменскому подъему, когда нашел у себя в кармане ваш ключ и ваше портмоне. Первая мысль была о ключе. Я сказал себе: «О господи, этот ключ... Этот ключ!..» Затем я подумал, что воспользоваться им будет трудно..., Затем, повинувшись благородному порыву верности и честности, я сел в парижский поезд... Первой моей мыслью было купить плащ, подходящий под цвет стен, и ждать вас в тени входа, находящегося против вашей двери. Но, по размышлении, это показалось мне страшно опасным. Начать с того, что дверь напротив вас вновь грозила гибелью вашему портмоне и моей добродетели (вероятно, напротив находилось заведение Телье. — А. Л.); затем если бы вас подстерегал какой-нибудь агент полиции, меня могли бы поймать, и я сыграл бы смешную роль лжепохитителя вашей благосклонности...

До свидания, сударыня, складываю к вашим ногам все мои восторженные чувства почетного супруга и подлинного друга».

Судья на бракоразводном процессе был бы повергнут в полное недоумение: как объяснить «почетный супруг» и символическую историю с ключом? Как бы то ни было, розовый веер не может прикрыть искреннего, подлинного чувства, обостренного ощущения близкой смерти: «Никогда я не ощущал своей привязанности к вам столь живо и столь трепетно. Никогда я не чувствовал вас столь дружески настроенной, как вчера.

Соблаговолите написать мне три слова, сударыня, те три слова, которые вам удастся иногда превратить в четыре страницы».

Мы не сможем узнать большего об этой любовной дружбе. И вдруг сразу лодка с размаху ударяется о камни, шутки отброшены прочь, и человек стонет: «Если брат умрет раньше матери, я думаю, что сам сойду с ума, размышляя о ее скорби. Ах, бедная женщина, сколько она выстрадала, как была издергана, измучена со времени своего брака!..»

В августе 1889 года Ги еще разрывается между Триелем и Ла Гийетт. «Из Довилля приходили яхты, — рассказывает Жан Лорен, — они бросали

якорь на рейде между Авальскими и Амонскими бухтами, и самые взбалмошные княгини, и самые веселые маркизы садились в лодки, чтобы нанести визит автору «Милого друга». 18 августа паровая яхта «Бульдог», уже появлявшаяся в Триеле, входит в порт. Шлюпки довозят женщин до берега. Матросы с золотыми серьгами в ушах переносят на берег парижанок, чихая от запаха крепких духов. Болтливый кортеж направляется в Ла Гийетт.

На вилле Ги музыканты в синих блузах сидят на бочках. Мазурки сменяются польками, вальсами, кадриликами. Удушливый аромат резеды и пчелиных сотов исходит от импровизированных ярмарочных балаганов. Мопассан, заключив Эрмину в объятия, кружится в вальсе. Здесь, в Этрета, она «почетная супруга» Ги.

На лужайке стилизованная цыганка гадает на картах. Другая приятельница Мопассана стоит за буфетной стойкой. Эрмина угощает гостей, радостно и взволнованно поглядывая на Мопассана: Ги здесь, в Этрета, и он счастлив.

— Наливайте, наливайте! — говорит хозяин дома. — Пусть все пьют!

Разыгрывают лотерею. Счастливы получают зайцев и живых петухов.

А потом — сюрприз, о котором громким голосом сообщает гостям хозяин. Двести гостей толпятся на аллее перед картиной Мариуса Мишеля, на которой нарисована обнаженная женщина, подвешенная за ноги. Гости изумленно ахают: изображение создает полную иллюзию реальности. Является полицейский. Он свирепо выкатывает глаза, ощупывает картину, потом извлекает длинный нож и с размаху всаживает его в живот повешенной. Брызжет кровь. Кровь зайца.

— Отлично! — восклицает Мопассан. — Отлично! Великолепное убийство!

Еще на репетициях он говорил:

— Это очень смешно. Повесим объявление: «Женщинам приближаться запрещено!» Тогда-то они прибегут все как одна.

Вдруг зрители одновременно поворачиваются к роще. На поляну выскакивают два человека. Изображая гнев и негодование, они бросаются на «убийцу» и заталкивают его в будку, на двери которой написано: «Тюрьма». И тотчас же будка окутывается дымом. Всклопоченное чудовище выскакивает наружу, как дьявол из преисподней. Этретские пожарники поливают водой «убийцу», голую женщину, жандармов, а потом направляют свои брандспойты на толпу гостей, которые в панике разбегаются.

Мопассан в восторге от этой сцены, почерпнутой из газетной хроники



«Полицейский-убийца». Ги хохочет до слез.

К ночи все успокаивается. Близкие друзья отправляются ужинать в Ла Бикок к Эрмине. Какой-то старик садится за рояль и тихо наигрывает сентиментальную мелодию, женщины вытаскивают своей вышитые носовые платки. Старика зовут Массне, и его «Вертер» пока еще не принес ему ни гроша. Мопассан, который терпеть не может сантиментов, все же бросает на серебряное блюдо деньги.

Лицо Ги окрашено цветными бликами венецианских фонарей. Он дает свой последний бал в Ла Гийетт.

Марокканское путешествие не состоялось, и Ги отправляется к итальянским берегам. Распустив паруса, «Милый Друг» грациозно отваливает от причала Ниццы, С капитанского мостика Мопассан показывает своим спутникам роскошные белые виллы и величественный памятник Августу.

12 сентября «Милый друг» ошвартовался у причала Генуи, родного города сестер Рондоли. «Кровоточа алым соком, отбрасывая смачно-красную тень... на набережной лежали шестьдесят или семьдесят рядов разверстых багровых арбузов. Казалось, веселые люди насыщаются плотью окровавленного зверя...»

Лодки распространяют запах прогорклого масла, мыла, сардин. Вонь сельдяных бочек смешивается с тяжелым ароматом смолы: «фекан плюс чеснок». Мопассан не хочет оставаться в этой вонючей клоаке. «Большая белая птица» выходит из залива и берет курс на Портофино и Санта-Маргерита.

Мопассан любил Санта-Маргерита. «Я почти ничего не делаю. Край слишком красив, солнце слишком ярко, воздух слишком мягок. Я отдыхаю».

Через несколько дней вновь приходит усталость. Этого надо было ждать: врачи не ошиблись. Жизнь на борту слишком тяжела для него. Раймон храпит, как великан Полифем, и Ги не может сомкнуть глаз. Мопассан снимает на месяц меблированную квартиру в Санта-Маргерита и оттуда поездом добирается до Тосканы.

Приехав в десять вечера в Пизу, Ги лег спать. На завтра с самого утра кучер в живописном костюме отвез слугу и хозяина туда, где лорд Байрон предал огню тело Шелли. Тридцатилетний поэт утонул в заливе Специя в 1822 году. Разбухшее и изуродованное тело было найдено лишь десять дней спустя. Шелли, с произведениями которого Малларме познакомил Мопассана, был близок ему не только как романтик, но и как человек,

влюбленный в море.

Франсуа, как всегда претенциозный и плоский, когда ведет речь от имени своего хозяина, пишет:

«Я слышал, что ему доставляло удивительное наслаждение испытывать бушующую морскую стихию. Я вполне допускаю это, ибо всякий художник всегда в поисках новых эмоций и ощущений».

Мопассан хотел видеть все: излучину Арно, Кампо Санто — грандиозное кладбище, которое Франсуа назвал бесполезным собранием гранитных и мраморных плит. Очарованный Флоренцией, Ги сравнивал прекрасный город с Венерой Тициана. «Флоренция... притягивает меня почти чувственно; она вся — словно распростертая женщина... — в бесстыжей позе, обнаженная и томная, златокудрая, только что пробудившаяся ото сна...»

Однако болезнь преследует Мопассана. «Все шесть дней во Флоренции я страдал от страшных кровотечений при температуре тридцать девять градусов». Он страдал от «плохо зарубцевавшейся язвы в брюшной полости, которая вздулась, как мешок с яблоками». 27 сентября он жаловался Эрмине: «Мой мозг и желудок в таком плачевном состоянии, что я почти не могу работать».

**Болят глаза.** Приступы мигрени все учащаются. От путешествия приходится отказаться.

Ги вернулся в Канны поездом 31 октября. Лора рыдала, обнимая сына.

13 ноября 1889 года в Лионе после жестокой агонии в возрасте 33 лет скончался Эрве. В следующем году Ги посетит могилу Эрве, памятник которому сооружен, конечно, на средства старшего брата.

Он долго стоял у могилы — неподвижный, опустошенный.

— Мосье мучит себя...

— Что?! Ах, это вы, Франсуа... Вы видите там, вдалеке, Рону? Как она прекрасна!.. Я видел, как умирал Эрве. Он ждал меня. Он не хотел умирать без меня: «Ги! Мой Ги!» У него был тот же голос, что в Верги, когда он был ребенком, и звал меня в сад... Франсуа, он поцеловал мне руку...

К постоянной **боли в глазах** теперь прибавилось общее недомогание. Страх перед зеркалами, возникший в 1882–1883 годах, в 1889 году усиливается, а галлюцинации учащаются.

Как и его корабль, Ги подвержен циклотимии ветров. Этот волчок не знает усталости; скорость вращения все возрастает. В медлительный темп его жизни вплетается нервный синкоп отъездов — раз в две недели, раз в

две недели. Внутри этой бесконечной зыби, даже в рамках одного дня, скорость движения все возрастает. Шутовская эйфория сменяется периодами глубокой депрессии, все более частыми и длительными.

Когда в 1889 году Мопассан работал над «Нашим сердцем», у него была галлюцинация, которую он описал в этот же вечер. Писатель сидит за рабочим столом. Дверь открывается. Он оборачивается. Это входит он сам. Мопассан садится перед Мопассаном и берет его голову в руки. Ги с ужасом смотрит на того, другого. Не выпуская голову из своих рук, Двойник начинает диктовать. И Мопассан пишет. Когда он поднимает глаза, Двойника уже нет.

Достоверность этого рассказа подтвердили многие, и не приходится удивляться тому, что в архиве Жизель д'Эсток эта же версия описана куда подробнее: «Вечер в Сартрувилле. Мой любовник неподвижно растянулся на постели... Спит ли он? Вдруг я слышу его глухой, отрывистый голос, налетающий как порыв ветра: «Вот уже третий раз он прерывает мою работу. Сначала лицо его было расплывчатым и безразличным, как отражение портрета в зеркале. В тот раз он не заговорил со мной... Во второй раз этот призрак, похожий на меня больше, чем брат, показался мне реальнее. Он действительно расхаживал по моему кабинету; я слышал его шаги. Затем он опустился в кресло. Движения его были непринужденны и естественны, словно бы он находился у себя дома: после его ухода я обнаружил, что он перекладывал мои книги с места на место... И только в третье его посещение я уловил, наконец, о чем думает мой «двойник». Его раздражает мое присутствие, он недоволен тем, что я существую. Он ненавидит и презирает меня — и знаешь почему? Да потому, что он считает, что только он один подлинный автор моих книг! И он обвиняет меня в том, что я его обкрадываю».

За кулисами Доппельгенгер уже теряет терпение.

Осенью 1889 года Бод де Морселе встречает Ги на бульваре Осман. Он жестикулирует, словно бы нападая на воображаемых слушателей. Застигнутый врасплох Бодом, он смущенно объясняет, что только что вышел из мастерской скульптора, который своими необычайно большими руками лепит крохотные фигурки (этим скульптором был Роден, чьи «огромные» руки фигурируют в романе «Наше сердце»).

Возбужденный Мопассан продолжает, почти выкрикивая слова:

— Такие крохотные, такие хрупкие! Я все время вижу эти руки... Огромные! Огромные! Огромные!

— Ты бы пообедал со мной, — тихо говорит Бод.

— Нет, я не буду обедать сегодня раньше девяти вечера.

— А что же ты здесь делаешь?

— Ты же видишь — я нагуливаю аппетит.

Бод расстался с ним, очень обеспокоенный этой встречей.

Мартель, встретивший Мопассана, был потрясен изможденным лицом и беспокойным выражением глаз писателя. «Его потемневшее лицо, словно бы обрубленные усы, медленная, праздная походка — все это придает ему вид усталого колониального чиновника, утомленного длительным пребыванием на солнце или наркотиками. В его глазах проскальзывало презрение к прохожим».

— Зайдем в кафе «Наполитен», — говорит Ги. — Нет, нет, только не на террасу!

Он заказывает хинную водку и ворчит:

— Плохо, повсюду плохо! И в Алжире, и в Ницце, и на Корсике, и в Неаполе! Таймень и вино «Сен-Лорен-дю-Вар» — это хорошо! А впрочем...

— Но, — говорит спутник Мартеля Поль Арен, — вы ведь неплохо живете в Антибе: устрицы, морские ежи, барабульки, маслины...

Этот разговор доставляет удовольствие Полю Арену: он терпеть не мог Антиба.

— Конечно, там живут лучше, чем в Париже.

Ги поворачивается к Тапкреду Мартелю.

— Читали ли вы позавчера «Жиль Блас»?

— Конечно. Все, что вы пишете, интересует и восхищает меня.

— Я назвал вашим именем своего героя.

Говоря о «Сестрах Рондоли», Ги признался, что он не мастер придумывать имена и фамилии. В «Испытании» он назвал своего героя Танкре.

— Танкре — вот уж фамилия, которую не найдешь в адресной книге. Никогда с тех пор, как существует Франция, ни один француз не носил фамилию Танкре.

— Прошу прощения, мэтр и друг...

— Прощения? За что?

— Танкре жил при Людовике Четырнадцатом.

— Докажите.

— Некто Танкре был врачом герцога Шартрского, будущего регента, в августе 1687 года.

— Вы уверены?

— В письме Расина к Буало говорится о нем...

Мопассан пристально глядит на Танкреда Мартеля. Лицо его мрачнеет. Он тотчас же поднимается и идет к выходу, натываясь на столы.

Эти резкие смены настроения, эти внезапные исчезновения, эта жестикуляция в споре с воображаемым собеседником, скандалы у принцессы Матильды и в других местах, и, главным образом, вновь появившийся на сцене Двойник, который согласно германским легендам является вестником близкой смерти и с которым в свое время повстречался его дядя Альфред Ле Пуатвен, — все это предвещало начало конца.

Ги осталось четыре года жизни. «Обратный счет» жизни начался.

*Священник и булочник. — Бесполезная красота. — «Принято». — «Ревю де Де Монд» и Почетный легион. — Разрушение связей. — Прототипы Мишель де Бюрн. — Трудная страница. — «Бальзак светских женщин». — Анатоль Франс критикует «Наше сердце». — Последний урожай*

Вот уже неделя, как Мопассан в ярости. Булочник, живущий под ним, все ночи напролет производит адский шум. Хозяин, прежде чем сдать квартиру в доме 14 по улице Виктора Гюго, заверил Ги в том, что дом этот очень спокойный! Так что же это значит?! Все плохо! Никому нельзя верить! Все вокруг подлецы или сумасшедшие!

18 декабря по совету поверенного в делах Ги приглашает архитектора города Парижа, чтобы установить причины шума. Дабы не привлекать внимания привратников, Ги устраивает торжественный обед. О, это отнюдь не похоже на те пиршества, которые он устраивал для миленьких графинь! Здесь царит «атмосфера беспокойства, вызванная эпидемией инфлюэнцы», — свидетельствует Франсуа. На обеде присутствуют несколько врачей. Один из этих врачей имел неосторожность заявить, что души нет! Все гости включаются в спор. «Вдруг (мой хозяин. — А. Л.) непреклонным тоном заявляет: «Если бы я был опасно болен и люди, окружающие меня, пригласили ко мне священника — я бы его принял!»

Гости удивлены, и один из них заявляет, что Мопассан сказал это для того, чтобы примирить спорящих. Мопассан недоволен; он вытягивает розу из букета и медленно обрывает лепестки.

На следующий день Ги говорит Франсуа:

— В конце концов если мне вздумается пригласить священника к моему смертному одру, то я это сделаю! Я не собираюсь считаться с точкой зрения других людей...

Это высказывание — косвенное распоряжение. Ведь Франсуа не только друг, наперсник, но и наиболее вероятный исполнитель волн хозяина.

В моменты затишья Ги пишет с остервенением. В марте значительно продвинется его роман «Наше сердце», и Ги с головой уйдет в работу над новеллой «Бесполезная красота». Из Канн он написал Оллендорфу:

«Бесполезная красота» — одна из самых необычных для меня новелл... Вспомните ваше увлечение «Монт-Ориолем», к которому я сам никогда не был привязан и который мало чего стоит...»

Сам Ги сравнивает «Монт-Ориоль» с «Бесполезной красотой». В этих двух историях, несомненно, много общего.

Несмотря на перерыв в несколько лет, Ги вновь выражает свое отвращение к материнству. Рассказ «Бесполезная красота», несмотря на то, что он далек от тех вершин, которые были доступны Мопассану, все же является эстетическим завещанием Дон-Жуана из Этрета. «Бесполезная красота» — это безграничная идеализация женщины. Чем же является «женщина» для этого человека, который ее так любит? Превосходной котлетой, выбранной «как кусок мяса в мясной лавке»? Несомненно! Но только потому, что ему не встретилось существо, о котором он мечтал, — «редкостное, исключительное существо». Не встретила восхитительная, единственная, «самая любимая»! Мопассан довольствуется куском мяса только потому, что обожествляет лишь женщину возвышенную и «бесполезную», и прежде всего бесплодную, — бодлеровское сокровище, Саломею, женщину, заключенную в роскошную раму Гюставом Моро. Ги любит Майю, иллюзию. Женщина для Мопассана несовместима с понятием преданной союзницы мужчины в дни радости и горя. В то время когда женщина начала завоевывать газеты, литературу, магазины, живопись, песню, он все еще ищет «соблазнительницу, чародейку, пожирательницу сердец». И стоит ли удивляться, что малейший недостаток, который он обнаруживает в этом божестве, заставляет его возмущаться и негодовать! Он ненавидит поцелуи, ненужные слова. «Все они одержимы этой глупой манией, этой подсознательной и дурацкой необходимостью преследовать нас в самые неподходящие моменты». Место отвергнутой женщины немедленно занимает другая.

Но так почему же не последовать совету Флобера? Избегать их? Э-э, нет! Его натура человекозверя, Овна из Палермо, не позволяет ему этого... Однако он возмущается тем, что женщина следует инстинкту продолжения рода. Он становится насмешливо-злым, когда при нем говорят, что материнство прекрасно. Он яростно возмущается при мысли, что женщина может стать равной ему — подругой, союзницей; он впадает в бешеное неистовство, думая о том, что — о мерзость! — она может стать матерью. Женщина пригодна лишь для наслаждения.

Мопассан **не приемлет** обычные человеческие отношения.

В некоторых случаях для того, чтобы существовать, индивидуум

должен полностью и безоговорочно согласиться со своим унижительным положением. И все же это воспринимается им как несправедливость, преследующая его либо от рождения, либо возникшая в результате несчастного случая или неблагоприятного стечения обстоятельств. Иногда это глубоко затаенное чувство начинает проявлять себя. Человек только делает вид, что нашел силы смириться, он лжет самому себе.

В таком положении у человека есть лишь одна возможность продолжать жизнь: обвинять кого-либо помимо себя, найти козла отпущения. Существует только один подходящий для этой цели объект — бог. Вот почему такой человек без конца прибегает к хуле, стремясь одновременно открыть для себя другую, принципиально новую веру. Он называет это «копаться в досье бога». Бог виноват в том, что осквернил любовь, что сделал невозможным человеческое счастье: «Раз уж почти все органы тела, изобретенные этим скупым и недоброжелательным творцом, служат каждый двум целям, почему же он не выбрал для этой священной миссии, для самой благородной и самой возвышенной из человеческих функций, какой-нибудь другой орган, не столь гнусный и оскверненный?.. Можно подумать, что насмешливый и циничный творец как будто нарочно задался целью навсегда лишить человека возможности облагородить, украсить и идеализировать свою встречу с женщиной».

Соблазнитель женщин, преуспевающий делец, один из крупнейших французских писателей, **не успел полностью сформироваться**: романтик, превратившийся в циника, сохранил до самого конца своей мужской жизни — благодаря странному холостячеству в обществе Лоры — безответственность ребенка.

После кратковременной поездки в Англию Мопассан 30 апреля 1890 года переезжает на улицу Боккадор. Устройство на новом месте выводит его из состояния апатии. «Моя новая квартира будет очень красивой, но с единственным неудобством... Большую красивую комнату, которая могла бы служить туалетной, я вынужден отдать Франсуа, ибо он необходим мне постоянно: в случае бессонницы и сопровождающих ее кошмаров врачи рекомендовали мне банки на позвоночник».

С годами вкус Ги стал более изысканным. Мопассан подолгу беседует с мастерами, в особенности с обойщиком Каклетером. Как всегда, больше всего денег он тратит на обои, обивку и занавески. Он любовно расставляет фамильную мебель, описание которой известно нам из рассказа «Кто знает?» (апрель 1890 года).

А затем он вновь погружается во мрак.



«...Мои глаза стали совсем плохо видеть. Пришлось прекратить лечение у Бушара: он приводил мои нервы в невыносимое состояние, что отражалось и на зрении. Не знаю, к кому еще обратиться. Мой друг Транше дает мне кое-какие советы. Он рекомендует прежде всего Пломбьер (впрочем, как и Бушар) и горы в одной из жарких стран...»

Двумя годами ранее, в июле 1888-го, один нескромный коллега опубликовал в прессе сообщение о том, что Мопассан отказался от ордена Почетного легиона. Ги, взвешивая каждое слово, заявил: «Мне вовсе не предлагали ордена: меня только спросили, как я отнесусь к возможному награждению, если министр подумает обо мне. Я ответил, что считал бы дерзостью отказаться от столь ценного и столь почетного отличия, но выразил желание, чтобы меня к этой награде не представляли...»

Попробуем разобраться в этой истории. Еще до премьеры «Мюзотты» (27 февраля 1891 года) Жюль Кларети встретил Мопассана в приемной министра народного образования.

— Я, вероятно, пришел за тем же, что и вы, — сказал Ги.

И действительно, оба они пришли поддержать ходатайство о награждении архитектора Андре Леконта дю Нуи.

Кларети исподтишка бросает взгляд на пустую петлицу Ги.

— Вы же знаете, что вам ответит министр! «Я начну с того, что дам орден вам!»

— О, мне! Мне ничего не надо. Я никогда не женюсь. Я никогда не буду награжден. Я никогда не буду кандидатом в академию. Я никогда не буду писать для «Ревю де Де Монд».

Позднее Ги скажет: «Я действительно говорил, что никогда не буду награжден и не стану академиком, но отнюдь не из презрения, а только из непреодолимого, быть может, несколько преувеличенного чувства независимости и равнодушия. Что же до женитьбы, которая, однако, не входит в мои планы, то тут я говорю с меньшей уверенностью. Когда дело касается женщин, никто из нас не знает, какую глупость мы можем из-за них совершить».

Ги нарушил свой зарок только в отношении «Ревю де Де Монд».

В 1881 году Мопассан, сохранивший еще кое-какие буживальские замашки, позволил себе роскошь высмеять академию в довольно вульгарных выражениях: академия «надевает лучшие свои одежды и отправляется на угол набережной... Она ждет, старуха! Глаза ее горят. Она нарумянила свою морщинистую кожу и вставила лучшую, парадную челюсть. И когда мимо проходит двадцатилетний мальчишка с глазами,

возведенными к небесам, она останавливает его: «Пст! Пст! Послушайте-ка, молодой человек!»

Александр Дюма-сын решил сделать Милого друга академиком. Он специально пригласил его позавтракать, надеясь, что сможет убедить Ги и тот выставит свою кандидатуру. Догадавшись о причине приглашения, Ги стал пунцовым, как обивка ресторанных диванов:

— Как и мой учитель, друг Гюстав Флобер, я не хочу иметь ничего общего с этой литературной братией.

— Оставьте меня в покое с вашим Флобером! Флобер был дровосеком, срубившим целый лес лишь для того, чтобы выточить один-единственный ларчик.

— Дюма!

Дюма по-отечески ухмыльнулся.

— Полноте, Мопассан! Я же пошутил...

Успокоившись, улыбается и Мопассан.

Мопассан раскроет истинную причину своего отношения к академии: он мстил за Старика.

И тем не менее Мишель де Бюрн и весь благоухающий, шуршащий юбками эскадрон миленьких графинь, которых Мопассан наблюдал в салонах, восторжествовали над памятью Викинга.

Леон Дефу был прав: «Мопассан кончился в тот момент, когда он решил жить респектабельно». Академизм давно подбирался к творчеству Мопассана.

В романе «Наше сердце» музыкант Масиваль знакомит своего друга Андре Мариоля с молодой вдовой Мишель де Бюрн почти так же, как когда-то Жорж Легран познакомил Мопассана с Потоцкой. «Какая странная женщина!» — сказал Мариоль Гастону де Ламарту после этого визита. Ламарт улыбается: «Уже начался кризис. Вы пройдете через него, как и все мы!»

Мишель де Бюрн пытается обольстить Андре Мариоля. Этот молодой человек, более грубый, более мужественный, чем другие ее поклонники, напоминающий самого Мопассана, любит Мишель, но, разгадав ее игру, решает ее избегать. Обиженная красавица привлекает его. Он поддается, хотя и не обольщается на ее счет: «Природная и умело подчеркнутая красота этой стройной, изящной белокурой женщины, казавшейся одновременно и полной и хрупкой, с прекрасными руками, созданными для объятий и ласк, с длинными и тонкими ногами, созданными для бега, как ноги газели, с такими маленькими ступнями, что они не должны бы оставлять и следов,

казалась ему символом тщетных упований».

Существовал ли прототип Мишель де Бюрн? Прежде всего настораживает разительное сходство между романом, пережитым художником Жак-Эмилем Бланшем, который был влюблен в Потоцкую, и романом, написанным Ги де Мопассаном. Сам Жак-Эмиль Бланш приложил все усилия к тому, чтобы книга об этой несчастной страсти — «Эймерис», вышедшая в 1922 году, выглядела скорее автобиографией, чем романом: «Часть романа, названная мною «Лючия», — это и есть рассказ о графине Эммануэле Потоцкой».

Незадолго до того, как Мопассан приступил к работе над романом «Наше сердце», он снова встретился с Мари Канн, за которой давно уже ухаживал.

По версии приятельниц Мари Канн, Мишель де Бюрн — это сама Мари. В действительности Мишель де Бюрн из романа был свойствен «ледяной огонь», характерный для Потоцкой. Мари Канн пылала другим огнем — не столь ледяным и ослепительным; как только она оставила Поля Бурже, то не замедлила доказать Ги свое любовное расположение, весьма, к слову сказать, утомительное. Мишель — это психологический слепок с Эммануэлы; ей льстит, что мужчины ходят за ней стадом зачарованных боровов. С другой стороны, Мишель — это и Мари Канн, с ее несравненной светскостью и главным образом с ее нежеланием скрывать свою связь с Мопассаном. Но какова же внешность этой прелестной Мишель? Фотографии и портреты Эммануэлы и Мари не имеют ничего общего с внешностью возлюбленной Мариоля.

Объяснение этому весьма простое. Если Эрмина Леконт дю Нуи, узнав себя в Мишель, решила в ответ на «Наше сердце» написать «Любовную дружбу», то, значит, у нее были на то веские основания. Ее холодность напоминала холодность героини, да и внешне она очень похожа на Мишель.

Современного читателя в этом втором светском романе Ги де Мопассана интересует совсем другое.

Героиня романа воспринимается сегодня как существо, обогнавшее свое время, существо будущего, явившееся мужчинам преждевременно. Эта женщина — «родоначальница неведомого поколения, непохожая на тех, что были до нее, даже своими несовершенствами подчеркивающая удивительное обаяние, таящее в себе угрозу».

Ги тщательно работал над этим образом. По отношению к Мишель он не проявлял той плотоядной развязности, на которую не скупился, рисуя

Рашель и Пышку.

Заглянем в рукопись Мопассана. Он работал мучительно, трудно: «Возможно, такие изменения происходят каждые пятьдесят лет...» Он сомневается, колеблется, возвращается назад: «Вот так, время от времени, изменяется природа Человеческого Существа. Наши романтические бабушки Реставрации, наши матери...» — нет, ему это не нравится! *Не* годится! «На смену страстным и романтическим мечтательницам эпохи Реставрации пришли жизнерадостные создания Империи, убежденные в пользе наслаждения; и вот появляется существо, изменившее снова это извечно женское, существо...» — он снова откладывает перо, задумывается, потом добавляет — «изысканное», зачеркивает и это, вписывает «рафинированное и болезненное».

Наконец-то он нашел точную характеристику. Но не хватил ли он через край? Живая модель (или модели) может оскорбиться. Он зачеркивает и пишет: «существо душевное». Ему не нравится это проходное, обтекаемое слово. Он пробует по-другому: «существо со сложными чувствами...» Укорачивает фразу: «с невыраженной чувственностью...» Кажется, найдено! Возвращается к слову «душевное». Но до чего же неудачно это слово — «душа»! Следующее слово рукописи неразборчиво. Какая душа?.. «Нерешительная»... Его собственные колебания отразились на фразе. Но вот он убирает «нерешительное», и рука его мчится по странице во весь опор: «Существо рафинированное, с невыраженной чувственностью, с душою беспокойной...» Отлично! Фраза стройна и точна. Какой ценой достигается прозрачность!.. «..взволнованное, нерешительное существо, познавшее, казалось бы, все наркотики, успокаивающие и одновременно взвинчивающие нервы, — хлороформ, который душил...» Нет. «Хлороформ, который одурманивает, эфир и морфий, которые вызывают сновидения, убивают реальные чувства и притупляют страдания». Уф-ф! Он высказал то, что хотел, с таким трудом, с каким Милый друг сочинял свои первые статьи. Зато никто не будет шокирован: ни Мари, ни Эммануэла, ни Эрмина...

Правда, остается намек на наркоманов.

Из трех моделей, послуживших прототипами образа Мишель де Бюрн, две — Мари Канн и Эммануэла — наркоманки.

Сюжет нового романа, персонажи, публикация отдельных глав «Нашего сердца» в «Ревю де Де Монд» — все это великолепно объясняется стратегией Мопассана. Он завоевывает светский рынок.

Априори — это удача. Весь Париж с восторгом обнаруживает в романе «почти бальзаковскую физиологию современной женщины». Мопассан,

однако, не теряет головы. Дело это в первую очередь еще весьма сомнительно с коммерческой точки зрения. Двадцать пять тысяч читателей, познакомившиеся с романом по журнальной публикации, не купят теперь книжку. Ущерб, правда, восполнен в какой-то степени журнальным гонораром. Да убыток не так уж велик, если иметь в виду новых читателей, привлеченных газетной шумихой. Ну что же! На сей раз он не выиграл, но и, пожалуй, не проиграл. Он получит свою прибыль, если будет продолжать в том же духе.

Комплименты сыплются дождем. «Тончайший и продуманнейший психологический этюд!» — утверждает критик из «Жиль Бласа». «Мне думается, что господин Мопассан никогда еще не создавал столь живых и человеческих персонажей», — вторит ему хроникер из «Журналь де Деба». «Господин де Мопассан показал себя в «Нашем сердце» крупнейшим писателем!» — подытоживает «Ревю Бле». Весь Париж приветствует обращение неисправимого президента Общества сутенеров к «хорошим манерам».

То, что только наметилось в «Сильна как смерть», стало очевидным в «Нашем сердце». Как мог Мопассан, всего лишь десять лет тому назад издевавшийся над «хорошим вкусом», сомневаться в его безупречности, если все «общество» подталкивает его, льстит ему, поощряет, превозносит.

Анатоль Франс, человек с прочным положением в высшем обществе, горячо интересовался романом «Наше сердце». «Господин Мопассан, по крайней мере, никогда нам не льстил. Он никогда не раскаивался в том, что глубоко оскорблял наш оптимизм и убивал нашу мечту об идеале. Он делал это с такой прямоотой, с такой убежденностью, что на него даже совестно было сердиться... И потом, он не хитрит, не навязывает своего мнения. Наконец, талант его столь мощен, а отвага столь великолепна, что мы должны предоставить ему возможность делать то, что ему вздумается, и оставить его в покое, Вольно или невольно, он вывел самого себя под маской одного из персонажей своего романа».

Вслед за тем Анатоль Франс переходит к образу, прототипы которого ему знакомы. Тон его становится несколько иным: «Но получилась ли Мишель де Бюрн такой, какой он хотел ее сделать? Представляет ли она собою современную женщину? Признаться, мне было бы любопытно это узнать. Я вижу, что она современна своими безделушками, своими туалетами, своими часами в двухместной карете...»

Франс хвалит — и, однако, не может не чувствовать в последнем романе Мопассана некую пустоту, некий пробел.

Что же мы можем сказать о «Нашем сердце» три четверти века спустя после его опубликования? Что дорого и близко в романе нашим современникам? Неистощимая страсть к жизни и страх перед ней, реальность любви в фальшивом обществе, прекрасные пейзажи. В отношении всего прочего сегодняшние поклонники Мопассана резко расходятся во мнениях: одни из них склонны считать роман гениальным, другие относятся нетерпимо к этой запоздалой ставке Ги. Так или иначе, судьба романов «Сильна как смерть» и «Наше сердце» оказалась менее счастливой, чем судьба «Милого друга», «Жизни», «Пьера и Жана».

Создав роман «Наше сердце», Мопассан отрекся от своей неповторимой самобытности.

Уступая влиянию той среды, о которой он писал, Ги невольно выявил все свои противоречия. В этот период он работает одновременно над двумя вещами — «Оливковой рощей» и «Бесполезной красотой». Вопреки мнению самого писателя первая новелла — это подлинный шедевр, вторая же — не более чем изящная безделушка.

Все это дает основания предполагать, что если бы он прожил дольше, то впоследствии перестал бы быть Мопассаном, превратившись в подобие своего героя Гастона де Ламарта, о котором сказал: «Ой переживал своего рода упадок, который, как преждевременный паралич, постигает большинство современных художников. Они не стареют в лучах славы и успеха, как их отцы, а кажутся пораженными бессилием уже в самом расцвете сил, Ламарт говорил: «Теперь во Франции встречаются лишь несостоявшиеся гении».

«Несостоявшийся гений» — это, пожалуй, слишком сильно сказано. Но яблоня уже принесла свои лучшие плоды.

*Оледенение одинокого человека. — «Милый друг» вновь найден. — Чемоданы господина де Мопассана. — 23 ноября 1890 года: открытие памятника Флоберу. — Неожиданный реванш: «Мюзотта». — Станный разговор с администратором французского театра. — Ненависть к своему изображению*

В июне и июле 1890 года Мопассан снова лечится в Экс-ле-Бен. Но как он изменился за последние два года! Тогда он был здесь с матерью. Давясь от смеха, он рассказывал ей о восхождении на «Кошачий зуб» в обществе англичанки. Как потешно она съезжала вниз! «Веревки у нас не было, и мы обходились руками. Уверю тебя, это было не так уж плохо!»

Неужели это тот самый человек пишет теперь принцессе Матильде: «Если я описываю — хорошо или плохо — страдания своих близких, то это происходит от того, что сам я так устал от жизни, не находя в ней ничего, что могло бы хоть немного облегчить мое уныние и скрасить однообразие дней. Мне приходится заглядывать к соседям, чтобы убедиться в том, что сердца могут биться сильнее, чем мое, а души — стремиться к радости».

Неужели это тот же самый человек каждую ночь теперь зовет к себе Франсуа, чтобы поставить банки? Теперь он никогда не засыпает ранее двух часов ночи.

**А правый глаз болит все сильнее.**

Бедняга прислушивается ко всем советам, которые ему дают растерявшиеся врачи. Ему везде холодно. Тоска не покидает его и в Ла Гийетт. «Стоит написать десять строк, как я уже не сознаю больше, что делаю, и мысль убегает, как вода из шумовки. Ветер здесь не прекращается, так что мне постоянно приходится топить...»

В предсмертной агонии человек часто повторяет одно и то же движение, словно натягивает на себя одеяло как саван... Он подозревает, он догадывается. «Я думаю, что преувеличенная боязнь холода, пожалуй, результат самой болезни...»

Это оледенение одинокого человека.

Его растерянность, его смятение так велико, что вот уже год, как он хочет продать Ла Гийетт.

Продать Ла Гийетт — значит обрубить канаты, связывающие его с

самим собой.

28 июля 1890 года начальник вокзала в Каннах, предупрежденный моряками Раймоном и Бернардом, встречал знаменитого писателя и, стоя у спального вагона, присматривал за его багажом. Назавтра Ги выходит в море на яхте.

Жизнь поблескивает в прорехах черных туч. Мопассан доплывает до Сен-Рафаэля, где живет его отец. Ги регулярно ездит в Ниццу, где его мать, такая же кочевница, как и он, сняла одноэтажный дом на холме, возвышающемся над бухтой Ангелов. Маленький домик, выкрашенный охрой, с зелеными ставнями, существует и поныне; современные каменные гиганты совсем закрыли его. Завтракая в саду, Ги видит, как в сотне метров колышутся кроны Мусиных пальм. Флобер, Муся, Эрве.

Лора живет здесь со своей невесткой. Вдова Эрве с трудом переносит деспотизм пожилой дамы. К счастью, есть еще и внучка Симона, непоседливая, веселая, голубоглазая. Быть может, Ги вспоминает о собственных детях, когда так трогательно беспокоится о том, чтобы племянница не сорвалась с качелей.

6 сентября Ги садится в Марселе на корабль «Герцог Браганский». Холод, который преследовал Мопассана, вынуждает его бежать из Европы. Мопассан далек от той беспорядочной жизни, которую он вел на берегах Сены: двенадцать сундуков, восемь чемоданов, шесть «совершенно необходимых» мешков и многое другое — 44 места занимает теперь багаж Ги.

**Болят глаза.** Он мерзнет. Ги плывет на юг. Южная жара, однако, означает отсутствие комфорта. Все бесит его: грязь, убогие комнаты, шум, еда, воняющая прогорклым маслом. Он видит женщин, похожих на тощих кляч, и детей с глазами, облепленными мухами. В его честь устраивается представление. Гибкие женщины исполняют танец живота, в то время как почетный гость еле сдерживает тошноту: запах жареной баранины кажется ему отвратительным. Он отправляется в Алжир. В ущелье Руммеля, на месте знаменитой битвы, он размышляет о том, во сколько человеческих жизней обошлась победа. В этом он еще не изменился.

**Глаза болят.** Резь нестерпима, и временами он готов поклясться, что туда насыпан песок.

Алжир. Мерс-Эль-Кебир. Море, море! Оран. Испанская Африка. Бой быков. Коррида оскорбляет честного охотника. Он добирается до самой границы Марокко — того Марокко, к берегам которого он так мечтал приплыть на своем «Милом друге».



Опять Алжир. Ги устал. Ему холодно. Куплены билеты на «Эжен Перейр». Франсуа. 44 места. Болят глаза. Сильная зыбь. Господин де Мопассан нетвердо идет по марсельскому причалу. Господина де Мопассана тошнит от Алжира.

Утром в воскресенье 23 ноября 1890 года Эдмон де Гонкур, Эмиль Золя и Ги де Мопассан сели в поезд, отправляющийся в Руан. Недовольный тем, что его в пять утра подняли с постели, «в такую погоду, когда и собаку из дома не выгонят», Эдмон де Гонкур брюзжит. Это не помешало ему, однако, расслышать грустное признание Мопассана, увидевшего Сену: «Когда-то по утрам я занимался здесь греблей, которой обязан всем, что имею сегодня».

Великолепная страница Хосе-Мари де Эредиа посвящена Милому другу, присутствовавшему на открытии памятника Флоберу в Руане. «Мопассан был знаменит, богат и могуч. Он казался счастливым. Ему завидовали. Но никто не был более несчастен, чем он... Он долго рассказывал мне о своей меланхолии, о тяготах своей жизни, о прогрессирующей болезни, о медленной потере зрения и памяти, о глазах, которые вдруг перестают видеть, и о ночи, которая окружает его, о слепоте, продолжающейся четверть часа, полчаса, час... Потом, когда зрение возвращается, в спешке, в лихорадке творчества внезапно отказывает память. Какая пытка для такого писателя! Он не может найти нужное ему слово, он неистовствует, он впадает в ярость отчаяния».

Каждое слово этого описания вопиет о чудовищных страданиях Ги. В этот день сердце его открылось. Он не скрыл от Эредиа существование другого — Двойника, незваного посетителя, зловещую настойчивость которого он на сей раз оценивает безошибочно. Двойника, который неотступно следовал за ним, «где бы он ни был, что бы он ни делал, повсюду, всегда, как отвратительная навязчивая идея, как извращенное отражение, шепчущее ему на ухо: «Радуйся жизни, пей, ешь, спи, люби, путешествуй, смотри, любуйся. Только не забывай спросить себя — к чему? Все равно ведь тебя ждет смерть!»

Хосе-Мария де Эредиа тщетно пытается приободрить его.

— Прощайте, — говорит Ги.

— До свидания...

— Нет, прощайте! Мое решение твердо: я не хочу больше влачить такое существование. Я вошел в литературу как метеор — я исчезну из нее с ударом грома.

Глаза Ги, золотисто-карие, живые, пронзительные, стали матовыми.

Примерно в это же время его встретил Альфонс Доде: «Глаза его, бегающие, цвета агата, не отражали лучей солнца. Лицо его напоминало маску».

Однажды, после выхода «Орля», Бод де Морселе пришел к Ги. Тот сидел за рабочим столом. Мопассан был в серой куртке, в серых комнатных туфлях. Он, как всегда, жаловался на глаза, которые болели так, словно бы под веками перекатывались острые песчинки. Вид Ги потряс Бода.

— Короче говоря, в тот день, когда я почувствую себя неспособным думать и писать, я пушу себе пулю в лоб.

— Ну, вам еще до этого далеко!

Ги промолчал.

Порывистый ветер дует с Сены. Эдмон де Гонкур, постаревший мушкетер с развевающимися усами, острой эспаньолкой, всклокоченными седыми волосами, говорит, повышая голос:

— ...Флобер для всех был хорошим, не желчным по отношению к тем, кого вознесла литературная судьба, он сохранил до конца свой доброжелательный смех ребенка...

Грохот, дождь, ветер уносят слова вместе с опавшими листьями. Гонкур кричит:

— Он всегда выискивал, что можно взять на прокат у своих собратьев... Не правда ли, Доде? Не правда ли, Золя! Не правда ли, Мопассан? Ведь он был именно таким, наш друг?..

Рыжий мэр города Руана благодарит оратора. Воротники приглашенных на открытие памятника подняты, резкий ветер выворачивает зонтики. Гонкур ворчит:

— Обычная погода для открытия памятника... — Он оборачивается к Мирбо: — Ну, как у меня получилось? Неплохо?

Гонкур романист, мемуарист, но не оратор.

— Это прошло лучше, чем я предполагал. Не правда ли?

Ливень сечет фасады зданий, мосты, портовых шлюх и Сену... Все спешат к экипажам. Площадь пустеет. Гонкур продолжает ворчать:

— О завтраке, о котором нам всю дорогу твердил Мопассан, не может быть и речи: Нормандец скрылся у одного из своих руанских родственников...

Сердясь на вероломного коллегу, Гонкур этим же вечером заносит в свой дневник: «Сегодня утром я был поражен видом Мопассана — худобой и бледностью его лица, обостренной резкостью, болезненной пристальностью взгляда, **ярко выраженными**, как говорят в театре,

чертами его характера. Мне кажется, он долго не протянет...»

Драматург Жак Норман написал по рассказу Мопассана «Ребенок», опубликованному когда-то в «Жиль Блазе», пьесу «Мюзотта».

«Мюзотта» в марте 1891 года торжествует победу. Эта пьеса, младшая сестра «Дамы с камелиями», соответствовала духу времени. Молодой человек женился. В вечер свадьбы бывшая любовница этого молодого человека, умирающая от родов, зовет его. «Да, скверное совпадение!» — говорит акушерка, которая, по существу, выражает мнение автора. Новобрачный проводит ночь у постели умирающей.

Пьеса отлично сделана, она не оставляет зрителя безучастным. Мы вновь ощущаем трепетную чувствительность Ги по отношению к незаконнорожденному ребенку. Эта пьеса, затрагивающая одну из излюбленных тем Мопассана, приносит ему неожиданный успех.

В чем же причина? «Мюзотта» ударила по многословности бульварных пьес экономностью и стремительностью своего диалога. Жюль Леметр писал: «Если я и не плакал на «Мюзотте», то, во всяком случае, готов был расплакаться...»

Рене Думик добавлял к этому: «Это произведение исполнено человечности, подлинных и возвышенных чувств. Тон его абсолютно современен». Альберт Вольф, возглавлявший отдел театральной хроники «Фигаро», горячо аплодировал «этому современному произведению без единого банального слова». Сарсэ видел в этой пьесе большое событие дня, а в Мопассане — первого писателя того времени: «Мне не хватает смелости заявить об этом открыто, но я недалек от такой мысли...»

По поводу «Семейного мира» (вариация на тему «любовь втроем») тот же Сарсэ скажет: «Мне кажется, что, будь Мопассан жив, он наверняка бы завладел сценой». Для этого, пожалуй, Мопассану следовало бы быть менее раздражительным. На премьере «Мюзотты», рассорившись с Виктором Конингом, директором театра «Жимназ», Мопассан заявил:

— Вы пожинаете успех самого ничтожного из моих рассказов. Но я написал по меньшей мере сто двадцать рассказов, стоящих куда больше этого. Следовательно, от вас ускользнула возможность ста двадцати успехов — целое состояние! Тем хуже для вас.

Эти слова обошли Бульвары и дошли до Гонкура: «Доде рассказал мне, что Конинг окончательно порвал с Мопассаном и, несмотря на все попытки примирения со стороны автора «Мюзотты», директор театра остается непреклонным. Мопассан буквально сошел с ума от своего успеха, и тон его писем настолько непрекрасим, что он больно задел Конинга. Вот что

привело к ссоре. Мопассан хотел, чтобы рецензии на пьесу, оплачиваемые Конингом, непременно включали в себя восхваления литературного таланта Мопассана. Названная пьеса тем самым отодвигалась бы на второй план, не говоря уже об оценке труда соавтора Мопассана. Конинг же, естественно, мало заботился о делах Мопассана, целиком занятый пьесой. По словам Конинга, в пьесе больше Нормана, чем Мопассана. И он, Конинг, с нетерпением ждет от Нормана следующей пьесы, которая могла бы положить начало новому театру».

Эта ссора с Конингом привела к следующим последствиям. Жюль Кларети, директор «Комеди франсез», принял Мопассана, который пришел поговорить с ним о новой пьесе. Быть может, речь пойдет о «Семейном мире», объявленном уже в печати?

— Нет, это другая комедия в трех актах. Она будет моим дебютом в вашем театре.

— Буду иметь честь передать вашу пьесу комитету, который, несомненно, изъявит готовность утвердить ее.

— Вот тут-то и зарыта собака! Я не желаю, чтобы моя пьеса проходила через комитет.

— Но почему же? Для вас ведь это чистая формальность.

Мопассан повторяет:

— Я не желаю, чтобы моя пьеса проходила через комитет!

Кларети объясняет ему, что даже самые маститые писатели, такие, как Гюго, Дюма, Бальзак, Санд, Мюссе, подчинились *этому* правилу. Но все напрасно!

— В таком случае нам придется отказаться от чести играть пьесу Ги де Мопассана.

— О нет! Этого не будет! Я настаиваю на том, чтобы именно вы приняли мою пьесу. Вы один о ней будете судить...

— Я один! Но повторяю вам еще раз, мой дорогой Мопассан...

— Я напишу ее летом. План уже готов. Итак, я принесу вам ее осенью, и театр сыграет ее зимой.

Кларети чувствует себя неловко.

— Вы едите виноград? — вдруг спрашивает Мопассан.

— Признаться, да, и часто...

— Прекратите это! Больше ни кисти! Весь виноград Франции отравлен серой. Ни кисти!

Рассорившись с прессой, с квартирохозяевами, с издателями, с директорами театров, Ги сохранил, помимо своих врачей, одного лишь

корреспондента — господина Жакоба. Обиженный тем, что без его ведома художник Дюмулен нарисовал портрет для нового издания «Меданских вечеров», Мопассан с гневом пишет 30 мая 1890 года Жакобу: «Запретив продажу моих фотографий, равно как и портретов... я выразил резкий протест и заявил, что буду действовать по суду, если мое изображение не будет удалено из тома». Он обвиняет Дюмулена, который, кроме всего прочего, выставил этот яке портрет в салоне на Марсовом поле! «Существует ли право рисовать, выставлять и продавать портрет человека, сделанный помимо его согласия?»

Случайный факт? Нет! Это сущность его характера. В другом письме Мопассан протестует по поводу гравюры, выполненной с фотографии: «Я взял себе за непреложное правило никогда не разрешать публикацию моих портретов, если только в моих силах этому воспрепятствовать. Исключения составляли неприятные для меня неожиданности. Публике принадлежат наши произведения, но не наши лица».

Эти странные выходки Мопассана свидетельствуют об окончательно утвердившемся в нем страхе перед своим собственным изображением. Холодное отвращение к самому себе преследовало его всю жизнь и было отмечено такими разными людьми, как Жизель д'Эсток, Эредиа и его предполагаемая дочь Люсьенна.

Мопассан **не принимал** себя так же, как он не принимал жизнь. «Красавец мужчина», которому так завидовали, не любил себя.

**Марокканское путешествие. — 1891 год: время гроз. — Точка зрения профессора Мажито. — набросок «Чужеземной души». — Ничего и нигилизм. — Неудачное лечение в Люшоне. — Человек холодной воды. — «Анжелюс». — Анафема преступному богу. — Русская из Симиэза, или Последний роман Донжуана**

В марте 1891 года «Милый друг» снимается с якоря. Ветер устойчивый, погода ясная, и «большая белая птица» стрелой мчится к западу. На третий день, после благополучного перехода яхта бросает якорь в старом порту Марселя. Ги с аппетитом завтракает в «Резерве» — давно уже не позволял он себе острого рыбного супа! Позже на штурманском столе Мопассан рассчитывает время и расстояние. Минуя Майорку — в Валенсию, оттуда в Аликанте, потом Карфаген. Хорошо было бы заглянуть на Малагу, Гибралтар... У Геркулесовых столбов воды меняют окраску. Но там они не будут задерживаться... Ему уже видится Танжер и Марокко — на сей раз он подойдет к нему с моря. Путешествие продлится шесть месяцев. Он спустится к границам Мавритании. Моряки, по своему обыкновению ругаясь, запасаются пресной водой и набивают трюм продовольствием.

Солнце садится, как в сказочной опере. Ги отправляется ночевать в Ноэй. На рассвете он возвращается на борт, где его встречает встревоженный Бернар. Давление падает. 739 миллиметров ртутного столба, о-ля-ля! Море присмирело, ветер переменялся.

— Надо пройти! — мрачно заявляет Ги.

— Это опасно, мосье.

Господин де Мопассан недовольно хмурит брови.

— Вспомните наше первое путешествие!

— К вашим услугам, мосье.

Якорь поднят. Скорость ветра — 60 километров в час. Он гонит яхту, проваливающуюся в четырехметровые ямы, прямо на рифы. Небо без единого облачка приобретает зловещий темный оттенок, море становится пронзительно-синего цвета. Большая яхта, словно игрушечная, наклоняется под порывами ветра.

Мопассан не хочет дожидаться хорошей погоды. Он приказывает Бернару идти в Канны. Погода наконец улучшается. В своей каюте между

двумя приступами мигрени он пишет свой последний очерк «Император», заказанный «Фигаро».

В сорок один год этот человек еще очень силен. Зато лицо Ги стало неузнаваемым. Тяжелые отеки и глубоко запавшие глаза изменили его. Ги напоминает теперь состарившегося солдата колониальных войск. Его душевное состояние весьма плачевно. «Мои мысли проваливаются в черные ямы, ведущие неизвестно куда. Едва выбравшись из одной, они тут же проваливаются в другую; кто знает, что ждет меня за последней. Я боюсь, как бы отвращение не толкнуло меня пресечь этот никчемный путь».

Это письмо отправлено Мари Канн приблизительно в феврале 1891 года. Ги намекает на самоубийство.

14 марта 1891 года Мопассан в одном из писем к матери рассказывает ей о некоем докторе Дежерине — «человеке, о котором говорят, что он превзошел Шарко... Он сказал мне: «У вас были все признаки того, что называется неврастенией. Это умственное переутомление: половина литераторов и биржевиков страдает тем же. Словом, нервы, утомленные водным спортом, затем умственной работой, нервы, только нервы нарушают ваше спокойствие, но ваша физическая конституция весьма крепка...

Гигиена, души, успокаивающий, теплый климат, лето, основательный и продолжительный отдых в полном уединении. При соблюдении этих условий я не буду о вас беспокоиться».

Двенадцать дней спустя Ги жалуется на зубы. Он счастлив, что марокканское путешествие было прервано встречным ветром, иначе боль настигла бы его в открытом море.

С этого момента все расплывается по швам. «Я в ужасном состоянии; болезнь глаз, мешающая мне смотреть, и физическая боль от неизвестной, но невыносимой причины превращает меня в мученика». 23 марта ему удаляют больной зуб. «Я вынужден вернуться к себе из-за зубной боли о которой я вам говорил и которая стала столь мучительной, что я почувствовал спазмы в пальцах рук и ногах в связи с этим я полагаю завтрак мой не пошел дальше желудка.

Я мучительно страдаю я говорил вам об этом в прошлый раз от обильного кровотечения которое связываю с внутренним кровоизлиянием. Или, быть может, это чисто нервное — боль, которая сегодня так обострилась, мучит меня уже давно. — Она так отдает в запястья в бока и в челюсти что я невольно задаю себе вопрос не от одного ли скрытого

источника она происходит?»

Начало письма, написанное ровным почерком, выдает усталость Ги только неправильной пунктуацией. Затем автор меняет перо на карандаш, и почерк его становится менее ровным. «Шесть часов утра — я провел ужасную ночь. Вчера вечером я ничего не мог взять в рот. Галлюцинации возобновились. Мне кажется, что все неприятности, которые мы приписываем зубу, являются обострением желудочного заболевания. Я не мог выпить и стакана воды без того, чтобы боль не вспыхнула вновь — страшная, непереносимая. Я не мог даже умыться. Если вы не сумеете навестить меня, не будете ли вы так любезны порекомендовать какого-нибудь молодого врача, которому вы доверяете и который скажет вам о том, что он находит у меня... Мне совестно, что я так утруждаю вас. Помните, вы мне говорили, что Робен, зондируя мой желудок, нанес мне вред? Но это, по-видимому, относится только к очагу болезни».

Вероятно, письмо было адресовано новому медицинскому светилу доктору Мажито.

Пунктуация в письмах Ги всегда поражает. С полным основанием ее можно сравнить с дыханием. И когда читаешь письма этого года, слышишь, как тяжело дышит, как задыхается Ги:

«Глазам нужен абсолютный покой. Я считаю что мой переезд в Ниццу нанес им громадный ущерб. (Удивительная манера говорить о своих глазах как о чужих! — А. Л.)... и потом из-за здешней ужасной погоды у меня вновь появилось внешнее косоглазие (неразборчиво. — А. Л.), которое я испытал один раз в Каннах, когда писал «Милого друга» — 2 там же, в прошлом году, и, наконец, недавно в Ницце.

С зубом вопрос разрешился но мои мучения еще не кончились».

После общей части Ги переходит к главному. Если этот человек и истощен, то мозг его, несомненно, работает нормально. Он рисует портрет главного персонажа — профессора Мажито, к которому питает «безграничное доверие: доктор Мажито, член академии, тот самый, который только что написал и собирается представить в академию доклад о Кокаине (прописная буква поставлена самим Ги. Весьма знаменательно! — А. Л.)».

Доктор Мажито много знает о своем пациенте. «Ему известно, как мне самому, вся моя жизнь, жизнь гребца, — ведь у него дом в Виленне, и он хорошо знаком с Золя. Он видел мой дом в Этрета, осведомлен о моем образе жизни в Париже, и так как у него есть квартира в Теуле, то он часто видел меня и на юге...



Позавчера я не мог пойти к нему из-за сильной мигрени, и он пришел ко мне сам. Разумеется, он уже старик. Он сказал мне: «Давайте побеседуем. Раз мне удалось с вами встретиться, о чем я мечтал уже давно, расскажите-ка о себе поподробней, и я дам вам мудрый совет. Вы ведете такую жизнь, которая **убила бы десяток обыкновенных людей**».

Это Мопассан подчеркнул последние слова.

И вдруг усталость снова овладевает им: повторения, пропущенные строчки, соединенные слова, исправления. «Уже давно я об этом думаю и хотел вас предупредить. Хотите ли (зачеркнуто. — А. Л.). Вы опубликовали двадцать семь томов за десять лет. Этот безумный труд сожрал ваше тело».

Бесспорно, Мопассан работал очень напряженно, но не больше Бальзака, Гюго или Золя. Удивительнее то, что Мопассан вообще мог работать в том вихре, который наполнял его жизнь.

«В данный момент тело мстит парализуя вашу мозговую деятельность. Вам нужен очень длительный и полный отдых. Сударь, я говорю с вами так как говорил бы со своим сыном. То что вы рассказывали мне о ваших проектах не обещает ничего хорошего. Что вы рассчитываете делать? Прежде всего нужно покинуть Париж, как только я кончу лечение вашего рта. Не возвращайтесь в Ниццу летом — она дергает нервы как никакой другой город. Порт — это ад, точно так же как Боронская гора (Ги собирался поселиться в лесу к востоку от Ниццы, чтобы быть ближе к Лоре. — А. Л.). Я сказал о моей яхте. Он ответил: «Я ее знаю. Она очень красива. Это прекрасная игрушка для здорового молодца, любящего покататься по морю и покатать своих друзей, но это совсем не место отдыха для человека утомленного телом и духом подобно вам».

Еще два года назад Ги буквально воскресал на борту своей яхты Морские прогулки возвращали ему силы, при условии, конечно, что на время этих прогулок он оставлял все прочие развлечения. Теперь жизнь в море стала для него непосильной. «В хорошую погоду вы обречены на неподвижность под сверкающим солнцем на раскаленной палубе, рядом со спящим глаза парусом. В остальное время, под дождем, в маленьких портах, это необитаемое жилище.

Будь яхта в два или три раза больше и будь она столь же комфортабельна, как и квартира, я сказал бы вам. поезжайте! Или, окажись вы в одиночестве, в почти незаселенной прибрежной и лесистой местности, я сказал бы вам — пользуйтесь ежедневно этим судном, но не живите на нем, у вас должно быть еще и другое жилище».

Этот совет не устраивает Мопассана. «Я хотел бы видеть вас в полной изоляции, в очень здоровой местности, где бы вы ни о чем не думали,

ничего не делали, а главное, не принимали никаких лекарств. Ничего, кроме свежей воды».

«Вот его слова, — заключает Ги. — Я в полной нерешительности. Не знаю, что делать, кого слушать. Мне хочется, однако, проверить, как действует на меня море».

В этом намерении весь Мопассан. Он расспрашивает, взвешивает — и в конце концов полагается на свою интуицию. Нормандец, само собой разумеется, не сжигает мосты: «Если это не приведет ни к чему хорошему, я отправлюсь в Пиренеи, что мне очень рекомендуют. Мы поговорим об этом через несколько дней».

В своей сыновней любви, в своей демонстративной зависимости Ги не хочет показать матери, что он намерен принять важное решение самостоятельно. «Во всяком случае, я закажу для моей яхты очень плотный тент во всю длину палубы, он обеспечит мне небольшое, но прохладное убежище, как бы горячо ни светило солнце в портах (sic). По выходе же в море, если мы будем идти в сильную жару, я останусь внутри словно в маленьком голубом салоне. И буду там дремать как у себя дома. В небольших портах, которые мне понравятся, я буду проводить по неделе, отдавая предпочтение испанским портам...»

«Я отложу отъезд до тех пор, пока не настанет действительно прекрасная погода. Проведу несколько дней в Ницце, затем выйду в море».

Незадолго до последнего приступа Ги по-прежнему сохраняет логичность мышления, силу воли. Удивительный контраст представляют собой отрывки из приведенного письма и набросок романа «Анжелюс». В творчестве он топчется на месте. В жизни он остается хозяином только на борту своей яхты. Прискорбно, что вся переписка Мопассана оказалась рассеянной буквально по воле ветра. Если ранняя переписка была более биографичной, чем литературной, то письма последних лет — это и есть **творчество** Мопассана. Между двумя приступами болезни романист описывает свою смерть.

Мопассан часто говорит о «своем романе». Работа все еще остается для него первой необходимостью: «Как это прекрасно — работать, когда ты хорошо себя чувствуешь!» Прежде всего он хочет завершить романы, а затем перейти к «общему анализу моего творчества, где я коснусь и крупнейших писателей, наиболее близких мне. В качестве приложения к этому труду я намерен высказаться по поводу эволюции, которая, по моему мнению, неизбежна для различных классов Франции в XX веке.

Я окончательно решил не возвращаться более к рассказам и повестям.

Это избито, изжито, нелепо. К тому же я уже слишком много их написал. Я буду работать только над моими романами».

Он порывает с «рассказами», как пять лет тому назад порвал с журнальными статьями.

«Мои романы»! Он говорит о них во множественном числе. Действительно, два сюжета овладели измученным писателем — «Чужеземная душа» и «Анжелюс».

Мысль о первом романе возникла в прошлом году, в Экс-ле-Бен. Ги посещал тогда русскую княгиню, которая жила в «Вилле цветов». Согласно другой версии прототипом героини послужила румынская королева Елизавета. Эта дама оказывала покровительство (возможно, нечто большее) архитектору Андре Леконту дю Нуи, мужу Эрмины. Супруга короля Кароля сочиняла и писала на четырех языках под псевдонимом Кармен Сильва...

О княгине Ги собрал любопытные сведения. Она живет с двумя любовниками, которые никогда не покидают ее и спят по обе стороны ее великолепного ложа на приставных кроватях. У нее есть также и супруг — князь, который почти никогда не посещает ее во Франции. Ги собирается изобразить ее в космополитическом окружении Экса, городе ванн и казино.

Первая глава «Чужеземной души» была напечатана в «Ревю де Пари» 15 ноября 1894 года. Поль Бурже резюмировал: «Мопассан в своем романе хотел описать неизбежный конфликт рас: два существа, брошенные навстречу друг другу силой неистовой страсти, сжимают друг друга в объятиях, жаждут, любят. И все же... неумолимая наследственность... разъединяет мужчину и женщину, пришедших с разных концов исторического и физиологического мира».

Этот роман, повторяющий тему «Монт-Ориоля», тем не менее написан в духе «Нашего сердца» и «Сильна как смерть».

В «Чужеземной душе» можно выделить славянскую тему. Ги в ту пору встречался в доме Мари Канн со многими русскими. Андре Виаль отметил в поздних произведениях Мопассана несомненное влияние Достоевского. После романа «Сильна как смерть» пессимизм и нигилизм Мопассана становятся все более «восточными». Мопассан благодаря своей дружбе с Тургеневым, своим встречам с русскими, своим знакомствам с их литературой и своему пессимизму мог рассчитывать на успех, примкнув к модному направлению, представители которого пытались понять таинственную славянскую душу.

«Идиот» вышел в 1887 году с предисловием Мелькио-ра де Вогюэ, автора «Русского романа», а «Преступление и наказание» появилось еще в

1884 году. Вогюэ ввел во Франции моду на русский роман. Он посещал те же салоны, что и Ги. На одной фотографии, сделанной, по-видимому, в 1888 году, Милый друг изображен в профиль, рядом — Мелькиор де Вогюэ и Женеви́ева Стро. Ги всегда больше узнавал из разговоров, чем из книг.

Наряду с окрашенной нигилистическими настроениями «Чужеземной душой» у Мопассана созрел замысел романтической истории, которую он вскоре назовет «Анжелюс». Эти два замысла разрывают несчастного, который не сохранил и четверти своей былой работоспособности. В феврале 1891 года Ги делится с Лорой своими невзгодами: «Как только я дам полный отдых глазам на два-три дня, зрение тотчас же становится ясным. Но я переутомился от исправления пьесы (известная нам «Мюзотта». — А. Л.) и от мысли об «Анжелюсе», который не двигается с места».

Это новая история о войне 1870 года — о пожертвовавшей собой матери, о мученике-сыне, о боге, виновном перед людьми в том, что он видит зло и не пресекает его.

В мае 1891 года Ги уезжает, увозя в чемодане рукопись «Анжелюса». Итак, выбор сделан. 4 июня он писал верной ему Эрмине о своих горестях: «Я тяжело болен. Вот уже два месяца я не покидаю комнаты и постели. Сегодня меня навестят три врача. Мне рекомендуют провести четыре или пять месяцев в полном одиночестве. Я уезжаю в субботу или в понедельник, скорее всего в субботу. Не заглянете ли вы ко мне завтра, в пятницу?..»

Однако лишь в конце месяца в сопровождении верного Франсуа он отправился в путешествие, конечной целью которого по совету доктора Мажито должны были стать Пиренеи.

Почувствовав недолгое облегчение, Мопассан в Авиньоне посещает собор.

Франсуа видит своего хозяина, застывшего, как сеттер в стойке, перед статуей святой Фелисите. Строгое лицо маленькой святой из собора станет лицом его героини.

1 июля в Пиме Ги фотографирует старинную башню. На следующий день он наблюдает с моста за маневрами артиллерийской батареи. Путешественник прибывает в Тулузу, где проводит бессонную ночь в отеле «Тиволье». В Баньер-де-Люшон он задыхается с первой же минуты — «в этой вулканической пустыне, где от запаха серы вы едва не лишаетесь сознания прямо на улице». Еще раз он вынужден вернуться обратно! Это катастрофа, бегство, разгром! Даже профессор Мажито и тот ошибся.

Проходя по раскаленным мостовым Парижа, Ги встречает своего давнишнего приятеля по Этрета, художника Фурнье. Тот буквально опешил при виде сгорбленного человека со страдальческим, сморщенным лицом, протягивающего ему руку. Потрясенный художник после долгой паузы восклицает:

— А, так это вы, Мопассан!

— Вы меня все-таки узнали?

— Вы шутите.

— Нисколько! Меня уже никто не узнает — это факт.

Ги берет Фурнье под руку.

— Я все сильнее и сильнее страдаю от ужасных миг-репей. Только антипирин немного успокаивает меня... Я думаю, что ужасные провалы памяти вызваны этой отравой. Я забываю самые простые слова. Из моей памяти исчезают такие слова, как «небо» и «дом». Я человек конченный...

Потом он вдруг говорит без всякого перехода:

— Ну и воры же эти издатели!

Транше отправляет Ги в Дивонн-ле-Бен, предупредив об этом доктора Анри Казалиса.

Мопассан и Франсуа поселились у вдовы одного врача, на маленькой ферме близ Дивонна. Ги сообщает оттуда Анри Казалису о своем состоянии: «Недомогая все больше и больше душою и телом, я едва ли еще долго буду скитаться вдоль побережья и по морю. Я в Дивонне, который собираюсь покинуть из-за непрестанных гроз, ливней и сырости. Я страшно ослабел, не сплю уже четыре месяца. Тело окрепло, но голова болит сильнее, чем когда-либо. Бывают дни, когда хочется пустить себе пулю в лоб».

Зрительные галлюцинации сопровождаются теперь галлюцинациями слуховыми. Он притворно смеется над своим несчастьем. Ну, конечно же, ферма не заколдована! В ней не живут привидения. Это всего-навсего крысы... И все же он сбегает оттуда в Дивонн.

Его «штаб-квартирой» становится отель «Трюид». Сын хозяина и сейчас помнит знаменитого романиста, поселившегося на втором этаже, в комнате № 8, и раздававшего у школы конфеты детям. По вечерам служанки вносили в комнату писателя железный поднос с тремя десятками свечей.

Ги приобрел трехколесный велосипед. По живописным извилистым дорогам Юры он катит до Фернея поклониться памяти Вольтера. Ги уезжает веселым и оживленным, а к вечеру Франсуа встречает его почти

безумным. В пути из-за жары он плохо почувствовал себя и упал.

Нам известно об этой поездке из письма Ги от 6 августа его соавтору по пьесе «Мюзотта» Жаку Норману.

«...Сегодня я отправился на велосипеде посмотреть дом Вольтера в Ферней. 28 километров я проделал за три часа десять минут, обгоняя все экипажи на подъемах и спусках.

Вернувшись, я поспешил в Дивоннский бассейн — с такой холодной водой, что не более 3–4 человек из 300, принимающих здесь ванны, пользуются им. Я ныряю в эту чашу, откуда бьет мощная ледяная струя. Она отбрасывает меня, но я на спине плыву к лестнице. Температура воды не превышает +5... Я чувствую себя как рыба в воде, в своей воде. Я уверен, что ежедневные посещения этой ледяной проруби позволят мне еще очень долго быть в форме. Мне не трудно акклиматизироваться: ведь я человек холодной воды...

В общем, я — разновидность современного Пана, которого Париж неизбежно убивает...»

Мимолетное затишье. А вслед за ним снова надвигаются приступы. Только Казалис может его спасти! Казалис посылает его в Шанпель под Женевой, «более теплый, чем Дивонн». Он дрожит там от холода. Требуется чтобы затопили в отеле «Во сежур».

Мопассан встречает Огюста Доршена. Казалис по секрету предупредил поэта о приезде Мопассана:

— Он едет в Шанпель лишь затем, чтобы убедиться в том, что у него, как и у вас, всего-навсего неврастения. Скажите ему, что лечение подействовало на вас благотворно. Он же страдает совсем иной болезнью. Вы не замедлите в этом убедиться.

Сначала совершенно уравновешенный, Мопассан через некоторое время производит на своего коллегу странное впечатление. Казалис был прав, предупредив его.

— Я приехал из Дивонна, откуда меня прогнало наводнение. Воды озера затопили первые этажи домов.

Вертя палку в руках, Мопассан пытается убедить Доршена, который уже не верит ни единому его слову:

— Вот этой палкой я защищался однажды от трех сутенеров, напавших на меня спереди, и от трех бешеных собак, набросившихся сзади.

Ги подмигивает Доршену и дружески похлопывает его по спине: в Женеве ему встретила отличная девица.

— Крохотная женщина! Вот такая, мой дорогой!.. Я был блистателен. Я совершенно выздоровел! Вы знаете, в Женеве я был принят господином

Ротшильдом. Великим Ротшильдом!

В последнем утверждении (как, впрочем, и в первом) нет ничего неправдоподобного. Барон Эдмон Ротшильд, простив ему «Монт-Ориоль», принял его в Англии в замке Вадезден. Но тон Мопассана!..

В тот же вечер, обедая с Доршеном, Мопассан вдруг начинает изъясняться логично, «ясно, необыкновенно красноречиво».

Потрясенный событиями этого дня, Доршен аккуратно записал все, что показалось ему интересным. Без Доршена мало бы что было известно о последней вспышке таланта Ги, об «Анжелюсе». «Это история женщины, готовившейся стать матерью. Ее муж, военный, оставил ее одну в фамильном замке в страшную годину войны. Рождественской ночью пруссаки захватывают замок. В ответ на сухой прием захватчики избивают беременную хозяйку и выбрасывают ее в хлев. И здесь под звон церковных колоколов она разрешается от бремени на соломе, как когда-то дева Мария. Она рождает сына — но какого сына!.. Мальчик искалечен ударами, полученными матерью; ножки его перебиты... Годы идут, не принося ему выздоровления, но делая его душу, которая полна бесконечно нежной любви к матери, все более чуткой — словно бы для того, чтобы мальчик мог до конца познать весь ужас своего существования. Или, быть может, это Иисус пришел в мир, чтобы дать людям радость?.. Когда он подрастает и становится молодым человеком, в жизни его появляется девушка. Калека любит ее всем своим большим и нежным сердцем, но он никогда не решится сказать ей об этом, а она никогда не сможет полюбить его. Она любит его старшего брата — здорового и красивого...» Мать пытается его утешить. «Несчастный качал головою, и они уходили; и повсюду, всегда его преследовал этот прелестный призрак, к которому он никогда не приблизится, — призрак молодой девушки... Мопассан, заканчивая свой рассказ, длившийся два часа, плакал...»

Чудесная случайность дала нам возможность ознакомиться с замыслом романиста.

Фрагмент из незаконченного «Анжелюса» был опубликован в «Ревю де Пари» 1 апреля 1895 года. По своему настроению он был очень близок к «Мадемуазель Фифи».

А вот отрывок, пересказанный Эрминой. Молодая графиня де Бремонталь входит вместе с сыном в комнату, занятую немцами:

«— Фи флятельница этого замка?

Она стояла перед ним, не ответив на его нахальное приветствие, и сказала «да» таким сухим тоном, что все присутствующие перевели глаза с нее на начальника.

Не обратив на это внимания, он продолжал:

— Сколько фас здесь шеловек?

— У меня двое старых слуг, три женщины и трое батраков.

— Где фаш муж? Что он делает?

Она храбро ответила:

— Он такой же солдат, как и вы, он сражается.

Офицер дерзко возразил:

— Ф таком случае он попежден.

И он грубо захохотал.

Двое или трое офицеров засмеялись столь же тяжеловесно и на разные, лады, в духе тевтонской веселости. Остальные молчали, внимательно наблюдая за храброй француженкой.

Тогда она сказала, вызывая и бесстрашно глядя на начальника:

— Сударь, вы не джентльмен, если позволяете себе оскорблять женщину в ее доме.

Последовало долгое, напряженное, страшное молчание. Немецкий солдафон сохранял хладнокровие, продолжая посмеиваться с видом хозяина, который может позволить себе все, что угодно.

— Та нет ше, — сказал он. — Фи не у себя, фи у нас. Никто Польше не у себя тома фо Франции.

И он опять захохотал с восторгом и уверенностью человека, изрекшего неоспоримую и ошеломляющую истину.

В отчаянии она сказала:

— Насилие еще не есть право. Это — преступление, вы не больше у себя дома, чем жулик, ограбивший жилище.

В глазах пруссака зажегся гнев.

— А я покажу фам, что это фи не у себя тома. Я фам приказываю покинуть этот том, или я вас выгоню.

При звуке этого злого, грубого и резкого голоса маленький Анри, вначале более удивленный, чем испуганный видом чужих людей, издал пронзительный крик.

Услышав плач ребенка, графиня потеряла голову. Мысль о зверствах, на которые была способна эта солдатня, опасность, которой мог подвергнуться ее дорогой мальчик, внезапно вселила в нее непреодолимое, безумное желание бежать, скрыться в любую деревенскую хижину. Ее гонят. Тем лучше!..»

Это, бесспорно, «Мадемуазель Фифи» — но как она мелодраматична! Что бы сказала насей раз бедная Муся?! Однако даже здесь чувствуется типично мопассановское настроение. «Холод пронизывал ее всю, заполняя



душу и тело, и к этому физическому утомлению присоединялась тоска при мысли об ужасной катастрофе, обрушившейся на родину». Итак, в последний раз отождествляет он свою жизнь с искаленной родиной. Жизнь героя разбита сапогом немецкого офицера, как жизнь самого Мопассана исковеркана военным поражением Франции. Калека становится жертвой эгоизма своего брата. Отголоски «Пьера и Жана»! В «Анжелюсе» собраны почти все основные темы Мопассана: беременная героиня, дворянское происхождение, холод, страх перед смертью, ненависть к оккупации, Нормандия... Он напрягает последние силы, чтобы завершить роман. «Я попытаюсь написать «Анжелюс» со всей силой выразительности, на которую я только способен... У меня отличное для работы настроение... Это будет венцом моей карьеры, и я убежден, что достоинства романа приведут в такой энтузиазм читателя-художника, что он спросит себя: роман ли перед ним или сама действительность?»

В этот же вечер, прежде чем покинуть чету Доршенов, зачарованных его рассказом, Мопассан холодно заявит: «Вот первые пятьдесят страниц романа «Анжелюс». В течение года я не смог написать ни строчки больше. Если через три месяца книга не будет закончена, я покончу с собой».

Впервые Мопассан назначает себе срок.

Это было в августе 1891 года.

Решение он примет в конце декабря того же года.

В отрывке, напечатанном в «Ревю де Пари», вновь появляется тема «преступного бога». Эта тема возникала еще в письмах к Потоцкой. Художник Бертен из романа «Сильна как смерть» восклицает: «О, тот, кто выдумал это существование и создал людей, был либо слепцом, либо преступником!»

И вот наконец все досказано: «Извечный убийца, он наслаждается, производя людей, но лишь потому, что видит в них материал для будущего уничтожения, которое приносит ему удовлетворение и счастье. Он возобновляет свой убийственный труд по мере того, как создает человеческие существа. Извечный производитель трупов и поставщик кладбищ, который забавляется, сея зерна и насаждая ростки жизни лишь для того, чтобы удовлетворить свою страсть к разрушению».

Для Мопассана, «человека с содранной кожей», бог создает, предвкушая последующие уничтожения. Писатель предает анафеме творца, осквернившего любовь. Он видит в боге только зло.

«Знаешь, как я представляю себе бога? — сказал он. — В виде колоссального неведомого нам производительного органа, рассеивающего

семя на миллиарды миров, словно гигантская рыба, которая одна мечет икру в море, он творит, ибо такова его божественная функция, но он сам не знает, что делает; его плодовитость бессмысленна... Человеческая мысль — какая-то счастливая случайность в этой его творческой деятельности, мелкая, преходящая, непредвиденная случайность, которая обречена исчезнуть вместе с землей».

Разумеется, романист вкладывает эту реплику в уста своего героя Робера де Салена. Но голос — голос принадлежит самому Ги!

«Изголодавшийся по смертям убийца, создающий существа только для того, чтобы их уничтожать, калечить, обрекающий их на страдания, поражающий их всевозможными болезнями — этот неутомимый разрушитель, не знает отдыха в своем чудовищном труде. Он выдумал холеру, чуму, тиф — всех микробов, разъедающих тело^ он создал хищников, пожирающих своих слабых собратьев».

Для кого, по Мопассану, предназначена эта планета? Кто доволен жизнью под этим солнцем? Животные! «Только животным неведома эта жестокость, ибо они не догадываются о смерти, угрожающей им так же, как и нам».

Раздражительный, взвинченный Мопассан устраивает скандал за табльдотом и ссорится с лечащим врачом, запретившим ему принимать ледяной душ Шарко. Он снова вынужден бежать. Его прибежище, как всегда, Канны. 30 сентября он телеграфировал Лоре: «Чувствую себя превосходно. Канн больше не боюсь. Совершаю восхитительные прогулки по морю. Остаюсь до 10-го, затем поеду в Париж вкусить недели три светской жизни, подготовив себя тем самым к работе». Двумя неделями ранее он помышлял о самоубийстве. Теперь он оправился, но ненадолго. Вскоре на улице Боккадор «невыразимая тревога», о которой говорит Франсуа, снова собьет его с ног. Доктора Казалис, Транше и Дежерин вновь отправляют его в Канны.

Этой осенью одна русская семья поселилась в Симиэзе. Дочь <sup>[100]</sup> восхищалась Мопассаном так же, как Шодерло де Лакло. Подобно Марии Башкирцевой, она пишет ему. Он отвечает ей из Парижа 18 октября, несмотря на недомогание и депрессию..

«Мадемуазель,

Мне очень легко удовлетворить ваше любопытство, сообщив те сведения, которые вас интересуют, а ваше письмо так занимательно и оригинально, что я не могу устоять перед соблазном сделать это. Вот, прежде всего, моя фотография, снятая в прошлом году в Ницце. Мне 41

год, и, как видите, я много старше вас, поскольку вы сообщили мне свой возраст.

Что касается остальных вопросов, вас занимающих, то ответ на них прост.

Я вернусь через неделю в Канны, где собираюсь провести зиму, и буду жить на Грасской дороге, в Шале де л'Изер.

Яхта «Милый друг» ждет меня в антибском порту.

Признаюсь, мадемуазель, я заинтересован и пленен».

Разочарованная барышня сочла намек Ги грубостью. Разъясняя ей ее заблуждения, он следует в переписке проторенной дорожкой: «Я подумал, что вы хотите меня заинтриговать, как это делали до вас многие, оставаясь для меня неизвестной. Я стараюсь выражаться как можно яснее по всем пунктам, чтобы не произвести впечатления буки. В жизни я лишен этого качества; нет, пожалуй, такого человека, который был бы меньшим букой, чем я. Но, прежде всего, я наблюдатель и рассматриваю то, что меня забавляет. От всего, что мне кажется незначительным, я вежливо отстраняюсь».

Барышня по-прежнему не удовлетворена. На сей раз Ги обрывает переписку, отвечая ей из Шале де л'Изер: «Это последнее письмо, которое вы от меня получите... Наивные вопросы, которые вы мне задаете, удивили меня. Я стараюсь никому не показывать свою жизнь, и никто ее не знает. Я скептик, отшельник и дикарь.

Я работаю — и только. Чтобы быть одному, я веду кочевой образ жизни, и лишь одной матери известно, где я нахожусь».

Это последний исполненный искренности автопортрет Ги. «Никто обо мне ничего не знает. Я слышу в Париже порядочным человеком... Я порвал со всеми писателями, которые, начисто лишенные фантазии и воображения, отслеживают любого человека, видя в нем прежде всего прототип для своих романов. Я не пускаю на порог журналистов; и категорически запретил писать что-либо обо мне и о моей жизни... Я разрешаю говорить только о своих книгах».

И так как его корреспондентка намекает ему на Мусю, с которой он обращался мягче, он объясняет: «Я ответил мадемуазель Башкирцевой, это правда, но так и не захотел с ней встретиться. Она написала мне, что добьется своего. Тогда я уехал в Африку, написав ей, что с меня довольно этой переписки...»

Но что с романом «Анжелюс»? Мопассан знает, что ему уже не на что надеяться. И он сдержит слово, которое он дал самому себе.

***Собаки воют. — Рождество на островах. — На Грасской дороге. — Медицинское заключение. — Наследственность. — Первый день 1892 года. — Последний акт. — Самоубийство с «соблюдением приличий». — Мобилизация. — Решение Лоры. — У причала***

«Я снял в Каннах на самом юге, очаровательное шале, защищенное от всех ветров... (Дом. — А. Л.) стоит в центре на набережной, окруженной со всех сторон зданиями. Если бы он принадлежал мне, я назвал бы его грелкой...» Можно себе представить, какое облегчение испытывал Мопассан в этом маленьком ничем не примечательном домике.

Улыбка все реже появляется на лице Ги. В октябре 1891 года английский книготорговец ставит его в известность о том, что «Заведение Телье», вышедшее в издательстве Авара, распродано. Через судебного исполнителя Мопассан устанавливает, что на складе издательства действительно нет ни одного экземпляра книги. Адвокат Ги настаивает на том, чтобы издатель постоянно располагал запасом книг минимум на пятьдесят экземпляров. Он требует, чтобы Виктор Авар возместил Мопассану убытки. Объяснения между писателем и издателем ведутся в весьма резкой форме. А вот и новая неприятность! Американская газета «Стар» сфабриковала из рассказа «Завещание» большой роман и опубликовала его, подписав — без ведома Мопассана — его именем. Мы знаем об этом из телеграммы Ги к матери, посланной из Парижа 19 октября 1891 года.

«Опять похолодало. Пора спасаться. Уеду пятницу или субботу. Немедленно вышли мне американскую Нью-Йоркскую Газету «Стар». Я привлеку их к суду».

Повсюду, где возможно, он затевает судебные дела, учиняет иски, пишет жалобы. Он поносит всех и все. На борту «Милого друга» он ругает волны. В шале им вдруг овладевает мания величия: «Сколько раз я просил вас, Франсуа, называть меня «господин граф».

Появляется новая навязчивая идея: Мопассан повсюду усматривает присутствие вредных солей. «Вчера я чувствовал себя немного лучше и потому смог отправить вам успокоительное письмо. Вслед за тем я провел ужасную ночь: мозговое расстройство мучило меня. Мой мозг трепетал от непереносимой боли. Пот бежал со лба как из источника, сегодня утром я

упал и недавно в моем саду (sic). За неделю я похудел на 10 кило».

Здесь страдает не только пунктуация. Почерк искажен до неузнаваемости. Хромает синтаксис... Но стиль сохраняет свою жестокую красоту!

«Когда я нишу вам мой лоб покрывается потом а голова подсказывает мне бессвязные слова. Здешний воздух насыщен солью и это несомненно является причиной ухудшения ибо с тех пор, как я приехал сюда приступы усиливаются изо дня в день, и я чувствую что мое соленое дыхание, это причина, причина (?), все более серьезная усиливающегося нарушения мозга.

Я спросил у Даренбера не размягчение ли это мозга вызванное промываниями. Он ответил что сумасшедший о таком размягчении никогда не догадывается, тогда как я отчетливо чувствую это и объясняю свое состояние. Эти боли начались на третий день после начала промываний. В Париже, перед отъездом, я чувствовал себя лучше. Здесь же все вспыхнуло с новой силой». Неотвязная мысль о размягчении мозга принимает откровенно бредовой характер: «Я убедился вчера, — это был день отвратительных страданий — что все мое тело, мясо и кожа, пропитаны солью... У меня всякие неполадки, или, вернее, страшные боли от всего, что входит в мой желудок... Слюны больше нет — все высушила соль — только какая-то отвратительная и соленая масса стекает с губ... Я думаю что это начало агонии... Головные боли столь сильны что я сжимаю голову обеими руками, и мне кажется что это голова мертвеца...»

Великолепные образы вспыхивают в его больном воображении. «Воющие собаки с предельной точностью передают мое состояние. Собачий вой, горестная жалоба собаки ни к кому не обращена, никому не адресована; просто крик отчаяния разносится в ночи — крик, который я хотел бы исторгнуть из себя... Если бы я мог стонать как они, я уходил бы в широкую долину, в чащу леса и выл бы часами во мраке». И Мопассан заключает: «Умственно изношенный и все же еще живой, я не могу писать. Я не вижу больше. Это крах моей жизни».

И тогда он возвращается к своему решению. Он не умрет безумным. Он убьет себя раньше. Но когда? Умереть преждевременно — это было бы бессмысленно. Необходимо рассчитать все возможности. Он рискует пересечь границу «слишком поздно»: здоровый ум может изменить ему. Это «слишком поздно» пугает его еще больше, чем «слишком рано». Он пишет господину Года: «Я умираю. Думаю, что умру через два дня. Займитесь моими делами и установите связь с господином: Коллем, моим нотариусом в Каннах. Это прощальный привет, который я вам шлю... Это неминуемая

смерть, и я сошел с ума! Моя голова мелет вздор. Прощайте, друг, вы не увидите меня больше!»

Мопассан осматривает свой револьвер. «Моя мать не переживет этого. А разве она не умрет, узнав, что я заключен в сумасшедший дом? «Это ты, ты сумасшедший в нашей семье!» Нет, нет, только не как Эрве!»

На следующий день после встречи рождества 1891 года Мопассан, чувствуя себя почти здоровым, выходит в город. Он медленно прогуливается по Грасской дороге, наслаждаясь тихим вечером. Вскоре он возвращается — Франсуа видит его мертвенно-бледным, дрожащим, с искаженным лицом...

— Я гулял, Франсуа. Дошел до церкви, до порта. Видел «Милого друга». У поворота на кладбище я встретил привидение. Я испугался. Вы знаете, что такое страх??

— Да, мосье, да...

— Нет!

Тусклый страх. Фантастический. Потусторонний. Не тот, не солдатский страх, который он столько раз анализировал: «Страх — это какой-то распад души... Настоящий страх есть как бы воспоминание призрачных ужасов отдаленного прошлого. Человек, который верит в привидения и вообразит ночью перед собой призрак, должен испытывать страх во всей его безграничной, кошмарной чудовищности».

Но он написал это еще десять лет назад!

— Это привидение, Франсуа, это было хуже всего... Это был...

Его неподвижные, застывшие, — словно бы покрытые эмалью глаза тускло светятся.

— Это был я!

Он задыхается, глаза его полны ужаса.

— Он подошел ко мне, ничего не-сказал... Он просто презрительно пожал плечами. Он ненавидит меня!.. Франсуа, не забудьте закрыть все окна, а двери запирайте на два поворота ключа.

Долгое молчание. А потом он снова говорит глухим, прерывистым голосом:

— Франсуа, а вы верите в привидения?

— Я... Я не знаю, мосье...

— Я тоже, Франсуа, я тоже! Самое ужасное, что я не верю в привидения. Я знаю, что это галлюцинации! Я знаю, что все это живет во мне самом!

К концу своей жизни Мопассан, невольно подражая тону бахвального студента-медика, рассказывал — и неоднократно, — как в двадцать лет он подцепил свою болезнь от «очаровательной лягушки», подружки по гребле, какой-нибудь сестрички Берты Ламар — Мушки, а весьма вероятно, и от самой Мушки. Таким образом, если доверять этим признаниям, он заболел между 1871 и 1876 годами. Доктор Сабуро относит это заболевание к 1876 году, уточняя при этом: «Первичные признаки сифилиса проявились в январе или феврале 1877 года; заражение же произошло в декабре 1876». Доктор Лакасань также приходит к выводу, что болезнь эта приобретенная; он указывает на то, что сифилис был весьма распространен в Европе в 1875–1878 годах, и рассматривает выпадение волос у Мопассана как проявление болезни.

Называлось немало причин, приведших Милого друга к гибели: спирохета, наследственность, переутомление, на которые указывал доктор Мажито, ошибочность медицинских заключений и, наконец, злоупотребление наркотиками — главным образом эфиром. Это последнее также можно отнести к проявлению наследственности. Лора призналась в своей слабости еще в 1892 году: «Я стара и очень больна, и наркотики, которые я пью целыми стаканами, окончательно истощают мою память». Лора не дожидалась агонии своего сына: она прибегала к наркотическим средствам значительно раньше.

27 декабря 1891 года за завтраком Мопассан поперхнулся и закашлялся.

— Рыбное филе попало мне в легкие!

Через час «Милый друг» с Ги на борту снимается с якоря, но после короткой часовой прогулки возвращается обратно: Ги с трудом, на негнущихся ногах сходит с яхты.

28 декабря в Ницце Ги хранит молчание во время завтрака с матерью, и даже маленькой Симоне не удастся развеселить его. 29-го во второй половине дня доктор Даренбер приходит навестить его. Ги принимает врача в своей ванной комнате. До Франсуа доносится их смех. В саду Даренбер встревоженно говорит сопровождающему его Франсуа:

— Ваш хозяин весьма крепок физически, но болезнь его не щадит мозг... А ведь он рассказывал мне только что о своей поездке в Тунис, без всякого труда называя множество имен и дат!

30 декабря Ги отправляется на своем велосипеде к инженеру Мютерзу. Они долго беседуют о ремонте яхты «Милый друг», Ги приглашает инженера позавтракать вместе с ним в Шале де л'Изер завтра. Мютерз не

заметил в Мопассане чего-либо необычного.

Но 31 декабря за завтраком глаза Мопассана красны и блуждающи. В гостинной он молча падает на кушетку. «Тем не менее он поднялся и подошел к столу, — свидетельствует Франсуа. — Едва притронувшись к еде, он произнес слова извинения и исчез».

1 января 1892 года Ги поднимается в добром расположении духа и приказывает к полудню приготовить «Милого друга» к выходу в море. Франсуа поздравляет хозяина с Новым годом и подает ему свежую корреспонденцию. Среди визитных карточек Мопассан обнаруживает карточку Александра Дюма-сына. Жалуясь на внезапную глазную боль, Ги усталым движением отбрасывает кипу писем. В этот момент являются его матросы.

— Мосье, — говорит Бернар, — вот и мы! Этот лодырь Раймон, у которого самая большая глотка на всем побережье, ия — мы пришли поздравить вас... пожелать вам удачного и счастливого года... попутного ветра... и чтоб эта шлюха — море оставила свои обычные выходки. И еще, чтоб мы все-таки пошли в Марокко.

— Я тоже хотел вам сказать... — начинает Раймон.

— Вот чудеса! — восклицает Бернар. — Святой Фереоль, мой шурин, обрел дар речи!

— Да замолчи ты... Я, так сказать... это...

— Святой Геркулес! — приветливо говорит Мопассан. — Куда легче храпеть, как все циклопы Греции, вместе взятые, а?

— Ну и вот... вот, значит... я... вот, черт, святая Селестина! Ничего не лезет из глотки, чтоб я сгнил!

— Э, да я уже все сказал за тебя, оболтус этакий! — говорит Бернар. — Ну и позор же, что моя сестра вышла за такое животное!

Мопассан смеется своим добрым детским смехом.

— Ну же, Раймон, не смущайтесь!

— Э... э... это не я, мосье, желаю вам хорошего Нового года... Это «Милый друг», яхта! Уф, все...

Мопассан улыбается:

— Спасибо!.. Все в порядке, Раймон: мысль, как ветер, летит куда пожелает. Вот, друзья, пятьдесят писем — от министров, принцев, графинь... Отдаю их все за слова, что так трудно лезут из глотки Раймона.

Он сдерживает волнение.

— Франсуа, как бы не опоздать на поезд — моя мать ждет нас. Если мы не приедем, она подумает, что я болен.

Франсуа и его хозяин 1 января отправляются в Ниццу, где Ги, как



обычно, завтракает в «Равенель». Лора находит его бледным и волнуется. О, что он только говорит, ее сын!

— Мама, я пью пилули, которые избавят меня от очень серьезных неприятностей.

После завтрака Лора умоляет Ги:

— Не уезжай, мой сын, не уезжай!

В досье Ломброзо содержатся и другие свидетельства Лоры: «Я цеплялась за него, я молила его, я на коленях влачила за ним свою жалкую старость... но он был одержим своей не понятной никому идеей. И он уходил — уходил в ночь, заговаривающийся, возбужденный, безумный, уходил неведомо куда, мое бедное дитя!»

Последняя разлука в Ницце была действительно драматичной. «В четыре часа, — рассказывает Франсуа, — приезжает карета, чтобы отвезти нас на вокзал». Дома Ги надевает на себя шелковую сорочку, легко обедает — крылышко курицы, приправленное сметаной, рисовое суфле с ванилью, минеральная вода.

Затем он шагает взад-вперед по гостиной и столовой. Обычно он шагает, когда, работает, когда думает. Иногда шагает бесцельно, просто так. Сейчас он шагает, принимая решение.

Тассар заваривает ему чашку ромашкового чая, ставит банки. Ги ложится в постель в половине двенадцатого ночи. Около половины первого Франсуа, убедившись, что хозяин его спит, уходит, оставив дверь открытой. Франсуа готовится лечь спать, когда раздается звонок в дверь. Камердинер открывает. Почтальон принес телеграмму, отправленную «из какой-то восточной страны». Телеграмма была от женщины, которую Тассар считал самым злейшим врагом своего хозяина. Таинственную корреспондентку Франсуа с опаской и злобой называет «Дама в сером». Слуга неслышно входит в комнату, приближается к спящему Ги и кладет телеграмму на ночной столик.

Тассар возвращается к себе и ложится. В третьем часу ночи он просыпается от страшного шума. Пробираясь вслепую по комнате, натываясь на вещи, он никак не может сообразить, что происходит в доме. Словно бы какой-то великан громит спальню его хозяина! Франсуа наконец выскакивает в коридор и зовет Раймона. Мужчины поднимаются по лестнице и находят Мопассана трясущимся, окровавленным, безуспешно пытающимся открыть ставни для того, чтобы выброситься в окно.

Шестью годами раньше Мопассан написал:

«Потом он снова сел за стол, отпер средний ящик, вынул оттуда

револьвер и положил его поверх бумаг, на самое освещенное место. Сталь оружия лоснилась и отсвечивала огненными бликами. (Он. — А. Л.) некоторое время глядел па револьвер мутным, как у пьяного, взглядом, потом встал и принялся ходить.

Он шагал по комнате из конца в конец и время от времени останавливался, но тотчас же начинал шагать снова...

Он взял револьвер, с ужасной гримасой широко разинул рот и всунул туда дуло, словно собираясь проглотить его. Он простоял так несколько мгновений в неподвижности, держа палец на курке».

Совпадения поражают. Писатели, правда, хорошо запоминают то, что они пишут... Пистолет сверкал на столе. Ги выстрелил. Все должно было быть кончено. Но он услышал лишь отрывистый щелчок бойка.

Ги понимает, что у него украли его смерть. Им овладевает страшное бешенство. Обезумев от ярости, он хватает нож для разрезания бумаги и пытается перерезать себе горло. Воя от боли, перепачканный в крови, он бросается к окну. Откуда было ему знать, где расположены задвижки тяжелых ставен и как они отпираются?! Он набрасывается на ставни, трясет их. Он слышит голоса, шаги. Он воет еще сильнее.

Кто же разрядил его револьвер? Кто ответствен за продление этой агонии? Франсуа! Франсуа, получивший указания от Лоры. Франсуа, уверенный в том, что он поступает правильно. Франсуа, который слышал несколькими ночами раньше, как его хозяин стреляет в своей спальне в привидевшегося ему грабителя. «О Франсуа, Франсуа! Зачем вы вынули патроны?»

Назавтра, 2 января 1892 года, около восьми часов вечера, после мучительного дня, Мопассан приподымается на своей кровати и кричит:

— Франсуа, вы готовы? Собирайтесь: война объявлена!

Сбитый с толку, Франсуа все же включается в игру:

— Ни к чему так спешить, мосье. Ведь мы должны быть готовы только на другой день после объявления мобилизации.

— Как, вы хотите задержать меня? Мы договорились с вами, что, как только появится возможность взять реванш, мы выступим вместе! Вам отлично известно: реванш любой ценой! И мы добьемся своего.

Этот бред освещает зловещим светом подсознательное движение мысли Мопассана. И не здесь ли следует искать корпи ожесточенности, проросшие в «Анжелюсе»? Начало было положено во время войны 1870 года. Слишком рано воевать, когда тебе только двадцать лет от роду!

Решение теперь в руках Лоры. Намерение ее сына теперь не вызывает сомнений, и не всегда будет при нем Франсуа, чтобы разряжать его револьверы. Врачи придерживаются единого мнения: его необходимо поместить в психиатрическую лечебницу.

Она стонет от ярости. Нет, ни за что! Только бы это не кончилось как с Эрве! Только не этот страшный скандал! Потом, немного придя в себя, она размышляет: ведь он может повторить свою попытку. И она уступает врачам. Пусть так, но только не к Брону! Только больница доктора Бланша, самая феешенебельная во Франции, может быть достойна Мопассана! Дворянский замок — для рождения, самая дорогая в стране психиатрическая больница, «Замок Трех Звезд», для предсмертной агонии.

4 января в Шале де л'Изер приехал санитар от доктора Бланша.

Во все времена люди, безоружные перед нелепой загадкой безумия, поступали одинаково. Они чувствовали, что нужно каким-то способом пробудить больного.

Кто-то предлагает:

— Его яхта!

Неизвестно кому принадлежала эта идея, но, прежде чем отвезти Мопассана в Париж, решили устроить ему встречу с «Милым другом».

Ясным январским днем жители Канн стали свидетелями того, как молчаливая и сосредоточенная процессия мужчин, миновав старую церковь, спустилась к порту и остановилась на берегу огромного голубого залива. Вдыхая запах моря и лака корабельных корпусов, отяжелевший человек с глазами навывкате и с руками, стянутыми смирительной рубашкой, шагает неверной походкой между двумя санитарами.

«Голубое небо, прозрачный воздух, легкие линии его любимой яхты — все это, казалось, успокоило его. Взгляд его смягчился... Он долго глядел на свой корабль глазами, полными тоски и непередаваемой нежности», — писал Ломброзо со слов Лоры.

Мопассан, не произнося ни звука, шевелил губами. Когда его уводили, он несколько раз обернулся, словно бы навсегда прощаясь со своей яхтой. Ничто уже не могло помочь этому несчастному. «Милый друг» — плавные линии, белые паруса, паутина снастей, — его великолепная яхта, не смогла помешать ему погрузиться в ад, к которому он шел, все ускоряя шаги, по дороге, указанной еще «Орля».

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

### СВИДАНИЕ С ЗЕРКАЛАМИ



*Иногда в глубине моего существа, отравленного скептицизмом, просыпается на миг маленькое, наивное сердце мальчика.*

*Я их коллекционирую. — «Мужчина среди женщин». — «Дама в сером». — Скандальная Жизель д'Эсток. — Суффражистка на заре Третьей республики. — Цена тетради Жизель*

Телеграмма «Дамы в сером», оставшаяся на ночном столике Ги, воплощает в себе тайны его жизни, сложной и психологически запутанной. Страсть к перемене — страсть, которая гнала Мопассана с гор к морю, из Европы в Африку, — во многом объясняла также его отношения с женщинами. Ни тоска, ни мигрени, ни больные глаза, ни даже работа, ни тайные дети, ни попытки вести иной образ жизни — ничто не могло уменьшить его ненасытное, непреодолимое стремление к женщине. Сколько же их было? Ну, скажем, триста (как он признался в одном из своих рассказов), может быть, и больше. Впрочем, как можно сосчитать? Он и сам не смог бы этого сделать.

Мы познакомились со многими красивыми и менее красивыми его приятельницами.

Франсуа записывает:

«Молодая дама в сером костюме спрашивает, у себя ли господин де Мопассан.

— Нет, господин вышел.

— Ну что ж! Я зайду. Принесите мне бумагу и карандаш.

На листке из школьной тетради посетительница пишет: «Свинья».

Мопассан возвращается, читает записку и разражается хохотом.

— Черт бы их всех побрал!

Это была настоящая маркиза, дочь бывшего министра империи.

Отчасти грубость Мопассана объясняется тем, что он, по его собственным словам, «не умеет порывать». «Я их коллекционирую. Есть такие, с которыми я встречаюсь не чаще одного раза в год. С другими я вижу раз в десять месяцев, с третьими — раз в квартал. С некоторыми судьба сталкивает меня только у их смертного одра, с некоторыми — когда они хотят пойти пообедать со мной в кабаре...»

Когда он принес в «Голуа» этот свой опус — а то было в нелегкие для него годы, — в редакции раздался иронический смех. Бахвальство? Да нет! Это подтверждает и брат Эрмины, которому Га покровительствовал и который великолепно разобрался в механизме любовной жизни Мопассана:

«Я думаю, что Мопассан заводил их с легкостью, поскольку они сами шли навстречу его желаниям». Истинная любовная страсть отсутствовала как с одной, так и с другой стороны! И здесь он видел и понимал все — отчетливо, до отчаяния. Короткая, обжигающая фраза из «Бесполезной красоты» «Я никогда не любил» повторяется и в «Разносчике»: «Мне кажется, что я слишком строго сужу женщин, чтобы испытать на себе их очарование... В каждом человеческом существе физическое начало сталкивается с духовным. Чтобы полюбить, мне нужно было бы найти гармонию между этими началами. Я не нашел...»

Какая-то «остроумная» женщина послала ему в подарок двадцать четыре куклы: шесть в костюмах светских женщин, шесть — в черных монашеских одеяниях с белыми крахмальными чепчиками, шесть доминиканок и шесть вдов в трауре. Ги выстроил их в ряд. Кошка Пусси и попугай Жако играют с фигурками.

Развеселившись, Ги требует, чтобы Франсуа принес платки, и мигом превращает вдов в беременных женщин. Затем он приказывает Тассару сложить кукол в коробку и отправить их Потоцкой. Целую неделю графини будут судачить об этой выходке Ги. «О дорогая, вы уже слышали? Это великолепно! Шестерых — за одну ночь!»

В мае 1887 года Ги купил у рыбаков в Шату сто пятьдесят живых лягушек, с тем чтобы отправить их госпоже С. «Франсуа, я хотел бы, чтобы лягушки прыгнули ей прямо в лицо и разбежались по всему ее салону. Передайте ей корзину так, чтобы она ни о чем не догадывалась и, главное, чтобы она сама ее открыла!»

Дама, сообразительная бестия, заставляет Франсуа открыть корзину, и он, таким образом, не может выполнить поручения хозяина. Перед этим нашествием лягушек она не теряет хладнокровия: «А, это лягушки...» У них очень вкусные лапки. Франсуа, прошу вас, выпустите-их в озеро Булонского леса!»

Весь характер Мопассана выражен в этих рискованных шутках. Ему нравится шокировать.

— Вы пробовали человеческое<sup>[101]</sup> мясо? — спрашивает у него одна из очаровательных дурочек.

— Нет...

— А...

— А только женщину!..

— О!..

— Очень вкусное и нежное блюдо. Я нередко лакомлюсь им.

Это один из лучших номеров его репертуара.

Несмотря на его признание в неспособности полюбить, была ли среди всех его женщин одна — самая ему необходимая? Может быть, Эрмина? Может быть, Потоцкая? Или Мари Канн, его официальная любовница? Или мадемуазель Литцельман? Или «Дама в сером», названная так Франсуа Тассаром. Упомянутая в «Воспоминаниях» Франсуа 18 мая 1890 года, она появилась в жизни его хозяина одновременно с Мари Канн. «Она изумительно красива и с большим шиком носит свои английские костюмы или серо-жемчужного, или серо-пепельного цвета, перетянутые в талии поясом, сотканным из настоящих золотых ниток...»

В конце июня она приходила к Ги несколько раз. В ноябре она явилась вслед за Ги в Париж, на улицу Боккадор. В марте 1891 года Мопассан вновь встречается с ней в Каннах на вилле. Франсуа приказано поджидать «даму в скромном костюме, безупречную, строгую и загадочную». А вот она появляется опять 15 августа 1891 года в девять утра в Дивонне.

20 сентября 1891 года в парижской квартире уныло дребезжит электрический звонок. Франсуа идет открывать: «Я оказываюсь лицом к лицу с этой женщиной, которая уже принесла столько зла моему хозяину. Она проходит мимо меня, как всегда, прямая и высокомерная, и на ее лице, словно бы высеченном из мрамора, нельзя прочесть ничего... Я сожалею, что не поддался тогда порыву и не выставил за дверь этого вампира в облике женщины. Мой хозяин мог бы еще жить на земле».

Конечно, Франсуа ошибался.

Франк Гаррис приводит некоторые выдержки, в которых Мопассан, по его мнению, описал эту женщину: «Все мне нравится в ней. Аромат ее духов опьяняет меня; запах ее тела доводит меня до исступления. Красота ее форм, невыразимая обольстительность ее отказов и согласий возбуждает меня до безумия. Никогда не вкушал я таких радостей, никогда никому не давал подобного наслаждения...»

Но подобные признания мы встречали уже в рассказе «Сумасшедший», опубликованном в 1882 году.

«Я любил эту женщину с неистовой страстью... И, однако, верно ли это? Любил ли я ее? Нет, нет, нет! Она овладела моей душой и телом, захватила меня, связала... Но она, обладательница всего этого, душа этого тела, мне ненавистна, гнусна, и я всегда ее ненавидел, презирал и гнушался ею. Потому что она вероломна, похотлива, нечиста, порочна.

Первое время нашей связи было странно и упоительно. В ее **вечно раскрытых** объятиях я исходил яростью ненасытного желания. (Ее глаза.

— А. Л.) были серыми в полдень, зеленоватыми в сумерках и голубыми на восходе солнца... В часы любви они были синие, изнемогающие, с расширенными и нервными зрачками. Из ее судорожно трепетавших губ высовывался порою розовый, влажный кончик языка, дрожавший, как жало змеи...»

Как **правдив** этот донжуан, ненавидящий женщин и обладающий ими только потому, что ненавидит их! И как правдива она, эта женщина, которая отталкивает его, притягивает, толкает навстречу гибели! «Эта женщина **приносит гибель** (подчеркнуто им самим. Он говорит как проповедник в церкви! — А. Л.), это чувственное и лживое животное, у которого нет души, у которого никогда нет мысли, подобной вольному, животворящему воздуху; она человекозверь, и хуже того: она лишь утроба, чудо нежной и округленной плоти, в которой живет Бесчестие».

Мопассан сам написал последнее слово с большой буквы.

Кто же она, эта ненавистно-любимая женщина, «Дама в сером»?

Мопассан никогда не мог порвать с вампиром, о котором говорит Франсуа: слишком прочны были узы, связывающие их, да и **наркотики играли** в этом деле далеко не последнюю роль. Милейшему профессору Мажито так и не удалось отучить его от эфира, о чем свидетельствует рассказ «Грезы»:

«Я применял это средство во время приступов ужаснейшей невралгии и с тех пор, быть может, немного ими злоупотреблял (все здесь соответствует истине, включая и слово «немного». — А. Л.). У меня была страшная головная боль, болела шея... Я взял большой пузырек эфира, улегся и начал медленно его вдыхать. Через несколько минут мне послышался смутный шум, который вскоре перешел в какое-то гудение, и мне показалось, что все тело становится легким, легким, как воздух, и словно растворяется». Чистый и точно поставленный опыт! «Своеобразное и восхитительное ощущение пустоты в груди вскоре расширилось; оно перешло на конечности, которые, в свою очередь, стали легкими... Я не спал, я бодрствовал; я понимал, чувствовал, рассуждал ясно, глубокомысленно, с необычайной силой и легкостью ума, испытывая странное упоение от того, что мои умственные способности удесятились... Я становился высшим существом, вооруженным непобедимейшей способностью мышления, я наслаждался безумной радостью от сознания своего могущества...»

Это ощущение легкости и могущества в промежутках между приступами привело к тому, что писатель все чаще стал прибегать к наркотикам. Уже с тридцати лет Ги был отравлен. Говоря о «Пьере и Жане»



с доктором Морисом де Флери, Мопассан признался: «Эта книга, которую вы находите такой мудрой — и мне кажется, что некоторые ее положения действительно не лишены проницательности, — вся, до последней строчки, написана под опьяняющим действием эфира. Я пришел к выводу, что этот наркотик способен вызвать в человеке умственное прозрение».

Наконец, Эрмина Леконт дю Нуи, всегда старавшаяся представить своего друга в лучшем свете, сообщила доктору Морису Пилле, что постоянные мигрени вынудили Ги злоупотреблять наркотиками.

«Дама в сером» разделяла с ним не только страсть к наркотикам. Ги бахвалится своими пороками, которые она поощряет. Он устраивает праздники, на которых предается безудержному разгулу. Короткая телеграмма, адресованная приятельнице (нам известна только первая буква ее имени — Б.), несмотря на ее загадочный, столь обычный для Мопассана стиль, говорит о многом: «В субботу у меня костюмированный ужин. Не соблаговолите ли вы присутствовать на нем? Достаточно иметь с собою маски крестьянки, итальянки, испанки, индианки — какая вам придется по вкусу. И, затем, не упоминать об этом ужине ни до, ни после него».

Сколько их было, этих ужинов в духе Регентства<sup>[102]</sup>! С франкмасоном Катюлем Мендесом. С католиком Полем Бурже. С веселыми дамами, которые принадлежали всем... Шумные ужины послужили поводом для очередного переезда на новую квартиру. О, если бы Франсуа рассказал все — какой бы это был материал для «Хроники Бычьего глаза»<sup>[103]</sup>!

Может быть, «Дама в сером» — это Мари Канн? Дневник Эдмона де Гонкура делает эту гипотезу весьма соблазнительной. Вот, например, запись от 17 июня 1891 года: «С черными кругами, нарисованными тушью под глазами, загримированная «под мертвеца», — недавняя Эгерия Бурже, теперь Эгерия Мопассана сообщила мне, что он очень-очень болен... давая мне понять, что у него прогрессивный паралич». А вот еще — от 1 июля 1893 года: «Как всегда возбуждающая, с подвижными глазами, говорящая меланхолически-шаловливым языком, с подчеркнуто-болезненным обликом и с вызывающе глубоким декольте...» Эти наброски напоминают ту, которую Тассар называл роковой женщиной, вампиром, «пожирательницей мужчин».

Говоря о Мари Канн, Гонкур подчеркивает ее «божественную красоту», которая раздражала его. Признаки сходства между Мари Канн и «Дамой в сером» тем более настораживают, что Мари на протяжении многих лет имела значительное влияние на Ги. Она будет хвастать тем, что

получила от своего любовника две с половиной тысячи писем; такая круглая цифра заставляет призадуматься над правдоподобностью этого утверждения. Мой товарищ по плену, Филипп де Форсевиль, рассказывал мне: «В 1919–1920 годах я часто бывал у Мари Канн, очаровательной старой дамы, любившей вспомнить о своем прошлом и не забывавшей при этом Мопассана. **Я видел у нее ларец, набитый письмами Мопассана. Увы, все они были сожжены по ее распоряжению после смерти!** Испытывая ко мне расположение, она читала мне многие из этих писем... Эту фразу я не забуду никогда: «Мадам, что это за душевный недуг, превращающий одно существо в собственность другого!»

Это подлинный язык Ги — язык светского влюбленного.

Мой дорогой Форсевиль! В то время, когда Вы посещали дом по улице Гренель, на книжных полках Мари Канн хранился ценнейший, уникальный экземпляр «Нашего сердца», оттиснутый на тонкой китайской бумаге. То была книга, специально «напечатанная для Мари Канн», — символ открыто афишируемой связи, почти официальной. И этот экземпляр я обнаружил у Даниэля Сикля!

Так почему же Мари Канн не могла быть «Дамой в сером»? Телеграмма, «полученная с Востока» в ночь неудавшегося самоубийства, не могла быть от Мари Канн. Мари не была «на Востоке» 1 января 1892 года. Или, быть может, ее отправила какая-либо другая дама? Но в этом вопросе Тассар непоколебим: «Телеграмма была от Дамы в сером!» «Я считаю своим долгом заявить, что Мишель де Бюрн (на сей раз он имеет в виду Мари Канн. — А. Л.), так же как графиня (он имеет в виду Потоцкую. — А. Л.) не имеет ничего общего с дамой в серо-жемчужном платье, к которой а был столь недоброжелателен в первом томе моих «Воспоминаний» о г-не Ги де Мопассане».

Если Мари Канн вовсе не «Дама в сером», то кто же тогда эта таинственная женщина, игравшая в тот же период времени ту же роль, что и Мари? **Или у Мопассана хватало сил утолять жажду нескольких вампиров?**

До конца своих дней Пьер Борель не уставал твердить о существовании неизвестной любовницы Милого Друга — писательницы и художницы. Он выдвигал против нее то же обвинение, что Франсуа против «Дамы в сером».

Борель поддерживал дружеские отношения по меньшей мере с тремя людьми, пользовавшимися доверием Милого друга. То были Жизель д'Эсток, Франсуа Тассар и в первую очередь Леон Фонтен, «Синячок», о котором Лора говорила как о «лучшем товарище» Ги, «его брате по гребле».

От Леона Фонтена Борель услышал о таинственной любовнице Мопассана. Однажды Фонтен сказал ему: «Мне показалось, что я все рассказал вам о моем друге. Но я ошибся. Несколько дней назад, разбирая старые бумаги, я вспомнил об одном случае с Ги... Сегодня, много лет спустя, я обвиняю одну женщину не в том, что она убила его, но в том, что она ускорила его гибель своими ухищрениями чрезмерно страстной женщины, никогда не знавшей удовлетворения...

Как только мой друг встретил эту опасную женщину, он изменился буквально на глазах... Его словно бы вдруг истерзала какая-то колдовская сила. Вначале, после первых встреч, он производил такое впечатление, как будто из него высосали все соки, весь мозг...

Женщина, о которой я вам рассказываю, была чрезвычайно странным и изощренным созданием... существом, одержимым феминизмом и социологией: и кстати и некстати она цитировала Огюста Бланки и Прудона. При этом она крайне легко воспламенялась, и тогда ее опасная несдержанность не знала границ...»

«Прошли годы, — говорит Пьер Борель, — и я почти позабыл эту историю, когда однажды ко мне явился старый парижский журналист». Этот журналист предложил Борелю наряду с другими документами мемуары Жизель, пресловутую «Любовную тетрадь», содержащие сведения о Мопассане. **И письма Мопассана к Жизель д'Эсток!**

По Борелю, Жизель получила при рождении имя Мари-Поль Дебар. В юности она была дружна с некой Ма-ри-Эмэ (в действительности Мари-Эдме). Преклонение перед Жанной д'Арк сближает пылких девушек несколько теснее, чем то предопределено законами человеческой морали. Разразившийся скандал вынуждает Мари-Поль покинуть родной город.

В Париже она с головой погружается в водоворот артистической жизни. В скором времени Альбер Вольф напишет в «Фигаро»: «Мадемуазель Жизель д'Эсток выставляет произведения, которые выдвигают ее в первый ряд художников нашего времени...»

Маленькая Жизель деятельна и расторопна. Она пишет, лепит, рисует, выступает с лекциями, неизменно привлекающими журналистов. Вот что пишет один из них: «Во вторник, 3 февраля, в 9 часов вечера в зале Шарль, бульвар Бабес, 2, Лига освобождения женщин устроила свое третье публичное собрание: «Только для дам». Распорядок дня: выступление писательницы Жизель д'Эсток. Она говорила на свою излюбленную тему — о Жанне д'Арк, но главным образом о положении современной женщины и энергично отстаивала право женщин, занимающихся

литературой, ваянием и авиацией, носить мужские костюмы».

Жизель прямолинейна и бескомпромиссна. Ее идеи, истоки которых следует искать у Жорж Санд, расцветут в среде суфражисток 1900 года.

Примерно в 1885 году журналист Пиляр д'Аркаи нанес визит Жизель. «В самом центре Парижа, на улице Каролин, в сотне шагов от бурлящей площади Монсей я звоню у низкой двери в нише темной стены... На сиреневых кустах, громадных, как деревья, покачивается трапеция; миниатюрные гантели валяются на газоне; в глубине аллеи деревянные манекены пробиты и исковерканы револьверными пулями».

Посетитель проникает в «святилище». А вот и хозяйка «храма»: «О Жанна д'Арк!..» Этот возглас помимо воли срывается с его губ. «Старый парижский журналист», который «уступил» Борелю письма Мопассана к Жизель, ее «Любовную тетрадь» и несколько фотографий, **был не кем иным, как Пиляром д'Аркан.**

Мое убеждение в частичной подлинности досье Бореля к тому же подтверждается **документом, волею провидения попавшим в коллекцию Даниэля Сикля.** Это письмо Леона Фонтена адресовано «моему дорогому Борелю». Оно датировано 19 февраля 1928 года. На полях письма **рукою Пьера Бореля сделана пометка: «Тетрадь Жизель».** Это письмо неоспоримо доказывает подлинность звена Борель — Фонтен.

Клубок распутан. Остается исследовать документы и установить взаимосвязь между ними.

***Эпистолярная перестрелка. — Первое свидание на улице Дюлон. —  
Ученик коллежа, или Беспокойная пара***

Самая значительная часть «Тетради Жизель» была, по-видимому, составлена из писем, адресованных ей Мопассаном. Вот первый ответ писателя!

«Париж, среда.

Сударыня, если вы действительно любопытная женщина, а не один из моих друзей-шутников, развлекающихся за мой счет, я готов встретиться с вами когда вы пожелаете, где вы пожелаете, как вы пожелаете и в обстановке, которая покажется вам подходящей.

Полагаю, что вас ждет большое разочарование. Тем хуже для нас обоих. Раз уж вы ищете поэта, позвольте мне несколько ослабить удар и рассказать вам немного о себе. Внешне я некрасив: ни моя осанка, ни манеры не нравятся женщинам».

Тон тот же, что в письмах к Марии и русской девушке из Симиэза. «Мне не хватает элегантности в одежде, покрой моих костюмов мне глубоко безразличен. Все мое кокетство — кокетство грузчика, продавца из мясной лавки — сводится к тому, что я прогуливаюсь летом по берегу Сены в костюме гребца, демонстрируя бицепсы рук: заурядно, не правда ли?

Эта деталь позволяет установить примерную дату! до 1884 года.

«...За всю свою жизнь я. не испытывал даже видимости любви, хотя и симулировал довольно часто это чувство, которое, по-видимому, так никогда и не испытаю...

Чувствен ли я?

О да! Вас не обманули. Но между тем я отнюдь не опасен. Я не бросаюсь с криком на женщину, едва увижу ее.

Меня никогда не судили за... слишком бурное проявление страсти, и со мной без всякого риска можно появляться в обществе, особенно когда на расстоянии человеческого голоса дежурит полицейский... Душа моя вовсе не сентиментальна... Я совсем простой малый, живущий как медведь. И все же, сударыня, если вы еще не потеряли охоту поглядеть на этого медведя, то он покинет свою берлогу по вашему зову и обещает подчиняться вашим желаниям...»

Это неприукрашенный, объективный автопортрет писателя.

Жизель, вероятно, предложила встретиться на балу в Опере. Ги ответил ей, вновь процитировав Шопенгауэра: «Да, я фавн». Фавн с головы до ног. Я провожу целые месяцы в деревне в одиночестве. Ночь на воде в полном одиночестве. Совсем один **всю ночь**. День в лесах или в виноградниках. **Под неистовым солнцем** — совсем один весь день... Я люблю плоть женщины той же любовью, какой я люблю траву, реки, море. Я терпеть не могу пошлости, банальности, невыразительности.

**Итак, сударыня, я предпочел бы встретиться с вами не на балу в Опере!** Что касается Венеции, то это поэзия, а вам ведь известно, что я ее не люблю...»

Вот это уже тон Милого друга. Бал в Опере! Для такого мужчины, как он, и для такой женщины, как она.

Для того чтобы окончательно удостовериться в подлинности этих писем, не хватает только одного: самих писем.

Как человек многоопытный, Ги предлагает для встречи павильон Генриха IV в Сен-Жермен. Ответ великолепен:

«— Отель.

«— Як вашим услугам, сударыня. Где пожелаете, когда пожелаете».

Но мы помним, как автор «Сестер Рондоли» ненавидит отели:

«Вы знаете так же, как и я, что такое комната в отеле — **ее некомфортабельность, ее леденящая необжитость**. Быть может, вы не сочтете за труд прийти ко мне?»

Надо думать, она согласилась: «Сударыня, я жду вас в субботу, если только вы не отмените своего решения. Моя квартира на четвертом этаже, направо, левая дверь. К тому же моя визитная карточка приклеена на двери...»

Мопассан на улице Моншанен жил на первом этаже. Следовательно, Жизель нанесла ему первый визит на Улицу Дюлон до апреля 1884 года.

Ги сам рассказывает об этом первом свидании: «Сударыня, вы убедились в том, что я вел себя безукоризненно. Я удалил слугу, вы даже не подумали о том, что ваши прелестные кружева, которыми вы из предосторожности закрыли лицо, могли бы с успехом заменить кляп, если бы вы начали кричать... Теперь вы увидели собственными глазами, что медведь — картонный... Итак, когда же вы придете опять?..

Р. S. Просьба: приходите в том же платье. Почему? О, это мое дело!»

К письму он прилагает свою фотографию, сделанную Этьеном Каржа. В ответ она присылает ему свою, на которой она изображена обнаженной — похожая на костлявую герцогиню Альба. Ги отвечает стихами, очень

далекими от тех, которые украшают веер графини % Потоцкой.

## ЖЕЛАНИЯ ФАВНА

*Той, которая открыла мне любовь*

*О, плоть дрожит, вздымается, пьянея,  
Душа трепещет как струна — и вот  
Мой разум, возжеленьем пламенея,  
Все к новым наслаждениям зовет... [\[104\]](#)*

Далее, к сожалению, нельзя опубликовать ни единого слова.

Эта пара с истрепанными нервами опустится на самое дно интимной преисподней.

Ги и Жизель, одетая в костюм ученика коллежа, вместе отправляются в заведение типа дома Телье. В своих «Воспоминаниях» Франсуа Тассар также упоминает «ученика коллежа»: «Большие черные глаза, мелко вьющиеся волосы». Этот бойкий ученик ловко обвел вокруг пальца целое общество красивых дам и... самого Франсуа. (Это, впрочем, было совсем не сложно!) «Опять слышен звонок. Я открываю и оказываюсь лицом к лицу с учеником коллежа. Я провожаю его в салон. Он держится очень непосредственно, здоровается сначала с моим хозяином, потом с дамами... Он напоминает угловатого и немного оторопевшего школяра... Дамам очень хотелось поведать, кто этот очаровательный юнец; они этого никогда не узнали».

Жизель не скрывает своей склонности к извращениям. Ги поощряет Жизель, считая при этом, однако, что она несколько перебарщивает. Да, представьте, это ему приходится время от времени одергивать свою любовницу!

Вскоре Ги начинает удлинять промежутки между свиданиями. Он старается выиграть время. Это его тактика. «Я занят в четверг, — обедаю у Золя. Я могу располагать только пятницей. Устраивает ли вас этот вечер? Целую... руки».

И вдруг Жизель д'Эсток получает письмо без даты со штемпелем Марселя.

«Я уехал в Сахару!!! Это далекое путешествие соблазнило меня, и, честное слово, я отправился в дорогу тотчас же, как принял решение, дабы

успеть присоединиться к экспедиционному корпусу, отправляющемуся на борьбу с героическим, неуловимым мятежником Бу Дмама.

Не сердитесь на меня, мой милый друг, за это внезапное решение. Вы же знаете, что я необузданный бродяга. Я напишу вам из пустыни... Целую вас всю, Ги де Мопассан».

Ги оставляет блистательное описание своего алжирского путешествия 1881 года: «Опередив нашу группу на пятьсот метров, проводник вел нас сквозь черное, плоское одиночество пустыни... Каждые четверть часа нам попадались огромные скелеты, обглоданные животными, спекшиеся под солнцем. Несколько дней продолжалось это монотонное путешествие... Вот шакал. А вот агонизирующий верблюд. Уже два или три дня он, быть может, провел здесь, на бархане, умирая от усталости и жажды. Его длинные конечности, которые казались перебитыми, сплетенными, онемевшими, влачили по огненной земле. А он, заслышав наше приближение, поднял, как фонарь, свою иссохшую голову... Его лоб, изъеденный неумолимым солнцем, был сплошной истекающей раной; он следил за нами безропотным взглядом. Он не издал ни единого стога, не сделал никакого усилия, чтобы подняться. Наблюдая не раз смерть своих братьев в этих страшных переходах по пустынной глуши, он, казалось, все понял и хорошо усвоил жестокость людей. Теперь пришел его час. Вот и все. Мы проехали мимо. Но, много времени спустя оглянувшись назад, я все еще видел над песком длинную вытянутую шею брошенного зверя, который неотрывно смотрел на последние в его жизни живые существа, медленно скрывавшиеся за горизонтом».

«Моя любимая! Я болен и еще не выздоровел. Вот почему вы не имели от меня никаких вестей. Болезнь, которая мучит меня и **происхождение которой мне неизвестно**, вызывает странную и нестерпимую глазную боль».

Это письмо мы можем датировать без колебаний: 1881 или 1882 год.

За неопределенным обращением «моя любимая» возникает любопытная проблема. Во всех письмах, адресованных той, которую **Леон Фонтен и Пиляр д'Аркаи, а вслед за ними и Пьер Борель называют Жизель д'Эсток, Ги никогда не называет ни имени, ни фамилии** — только «сударыня», «дорогой друг», «любимая». Что это — соблюдение тайны? Но дама никогда не требовала этого от своего кавалера. Все это более чем странно!

Тетрадь Жизель содержит в себе и другие не менее интересные факты. Она сообщает о галлюцинациях, которые все учащаются и усиливаются, завершаясь тяжелейшим припадком в Шале де л'Изер.

После одного из таких припадков, как две капли воды напоминающего



рассказ «Сумасшедший», Жизель пишет: «Я похолодела от ужаса. После краткого молчания вновь зазвучал его голос, изменившийся до неузнаваемости: «Иногда я чувствую, как безумие блуждает в моем черепе». Мой друг собирается ехать со своей матерью на Корсику».

Жизель указывает даже, что Ги уезжает в Вико, где Лора тяжело заболела.

**Пребывание в Вико и поездка на Корсику датируется 1880 годом.**

Далее допускается сдвиг во времени и рассказывается о разрыве Жизель с Ги. Все усиливающееся недомогание, возрастающая подозрительность, судебные процессы, мания преследования (обо всем этом говорит Жизель) подтверждают имеющиеся данные об ухудшении состояния писателя. Ги конца этого любовного романа — это Ги 1888 года.

Последнее письмо Мопассана к Жизель д'Эсток, датированное концом апреля, весьма сухо. «Сударыня, сегодня утром я вернулся из Этрета. Я рассчитываю в среду выехать в Париж. Не слишком ли это поздно, чтобы отправить то, что вам принадлежит? Сегодня я не располагаю временем, чтобы написать вам более подробно. Впрочем, я хотел бы, если вы сообразовываете, побеседовать с вами несколько минут. Писать будет слишком долго и сложно. Или вы испытываете непреодолимое отвращение к такой встрече?»

В ответ на это последовало молчание.

***Мопассан в личной жизни. — Еще раз о Жизель д'Эсток. — Беседы с Пьером Борелем***

Познакомившись с признаниями, сделанными Леоном Фонтеном Пьеру Борелю, и с письмами Мопассана к Жизель, обратимся теперь к «Любовной тетради».

Самые примечательные особенности этого документа были уже освещены, и мы не будем к ним возвращаться. Из тетради мы можем подчеркнуть некоторые детали, характеризующие образ Мопассана. За маской президента Общества сутенеров Жизель сумела разглядеть человека, постоянно преследуемого страхом. «На голых стенах моей комнаты возникают фрески страха...» Это голос самого Мопассана. «Я хотел бы отделиться от себя самого. Я ускользаю, я бегу, я боюсь».

Хищница поняла, что под обликом Милого друга скрыт чувствительный ребенок. Это ей мы обязаны почти всем, что нам известно об отношении Мопассана к музыке. Вот он содрогается, слушая Моцарта, — и разве эта реакция не объясняет нам точку зрения, изложенную музыкантом из «Монт-Ориоля»? «Я воспринимаю музыку не только слухом, я ощущаю ее всем телом, и оно вибрирует с ног до головы». Так же и Бертен из «Сильна как смерть» говорит «о невидимом и необъяснимом таинстве музыки, которая разливается по всему телу и доводит до безумия нервы и душу...»

Свидетельства буйной Жизель и скромной Эрмины нередко совпадают: «Когда Ги говорил — он превращался в кудесника. Изумительный рассказчик! Люди, о которых он говорил, оживали: вы их видели, вы их слышали». В своих описаниях Жизель сумела воссоздать голос Мопассана — резкий, густой, звонкий, о котором Леон Фонтен говорил: «Голос Ги де Мопассана так необычайно торжествен, что невольно возникает впечатление, будто, произнося обычные слова, он окружает их пульсирующим блеском неведомого мира».

И наконец, она усмотрела в нем человека болезненного, мятущегося, доброго, несмотря на его звериную вспыльчивость. Она пишет, цитируя его слова: «Сегодня! ночью мне приснилось, что Тарри Алис утонул; я боюсь, как бы с ним не случилось несчастья».

Далее читаем: «Мопассан убежденно верил в предчувствия. Вечером

того же дня ему сообщили о смерти его друга. Не раз случалось, что Ги безошибочно предсказывал события».

А вот это уже неправда! Гарри Алис был убит на дуэли в 1895 году, через два года после смерти Мопассана.

Жизель д'Эсток не могла написать такую чепуху. Кто-то заставил ее солгать... И вдруг все становится на свои места: **этот документ, изобилующий правдивыми деталями, был переписан!**

**Когда: до того, как он попал в руки Пьера Бореля, или после?**

Противоречия в «Тетради» Жизель так раздражают, что 3 октября 1960 года я написал Пьеру Борелю:

«Мои друзья из университета осаждают меня, утверждая, что Жизель д'Эсток — мифическая личность... Хорошо было бы привести новые факты, подтверждающие реальность этой фигуры: биографию, библиографию, каким образом ее записки очутились в ваших руках».

Ответ мне был отправлен из Ниццы 7 октября:

«...Ни один из исследователей Мопассана и не подозревал о существовании этой необыкновенной женщины. Вы найдете все о ней в книге («Мопассан и Андрогины». — А. Л.), которую я вам посылаю; доверяю вам эту книгу — единственный экземпляр, которым я располагаю. В книге имеется даже ее портрет, который даст вам больше, чем любой рассказ... Все эти документы уступил (sic) мне ее любовник — Пиляр д'Аркаи. Впоследствии бумаги были рассеяны по Америке...»

В начале ноября 1960 года я еще раз беседовал с Пьером Борелем и тщательно подготовился к разговору.

— Дорогой Борель, почему Пиляр д'Аркаи передал вам «дело Жизель»?

— Передал! Так он же мне его продал!

— Вот как... Не могли бы вы уточнить дату сделки?

— 12 мая 1928 года.

Черт возьми! В первый раз я столкнулся с точной датой. Эта дата соответствовала тому факту, что **ни единая строчка из новых документов не была использована в первой работе Бореля «Трагическая судьба Мопассана», составленной на основе рассказов Леона Фонтена и опубликованной в 1927 году.**

— Можно ли получить фотокопии «Тетради» Жизель и писем Ги?

— Все было продано американцам. Я потерял все следы.

— Кем это было сделано?

— Книготорговцем из Лиона.  
— Вам известно его имя?  
— Я его позабыл.  
— Существовала ли любовная связь между Леоном Фонтеном и Жизель д'Эсток?  
— Он ее терпеть не мог...  
— Когда умерла Жизель?  
— Между 42-м и 44-м годами в Ницце, в Валлон-Обскюр.  
— От чего?  
— От проказы.  
Вот уж действительно Ги не приносил счастья своим возлюбленным!  
Большого я от Бореля не добился. Он умер в Ницце в 1964 году.

Но, пожалуй, пора сделать выводы.

**Безымянные, недатированные письма Мопассана, собранные в «Тетради Жизель», не были адресованы одному и тому же лицу.** Вопреки утверждению Бореля Жизель была не единственной и не последней любовью Мопассана. Эта правдивая и захватывающая история была непомерно раздута, украшена деталями, позаимствованными либо из смежных источников, либо из самих произведений Мопассана, — деталями если и невыдуманными, то зачастую шитыми белыми нитками.

Дерзкая подтасовка документов «Тетради Жизель», будь то дело рук Пиляра д'Аркаи или Пьера Бореля, совершенно неопровержима.

Но какова история! Леон Фонтен, хитрый малый из «Мушки», которого именно так характеризовал Ги, и не ошибся, опубликовал вместе с Пьером Борелем свои воспоминания, отлично зная, что его «брат по гребле» пришел бы от них в ярость. Все бумаги Жизель были проданы тому же Борелю Пиляром. Наш Борель также продал их, и не единожды. Вся эта пикантная авантюра была проведена в истинно нормандском стиле самого Мопассана. Подклейки, подтирки, искажения, подтасовки, плагиат, сделки, вымогательства составили великолепную посмертную иллюстрацию к жизни Мопассана. Рассмотрим последнюю страницу этого досье, не имеющего себе равных: Андрогина рыщет перед решетками «Замка Трех Звезд», куда ее не впускают по приказу Лоры, так же как и Жозефину Литцельман, Мари Канн, кроткую Эрмину и всех тех, кого нам не суждено узнать! Из того же Пасси Франсуа Тассар пишет на своем невообразимом французском языке Камиллю Удино: «Сударь. Посещения господина де Мопассана моего доброго хозяина отменены до нового распоряжения эта мера принята семьей вместе с врачами для отдыха нашего больного».

Романтические тени блуждают в Пасси вокруг сумрачного здания.

*Заведение доктора Бланша. — Зеркала. — Агония на глазах у всех. — Негодование Луи Гандера. — Гонкур у принцессы. — Сюрреалистическая агония. — Сатана и мед. — «Боже, вы сумасшедший!» — Тьма*

6 января 1892 года Ги де Мопассан в сопровождении Франсуа и рослого санитаря дожидается поезда в кабинете начальника Каннского вокзала. Как торжественно этот начальник приветствовал здесь великого писателя всего три месяца тому назад! На завтра в десять утра Анри Казалис и Оллендорф встретили его на Лионском вокзале и увезли в Пасси.

— В замке по улице Бертон, 17 жила с 1783 по 1792 год принцесса де Ламбаль. В этом родовом гнезде обезглавленной аристократки доктор Эспри Бланш разместил свою клинику.

Улочка с поросшей травой и мхом мостовой, толстая стена... Лесенки ведут прямо в парк. Двускатная крыша квадратной формы характерна для домов этого аристократического предместья Парижа. Тоска по вечной нирване витает в запущенном парке.

Решетчатые ворота закрываются за больным бычком. Ключ с ритмичным скрежетом поворачивается в замке. Отныне этому ритму будет подчинена жизнь того, которому уже не удастся выйти отсюда.

«Я люблю старинные зеркала», — говорил когда-то Ги Жизель. «Я люблю подолгу стоять, вглядываясь в темное свечение зеркального стекла. Зеркала таят в себе нерушимые, неприкосновенные тайны любви и смерти». Еще раз зеркало отражает его застывшее лицо.

Здесь, в Пасси, Мопассан вновь попадает в зеркальный капкан, преследовавший его всю жизнь.

Бесполезно пытаться угадать, что переживал Мопассан, вглядываясь в холодную поверхность стекла; только тот, кого поразит его недуг, сможет постигнуть эту тайну. Стоило бы спросить у больного перед зеркалом, что он видит, что хочет увидеть, дабы представить себе картину помутненного разума. Я не нашел такого больного — мне встретила больная. Вот документ, который она передала мне, без каких-либо поправок или изменений: «Зеркала влекли меня к себе, как свет — ночную бабочку. Я стояла перед зеркалом, оцепенев, прижав руки к туловищу, словно

собиралась войти в свое отражение. Пристально глядя на себя, не шелохнув ресницами, неподвижная как статуя, я казалась себе самой высеченной из холодного мрамора. Лицо мое как бы суживалось, утрачивало недостатки, становилось гладким, как у античного пастушка. Я заглядывала в свои собственные глаза. Некто — не я, другая, излучавшая мягкий свет тысячелетней давности, ждала меня в глубине зеркала. Я звала, что я стою — но та, **другая**, сидела на чем-то, напоминавшем трон из расплавленного искрящегося золота. Ледяные глаза гипнотизировали меня. Я не могла освободиться от гипнотической силы этого взгляда, направленного на меня из потустороннего мира — оттуда, из-за зеркала, которое — я понимала это — здесь, передо мною, но которое уже не существовало для меня.

Спустя какое-то время — час, два — я вдруг несколько раз подряд очень глубоко вздохнула. И сияние, исходившее от нее, вдруг надломилось, растрескалось и исчезло. Лицо ее заплесало передо мной, как отражение в воде, а потом приняло форму и черты моего лица. Я вновь увидела свои глаза, подлинные, проникнутые всей грустью мира, и я разразилась душераздирающими рыданиями, которые принесли мне успокоение».

Сделав поправки на то, что рассказ этот принадлежит женщине, поддавшейся — в отличие от Мопассана — лечению, мы можем представить себе Ги, застывшего в неподвижности перед зеркалом в доме на улице Бертон.

Теперь в психиатрических лечебницах нет зеркал.

В то время как «Голуа» тщательно описывает заведение доктора Бланша, другая газета — «Эко де Пари» — 7 января, в четверг, перепечатывает информацию из «Литераль», в которой утверждается, что, будучи не в состоянии закончить «Анжелюса», писатель пытался убить себя.

Андре Верворт в «Эптрансижан» от 12 января пишет: «Так ли уж было необходимо запихивать Мопассана — лишь для того, чтобы лишить его возможности вдыхать эфир и курить опиум, — в заведение владельца «Замка Трех Звезд», создавая ему тем самым: дополнительную рекламу? Не будет ли вызван нежелательный кризис тем, что, почувствовав облегчение после насильственного воздержания, писатель обнаружит себя пациентом знаменитого специалиста по душевным заболеваниям?»

10 января в «Голуа» Луи де Буссе де Фурко скрупулезно сравнивает невроты Бодлера, Нерваля и Мопассана... Разумеется, все газеты как одна говорят **о сумасшествии**.

В «Эко де ля Семен» находим странные подробности: «Его мозг

представляется ему самому лишенным мыслей... Он сознает, что образовалась какая-то пустота. «Где же мои мысли?» — спрашивает он. Он ищет их вокруг себя, как искал прежде свой платок или трость. Он ищет не переставая — шарит, выходит из себя, раздражается: «Мои мысли! Не видели ли вы их?»...Они вокруг него. Это бабочки, за фантастическим полетом которых он следит».

Это недостойное стилистическое упражнение не что иное, как журналистский пересказ праздных разговоров врача, пожелавшего остаться анонимным.

Эмиль Готье опубликовал в «Эко де Пари» самую гнусную из всех статей, появлявшихся до сих пор по поводу болезни Мопассана: «Автор «Нашего сердца» разжижал чернила эфиром, в котором растворился его мозг. Несколько капель этого дьявольского состава ежедневно было достаточно для того, чтобы его голова треснула, как перезревший орех, и блистательный мастер искусства превратился в инвалида, слабоумного, сумасшедшего...»

Журналист Луи Гандера отправляет врачу Анри Казалису письмо: «Я же говорил вам, что необходимо (если возможно) сообщить не мешкая **всем журналистам**, что Мопассан читает газеты! Сегодня утром «Эко де Пари» даже не дает сводки о его состоянии, но печатает — по-видимому, по недосмотру — материал г-на Эмиля Готье «Любители эфира», где Мопассан называется слабоумным и сумасшедшим».

Октав Мирбо говорит Клоду Моне: «С тех пор, как я узнал об этой драме, у меня из головы не идут слова Сен-Жюста: «Не имеющий друзей обречен на гибель!» А Мопассан никогда ничего не любил — ни свое искусство, ни цветов, — ничего! Справедливость сразила его...»

И это говорит Мирбо! Он, надо полагать, позабыл друзей из ресторана Траппа, позабыл, наконец, о том, какой прекрасной репутацией пользовался Мопассан среди своих друзей. Мопассан без друзей?! После Флобера, Буйле, Тургенева он сохранил Эредиа, Катюля Мендеса, Поля Бурже, Казалиса, Малларме, Порто-Риша, Гюисманса, Энника, Сеара, Удино, не говоря уже о друзьях юности — Леоне Фонтене и Робере Пеншоне. Напротив: Мопассан имел верных друзей и был верен им! И что бы там ни говорили, он любил свое искусство и не представлял себе жизни без работы. Он был страстно влюблен в цветы, в природу, в воду, в жизнь.

В понедельник 30 января 1893 года, за несколько месяцев до смерти Мопассана, Эдмон де Гонкур заносит в свой дневник: «Доктор Бланш, который сегодня вечером был в гостях у принцессы, отвел нас в сторону и



сказал, что Мопассан превращается в животное».

Это одно-единственное слово ужасает, ошеломляет!

9 января, не зная еще о том, что ждет Мопассана, Гонкур вычеркнул его из списков своей будущей академии.

10 января доктор Бланш тщательно обследовал больного. Вслед за тем он сказал Франсуа:

— Он ответил на все мои вопросы. Не все еще потеряно. Подождем.

До апреля исход борьбы еще не был ясен. Доктор Бланш и Мерио вынуждены защищаться от атак друзей писателя, а главным образом приятельниц, которые, посетив его в один из относительно спокойных дней, настаивают на никчемности дальнейшего пребывания Ги в «Замке Трех Звезд». Тассар ухаживает за своим хозяином вместе с санитаром Бароном. Душевное состояние Мопассана улучшается. И вдруг однажды, когда Тассар, сидя в комнате, писал письмо госпоже де Мопассан, Ги набрасывается на него:

— А, так это вы заняли мое место в «Фигаро»! Я прошу вас немедленно уйти! Я не желаю вас больше видеть!

Когда Франсуа рассказал о происшествии доктору Бланшу, тот прошептал:

— Как раз этого я и опасался!

Хотелось бы восстановить то, что происходило изо дня в день на улице Бертон, но ни одна из медицинских записей о болезни Мопассана не дошла до нас. И все же благодаря ассистенту доктора Мерио, Франклину Гру, влюбленному в Каролину Комманвиль, мы кое-что знаем.

Повторяющиеся видения освещают нечто удивительно важное в прошлой жизни больного. Так, например, Мопассан уверен, что он живет в доме, населенном сифилитиками (неотвязное воспоминание о причине своей болезни).

И января он провел беспокойную ночь. Приходил сатана. Ги обтер, все тело туалетной водой (старая боязнь микробов и устойчивая привычка к водным процедурам). Он снова рассуждал о соли, проникшей в его мозг. Затем он потребовал почту и газеты.

Просветление длится недолго. Земля кишмя кишит насекомыми, выделяющими морфий. Он слышит, как в парке ревет чернь (историческая реминисценция по поводу гибели принцессы де Ламбаль). Он общается с мертвыми. Смерти не существует. Он беседует с Флобером и Эрве.

— Их голоса так слабы, словно бы они доносятся издалека...

Ги написал письмо Людовику XIII, советуя ему построить

великолепные могилы, комфортабельные, с холодными и горячими ваннами (разумеется!). С покойниками, содержащимися в таких прекрасных условиях, будет нетрудно общаться через маленькое окошко.

Бред величия все усиливается: за его пребывание здесь платят его друзья Ротшильды. Однако он предпочитает вернуться к себе — в самый роскошный дом Парижа.

14 января он заявляет:

— Бог изрек во всеуслышание на весь Париж с высоты Эйфелевой башни (эта фантазия — фантазия именно Мопассана, а не другого больного), что господин де Мопассан — сын бога и Иисуса Христа!

Он скажет также: «Иисус Христос спал с моей матерью. Я сын бога!» Удивительный эпилог к «Пьеру и Жану».

18 января Мопассан жалуется:

— Снаряды, выпущенные в дом, взорвались!

Эрве просит Ги расширить его могилу (виновность перед братом и навязчивая мысль о смерти).

Страх, подспудно таившийся в его творчестве, высвобождается. Страх перед ночью превращается в страх перед смертью. Страх, страх, страх...

23 января он бредит:

— Дайте же мне яйца! Я заплачу сто тысяч франков... Нотариус продал мой дом в Этрета за 1500 франков. Он стоил 35 тысяч. Это принесло мне сто тысяч убытка. Мою рукопись, которую я хотел уничтожить, украл сатана!

Этот ужасный январь тянется так медленно!

— Оллендорфа и Авара вывели на чистую воду (профессиональное недоверие к издателям. — А. Л.). Вайк обнаружил их тайник. Сорок миллионов положены на мое имя! Жакоб (его поверенный. — А. Л.) арестован. Пятьсот тысяч франков, которые он должен был получить в Америке, переведены на Французский банк. Ио это не пятьсот тысяч франков, а пятьсот миллионов! Меня засадят в тюрьму так же, как и Франсуа за «дело Ротшильда»!

28 января он швыряет мед, который ему принесли. Мед смертелен, потому что пчелы собирают нектар с наперстянки.

29-го он кричит, обращаясь к невидимому существу:

— Ты лжешь! Это неправда! Сегодня я не ем — я причащаюсь!

Он продолжает разговаривать со стеной:

— Эрве, Эрве! Меня хотят убить! Сожгите все бумаги, убейте жандарма!

31-го он заказывает завтрак для своей матери, невестки, племянницы

Симоны и Эрве.

— Они здесь, но они не знают, где дверь. Кстати, доктор Мерио, вы получили шестьдесят миллионов, которые мой нотариус приготовил для Панамы?

Франсуа хочет отравить его, поливая ему вино на пуп. Белое вино — это лак. Он снова возвращается к яйцам. В погребе доктора Мерио хранится тысяча двести яиц. А искусственные желудки (неотвязная мысль) стоят двенадцать тысяч франков.

— У всех католиков искусственные желудки.

Папа римский, бог, дьявол, католики, религиозная озабоченность преследуют его:

— Оденьте меня — я отправляюсь на поезде в чистилище.

9 февраля он без конца твердит о враче, который согласно семейной легенде принимал его во время родов Лоры и долго выправлял ему череп, как то было принято в деревнях. 10-го он утверждает, что его похоронили за день до этого, отзывается о боге как о «глупом старике» и зовет «пожарников», чтобы они извлекли снаряды из-под монастыря.

Назавтра он поносит доктора Мерио:

— Ты грязный старикашка! Боже, вы сумасшедший! Франсуа только что признался мне, что украл у меня восемьсот миллионов... Это не я, это барон де Во объявил войну! Вы не можете меня убить — я неуязвим... Я сам убью всех чертей!

Это продолжение безумия «Анжелюса» и «Бесполезной красоты», фантастическое искажение «дел божьих». Время от времени возникает какая-то понятная деталь, и снова тьма воцаряется в тайниках его сознания.

— Это не телятина. Это человеческий зародыш. О, до чего омерзительны эти женщины!.. Мне было двенадцать лет... Все прекрасно знали, что мадемуазель Х... развратна, а вы говорите, что я... ее! Вы лгун, старый каналья, старый прохвост!..

14, 15, 16 февраля его посетили Оллендорф, Жакоб и Казалис, с которыми он долго беседовал. 16-го вновь жестокая вспышка, в которой перемешаны черты, угрозы в адрес бога, военный разгром:

— Только черты вечны. Я сильнее бога. Французская армия обещена, она в плачевном состоянии.

Весь этот бред тесно связан с личностью, находящейся в состоянии распада.

20 февраля:

— Люцифер погубил себя мадерой. Все женщины мира были обещены мною!

23 февраля:

— Я убью бога, заразив его черной оспой.

2 марта:

— Мертвые говорят.

9 марта:

— Повара, пожарники, принесите курицу с рисом!

И снова приступ богохульства:

— Бог, вы самый жестокий из всех богов! Я запрещаю вам со мной разговаривать! Вы просто идиот! Дьявол, убейте бога!.. Люцифер, я кончил. Весь мир будет принадлежать мне!.. Вы же знаете, что языческие боги любят меня!

Какое удивительное просветление! Человекозверь, Венера Сиракузская и Овн из Палермо...

— Моя мать, получив от меня двадцать миллионов, воскликнула: «Яумираю с голода!»

Заменим «двадцать миллионов» более скромной суммой — и это будет правдой.

Подходит март. Ги не желает мочиться:

— Нельзя мочиться во время агонии. Я буду страшно силен! Но если вы прибегнете к помощи катетера, наступит немедленная смерть... Это бриллианты! Мой живот набит бриллиантами! Заприте их в сейф! Если вы посмеете меня зондировать, я прикажу моим ангелам-хранителям связать вас.

30 марта Гонкур записывает: «Г-жа Комманвиль... сообщила мне печальные вести о Мопассане. Он больше не говорит о своем незавершенном романе «Анжелюс». Недавно он хотел послать кому-то телеграмму, но никак не мог ее составить. В общем, он проводит все свои дни в беседе со стеной своей палаты».

Каролина Комманвиль вышла замуж за доктора Франклина Гру. Все новости о Мопассане просачиваются за стены приюта благодаря этой семейной паре.

Последний год беспросветен. Время остановилось. Скрежещет ключ в замке решетчатых ворот.

У больного бывает просветление. Тогда он интересуется вольерами для птиц. Санитар рассказывает ему о птицах. В октябре туманы, поднимающиеся с Сены, волочат свою бахрому до облетевшему парку. Ги часами сидит неподвижно. Рукопожатия врачей. Рукопожатия больных. Скрип дверей. Ключи...

В пасхальный понедельник 3 апреля 1893 года он выходит в парк в

сопровождении Франсуа и санитара Биспалье. Он радуется рождению весны. Биспалье указывает ему на красивое, уже зазеленевшее дерево.

— Да, очень красиво. Но это несравнимо с моими серебристыми тополями под Этрета!

И вдруг он пугается:

— Вот инженеры, вот инженеры, которые копают землю, которые роют...

Или же всовывает в землю щепочки:

— Посадим это здесь! А на будущий год здесь вырастут маленькие Мопассаны.

Альберу Казну д'Анверу он бросает в миг просветления:

— Уходите! Через секунду я перестану быть самим собой.

Он звонит.

— Санитар! Наденьте на меня рубашку. Скорей, скорей!

Однажды он уложил на месте больного, бросив в него бильярдный шар. Самые верные друзья — Анри Сеар, Бод де Морселе — все еще посещают его. Они уходят, охваченные ужасом.

25 марта 1893 года больной пережил приступ конвульсии, напоминавший эпилептический припадок. Страдания продолжались шесть часов. Такие приступы повторяются двадцать пятого апреля и двадцать пятого мая. После этого его придется кормить с ложки. Время тяжелых припадков закончилось. Наступил последний этап.

Доктор Бланш рассказывал Ириарту, главному редактору «Монд Иллюстре»: «Он меня называет «доктор». Но теперь «доктор» для него — любой человек. Я для него уже не доктор Бланш!» Ириарт и Гонкур передают: «Бланш набросал печальный портрет. Он сказал, что у Мопассана лицо настоящего сумасшедшего — блуждающий взгляд, разинутый рот».

Если это выражение — «лицо настоящего сумасшедшего» — и недостаточно убедительно для специалиста, то, возможно, суровый психиатр употребил его специально для профанов. В его рассказе, однако, присутствует и чудовищный, **зримый** штрих: «разинутый рот».

Обессилевший, увядший, с красными потухшими глазами, с опущенными плечами, с исхудавшими восковыми руками, Мопассан уже не в состоянии подняться с постели. 14 июня конвульсии возобновляются. Врачи полагают, что это конец. Но сердце еще выносливо. 28 июня новый приступ. Он выходит из этого состояния, приоткрывает глаза, шевелит рукой.

Ги перестал страдать 6 июля 1893 года в 11 часов 45 минут дня.

Последними его словами были:  
«Тьма! О, тьма!»

«Отпевание Анри-Рене-Альбера-Ги де Мопассана, писателя, скончавшегося в Париже 6 июля 1893 года в возрасте 43 лет... состоится в ближайшую субботу сего месяца, ровно в полдень, в приходской церкви святого Петра в Шайо...»

Это извещение попало в руки Александра Дюма-сына. Он бросается на вокзал. В Шайо уже собралась многочисленная толпа. Родственники представлены доктором Фантоном д'Андоном, братом вдовы Эрве. Он идет за гробом вместе с Эмилем Золя, Оллендорфом, Жакобом, возмущенно поглядывая по сторонам: Лора осталась в Ницце, прислав вместо себя горничную Мари Мей, не приехал также и отец. Говорят, мать не видела сына с того дня, как он попал в Пасси. Полвека спустя доктор Фантой д'Андон скажет эти страшные слова: «В этой семье, сударь, живые не желали беспокоиться даже о том, чтобы похоронить мертвых!»

Идет Франсуа — лицо опухло, глаза покраснели. Это он — семья Мопассана... Анри Ружон, Катюль Мендес, Альбер Казн д'Анвер, Анри Сеар, Жозеф Рейнак, Жан Бери, Анри Боэр, Марсель Прево, Поль Алексис, Анри Лаведан и Эредиа собираются перед могилой, пропуская вперед Золя. Золя говорит глухим от волнения голосом. Для своей речи он специально перечитал письма Ги. Вот письмо, написанное сразу после смерти Флобера:

«Я не могу передать того, что переживаю в связи со смертью Флобера. Его образ непрестанно предо мной, мне чудится его голос. Я вижу его жесты, я вижу его самого — в коричневом халате, с воздетыми в разговоре руками...»

«Меньше, чем от кого бы то ни было, разило от него чернилами... Он даже стал подчеркнуто избегать всяких разговоров о литературе, сторониться писательской среды, работая, как говорил он сам, в силу необходимости, а не ради славы. Пас, чья жизнь была целиком отдана литературным заботам, это немного удивляло...»

Голос изменяет ему:

«Мопассан — боже великий! — Мопассан потерял рассудок! Все удачи, цветущее здоровье — все рухнуло разом. Какой ужас!»

Превозмогая страх перед смертью, Золя продолжает:

«Мы сохраним о нем память как о самом счастливом и самом несчастном из людей, на чьем примере мы с особой остротой ощущаем горечь крушения человеческих надежд; мы сохраним о нем память как о любимом брате, баловне семьи, ушедшем навеки и горько оплакиваемом

всеми».

И заканчивает пророческой фразой:

«А впрочем, кто решится утверждать, что болезнь и смерть не ведают, что творят?»

Анри Сеар произносит несколько трогательных слов от имени друзей юности. Гребцы из «Лягушатни» слушают, глаза их воспалены от слез. Прощаясь с Жозефом Прюнье, своим президентом, они хоронят и свою молодость.

— Какая судьба! — повторяет Дюма. — Какая потеря для литературы! О, какой это был гуляка!..

И присутствие какой-то неизвестной дамы в костюме эльзаски, проследовавшей за катафалком от церкви Святого Петра до кладбища, словно бы подтверждает его слова.

Туманом неизвестности окутано рождение Ги, и участие его в войне 1870 года, и вся его жизнь в целом. Он избегал откровений и уничтожал все то, что могло его изобличить. В возрасте, когда влекут собственные воспоминания, он был поражен безумием. После его смерти мать и отец не сохраняют ничего, что помогло бы проникнуть в тайну его жизни. Они продают Ла Гийетт, «Милого друга», обстановку квартиры на улице Боккадор. Лора продала и раздала все, сохранив лишь те предметы, которые представляли интерес для нее самой.

Утрачены навсегда некоторые редкие документы, проданные с аукциона в отеле Друо 20 и 21 декабря 1893 года. Заинтересованные в сохранении тайны, покупатели — миленькие графини, писатели, художники — торопливо совали в карманы компрометирующие их бумаги...

Этим публичным разбазариванием было положено начало дьявольской пляске, продолжавшейся целых полвека. Беспардонные плуты вроде Жизель д'Эсток, Пиляра д'Аркаи, Пьера Бореля, англичанина Франка Гарриса и многие другие с легкостью подделывали и искажали документы. В то время как «благочестивые руки» пытались стереть все следы «мерзостей» Милого друга, распутники рылись в его грязном белье. Все в этой жизни неясно и туманно, как, впрочем, того хотел сам Мопассан:

«Если я когда-нибудь стану достаточно известным для того, чтобы любопытное потомство заинтересовалось тайной моей жизни, то одна мысль о том, что тень, в которой я держу свое сердце, будет освещена печатными сообщениями, разоблачениями, ссылками, разъяснениями, порождает во мне невыразимую тоску и непреодолимый гнев...»

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Мопассан был реалистом, и это исчерпывающе доказано Анри Барбюсом: «Он представляется мне выше Флобера, украшавшего великолепие реального словесным орнаментом».

Мопассан сейчас более актуален политическим звучанием своего творчества, чем пятнадцать лет, тем более чем тридцать лет назад, но он столь же современен и формой своих рассказов. Жюль Ренар говорил: «Я люблю Ги де Мопассана, потому что мне кажется — он пишет для меня, а не для себя». Это и есть та самая естественность, которую нельзя превзойти. Мопассан — это раскованный Флобер.

В предисловии к «Пьеру и Жану», которое с таким трудом переварил Эдмон де Гонкур, Мопассан загодя защищался от нападок маститых писателей, которых он называл «манерными». Он нередко приближался к своему идеалу: «Проникать в самые сокровенные мысли, улавливать ускользающие впечатления и выражать их самыми простыми словами, которыми мы пользуемся повседневно».

Подлинная, столь близкая нам трагедия Мопассана заключается в том, что творчество его не достигло истинного расцвета и *не получило* естественного завершения.

Необходимо отметить, что вторая половина XIX века была необыкновенно богата талантами, **которые далеко не исчерпали своих возможностей**. Эта мысль осенила и самого Мопассана. Вот что он сказал по этому поводу: «Сегодня во Франции существуют лишь нерасцветшие таланты». Делакруа, Берлиоз, Гюго, Стендаль, Бальзак раскрылись до конца. В Сезанне же, Ван-Гоге, Гогене, Родене, Дебюсси, так же как в Марселе Прусте, есть что-то ущербное, быть может, более трогательное, но, безусловно, незавершенное. Мопассан — их сводный брат по незавершенности. Когда улягутся страсти вокруг категоричных славословий фанатиков — приверженцев этих мастеров (мастеров, безусловно, великолепных), тогда станет совершенно ясно, что именно в незавершенности отличительная черта всего искусства второй половины XIX века. Убедившись в этом и объективно изучая причины, приведшие к такому положению, исследователи найдут их в неуклонной деградации общества того времени.

В декабре 1891 года, во время судебного процесса с американскими



издателями, Мопассан сообщил своему поверенному Жакобу данные о своих заокеанских тиражах: 169 тысяч экземпляров сборников новелл, 180 тысяч экземпляров романов, 24 тысячи экземпляров сборников путевых очерков.

Среди его почитателей за океаном и тех, кто признается, что в той или иной степени испытывал на себе его влияние, мы находим Уильяма Сарояна, Эрскина Колдуэлла, Теодора Драйзера.

Еще более ценим Мопассан в России. Тургенев и Толстой ставили его произведения очень высоко.

В 1958 году советские издатели привели интересную статистику: произведения Мопассана выдержали на 16 языках народов СССР более трехсот изданий, составивших тираж более 10 миллионов экземпляров. Он уступил первенство лишь Виктору Гюго, опередив Бальзака, Золя, Флобера, Александра Дюма, Стендаля и даже Жюль Верна. По этому поводу «Нувель де Моску» ссылалась на Чехова, предпочитавшего Мопассана Толстому и намеревавшегося перевести на русский язык основные его произведения. Таким образом, крылатое выражение «французский Чехов», оставаясь уязвимым в историко-литературном плане, не высосано тем не менее из пальца.

Стефан Цвейг находил в нем «почти сверхъестественное чувство меры». Томас Манн видел в нем великого мастера-новеллиста мирового масштаба. А Генрих Манн и Джон Голсуорси не скрывали того, что ощутили на себе его влияние. Незадолго до своей смерти Соммерсет Моэм говорил: «Я часто думаю о Ги де Мопассане. Он представляется мне лучшим новеллистом XIX века». Влияние Мопассана сказалось на «Сицилийских рассказах» Пиранделло, на новеллах Моравиа.

Новеллы и романы Мопассана, в которых Сергей Эйзенштейн видел «прекрасные образы высокохудожественного монтажа», явились, само собой разумеется, предметом многочисленных экранизаций...

Кинематограф и телевидение, однако, дали нам пока еще фрагментарное и подчас несколько искаженное представление о творчестве Мопассана. Мопассан и сегодня еще слишком едок. Впрочем, как и Золя... Произведения Мопассана и Золя и сегодня сохраняют **злободневность**.

Эта книга закончена, но еще далеко не завершена. Теперь, после двенадцати лет работы, я знаю, что мне вряд ли удастся это когда-либо сделать. Слишком много документов непоправимо поглотило прошлое. Вокруг Мопассана всегда будет много неясного и недоговоренного. Я благодарю всех, кто мне помогал в этой трудной работе.

*Декабрь 1966.*

## О МОПАССАНЕ И О КНИГЕ ЛАНУ

О своей писательской судьбе поразительно верно сказал сам Мопассан: «Я вошел в литературу как метеор — я исчезну с ударом грома». Ему было тогда 40 лет, он был в зените славы, он шутил и, конечно, не подозревал, сколько горькой правды заключено в этих словах... Его имя действительно вспыхнуло неожиданно и ярко на литературном небосклоне Франции... 1880 год... Выходит в свет книга «Меданские вечера», написанная несколькими авторами. Читатели восхищены рассказом «Пышка». К Мопассану приходит единодушное признание. Публика, ничего не зная о долгих родах ученичества, поисков и неудач, удивляется внезапно появившемуся таланту. Строгий учитель Мопассана, неутомимый труженик литературы Флобер плачет от радости и пишет своему ученику: «Мне не терпится сказать Вам, что я считаю «Пышку» шедевром». В последующие годы Мопассан поражает читателей щедростью своего таланта: появляются сборники новелл, романы, многочисленные статьи, очерки. Но прошло всего двенадцать лет, и он перестал писать. Ярко вспыхнувший метеор погас. В 1893 году, всего сорока трех лет от роду, Мопассан умирает. Ошеломленные его успехом современники еще не успели осмыслить его славу, не успели вчитаться и вдуматься в его книги, определить свое отношение к его творчеству, понять и оценить его, а Мопассана уже не стало.

Академическая критика отнеслась к этому неожиданному, яркому и редкому литературному явлению вначале очень настороженно. Мопассана долго не пускали в официальную историю французской литературы, а когда допустили, то только после ряда оговорок, отведя ему весьма скромное место.

Мопассана всегда много и охотно читали, но большая популярность писателя, как это ни парадоксально, только мешала глубокому пониманию и правильной оценке его произведений и их места в литературе. За ним надолго установилась репутация поверхностного бытописателя, автора интересных, но легковесных новелл, в основном фривольного содержания. Книги Мопассана многих привлекали лишь как своеобразный запретный плод литературы. Знакомясь с Мопассаном часто в ранней юности, когда невозможно еще понять всю глубину его мысли, его мироощущение, постигнуть величие и значение его таланта, когда запоминаются главным образом лишь сюжетные ситуации, многие читатели сохраняли на всю

жизнь это поверхностное восприятие.

Мопассана и теперь читают более нежели других классиков XIX века, но знают и понимают его гораздо меньше. Не случайно прогрессивная французская печать подчеркивала в 1950 году (в дни юбилея писателя), что надо научиться читать Мопассана, так как всем известный Мопассан для многих всего лишь «знаменитый незнакомец».

Только в последние десятилетия Мопассан занял принадлежащее ему по праву почетное место в литературе. За эти годы как во Франции, так и в других странах появилось немало серьезных и интересных работ о Мопассане и оказалось, что «знаменитый незнакомец» — один из наиболее актуальных писателей среди художников второй половины XIX века, что его мысль, его видение мира во многом предвосхищают открытия современной литературы. Интерес к творчеству Мопассана вызвал усиленный интерес и к его личности. Немногочисленные биографии, часто похожие скорее на собрание анекдотов, рассчитанные на вкус не очень требовательного читателя, мало кого могли удовлетворить. Существовали, конечно, и неплохие книги о писателе (классические биографии, написанные Мейниалем, Дюменилем и др.), но и в них не все было ясно, многое было недосказано, тем более что далеко не все написанное Мопассаном было известно и собрано к тому времени, когда создавались эти книги. Понять и узнать Мопассана-человека оказалось сложнее, чем Мопассана-писателя. Мопассан-художник красноречиво свидетельствовал о себе своими книгами, Мопассан-человек скрывал о себе все, что можно было скрыть. При жизни он не раз повторил: «Публике принадлежат наши книги, но не наша жизнь». Мопассан запрещал печатать свои портреты, не давал интервью, не писал дневников (за исключением книги «На воде»), не писал писем-исповедей, избегал предисловий к своим произведениям, уничтожал свою переписку. Он не раз повторял: «Я хочу, чтобы все то, что касается меня и моей жизни, никогда не было разглашено».

Поэтому понять и представить себе сложную, противоречивую личность художника, последовать за ним в сокровенную лабораторию его творчества, в тайники его мысли, пройти вместе с ним ярким, неровным и подчас трагическим путем, разобраться в его поисках и ошибках, взлетах и падениях очень трудно.

Решить эту сложную, но увлекательную задачу попытался французский писатель Арман Лану...

Интерес Лану к творчеству Мопассана не случаен. В современной литературе Франции, богатой различными модернистскими течениями, школами и группами, Лану последовательно сохраняет верность

реалистическим традициям, сохраняет верность жанру социального романа, в котором он видит «средство познания общества и человека».

Арман Лану (родился в 1913 году) дебютировал в литературе в 1943 году; за четверть века литературной работы он создал много романов, очерков, стал лауреатом четырех литературных премий, членом Академии Гонкуров. Писателя, прошедшего через суровые испытания второй мировой войны, хорошо узнавшего, что такое фашизм, что такое предательство и героизм, всегда волнуют проблемы современности. Наибольший успех имела его трилогия «Безумная Грета» (1956–1963), посвященная войне, оккупации и Сопротивлению. Два романа этой трилогии — «Майор Ватрен» и «Когда море отступав» хорошо известны советскому читателю. Отстаивая реалистическое искусство, Лану заинтересовался крупнейшими мастерами реалистического романа второй половины XIX века. В 1954 году вышла его книга «Здравствуйтесь, господин Золя», привлекавшая внимание читателей богатством и достоверностью фактического материала, интересным и многообразным раскрытием жизни и творчества создателя «Ругон-Маккаров».

После Золя писатель заинтересовался биографией его ученика — Ги де Мопассана, который, как каждый талантливый ученик, взяв многое от своего учителя, пошел в искусстве своей неповторимой дорогой.

Создавая книгу о Мопассане, Лану проделал большую исследовательскую работу, ей было отдано двенадцать лет упорного труда. За это время писатель стремился изучить все, что было известно о Мопассане, отыскивал новые документы в архивах и частных собраниях, собрал письма, воспоминания современников, охваченный страстью поиска, побывал во всех местах, связанных с жизнью Мопассана. В 1966 году книга вышла в свет. Это яркая научно-художественная биография, а не биографический роман. Различие между этими двумя понятиями на первый взгляд незначительно, на самом деле весьма существенно. Жанр биографического романа предполагает большую свободу авторского вымысла, стремление воссоздать отдельные эпизоды из жизни героя, за которые как бы «прячется» автор биографии, не высказывая открыто свою точку зрения.

Лану же переносит центр тяжести на точное изложение фактов, документов, постоянно комментируя их. Арман Лану любит своего героя, увлечен его талантом, скорбит по поводу его трагической судьбы. Глубокое понимание творчества Мопассана, высокая оценка его места во французской литературе не мешают, однако, Лану сказать всю сложную, подчас горькую правду о личности этого большого писателя. Он не

идеализирует его, говорит обо всем без утайки. Биограф высказывается как строгий, взыскательный друг, который хочет все понять и во всем разобраться.

Лану знает много о Мопассане, очевидно, почти все, что о нем можно узнать в 60-х годах XX столетия. Фактов, событий, документов интересных, значительных и мелких много в книге, их, может быть, слишком много, и не всегда случайное отделено от главного.

Лану часто ведет читателя тропинками литературоведа-исследователя, знакомит его с разноречивыми свидетельскими показаниями, делится своими сомнениями, приглашает вместе с собой подумать над разными толкованиями какого-нибудь факта. Книга несколько перегружена документами, ей не хватает подчас живого рассказа, обилие рассуждений, иногда даже по малозначительным поводам, несколько утомляет. Изложив различные точки зрения по вопросу, где родился Мопассан, автор в конце концов так и не останавливается ни на одном варианте. Долго обсуждается на страницах книги возможное отцовство Флобера, хотя это не подтверждается никакими фактическими доказательствами и документами, да и сам автор не верит в версию о том, что Мопассан будто бы побочный сын Флобера. Лану, однако, хочет быть как можно более достоверным и объективным. Богатство фактического материала делает книгу Армана Лану наиболее полной из всех написанных пока биографий Мопассана. Жаль только, что Лану не всегда достаточно разборчив в выборе свидетелей, он недостаточно критически подошел, например, к материалам, опубликованным Пьером Борелем, личностью во многом одиозной, любителем дешевой сенсации.

Лану изучил все, что можно собрать и узнать о Мопассане, но ему все-таки, как каждому пишущему об авторе «Милого друга», все равно не хватает фактов и документов, поэтому он иногда прибегает к приему, который не может не вызвать возражения и несогласия. Он начинает объяснять отдельные эпизоды жизни писателя, используя материал его произведений, то есть отождествлять автора с его героями. Творчество каждого писателя, безусловно, отражает как его общественный, так и личный опыт, тесно связано со всем виденным и пережитым в жизни, носит черты автобиографичности, но точного совпадения может и не быть. Вряд ли допустимо видеть в рассказе «Гарсон, кружку пива!» точное воспроизведение сцен детства Мопассана. Во всяком случае, это очень спорно. Еще более спорно приводить в качестве аргумента, доказывающего, что Мопассан был будто бы незаконным сыном Флобера, рассказ «Папа Симона» только на том основании, что в нем глубоко и верно

показаны переживания мальчика, растущего без отца. То же самое относится и к трактовке Лану романа «Пьер и Жан», рассказа «Сестры Рондоли» и др.

Сводить большую часть произведений к автобиографическим моментам, только к самовыражению — это значит неизбежно сужать социальное звучание творчества большого художника.

Арман Лану, недостаточно четко разбираясь в современных общественных явлениях, зачастую оценивает их с внеклассовых позиций, позиций мелкобуржуазной интеллигенции. Все это в какой-то мере сказалось и в настоящей работе. Так например, он несколько преувеличил болезненные мотивы в творчестве писателя, ему подчас свойственно желание видеть в произведениях Мопассана своеобразную историю развития его болезни. Это далеко не так. И если в рассказе «Орля» описаны галлюцинации героя, это еще не доказывает, что Мопассан сам был психически больным человеком в момент создания рассказа. Наличие таинственных сюжетов, описание непонятных, иррациональных явлений свойственно ведь не только Мопассану, а многим его современникам. Эта тема была модной в литературе 80—90-х годов, когда во Франции наблюдалось повсеместное увлечение мистицизмом, иррационализмом. Достаточно вспомнить роман Золя «Мечта», некоторые рассказы Анатоля Франса, драмы Кетерлинка и т. д. Значит, не все в творчестве Мопассана объясняется только фактами его биографии. Тема фатальной обреченности писателя слишком навязчиво звучит в книге Лану, начиная с описания детства Мопассана, с описания его родных, дядюшки Альфреда Ле Пуатвена, матери и др. Лану не совсем справедлив к Лоре де Мопассан. Он не находит для нее добрых слов, однако известны очень теплые письма Мопассана к матери. Он постоянно с ней советуется, она всегда была верной помощницей в его литературных делах. Можно продолжить перечисление спорных моментов книги Лану, его увлечения любовными похождениями писателя и т. д. Но Арману Лану удалось главное — показать сложную, противоречивую натуру Мопассана, подверженную слабостям, недостаткам, метавшуюся между напускным цинизмом и обостренно горьким восприятием жизни, показать Мопассана-человека и Мопассана-художника, живо и остро реагирующего на несправедливость, пошлость и убожество окружающего буржуазного мира. Мопассан писал в 1890 году: «Я из числа людей, у которых содрана кожа и обнажены нервы». Писатель мог увлекаться греблей, поездками по Алжиру и Тунису, любовными свиданиями, но он всегда оставался прежде всего художником, главным для него всегда было его творчество. Жизнь Мопассана — пример

упорной борьбы человека за право творить вопреки болезни, которая усиливалась с каждым годом. Мужественное преодоление своих недугов, одержимость творчеством — лучшие стороны личности Мопассана. Он мог жить только до тех пор, пока он мог писать. Отсюда его мучительно-страстное желание закончить во что бы то ни стало роман «Апжелюс», то есть доказать себе, что он еще может писать, а значит, и жить.

Мопассан — фигура трагическая. Трагизм его жизни не только в тяжелой болезни и ранней смерти. История жизни Мопассана — это трагическая история большого писателя, не успевшего и, главное, не сумевшего до конца раскрыть свой редкий талант.

Почему это случилось? Книга Лану дает ответ на этот вопрос. Мопассану было всего сорок три года, когда он умер. Сорок три года — это короткий срок для человеческой жизни. Он печатался всего двенадцать лет — это ничтожно мало для писателя. И уже в последних вещах Мопассана стали проявляться опасные симптомы упадка его таланта. Эпоха политического безвременья, в которой жил писатель, не могла не отложить отпечатка на его творчество. Лану подробно рассказывает о политической обстановке во Франции в 60—90-е годы. Это последние годы Второй империи, «эпохи безумия и позора», по словам Эмиля Золя. К. Маркс писал о Второй империи: «...Биржевая спекуляция праздновала свои космополитические оргии; нищета масс резко выступала рядом с нахальным блеском беспутной роскоши, нажитой надувательством и преступлением» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 17, стр. 341). А после жестокого подавления Парижской коммуны, когда воцарилась обстановка удушливой реакции, в Третьей республике окончательно и безраздельно стал господствовать банковский капитал. Творчество Мопассана, таким образом, сложилось в эпоху, когда противоречия буржуазного общества резко обнажились. Это было время крушения буржуазных республиканских идеалов, время, когда после поражения Коммуны пролетариат только начинал вновь собирать революционные силы. Мопассан, как и его учитель Флобер, ненавидел и презирал буржуазию, но не видел никакого выхода, не верил в возможность социального прогресса. В мопассановском пессимизме отразились настроения французской мелкобуржуазной демократии 80-х годов, далекой от пролетарского движения. Общественно-политические условия Франции тех лет были мало благоприятны для полного раскрытия творческого гения писателя; пессимизм Мопассана неизбежно суживал и ограничивал его взгляд на жизнь и на людей. На эту поистине трагическую сторону жизни Мопассана в свое время прозорливо указал Л. Н. Толстой: «Трагизм жизни Мопассана в том, что, находясь в



самой ужасной по своей уродливости и безнравственности среде, он силою своего таланта, того необыкновенного света, который был в нем, выбивался из мировоззрения этой среды, был уже близок к освобождению, дышал уже воздухом свободы, но, истратив на эту борьбу последние силы, не будучи в силах сделать одного последнего усилия, погиб, не освободившись».

Мопассан, презирая окружавшую его среду, не смог с ней порвать, так как не знал никаких общественных или политических идеалов, на которые мог бы опереться.

Как всякому трагическому герою, Мопассану свойственна трагическая вина. Он не смог уберечь себя, уберечь свой талант от соблазнов славы, светского успеха, лести хозяек модных салонов. Светское общество. Третьей республики погубило талант писателя. С годами славы талант его не углублялся, а растрачивался, и последние его романы: «Сильна как смерть», «Наше сердце», написанные в духе модных светско-психологических романов, намного уступают его шедеврам: «Жизни», «Милому другу», лучшим новеллам. Нельзя не вспомнить в этой связи полные горечи слова А. М. Горького: «Погиб Мопассан, грандиозный талант, отравленный фимиамом буржуазных похвал, растративший себя на создание крошечных щекочущих нервы и возбуждающих чувственность новелл, которые читались рантье после сытного обеда».

Бедна или богата внешними событиями жизнь любого художника, но всегда мерилом его значимости в истории культуры будет его творчество. В работе Лану, посвященной жизни Мопассана, естественно, много говорится и о его книгах. Лану помнит, что для нас, современных читателей, Мопассан интересен именно потому, что он мастер новеллы, автор известных романов. Лану рассказывает о становлении Мопассана-художника, о его журналистской деятельности. Он подробно останавливается на отношении Мопассана к Парижской коммуне. Интересен данный в книге анализ романов «Жизнь», «Анжелюс», много нового фактического материала содержат страницы, посвященные «Милому другу».

Лану последовательно, убедительно и справедливо разбивает долго существовавшее в литературоведении утверждение, что Мопассан-художник — натуралист, равнодушный, бесстрастный фиксатор жизненных явлений. Мопассан, безусловно, отдает известную и немалую дань натуралистическим влияниям, но как можно говорить о равнодушии писателя, когда в его лучших произведениях всегда звучит возмущение всем, что калечит и уродует жизнь, чувствуется боль за человека, нередко одинокого и страдающего.

Л. Н. Толстой писал, что Мопассан «мучается неразумностью и некрасивостью мира».

Писателю было свойственно глубокое понимание сущности современной ему жизни. Его замечательные новеллы — это блестяще написанная, своеобразная «Человеческая трагедия». Из отдельных фактов, эпизодов Мопассан составляет целостную картину современности, так же как старинный искусный мастер мозаики из отдельных кусочков цветной смальты создает большое панно. Он пишет об измельчании людей, человеческих чувств в мире чистогана и расчета, вскрывает губительную силу денег, влияние частной собственности на человеческую психологию, говорит о «горечи бытия», о наглом торжестве буржуазной пошлости. В романе «Милый друг» Мопассан выступил достойным продолжателем Бальзака, вскрыв механизм политической жизни Третьей республики. Достоинством книги Лану является то, что Мопассан поставлен рядом с лучшими реалистическими писателями Франции, что постоянно подчеркивается его близость реалистической традиции Бальзака.

В книге встречается немало имен литературных современников Мопассана, рассказывается о его отношении с Золя, с Гонкурами.

Жаль, что Лану слишком бегло говорит об отношении Мопассана к И. С. Тургеневу. Для русского читателя это было бы интересно. В творческой биографии Мопассана, в становлении его художественной писательской манеры И. С. Тургенев сыграл очень большую роль. Он, так же как и Флобер, был настоящим литературным наставником молодого писателя. Не случайно Мопассан посвятил свой первый сборник новелл «Заведение Телье» (1881) «Ивану Сергеевичу Тургеневу в знак глубокой привязанности и великого восхищения». Тургеневу Мопассан во многом обязан светлой поэтической темой некоторых своих произведений. Тургенев помогал Мопассану преодолеть натуралистически-приземленный взгляд на человека, характерный для французской литературы того времени. И. С. Тургенев много способствовал популярности Мопассана в России. Еще в 1881 году он познакомил с его творчеством Л. Н. Толстого, который позже, в 1894 году, написал замечательное по глубокому и тонкому проникновению в сущность мопассановского творчества предисловие к русскому изданию его сочинений. Критикуя отдельные стороны произведений Мопассана, Толстой в целом очень высоко его оценивает, называя роман «Жизнь» одним из лучших французских романов XIX века, подчеркивая поразительный дар писателя «видеть в предметах, на которые он направляет свое внимание, нечто новое, такое, чего не видят другие».

И. С. Тургенев рекомендовал Мопассана редактору журнала «Вестник

Европы» М. М. Стасюлевичу. Интересно отметить, что почти все романы Мопассана печатались в России одновременно с их выходом во Франции, а роман «Милый друг» начал печататься в «Вестнике Европы» в мартовском номере 1885-го, в Париже же в газете «Жиль Блас» он появился только в апрельских номерах этого же года.

И. С. Тургенев раскрыл перед Мопассаном огромные богатства русской литературы. Русская тема, очень важная в творческой биографии Мопассана, к сожалению, недостаточно полно раскрыта в книге Лану.

В разговоре о Мопассане-писателе, который ведет Лану, очень важно его стремление особенно выделить, подчеркнуть то, что делает Мопассана современным писателем, близким, понятным и интересным для читателей нашего времени.

Дело не в отдельных цитатах, а в том, что Мопассан ставит в своих произведениях ряд проблем, чрезвычайно актуальных и для современности. Через всю книгу красной нитью проходит тема: Мопассан и война. Все, что связано с войной, написано Лану горячо, с болью. Арман Лану сам хорошо знает, что такое война и что она несет народам. Мопассан становится нашим современником, когда читаешь его гневные слова, осуждающие правительства, ввергающие народы в пучину войн, когда он по-называет трусость в предательство буржуазных кругов. Лану совершенно правильно подчеркивает, что Мопассан и Золя были родоначальниками военного романа, занявшего такое большое место в современной литературе.

В своих новеллах о франко-прусской войне Мопассан говорит о великой силе народного сопротивления, о ненависти к оккупантам, о настоящем патриотизме. Вера в народ, тема героической борьбы, которую ведут с врагом не отдельные исключительные герои, а обыкновенные люди, защищающие свободу и честь родины, как известно, сделали новеллы Мопассана ценным и важным оружием патриотов в годы Сопротивления. Они перепечатывались в различных подпольных изданиях, и о самом Мопассане в годы войны не раз писала печать Сопротивления, защищавшая великого писателя Франции от нападков коллаборационистов вроде Поля Морана.

А разве Мопассан не наш современник, когда он с возмущением и негодованием говорит о позорных колониальных войнах и грабежах, когда он одним из первых в литературе XIX века поднимает вопрос об отчуждении людей в буржуазном обществе, о превращении человека-чиновника в частицу огромного бюрократического механизма?

Конечно, в биографии нельзя раскрыть всю глубину и сложность

творчества писателя, естественно, что ряд важных и серьезных проблем может быть только поставлен. Вопрос о художественном новаторстве Мопассана, о его вкладе в развитие художественного отражения мира, в понимание человека очень важен, но пока еще до конца не раскрыт ни в книге Лану, ни другими французскими исследователями его творчества.

О поразительном мастерстве Мопассана точно видеть материальный мир, о его умении отбирать только нужные и важные детали, о его таланте по-новому говорить об уже известных вещах писал еще Л. Н Толстой. Известны также и слова А. П. Чехова: «Он (Мопассан. — И. Л.) — как художник, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже невозможным».

Действительно, Мопассан обогатил реалистическую прозу XIX века тонким психологизмом, лиризмом, умением проникнуть в сложные тайники человеческой души, уловить и передать внешне почти неприметные изменения чувств, настроения своих героев. Достаточно вспомнить страницы его романов «Жизнь», «Монт-Ориоль». Писателя интересуют самые тончайшие оттенки чувств, переходы душевного состояния, ему понятен сложный душевный мир самых, казалось бы, неинтересных и заурядных людей («Прогулка», «На реке»), внутренний трагизм обыденной жизни. Но Мопассан никогда не теряет из виду тот социальный мир, в котором живут его герои, те явления общественной жизни, которые являются причиной трагических коллизий. Глубокий психологизм сочетается у него с точным изображением буржуазной действительности его времени, это дает возможность писателю с большой силой художественного обобщения раскрыть драматизм человеческой жизни в буржуазном обществе. Многие темы и проблемы, намеченные Мопассаном, найденные им новые художественные приемы получают затем дальнейшее развитие в творчестве писателей нашего времени.

Несмотря на отдельные просчеты, спорные выводы, Лану удалось подчеркнуть очень важные грани писательского дарования Мопассана. Книга будит мысль читателя, она нужна каждому интересующемуся творчеством Мопассана.

В конце книги Арман Лану замечает, что хотя биография Мопассана и написана, но его исследовательская работа еще далеко не закончена. Многое предстоит еще выяснить, уточнить. В июне 1969 года в Париже вышел специальный номер журнала «Эроп», посвященный творчеству Мопассана. В заметке «Дело Мопассана 1969 года» Лану рассказывает о новых находках, которые ему посчастливилось сделать за последние три-четыре года (более определенной стала версия Фекана как места рождения

писателя), Лану удалось прочитать несколько писем Мопассана к Жизель д'Эсток (что, однако, все еще не разъяснило вопроса, кто же была «Дама в сером»).

Современный читатель с интересом перечитывает Мопассана, открывая для себя в его книгах много нового, важного, увлекательного.

В осмысление художественного наследия французского писателя большой вклад вносят советские исследователи<sup>[\[105\]](#)</sup>. Советское литературоведение видит в Мопассане одного из великих писателей Франции.

*И. Лилеева*

## ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГИ ДЕ МОПАССАНА

**1850, 5 августа** — В Нормандии, у Гюстава и Лоры де Мопассан родился сын Анри-Рене-Альбер-Ги.

**1856** — Рождение брата Эрве.

**1859–1860** — Пребывание в лицее Наполеона в Париже.

**1863–1868** — Пребывание в духовной семинарии города Ивето.

**1868–1869** — Учится в руанском лицее.

**1869, июль** — Получив звание бакалавра, заканчивает руанский лицей.

**1869, октябрь** — Переезжает в Париж.

**1870, 19 июля** — Начало франко-прусской войны 1870–1871 годов. Осень — Призван на военную службу.

**1870, 4 сентября** — Восстание в Париже. Падение Второй империи.

**1871, 28 января** — Капитуляция Парижа.

**1871, 18 марта** — Провозглашение Парижской коммуны.

**1871, 22–28 мая** — Кровавая неделя. Подавление Коммуны.

**1872–1878** — Служит в морском министерстве. Пишет стихи, рассказы, которые остаются неопубликованными.

**1875** — Напечатана первая новелла «Рука трупа».

**1876** — В журнале «Републик де летр» под псевдонимом Ги де Вальмон напечатано первое поэтическое произведение «На берегу». В этом же журнале опубликована первая статья-очерк о творчестве Флобера.

**1877** — Поездка в Швейцарию.

**1878** — Переходит на работу в министерство народного образования.

**1880, 1 мая** — Выходит сборник «Меданские вечера».

**Май** — Становится сотрудником газеты «Голуа», печатает на ее страницах многочисленные очерки, новеллы из цикла «Воскресные прогулки парижского буржуа».

**Лето** — Оставляет службу в министерстве народного образования.

**Сентябрь — октябрь** — Путешествие по Корсике.

**1881, май** — Выход первого сборника новелл Мопассана «Заведение Телье».

**Июль** — Путешествие в Алжир.

**1882** — Выходит сборник новелл «Мадемуазель Фифи».

**Лето** — Путешествует по Бретани.

**1883, апрель** — Выходит в свет его первый роман «Жизнь».

**Зима** — Мопассан живет в Каннах.

**1884** — Выход сборников новелл «Лунный свет», «Сестры Рондоли», «Мисс Гарриет», книги путевых очерков «Под солнцем».

**1885** — Мопассан много и напряженно работает. Выходит в свет роман «Милый друг». Опубликованы сборники новелл «Иветта», «Сказки дня и ночи», «Туан».

Резкое ухудшение здоровья писателя. Болезнь глаз. Головные боли.

**Весна** — Путешествие в Италию.

**Лето** — Лечится на курорте Шатель-Гюйон.

Покупка яхты «Милый друг».

**1886, лето** — Поездка в Англию. Напечатан роман «Монт-Ориоль».

Выходят сборники «Маленькая Рок» и «Господин Паран».

**1887, 8 июля** — Полет на воздушном шаре «Орля».

**Октябрь — декабрь** — Путешествие по Алжиру. Опубликован сборник новелл «Орля».

**1888, январь** — Покупка новой яхты. Путешествие на яхте вдоль берегов Средиземного моря. Выход книги «На воде». Опубликованы роман «Пьер и Жан», сборник новелл «Избранник госпожи Гюссон».

**1889** — Выход романа «Сильна как смерть», сборника новелл «С левой руки».

**Сентябрь — октябрь** — Путешествует на яхте вдоль берегов Италии, посещает Флоренцию, Пизу.

**Ноябрь** — Болезнь и смерть Эрве.

**1890** — Опубликованы последний сборник новелл «Бесполезная красота», роман «Наше сердце», книга путевых очерков «Бродячая жизнь».

**Апрель** — Поездка в Англию.

**1891, июнь — август** — Путешествие по югу Франции. Лечение в Швейцарии.

**1892, 1 января** — Посещает мать. Вернувшись домой, покушается на самоубийство (ночь на 2 января).

**7 января** — Мопассана привозят в Париж и помещают в психиатрическую лечебницу доктора Бланша.

**1893, 6 июля** — Умирает в больнице доктора Бланша.

## ИЛЛЮСТРАЦІИ



*Луи-Пьер-Жюль Мопассан.*





*Лора де Монассан.*



*Гюстав де Мопассан.*



*Последняя фотография Гюстава де Мопассана.*



*Эрве де Мопассан.*



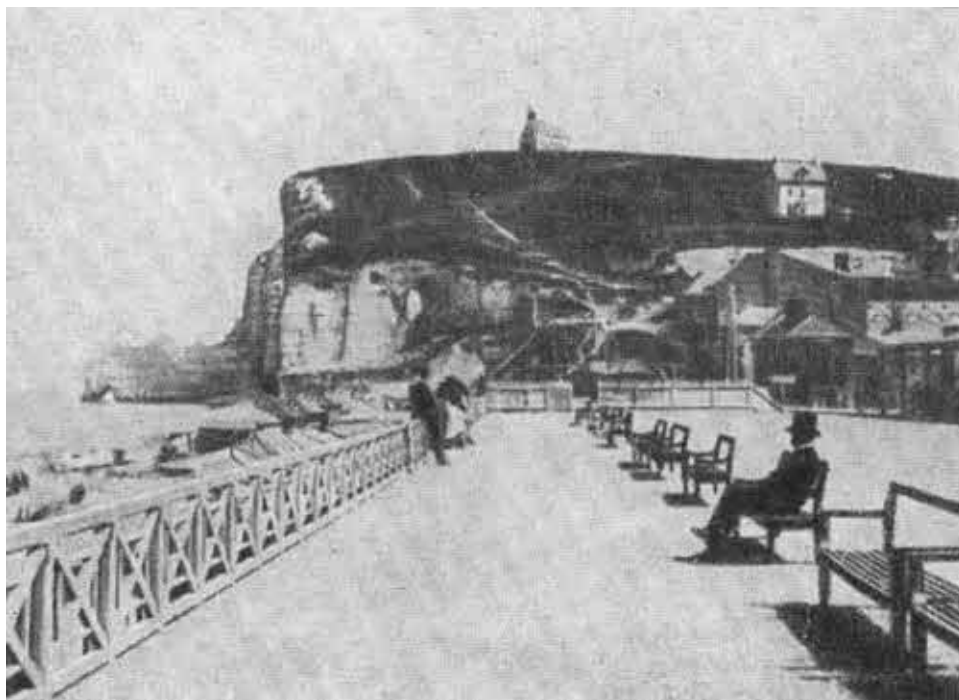
*Замок Миромениль.*



*Ги де Мопассан в 7 лет.*



*Ги де Мопассан, 1859 г.*

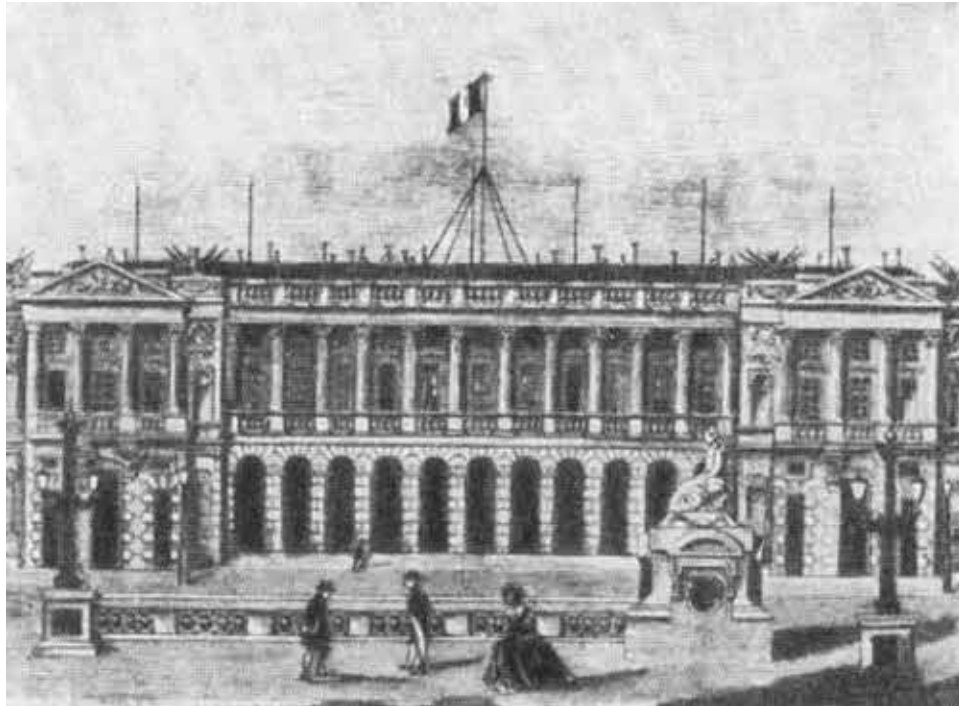


*Пляж и скалы Этрета.*





*А. Ч. Суинберн.*



*Морское министерство.*



*«Лягушатня».*



*К. Моне. «Лягушатня».*



*Фрагмент картины О. Ренуара «Завтрак гребцов».*



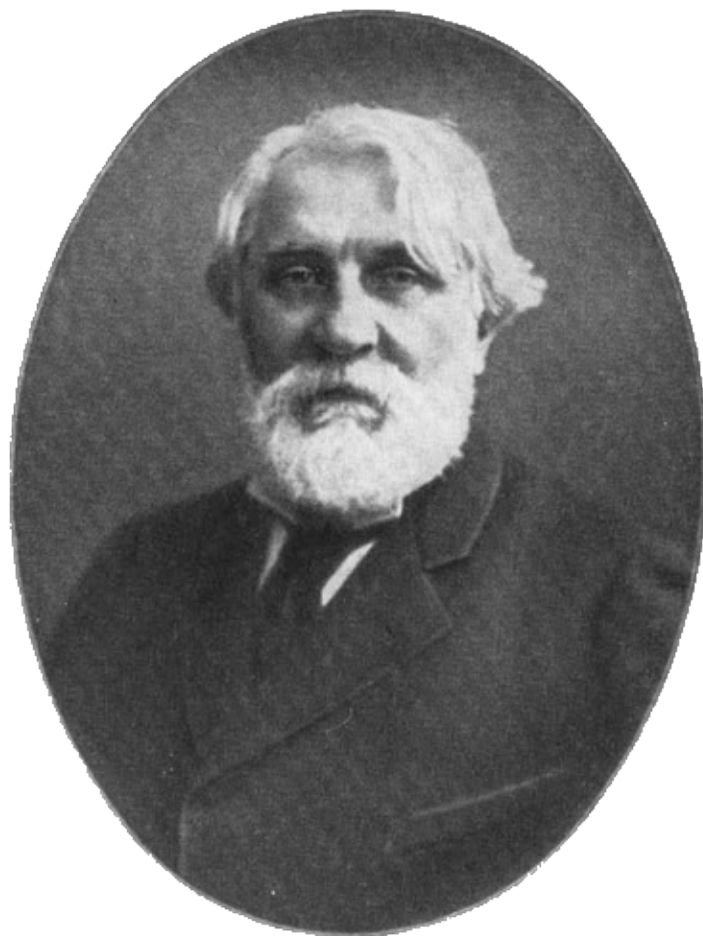
*Ги де Мопассан в 27 лет.*



*Г. Флобер.*



*Э. Золя. Картина художника Э. Мане.*



*И. С. Тургенев.*



*Вилла Ле Боске.*



*Шале де Л'Изер.*





*Ги де Мопассан, 1878 г.*



*Франсуа Тассар.*



*Ла Гийетт.*



*М. Башкирцева.*



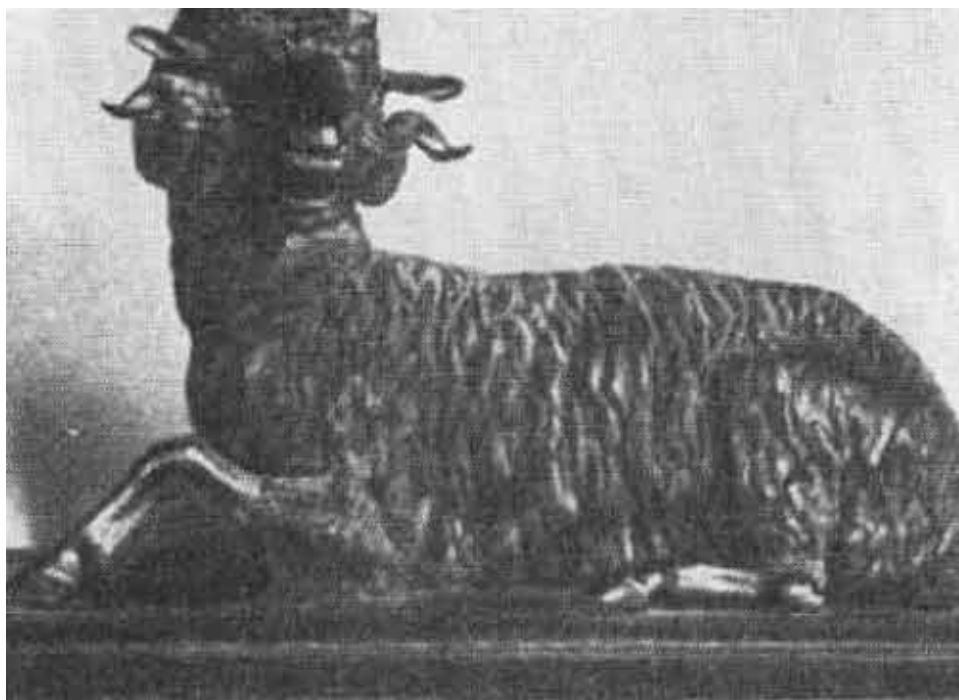
*Э. Потоцкая.*



*М. Канн.*



*Л. Казн д'Анвер.*



*Сиракузский Овн.*



*Палермские катакомбы.*



*Ги де Мопассан.*



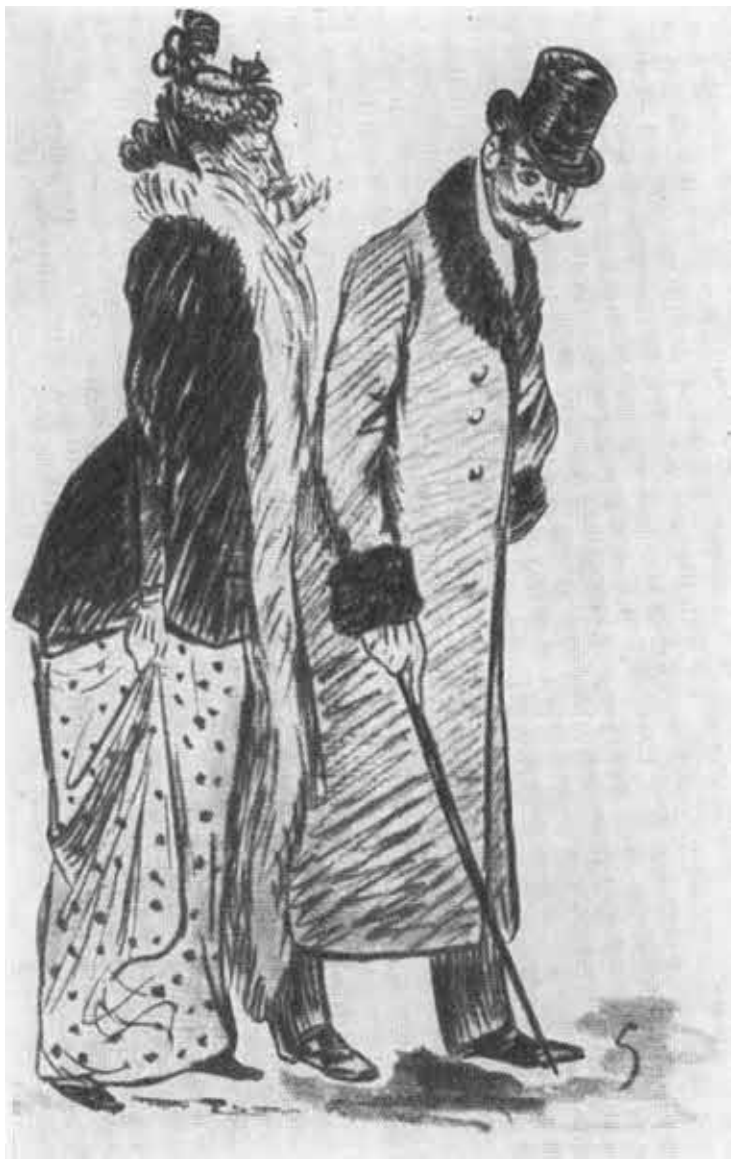


Etat

Madame Bureau et Messieurs  
Fontaine sont priés d'venir  
boire quelques verres de cidre  
à l'assemblée du Grand Val  
le samedi 11 septembre à 2  
heures de relevée à la guillette

J. de Maupassant

Письмо Ги де Мопассана.



*Рисунок Ги де Мопассана.*



*Ги де Мопассан, 1891 г.*



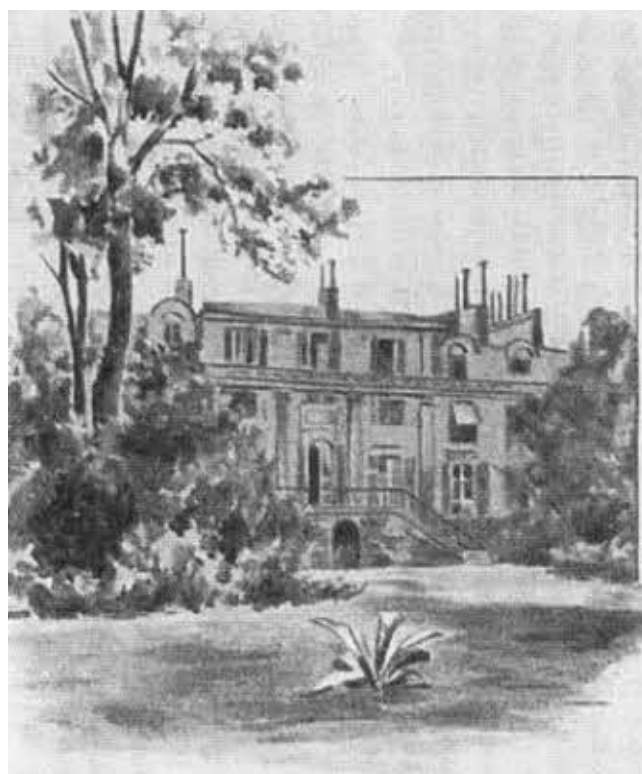
*Жизель д'Эсток.*



*Доктор Мажито.*



*Доктор Бланш.*



*Больница в Пасси*



*Бюст Мопассана в Руане.*





*Бюст Мопассана в парижском парке Монсо.*

# YACHT "BEL-AMI"

Yawl de 20 Tx

Désarmé dans le Port d'ANTIBES (Alpes-Maritimes)



## DESCRIPTION

Construction. — Longueur totale, 14,60 — Longueur de l'étrave à l'étambot, 12,28 — Bais, 2,30  
d'eau, 2,50 — Hauteur des chambres, 1,70, sans barrots.

Poids. — 50 tonneaux de yacht ; 15,76 tonneaux de double.

Désarmé dans le Port d'ANTIBES (Alpes-Maritimes)

## DESCRIPTION

**Longueurs.** — Longueur totale, 14,60. Longueur de l'étrave à l'étambot, 12,38. Rap., 3,24 d'eau, 2,50. Hauteur des chambres, 1,30, sous barrots.

**Poids.** — 50 tonnes de jacht, 15,76 tonnes de doublé.

### Объявление о продаже яхты «Милый друг».

# КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

## *Основные сочинения*

Полное собрание сочинений, тт. 1—30. Спб., 1909–1916.

Полное собрание сочинений, тт. 1—13. М., 1938–1950.

Полное собрание сочинений, тт. 1—12. М., 1958.

Избранные произведения, тт. 1–2. М., 1954.

## *Работы о жизни и творчестве Ги де Мопассана*

Вульфович Т., Творчество Мопассана. М., «Высшая школа», 1962.

Горфейн Е., Ги де Мопассан и литературное движение 1870-х гг. «Ученые записки Ленинградского государственного университета», Серия филол. наук, 1959, вып. 51, № 266.

Данилин Ю., Мопассан. Критико-биографический очерк. М»1951.

Данилин Ю., Мопассан. Критико-биографический очерк, изд. 2. М., 1966.

Данилин Ю., Глава «Мопассан» в книге «История французской литературы», т. 3. М., Изд-во АН СССР, 1959.

Евнина Е., Глава «Мопассан» в книге «Западноевропейский реализм на рубеже XIX–XX веков». М., 1967.

Кобзарева Л., Мопассан в русской критике XIX века. «Ученые записки Московского педагогического ин-та им. В. И. Ленина», т. 86, вып. 2, 1955.

Кондратьев Н., Роман Мопассана «Милый друг». «Ученые записки Иркутского педагогического ин-та», вып. 15, 1959.

Кондратьев Н., Рассказы Мопассана о франко-прусской войне. «Ученые записки Иркутского педагогического ин-та», вып. 10, 1954.

Кондратьев Н., Рассказы Мопассана о крестьянах и простых людях Франции. «Труды Иркутского университета», т. XIX, вып. 3, 1962.

Раскин Б., «Ги де Мопассан» в книге «Писатели Франции». М., 1964.

Резник Р., Борьба за наследие Мопассана. «Ученые записки Саратовского университета им. Чернышевского», № 41, 1954.

Тассар Ф., Записки о Ги де Мопассане его слуги Франсуа. Спб., 1912.

Толстой Л. Н., Предисловие к сочинениям Ги де Мопассана. См.: Л.

*Толстой*, Полное собрание сочинений, юбилейное изд., т. 30. М., 1951.

*G. Delaisement*. Maupassant journaliste et chroniqueur. P., 1956.

*Ed. Maynial et A. Artinian*. Correspondance inédite de Maupassant. P., 1951.

*Artinian A.* Pour et contre Maupassant. P., 1955.

*Castex P.* Le conte fantastique en France de Nodier à Maupassant. P., 1951.

*Dumesnil R.* Guy de Maupassant. P., 1947.

*Maynial Ed.* La vie et l'oeuvre de Guy de Maupassant. P., 1906.

*Schmidt A. A.-M.* Maupassant par lui-même. P. 1962.

*Tassart F.* Souvenirs sur Guy de Maupassant par François, son valet de chambre. P., 1911.

*Tassart F.* Nouveaux souvenirs intimes sur Guy de Maupassant. P., 1962.

*Thorval J.* L'art de Maupassant d'après les variantes. P., 1950.

*Vial A.* Guy de Maupassant et l'art de roman. P., 1954.

---

---

|              |
|--------------|
| <b>notes</b> |
|--------------|

## Примечания

Господин Анри, заведующий похоронным бюро Робло, который занимался организацией похорон писателя, не смог вспомнить, откуда он почерпнул сведения о Соттевилле. *(Прим. авт.)*.

(Здесь и далее отдельно отмечены примечания автора, все остальные — примечания научного редактора.).

Лэ — средневековые французские поэмы, чаще всего на сюжеты древних бретонских легенд.

Ролла — герой одноименной поэмы (1833) Альфреда де Мюссе, скептик, разочаровавшийся в жизни.



Перевод Д. Маркиша.

*Оффенбах Жак* (1819–1880) — французский композитор, один из создателей классической оперетты, очень популярный во второй половине XIX века;

*Фор Жан-Батист* (1830–1914) — французский композитор и певец.

*Карр Альфонс* (1808–1890) — французский писатель, журналист.

Речь идет о Наполеоне III, ставшем императором в результате государственного переворота. Время правления Наполеона III (1852–1870) Золя назвал «эпохой безумия и позора».

Перевод Д. Маркиша.

Речь идет о крестовых походах европейского рыцарства в страны Востока якобы для спасения гроба господня. Английский король Ричард Львиное Сердце руководил третьим крестовым походом (1189–1192).

Перевод Д. Маркиша.

«Осенние листья» — поэтический сборник (1831) В. Гюго.



В письме к Флоберу от 17 октября 1879 года Ги напишет, что в 17 лет был изгнан из духовного заведения за безверие и всякие скандалы. (*Прим. авт.*).

Толкование главы 28 Пятой книги Моисея, в которой бог грозит проклятием людям, не исполняющим его заповеди.

Класс риторики — старший класс лицея.

Август 1869 года. *(Прим. авт.)*.

*Метра Оливье* (1830–1889) — французский композитор, автор балетов и популярных во второй половине XIX века вальсов, в том числе вальса «Волна».

Позднее Мопассан расскажет об этом происшествии в очерке «Англичанин из Этрета», напечатанном в «Голуа» от 29 ноября 1882 года, и в предисловии к французскому изданию «Поэм и баллад» (1891) Суинберна. (*Прим. авт.*).

*Прерафаэлиты* — группа английских художников и поэтов, образовавшаяся в 1848 году и провозгласившая своим идеалом искусство раннего Возрождения, до Рафаэля, *Россетти Данте Габриэль* (1828–1882) и *Берн Джонс Эдуард* (1833–1898) — английские художники из группы прерафаэлитов.

Стихотворения на стр. 34–36 переведены Д. Маркишем.



*Круассе* — поместье Флобера под Руаном.

«Искушение святого Антония» — драма Флобера, первый ее вариант был написан в 1849 году.

У Лану неточность: Рубенс и Иордане учились в мастерской Адама ван Ноорта.

Имеется в виду стихотворная драма «Измена графини де Рюн».

*Фюальдес* — судья, убитый в 1817 году. Суд над убийцей привлек внимание, а в народе была популярна песенка «О бедном Фюальдесе»

Перевод Д. Маркиша.

*Рошфор Анри* (1831–1913) — французский публицист, автор памфлетов, направленных против Наполеона III.

*Императрица Евгения* (1826–1920) — Евгения Монтихо, жена Наполеона III.



2 сентября 1870 года французская армия была полностью разбита под Седаном.

*Мон-Валерьен* — возвышенность на западной окраине Парижа, на которой расположен укрепленный форт и казармы. В годы фашистской оккупации там было расстреляно около 200 французских патриотов.

«Уснувший в долине» — стихотворение французского поэта Артюра Рембо об убитом солдате.

*Валлес Жюль* (1832–1885) — французский писатель, революционный демократ, член Парижской коммуны.

*Коппе Франсуа* (1842–1908) — французский поэт, драматург, примыкал одно время к поэтической группе «Парнас». Здесь речь идет о драме Ф. Коппе «Священник» (1889).

*Доппельгенгер* (Doppelgänger) — двойник (*нем.*).

В приводимом письме сохранена своеобразная манера изложения и неправильная пунктуация самого Ги. *(Прим. авт.)*.

Рене Дюмениль нашел оригинал заявления Ги в архиве морского министерства: «Господин министр, имею честь просить Вашу Светлость принять меня на службу в Морское Министерство, что будет для меня неоценимым одолжением. Я получил степень бакалавра словесности 27 июля 1869-го. Когда вспыхнула война против Пруссии, я начал заниматься правом. Мобилизованный как солдат призыва 1870 года, я сдал в Венсенне все необходимые экзамены для того, чтобы быть зачисленным в военное интендантство. Затем я был послан во 2-ю Руанскую дивизию и до сентября 1871 года служил в дивизионном интендантстве, то есть до того момента, пока не получил замены». (Прим. авт.).



*Бувар и Пекюше* — персонажи одноименного незаконченного романа Флобера, глупые, ограниченные буржуа.

Игра слов: «Дьедонне в переводе означает «богом данный».

*Ренар Жюль* (1864–1910) — французский писатель-демократ.

«Рассказы по понедельникам» — сборник рассказов Альфонса Додэ, в котором большое место занимает тема франко-прусской войны, тема патриотизма.

*Бурже Поль* (1852–1935) — французский писатель, автор романов из светской жизни.

*Тэн Ипполит* (1828–1893) — французский философ-позитивист, критик.

Речь идет о «Дневнике», который вели с 1860 года братья Гонкур, сначала Жюль, а после его смерти в 1870 году — Эдмон.

*Белланже Эжен* (1837–1895) — французский художник, академик, автор батальных картин.



*Сарду Викторьен* (1831–1908) — французский драматург школы «хорошо написанной пьесы», его развлекательная драматургия отличается запутанной интригой, эффектными сценами.

«Лягушатня» — местечко на берегу Сены около Буживаля, недалеко от Парижа, излюбленное место отдыха парижан, прославленное одноименными картинами К. Моне и Ренуара.

«Падалъ» — стихотворение французского поэта Шарля Бодлера из его сборника «Цветы зла» (1857).

Перевод Д. Маркиша.

*Мюрже Анри* (1822–1861) — французский писатель, автор романа «Сцены из жизни богемы» (1851).

*Карко Франсис* (1886–1958) — французский писатель, автор поэмы «Богема и мое сердце» (1912).

Священник из Медона — Франсуа Рабле, французский писатель XVI в., автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», на страницах которого дается подробное описание всего выпитого и съеденного великанами.

«Со мной вчера произошло маленькое происшествие, которое могло быть чревато последствиями, но, к счастью, все обошлось благополучно: наклонившись слишком близко к свечке, я подпалил себе бороду; я тотчас же собственноручно погасил пожар, но половина бороды все же сгорела, и мне придаюсь побриться...» Из письма к матери от 6 октября 1875 года. (Прим. авт.).

Из письма к матери от 29 июля 1875 года. (*Прим. авт.*).



«Парижские тайны» — роман Эжена Сю, в котором впервые описано дно Парижа.

*Мак-Магон* был президентом Франции с 1873 по 1879 год, опирался на монархические и клерикальные круги, стремился к реставрации монархии. В 1879 году Мак-Магон вынужден был сложить свои полномочия в связи с ростом республиканских настроений.

*Ренан Эрнест* (1823–1892) — французский историк, философ-релятивист.

*Литре Эмиль* (1801–1881) — составил толковый словарь французского языка.

В 1878 году в Париже открылась Всемирная Выставка, для нее специально был построен огромный павильон — дворец Трокадеро, просуществовавший до 1935 года.

Приятель Патиссо — центральный персонаж рассказов и очерков Мопассана «Воскресные прогулки парижского буржуа».

*Шарпантье Жорж* — французский издатель, большой друг Золя и Флобера.

*Принцесса Матильда* (1820–1904) — двоюродная сестра Наполеона III. В ее салоне собирались писатели и художники.

*Дерулед Поль* (1846–1914) — французский поэт, автор шовинистического сборника «Песни солдата».



Имеется в виду эпизод из библии. Ангелы по повелению бога вывели патриарха Лота и жену его из города Содома, который за грехи жителей должен был быть уничтожен. Жена Лота вопреки приказаниям ангелов оглянулась назад, на горящий город, и была превращена в соляной столб.

*Юдифь и Олоферн* — имеется в виду эпизод из библии. Юдифь, древнееврейская красавица, проникла в лагерь Олоферна, предводителя ассирийских войск, осадившего город Ветилую, очаровала его своей красотой, а ночью отрезала ему голову. Когда ассирийцы увидели голову Олоферна на стене Ветилуи, они сняли осаду.

*Сарсэ Франсиск* (1827–1899) — французский критик, подвергавший травле новые прогрессивные тенденции в литературе и театре, безуспешно претендовал на роль руководителя общественного мнения.

*Эдуард Эррио* (1872–1957) — французский политический деятель, один из лидеров буржуазной партии радикал-социалистов, историк, сторонник сближения с СССР.

Перевод Д. Маркиша.

*Руми* — у арабов название христиан-европейцев.

1793 год — высшая точка Французской буржуазной революции XVIII века, время правления якобинцев. В сентябре 1793 года был принят декрет о «подозрительных» — мера борьбы против контрреволюции, был объявлен революционный террор.

Перевод Д. Маркиша.



*Фейе Октав* (1821–1890) — французский писатель, автор сентиментальных психологических романов из светской жизни.

Фронтен — ловкий и хитрый слуга, персонаж комедии французского писателя Лесажа «Тюркаре» (1709).

Речь идет о женском монашеском ордене «Сердца Иисусова» — Сакре-Кер, организованном наподобие ордена иезуитов. Монахини общины Сакре-Кер имели много пансионатов, где воспитывались девушки из дворянских и буржуазных кругов.

Перевод Д. Маркиша.

*Ватто Антуан* (1684–1721) — французский художник; на многих его картинах изображено светское общество XVIII века.

*Мариво Пьер* (1688–1763) — французский писатель и драматург, мастер изображения любовной игры, изысканного, остроумного диалога.

*Роуландсон Томас* (1756–1827) — английский карикатурист.

*Хогарт Уильям* (1697–1764) — английский художник и гравер. В своих картинах и гравюрах изобличал нравы современного ему общества.

*Ги Константен* (1805–1898) — французский художник-карикатурист.

Олений парк — название особняка в Версале, где во времена Людовика XV устраивались оргии.



Перевод Д. Маркиша

Перевод Д. Маркиша.

Она умерла 31 октября 1884 года. (*Прим. авт.*).

*Филеас Фогг* — неугомонный путешественник, герой романа Жюль Верна «Вокруг света в восемьдесят дней» (1872).

*Паспарту* — его верный слуга.

Слово «мюскад» означает шарик фокусника, который то появляется, то внезапно исчезает.

*Мелюзина* — неуловимая и неверная фея из французских средневековых легенд и рыцарских романов

Суфражистки — участницы движения за предоставление женщинам избирательных и других политических прав.

С 6 апреля по 30 мая 1885 года «Милый друг» печатается на страницах «Жиль Бласа». *(Прим. авт.)*.



*Лоти Пьер* — настоящее имя Жюльен Вио (1850–1923) — французский писатель, один из создателей колониального романа, уделял большое внимание описанию экзотических стран.

«Добыча» — роман Э. Золя, в котором большое место отведено описанию изысканной оранжереи в доме Аристида Саккара.

*Норбер де Варенн* — персонаж романа Мопассана «Милый друг», старый поэт.

*Эгерия* — в античной мифологии нимфа-прорицательница. Согласно легенде один из древнеримских царей, Нума Помпилий, в своих делах руководствовался ее советами.

Ультрамонтаны (от латинских слов *ultra montes*, то есть за горами, за Альпами, в Риме) — сторонники полного подчинения французской католической церкви власти римского папы.

Не понимаю (*итал.*).

*Казанова Джованни* — итальянский авантюрист, автор известных «Мемуаров», где много места отводится рассказу о многочисленных любовных похождениях автора (XVIII в.).

Просвещенные женщины XVII века, в салонах которых часто бывали философы-просветители.



Перевод стихотворений Д. Маркиша.

*Месмер Фредерик* (1733–1815) — немецкий врач, популяризовавший гипноз.

*Сведенборг Эммануэль* (1688–1772) — шведский писатель, философ-мистик.

*Пепис Самюэль* — английский мемуарист, рассказавший ярко и живо о нравах английского общества XVII века.

*Монье Анри* (1805–1874) — французский писатель, создатель образа Жозефа Прюдома, тупого, самодовольного буржуа.

В Отейе на бульваре Монморанси жил Эдмон де Гонкур.

Речь идет о путешествии Флобера, посетившего развалины древнего Карфагена в 1858 году.

*Розеро Жанна* — неофициальная жена Э. Золя, мать его двоих детей.

Перевод Д. Маркиша.



Речь идет о Л. Богдановой, девушке из богатой русской семьи, жившей одно время во Франции.

L'homme — по-французски «мужчина» и «человек».

Регентство — время правления герцога Филиппа Орлеанского в период несовершеннолетия короля Людовика XV (1715–1723). Придворные нравы Регентства отличались крайней распущенностью.

«Хроника Бычьего глаза» — собрание скандальных анекдотов из придворной жизни XVII и XVIII веков. Бычьим глазом называлось небольшое круглое или овальное окошко в полутемной прихожей перед спальней короля.

Перевод Д. Маркиша.

См. библиографию в конце книги.